

2

Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

Юрий Домбровский



том второй

ОБЕЗЬЯНА ПРИХОДИТ ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ
роман
ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОБЕЗЬЯНЫ"
материалы к истории романа

3 4 5 6 *



издательский центр

«Тerra»

Юрий Домбровский



Ю. Домбровский

Юрий Домбровский

*собрание сочинений
в шести томах*

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ●●ТЕРРА●●

Юрий Домбровский

собрание сочинений в шести томах



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ●●ТЕРРА●●

МОСКВА 1992

Юрий Домбровский

собрание сочинений

том

2

ПРИХОДИТ ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ
ОБЕЗЬЯНА
роман
ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ОБЕЗЬЯНЫ»
материалы к истории романа



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ●●ТЕРРА●●

МОСКВА 1992

ББК 84.Р7
Д 66

Редактор-составитель
К. Турумова-Домбровская

Художник
В. Виноградов

Домбровский Ю. О.

Д66 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2. (Ред.-сост. К.Турумова-Домбровская. Худ. В. Виноградов) – М.: ТЕРРА, 1992. – 464 с.

ISBN 5-85255-232-1 (т. 2)

ISBN 5-85255-173-2

Во второй том собрания сочинений Юрия Домбровского вошло одно из его наиболее значительных произведений – роман "Обезьяна приходит за своим черепом". В том включены отрывки из воспоминаний и писем разных людей (в том числе и самого писателя), иллюстрирующие тяжелую судьбу произведения, пришедшего к читателям через полтора десятилетия после написания.

Д 4702010200-117 Подписное

А30(03)-92

ББК 84. Р7

ISBN 5-85255-232-1 (т. 2)

ISBN 5-85255-173-2

© Издательский центр "ТЕРРА", 1992

**ОБЕЗЬЯНА ПРИХОДИТ
ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ** *роман*

*Любови Ильиничне Крупниковой
с уважением и благодарностью
посвящает эту книгу автор*

ПРОЛОГ

Прежде чем приступить к подробному изложению всего того, что произошло со мной ровно пятнадцать лет назад, в дни оккупации, необходимо хотя бы в двух словах коснуться событий, побудивших меня взяться за перо. Но, во-первых, кто я такой? Меня зовут Ганс Мезонье, мне двадцать семь лет, два года тому назад я с медалью окончил Высшую школу юридических наук и до последней недели редактировал юридический отдел самой большой газеты нашего департамента. Формально редактором ее я состою и поныне, — но об этом после. Каждый день в течение двух лет, с двенадцати до четырех, я сидел в кабинете, просматривая целые груды судебных фотографий, газетных вырезок, отчетов и полицейских протоколов, а раза три в месяц выступал с развернутыми статьями по тем или иным вопросам. Конечно, приходилось писать о всяком, — мои милые соотечественники и современники падки на все необычайное и кровавое, все они любят загадочные преступления, невероятные убийства, взломы несгораемых шкафов, таинственные автомобили без номеров и фар, и такие дела, как, скажем, отцеубийство или осквернение трупа, им только подавай.

Надо сказать, что на убийства нам везло. Не так давно было, например, такое: пятнадцатилетняя школьница через окно в сад застрелила отца, которого, кстати, очень любила. Застрелила она его ночью, когда он сидел за письменным столом, отослав спать всех домашних и нетерпеливо ожидая жену, отлучившуюся неизвестно куда и к кому, — впрочем, он и дочка отлично знали, куда и к кому, — выстрел был произведен именно из пистолета любовника матери, офицера криминальной полиции. После убийства де-

вочка подбросила две неиспользованные гильзы в корзину с грязным бельем, разделась, легла спать и была разбужена только полицией, уводившей ее мать. Был громкий процесс. Любовника и мать казнили, дочку, наследницу всего состояния, отдали под опеку бабушки. И вот, выждав с полгода, девочка явилась с повинной в полицией-президиум и рассказала все. Это был сенсационный материал, и тираж нашей газеты в дни суда увеличился ровно вдвое. А девочка давала обширные интервью репортерам, фотографировалась и так и этак и раздавала автографы. Пришлось нанять специального человека, чтоб следить за всеми перипетиями процесса. Да и я не вылезал в те дни из суда ровно десять дней.

Еще лучше газета заработала на другом деле, облетевшем весь мир. В одной из великих держав, без всяких к тому доказательств, по оговору единственного свидетеля, к тому же самого арестованного и ждущего суда по этому же делу, присудили к смерти двух супругов. Они обвинялись в шпионаже, во-первых, в передаче секретнейших военных документов иностранной державе, во-вторых, в тайных связях с Восточной Европой, в-третьих, и именно последний пункт и освещал все дело, темное и бездоказательное до чрезвычайности. Было совершенно ясно, что обвинительный акт — вульгарнейшая полицейская фальшивка, а приговор — расправа правительственных верхов с неугодными людьми, которым вдруг почему-то перестали доверять. В эти дни мы печатали материал, поступающий со всех сторон, гонясь только за количеством строк. Так я работал в течение двух лет, и все это оборвалось сразу.

Вот как это случилось.

Несколько дней тому назад, возвращаясь из редакции, я зашел в почтовую контору, на адрес которой получаю свою корреспонденцию вот уже в течение добрых пяти лет. Когда я вошел, девушка, сидящая на выдаче корреспонденции, крикнула мне из окошечка:

— Писем для месье сегодня нет, а вот, кажется, бандероль! — и нагнулась к ящику с бандеролями.

В это время из соседней комнаты ее позвали. Она радостно сказала:

— Одну минуточку! — бросила на стол все, что было у нее в руках, и улетела.

В почтовой конторе почти никого не было, только посредине комнаты, за столом, забрызганным чернилами, сидел кудлатый старик в очках, читал какую-то бумажку и крупным каллиграфическим почерком, букву за буквой, надписывал конверт. В это время я почувствовал затылком, что на меня смотрят. Я обернулся. Спиной ко мне стоял возле двери бородатый господин в кожаной желтой куртке, смотрел на расписание воздушной линии Гельсингфорс — Женева — Неаполь — Александрия и что-то выписывал в блокнот. Но тут возвратилась раскрасневшаяся, сияющая девушка, сказала весело и сконфуженно: "Извините" — и сразу же подала мне мою бандероль. Я взял ее, хотел уже уходить и тут опять совершенно ясно, четко и остро почувствовал тот же взгляд. Я резко обернулся. Старик читал конверт, далеко отставив его от себя и бесшумно шевеля губами. Бородатый, в желтой куртке, кончив списывать, захлопнул книжку, сунул ее в карман и повернулся к двери. Я посмотрел на него сбоку, подумал о том, кто это, но, так ничего и не вспомнив, засунул бандероль в портфель и пошел к двери. И только я сделал два шага, как бородатый сразу же снова повернулся ко мне спиной. Очень трудно определить в таких случаях, почему и как тебе что-то западает в голову, но мне вдруг отчетливо и очень твердо подумалось, что этот человек следит за каждым моим движением, безусловно, меня знает и именно поэтому не хочет со мной встречаться. Повторяю — это была не мимолетная мысль, это была совершенно твердая, хотя и мгновенно созревшая, уверенность, хотя я и сам не знаю, как и откуда она запала мне в голову. И вот опять-таки странность: мало ли людей, чья

честь не без упрека, а имя не без пятна, стали избегать своих знакомых после войны и арестов. Самое, по-видимому, разумное в таких случаях — сделать вид, что ты и сам не заметил негодяя, и пройти мимо. Так именно я всегда и поступал. Но на этот раз я прямо подошел к бородатому и встал с ним рядом; он сейчас же спокойно и очень естественно поднял руку в блестящей черной перчатке и стал тереть нос так, что почти все лицо оказалось закрытым. Так мы стояли плечом к плечу, смотрели на расписание и молчали. Это продолжалось, наверное, с полминуты, может быть, даже больше, потом бородатый, даже не поинтересовавшись, кто с ним стоит рядом, повернулся, спокойно обошел меня и направился к выходу. Но девушка в окошке, которая, очевидно, почему-то запомнила его, крикнула ему вдогонку:

— Месье Жослен, сегодня для вас кое-что есть!

И тут уж я чуть не схватил бородатого сзади за локоть. Жосленом звали одного из самых старых друзей моего отца. Я его уж не застал в живых — он погиб где-то на западе во время оккупации, — но имя его у нас произносилось чуть ли не каждый день: "Ах, что бы сказал Жослен, если бы он увидел это?", "Ах, как жаль, что Жослен видел то-то, но не видел того..."

При крике из окошка бородатый замешкался, даже было приостановился на секунду, но сейчас же крикнул:

— Хорошо, хорошо, я сейчас зайду! — и выскочил на улицу.

Я кинулся за ним и увидел его всего. Нет, это, конечно, был не Жослен, столь хорошо известный мне по портрету, но ощущение у меня осталось такое, как будто при мгновенной вспышке молнии я узнал что-то очень мне близкое, страшно знакомое, но давным-давно позабытое. Так иногда, попадая в чужой город, человек вдруг вспоминает, что этот дом, никогда им не виданный, эту улицу, совершенно незнакомую, этого неизвестного человека, идущего

го ему навстречу, деревья, мост, — одним словом, все, все он когда-то уже видел во сне или в раннем детстве, а может быть, и того еще раньше, до своего рождения.

Вот так было и со мной.

Неизвестный шел, не оборачиваясь, крупно и уверенно шагая, высокий, стройный, прямой, твердо засунув обе руки в карман своей куртки. На перекрестке стояло такси, и он поднял руку. Тут, видя, что он сейчас же уйдет и я никогда не узнаю и не вспомню, кто же он такой, я крикнул: "Месье, одну секундочку!" — и тогда он, уже не оглядываясь, прямо и открыто ринулся к машине.

Но в это время на шасси ее зажегся красный огонек — "занято", — и машина медленно тронулась с места. Теперь уйти от меня ему было уже невозможно — некуда. Мы стояли один против другого; третьим в этом отрезке улицы был только полицейский сержант в серой крылатке, стоящий на углу. Тогда, покоряясь необходимости, бородатый слегка дотронулся до шляпы и холодно спросил меня:

— Мы знакомы, месье?

И в то же мгновение я узнал его. Он сильно изменился, загорел, похудел, у него появилась густая, окладистая борода итальянского типа, очень смягчающая его длинное, хищное лицо с жестко выгнутыми линиями скул, всегда напоминавшими мне изгибы хирургического инструмента; мутноватые глаза, аккуратные, но мощные, как рога или крылья, брови, которые, хотя и срастались на переносице, но, как всегда, были аккуратно подбриты. Пока я говорил с ним и смотрел на него, он опять-таки очень прямо, все так же засунув руки в боковые карманы куртки, стоял передо мной и тоже смотрел мне в глаза. Для него это была безусловно очень решительная минута, и к его чести надо сказать, если он и был напуган или растерян, то и виду не показал. Я спросил его:

— Так вы стали уже Жосленом?

Мне хотелось, чтоб вопрос прозвучал резко и насмешливо, но голос мой прервался, дрогнул, и я спросил почти шепотом.

Он ответил спокойно и просто:

— Так мне удобнее получать почту до востребования.

Совершенно сбитый с толку, я молчал, а он сказал:

— Но если вы имеете что-нибудь против этого, скажите.

Тут вдруг у меня мелькнула сумасшедшая мысль: вот он сейчас выхватит револьвер, выстрелит в меня в упор, да и юркнет в подъезд — ведь эти господа изучили все проходные дворы города. Я невольно схватился за карман. Тогда он повернул голову и крикнул:

— Господин сержант, будьте любезны, подойдите-ка сюда! — и спокойно вынул из кармана обе руки.

Полицейский, маленький, худошавый человек с чаплинскими усиками и землистым, впалым лицом, поправил кобуру и пошел к нам.

— В чем дело тут у вас, господа? — спросил он подозрительно. — О чем спор?

Не меняя положения, бородатый двумя пальцами дотронулся до шляпы.

— Вот, представляю: мой старый знакомый, известный журналист Ганс Мезонье (полицейский хмуро посмотрел на меня), он хотел бы проверить мою личность. Так пожалуйста. — Он полез в карман, вынул бумажник, раскрыл его, и я увидел целую кипу документов. — Пожалуйста, посмотрите, — повторил он ласково, подавая это все полицейскому.

Но тот не брал бумажника, а стоял и ждал объяснения. То, что у меня от волнения дрожат руки, а бородатый стоит совершенно спокойно, явно сбивало его с толку.

— Так что вам нужно от этого господина? — спросил он меня.

— Я хочу, — ответил я, — чтобы он объяснил, когда и почему он стал Жосленом.

— То есть, — усмехнулся бородатый, — я понимаю так, сержант: господин Мезонье именно и хочет объяснить вам, когда и почему я стал Жосленом.

Наступило секундное молчание. Сержант взял из рук бородатого бумажник и повернулся ко мне.

— А в чем все-таки дело? — спросил он недовольно. — Что вы имеете против этого господина?

— Да это же гестаповец, — сказал я. — Он был в нашем доме и убил моего отца.

Я еще и не договорил, как все мгновенно переменялось, полицейский словно вырос на голову. Четким, резким движением он сунул документы в карман и положил бородатому руку на плечо.

— Дойдемте до полицей-президиума, — сказал он коротко. — А ну, вперед!

И вытащил револьвер.

— Да нет, вы посмотрите сперва документы, — мягко и добродушно улыбнулся бородатый, не двигаясь с места. — Ведь вот же они у вас все в руках. Это одна минута, я никуда не денусь.

Полицейский вдруг быстрым, профессиональным движением дотронулся до карманов куртки бородатого, потом бегло провел по его брюкам; убедившись, что у него ничего нет, раскрыл бумажник и уткнулся в него, как в молитвенник.

— Как вы назвали этого гражданина? — спросил он, читая какой-то документ. — Жосленом?

— Его зовут Гарднер, — начал я. — Он...

Я остановился. Что тут говорить?! Какими словами мог бы я передать, как чернело обгорелое здание с выбитыми окнами и дверью, болтающейся на одной петле, как мертво хрустели под ногами перегоревшие стекла с неуловимым радужным отливом, какая была черная, сухая, жаркая, обгорелая проклятая земля в нашем саду и как страшно выглядели два трупа в нашем доме: один — отцовский, закрытый простыней, на диване, и другой — прямо на

полу, маленький, скорченный, с разможенным черепом и разбросанными руками, в одной из которых так и застыл, так и прирос к ладони, пока его не выломали силой, крошечный лиловый браунинг. Все это только на секунду блеснуло перед глазами и ушло опять, оставляя только тупую боль и тяжесть в душе. Оцепенело я смотрел на бородатого и чувствовал, что слова у меня не идут из горла.

В это время полицейский негромко воскликнул:

— Ну, так, правильно: "Иоганн Гарднер, уроженец города Дрездена, рождения тысяча девятисотого года". Вот, — он протянул мне паспорт Гарднера. — Значит, таки не Жослен, а Гарднер?

Я был так сбит с толку, что ничего не ответил.

— Ну, так что же вам нужно от этого господина? — спросил, помедлив, полицейский и, не дождавшись моего ответа, снова полез в бумажник. — Вот тут есть постановление министерства юстиции о прекращении наказания Иоганна Гарднера ввиду того, что осужденный, — дальше он читал по бумаге, — "по состоянию здоровья неспособен к несению наказания и не будет способен к этому в дальнейшем". А вот, — и он вытащил другую бумагу, — протокол медицинской комиссии, вот акт, ну и так далее. А, по правде сказать, больным-то вы что-то совсем не выглядите! — сказал он вдруг зло и насмешливо. — Что же, интересно, у вас заболело? Сердце небось сдало? А? — Гарднер молчал. — У тех, кого вы расстреливали, тоже сдавало сердце, да тогда вы что-то внимания на это не обращали. Возьмите, пожалуйста, ваши документы. — Он сунул ему обратно бумажник и грубо спросил: — Так с сердцем, говорю, неполадки?

— Но вы же читали медицинское заключение, — вежливо улыбнулся Гарднер. Вообще он держался очень хорошо, не егзил, не забегал вперед, не улыбался, а просто стоял и давал объяснения.

— Медицинское заключение, — недоброжелательно сказал, как будто выругался, сержант и выхватил

у него из рук бумажник. — Дайте-ка еще раз взгляну на это самое медицинское заключение. "Частые потери сознания, судорожные припадки эпилептического порядка, головные боли в области затылка и тошнота". В области затылка! Это, наверное, при исполнении служебной обязанности вас и хватили по затылку?

Я даже вздрогнул. Так вот почему он оказался "неспособным" к несению наказания. Ганка спас его от петли — стрелял с десяти шагов в упор и все-таки не убил. Как бы не в силах наглядеться, я смотрел на каштановую бороду, серые спокойные глаза, а видел не это, а то, как пятнадцать лет назад его, обвисшего и окровавленного, выносила из кабинета топочущая, до смерти перепуганная охрана, а прямо перед столом, на ковре, в черной луже крови лежал маленький человек с размозженным черепом и браунингом в далеко откинута, твердом и злобном кулачке.

— Поэтому вас и освободили? — спросил я ошалело.

Полицейский вдруг внимательно посмотрел на меня, быстро сунул документы Гарднеру и приказал: — Идите!

Гестаповец положил бумажник в карман и сказал нам обоим:

— Я сейчас зайду на почту, а вы тем временем подумайте. Я сейчас выйду.

И тут мной овладела такая бессильная злоба, так меня затрясло, что я не помню, как подскочил к нему и схватил его за воротник. Еще секунда — и я ему выбил бы челюсть, но он только слегка ответ голову и мягко, но сильно перехватил мою руку на лету.

— Какой же вы невыдержанный! — сказал он почти добродушно. — А ведь журналист. Разве кулаком что-нибудь докажешь? Почитайте-ка собственные фельетоны!

— Ну, вы лишнего-то тоже не болтайте! — обрезал его полицейский. — Какой еще кулак! Что никто вас не трогал, тому я свидетель.

— Да что вы, что вы, сержант! — любезно развел руками Гарднер. — Разве я заявляю претензии? До свидания! — Он пошел и остановился. — Но только два слова на прощание вам, дорогой господин Мезонье. Вы же юрист — вот я все время с большим удовольствием читаю ваши интереснейшие статьи, — так неужели же вам не понятно, что если меня десять лет тому назад судили и осудили, то это только потому, что какие-то очень уважаемые круги сочли, что им будет спокойнее, если я, вместо того чтобы гулять по Парижу и Берлину, буду сидеть за решеткой. И если меня освободили, то опять-таки потому, что эти же самые в высшей степени авторитетные и высокочтимые круги вдруг решили, что теперь для их безопасности и спокойствия нужно, чтоб я именно гулял по Берлину и Парижу, а не сидел за решеткой. Вот и все! До свидания!

Что мне оставалось делать? Он все понимал и знал. Знал, где я был, знал, что я сейчас делаю, кем работаю, я же про него не знал ровно ничего, даже что он такой же равноправный гражданин, как и я, и того не знал. Вот он повернулся к нам спиной и пошел к зданию почты, за письмами, которые получает на имя убитого им Жослена. Конечно, теперь он уже не постесняется их взять. Мы, я и сержант, как бы легализировали его. Мы связались с ним, чтобы его погубить, а он сразу же нам показал, что мы и гроша медного не стоим перед ним, так чего ж ему с нами стесняться?

Он ушел, и с минуту мы стояли оба молча.

— Вы уж очень расстроились из-за него, — сказал сержант, — вот даже побледнели. Значит, действительно насолил он вам, мерзавец.

Я промолчал.

— Но я вас понимаю, — продолжал он, понижая голос. — Я сам был в плену и знаю, какой там у них мед. Говорите, следователь гестапо?

— Нет, — сказал я, — начальник.

— Ай-ай-ай! — сержант пощелкал языком. — У него и взгляд-то волчий. И, значит, он и допрашивал кого-нибудь из ваших?

Я опять промолчал.

— Да, — сказал полицейский, смотря на дверь почты, — и вот смотрите, опять в своем полном праве, опять при деньгах и положении. — Он вздохнул. — Что делается, что делается на свете, и не поймешь даже что! Болен! — усмехнулся он. — Да таких больших бы...

Из почтовой конторы вышел Гарднер и, даже не взглянув на нас, ровным, неторопливым шагом пошел по улице. Дошел до перекрестка, поднял руку, остановил такси и сел в него. Полицейский смотрел ему вслед, пока машина не скрылась за поворотом, и вдруг повернулся ко мне.

— Слушайте, — крикнул он в страшном волнении, — а что, если он нас обманул? Бумаги-то, может, поддельные, а? В одном кармане документ на Гарднера, а в другом — на Жослена... Пойдите-ка, я... — И он сделал движение броситься к углу улицы, полицейскому телефону.

— Бросьте, — сказал я, удерживая его за руку. — Бросьте! Будьте спокойны, у него все в полном порядке. И фамилия, и служба. Это у нас все время что-то не так, а у него полный порядок.

Ночью этого же дня я сидел в своем кабинете и думал. Мне крепко запала в голову одна мысль, и я никак не мог отказаться от нее, как вдруг зазвонил телефон. Сняв трубку, я узнал голос моего шефа:

— Алло, Ганс! Что вы сейчас делаете?

То, что шеф позвонил мне так поздно, в двенадцать ночи, меня не особенно удивило. Старик любил меня и звонил мне в любые часы, как только ему была нужна справка. Но именно этот звонок меня насторожил. Ведь не далее как четыре часа назад мы расстались в редакции. Его куда-то вызвали, и я даже помню слова, которыми мы обменялись на прощание. Он спросил меня, готова ли у меня статья о

прениях в парламенте. Дело шло о законе XIV века, который карал лиц, заглядывающих с улицы в чужие окна. Парень, которому впервые за четыреста лет предъявили такое странное обвинение, был осужден условно на две недели заключения, тем бы дело и кончилось, но левые газеты заговорили о судьях в пудренных париках, цепляющихся за порядки средневековья, и дело было перенесено во вторую инстанцию, а потом и в третью, то есть в Верховный суд. Наша газета тоже поместила обширную статью о законах арбалета и лука, действующих в век атомных двигателей. Тогда другая сторона, крайне правая, заметила: "Если вы так против всего старого, зачем же тогда цепляться за средневековую формулу: "Мой дом — моя крепость"? Почему и ее не сдать в архив, как безнадежно устарелую и не отвечающую конкретным условиям современности? А то ведь повелось так — как обыск в редакции левой газеты или ночной арест, так поднимается крик на весь свет: "Помилуйте, нарушено право убежища!" Будьте уж логичны, господа ниспровергатели!" Мы ответили, и заварилась каша. Вот обо всем этом я и должен был написать ученую статью, сославшись на все узаконения, прецеденты и судебную практику. Именно об этом мы и говорили с шефом при последней встрече в редакции. Он спросил тогда: готова ли статья, и я ответил, что будет готова к утру. Он мне сказал: "Ну, я надеюсь на вас, Ганс. Тряхните их хорошенько, так, чтобы у них вся пудра с париков посыпалась". Так мы и разошлись. И вот ночью он звонит мне опять и спрашивает не о том, готова ли заказанная статья, а что я делаю сейчас. Я ответил ему, что отдыхаю. Он засмеялся и воскликнул:

— И, конечно, не один?

Я сказал, что нет, один, да и всегда в это время я бываю один, — и тогда он быстро, даже как-то скороговоркой, сказал, что коли так, то он заедет ко мне на пять минут и хорошо бы, если бы в это время я был действительно один: надо поговорить. Я опять

повторил, что я один, и, отложив рукопись, стал его ждать.

Он приехал ровно через пять минут — значит, был рядом, — и когда я увидел его, то понял, что не зря его тон был слишком легкий и бегл, а смешок так продолжителен. Старик приехал с серьезным разговором. Однако, как бы то ни было, войдя в комнату, он сразу стал кривляться. Со слоновьей грацией пошутил насчет подушек, разбросанных по дивану (“Кто их разбросал? А не прячется ли кто-нибудь в соседней комнате?”), потом сказал, что он меня обязательно женит, — в мои годы у него уже был сын, — и вдруг выпалил:

— А знаете, между прочим, Ганс, у меня был сейчас очень серьезный разговор о нашей газете.

Тут я даже усмехнулся — до того старик не умел хитрить — и спросил его напрямик:

— И обо мне что-нибудь такое?

Он страдальчески поморщился. Я сбивал его с толку, он не мог так, ему нужен был разбег, разгон, только в минуту открытых любовых атак он становился груб и даже циничен — куда более циничен, чем это требовалось обстоятельствами разговора. Поэтому сейчас он сгоряча ответил мне:

— Нет, о вас ничего! — Но сейчас же спросил: — А ваша статья готова? Я могу ее посмотреть?

Я сказал, что еще нет, что только завтра утром она будет послана в типографию.

— А что, разве и о ней шла речь?

— Да нет, нет! — замахал он руками и быстро, смущенно зашагал по комнате. — Ух, как у вас душно! Разрешите, я открою форточку? — Он с минуту провозился у окна; а когда повернулся, то опять был уже ясным, благожелательным и спокойным. — Дело в том, что я хотел бы посмотреть эту статью до сдачи в типографию, — сказал он наконец любезно, но твердо. — Вы разрешите, конечно?

Тут я опять повел себя как-то не так, то есть попросту протянул ему рукопись. Он ждал от меня бес-

покойных вопросов, недоумений и недовольства, и то, что я так сразу взял да выложил ему рукопись, насторожило его опять. Он взял ее в руки, пробежал несколько первых строчек, уныло воскликнул: "Ну, великолепно!" — и, перегнув вдвое, спрятал в портфель. (Портфель этот стоит особого описания: он был для меня подлинным символом его хозяина — эдакая откормленная, разбухшая жаба величиной с большого кролика, и цвет-то у этой жабы был зловещий, какой-то жухлый, буро-желтый, в грязных пятнах и разводах.)

— Я вам отдам ее через три дня, — сказал старик. (Значит, понял я, посылка статьи утром в типографию отпадает.) — Мне она нужна для передовой. (Значит, понял я, передовую он пишет сам или передаст ее кому-нибудь, во всяком случае, мне писать ее не дадут.) — Надо, знаете ли, чтобы газета выработала какой-то общий взгляд на все эти столь умножившиеся, — он улыбнулся и сделал пышный жест рукой, — скандальные правовые эксцессы.

Ох, и как бы еще надо! Только об этом я и кричу все последние месяцы! В чем дело, в чем дело, господа хорошие, что случилось у нас в стране? Эти невероятные дела, беспричинные, казалось, самоубийства, эти осуждения по законам восьмивековой давности, наконец, то, что такие древние преступления, как убийство, похищения, изнасилования, "помолодели" до такой степени, что стали достоянием бойскаутов, — все эти трагические и комические ватерлоо нашей цивилизации, имеют же они какую-то общую почву, из которой и растут, как поганки? Почему мы так захлебываемся, описывая их, и совершенно забываем о нем, о том перегное, который их и питает своими соками?

А старик щелкнул замочком, выпрямился на стуле и спросил:

— Но вы не согласны со мной, Ганс?

— Конечно, — ответил я, — конечно, согласен! Вы отлично сказали, что все это явления одного корня.

— Вот-вот, — просиял шеф, — я так и знал, что вы меня поддержите тоже. — (“Я тоже тебя поддержу! Ах ты, премудрая жаба!”) — И вот как раз сегодня у меня был разговор об этом... — он замялся.

А я прямо спросил:

— Разговор о том, что я вас поддержу, шеф?

Он взмахнул руками и чуть не вскочил с места. Он терпеть не мог, чтобы его подчиненные чрезмерно забегали вперед и угадывали его мысли.

— Но при чем тут вы, при чем тут вы? — чуть не закричал он и схватился за грудь. — Ох, вот всегда так! При чем тут вы, Ганс? Я же говорю, что разговор шел не о сотрудниках газеты, а обо всей газете целиком. Ну, боком мы затронули и ваш отдел, конечно. — (Тут я слегка улыбнулся, а он снова забеспокоился.) — Но это же совершенно естественно, Ганс! Если речь идет о газете, то, значит, говорят и обо всех нас — ее работниках, не так ли? — (Я кивнул головой и он успокоился.) — И, знаете, некоторые претензии имеются, к сожалению, имеются. Часть их я сейчас же категорически отвел. Ну, насчет того, например, что мы печатаем уж что-то слишком много отзывов насчет казни этих двух несчастных. Тут я им прямо сказал: “Да, мы печатали эти отклики и будем печатать, и тут никто нам, конечно, не указ! Мы — свободная пресса, а не агенты правительства, прошу это помнить!” — С полминуты он благородно фыркал. — Но некоторую часть упреков пришлось все же признать. А что же делать? — он усмехнулся. — Надо же быть объективным. Один папа только непогрешим, да и то в этом кое-кто сомневается! А, Ганс?

Тут мы немного посмеялись оба, и я предложил:

— Если вы, шеф, не торопитесь, то я пойду закажу кофе.

Это для того, чтобы он посидел, подумал, как и в каком объеме ему высказать мне то, что он принес в своем портфеле, а то будет целый день сидеть и мяться, да и мне самому надлежало собраться с мыслями.

Ведь предстоял один из самых решительных разговоров в моей жизни. Он, конечно, сейчас же ухватился за мое предложение и сказал, что с истинным удовольствием выпьет чашку, так как у него совсем пересохло горло. Когда я вернулся, он уже опять был благожелательный, улыбающийся, спокойный, положил мне на руку благостную белую ладонь и сказал ласково:

— Да, очень, очень хвалят ваши статьи. А некоторые из них считаются прямо-таки образцовыми.

Я взглянул на него почти с благодарностью. Как-никак, а все это давалось ему с трудом. Старику было искренне жаль расставаться со мной, но надо было идти ва-банк. И я спросил:

— Но ведь они сделали и кое-какие замечания? Они не во всем, наверное, согласны со мною?

Только я это сказал, а он приоткрыл рот, как я понял, что зря и спрашивал. Чем больше я буду пытаться, тем больше он будет прятаться. И он мне в самом деле ответил, что нет, литературно и даже политически они во всем согласны со мной. Но...

— Но будьте же объективны, Ганс, есть и другая сторона вопроса. Вот вы ведете большой, важный отдел и — ничего не скажу — очень хорошо ведете, добросовестно, интересно, принципиально, с самым небольшим уклоном. Но смотрите — что получается в итоге! Каждая статья сама по себе настолько правильна, что ни одно слово не может быть оспорено. Но в течение года газета помещает по вашему отделу не одну, а около двухсот таких статей и фельетонов, которые вы заказываете лицам определенного направления и взгляда на вещи. Это не считая мелких заметок, подписей и хроники. И вот вся эта масса, взятая вместе, представляет из себя уже нечто совершенно иное, — это кропотливый подбор фактов, пронизанных совершенно ясной тенденцией.

Я слушал и молчал, а он продолжал:

— Вот хотя бы взять отклики насчет казни этих несчастных. Я сказал тогда, что мы их помещаем и

будем помещать, — это, конечно, не только наше право, но и прямая обязанность. Но ведь, друг мой, признаюсь, сказав так, я сейчас же подумал: да, но ведь наши отзывы — это все туфли с одной ноги. Все они хором клеймят и осуждают, — только клеймят и осуждают! — но не осужденных, а осудивших, то есть не преступников, а правительство. Иными словами — мы предоставили нашу газету для огульного охаивания всей правовой системы нашего великого и великодушного друга, хорошенько даже не разобравшись, чем же эта система так нехороша и кому она так не понравилась. Ну, ведь, знаете ли, это похоже уже не только на вмешательство во внутренние дела другой страны, но и на прямую идеологическую диверсию.

Я смотрел на него. Он говорил пока еще тихо и ласково, но так как лицо его уже слегка порозовело, а глаза поблескивали, я знал, что теперь он не остановится, не высказав всего.

— Так вот, — продолжал он, — я и подумал: "Полно, да правильно ли это? Кому это надо? На кого же мы работаем?" И, признаюсь, спросив себя так, я не нашел что ответить.

"Ничего ты не подумал, — понял я, — это все там тебе вбили в голову. Для этого и вызывали..."

Но сказал-то я совсем другое:

— А почему вы не ответили им, шеф, что не далее как в последнем номере мы поместили за полной подписью кряду целых пять писем, одобряющих приговор суда и казнь?

— Ну да, — ответил он грубовато, — мы их поместили, это так, конечно, но, дорогой мой Ганс, то, что вы поместили в газете, — давайте уж говорить прямо! — это не отклики, а выкрики. Да, да! Истерические выкрики каких-то пьяных молодчиков ку-клукс-клановского типа. И поместили их вы, дорогой, — он говорил уже не "мы", а "вы", — поместили вы их на одной странице, а напротив, на развороте, дали обстоятельную и, надо сказать, очень убедительную

статью о роковом падении правового чувства у масс и в доказательство привели как раз пять этих писем. Вы думаете, это прошло совершенно незамеченным?

Положив руки на подлокотники, я смотрел ему прямо в глаза и слушал. Ведь ясно же, что он принес в своем портфеле уже готовый ультиматум и не уйдет, не поставив его передо мной во всей его грозной нерушимости. Шеф был сговорчивым редактором, он мог бесконечно долго закрывать глаза на работу какого-нибудь отдела, который проводит определенную линию, даже на то, что на его голову за это льют помой и изощряются в самой неприличной ругани правые газеты, — это ведь, в конце концов, только поднимает тираж. С истинным величием выносил он также стрелы сатирических журналов, угрозы анонимов, развеселые звонки хулиганов и даже то, что кое-какие объявления ускользнули от нас к соседям. Эти жертвы поднимали репутацию газеты. Но ведь жертва жертве рознь, и одна угроза не похожа на другую. Иногда ласковый совет помолчать и подумать весит во сто раз больше всех истощных угроз и криков. А именно такой совет ему, по-видимому, и дали.

Я ответил ему, что и у таких писем свои читатели: есть не один десяток тысяч таких, для которых крик "Бей предателя!" убедительнее всех статей на свете о праве и справедливости. Вспомните дело Дрейфуса.

Он мне ответил грубовато, хотя все еще ласково:

— Бросьте, Ганс! Это у вас попросту бесцельная болтовня. Никого эти ослиные вопли убедить не могут, и вы хорошо знаете, что подбирали. Будем хоть честными друг с другом.

— Честными? — переспросил я и пожал плечами.

Это взорвало его, но на этот раз он еще сдержался.

— И объективными, Ганс, да, еще, кроме того, и объективными! — сказал он. — Да будет выслушана и другая сторона. Это же основное правило нашей

юриспруденции. И когда суд его нарушит не в пользу обвиняемого, вы, юристы, ведь черт знает что поднимаете. А в газете, которую выписывают сотни тысяч, а читают миллионы, вы, судья праведный, сами отбираете нужных вам свидетелей. Да еще как отбираете!

— Пойдите, — сказал я, глядя на его покрасневшее лицо с тяжелыми глазами. — Но ведь для того, чтобы выслушать эту другую сторону, нужно, чтобы она не только была налицо, но еще и умела по-людски говорить и писать.

Этого он только и ждал, — сразу просветлел, успокоился, ударил пухлой ручкой по своей откормленной рыжей жабе, и она глухо квакнула, подпрыгнула и развалилась, а он полез в ее нутро и с легкостью фокусника выхватил оттуда четыре листика бумаги, сложенные вдвое.

— Ну, а это? — спросил он скромно и торжественно.

Две недели тому назад я действительно получил это письмо по почте, но не опубликовал его, а спрятал в одну из папок. Теперь шеф сидел и тряс передо мной его копией. Я хорошо знал историю автора этого письма — редактора пронацистской газетки "Факел", выходившей в нашем городе в дни оккупации. Этот редактор вдруг исчез, как сквозь землю провалился, в тот день, когда в наш город вошли союзные войска и первой запыхала редакция его газеты.

С полгода он прятался по предместьям, а потом его поймали, судили и приговорили к каторжным работам. Он даже где-то не то год, не то два просидел за решеткой, но кто его судил, где это было, а главное, как он освободился, я так и не знаю. Важно то, что вот уже с год он гулял по нашему городу, а судя по тому, что все газеты нашего города получали его письма под копирку, снова готовился спасти мир. Только теперь он ратовал за демократию, а особенно не мог нарадоваться на ту ее энергичную форму, которая была, по его словам, исполнена решимости за-

щищать свое достояние "всеми доступными ей средствами, от атомной бомбы до электрического стула включительно". "Лучше пойти на риск атомной войны и полного физического уничтожения человечества, чем потерять хоть что-нибудь из нашего священного достояния, — писал он в одной из таких статей, — пусть лучше падают на нас атомные бомбы, чем падет у нас наша демократия". Я, конечно, никогда не решился бы отправить это письмо в корзинку или редакционный архив, но передо мной лежало письмо этого же человека, написанное двенадцать лет назад. Тогда он писал: "Нас совершенно зря зовут антикоммунистами, — истина тут заключается в том, что коммунизм и коммунисты действительно являются первым и главным объектом нашего нападения, но так же энергично и последовательно мы боремся против любой формы демократии и демократизма, даже против простого либерализма, одним словом, против всякого учения или государственного строя, который кладет в основу безоговорочное признание равенства одного человека другому".

Я хранил тогдашнее письмо, двенадцатилетней давности, и письмо, полученное мной десять дней назад, в одной и той же папке и собирался поместить их в одном номере газеты.

Но этого шеф как раз и не знал и мое молчание понял по-своему.

— Вот поэтому-то, Ганс, нас и обвиняют в подыгрывании красным, — сказал он поучительно и спрятал письмо.

До сих пор с начала этого разговора, да и всю эту неделю, если говорить начистоту, мне было довольно-таки тоскливо, но тут я по-настоящему разозлился и на какую-то долю секунды вдруг увидел не себя и его, зарвавшегося сотрудника и добродушнейшего шефа самой большой газеты департамента, а совсем других людей и другое время. Как это бывало уже не один раз в течение последнего полугодия, я на одну секунду опять пережил тревожный рев сирены,

кошачий визг флейт и грохот барабанов — всю страшную музыку триумфальных маршей захватчиков в оккупированном городе. И в глубине этих годин я опять увидел зал, увешанный гипсовыми мордами обезьян, глубокое кресло, в котором сидел мой отец, — худощавый, щупленький, с растерянной улыбкой и близоруко моргающими глазами, — а перед ним стройную, злую, сухую, подтянутую фигуру офицера оккупационной армии; увидел я и себя — растрепанного мальчишку, вплотную прижавшегося лицом к неплотно затворенной двери, пахнущей сосной и воском. Все это было страшно далеко и, конечно, совершенно непохоже на сегодняшний разговор, но и там ведь все начиналось каким-то документом, и там приводились доводы, и там далеко не сразу и совсем не свирепо звучали ласковые, осторожные угрозы, и даже не угрозы, а просто предупреждения. И, вспомнив все это, я не мог уже ни хитрить, ни вести игру, а мягко, но прямо спросил шефа, так прямо, как никогда не осмеливался спрашивать раньше:

— Так что же вы хотите мне предложить, господин Ланэ?

Именно "господин Ланэ" — так его в те годы называла и моя мать. Он вздрогнул от неожиданности, но тут внесли кофе — великолепный мельхиоровый кофейник моей матери со стеклянным верхом, с массой ситечек, фильтров, отстойников, каких-то колес и суконок, — и я захопотал над столом. Пока я расставлял чашки, он смотрел на меня и думал, а потом бросил бумагу обратно в портфель, застегнул его и, улыбаясь, сердечно и дружески приказал:

— Ганс, это все надо прекратить.

— Да? — спросил я.

И так как в моем голосе не было действительно ничего, кроме любопытства, это взорвало его опять. Он тяжело отшвырнул мягкий портфель — он мягко шлепнулся на кресло — и почти закричал:

— Да, да, все это надо прекратить раз и навсегда! Если все редакторы будут вести такую линию, знаете, во что мы превратимся? Вот! — он ткнул куда-то в угол. — В коммунистический агитационный листок, в копеечную прокламацию, в воскресное приложение к "Юманите"! Вы хотите этого? Ну, так я этого совсем не хочу. Я им не слуга! Вы смотрите, до чего мы дошли! — Он снова распахивал портфель и выхватывал оттуда какие-то бумаги, письма, вырезки, тряс ими, а потом швырял на диван. — Вы видите, — говорил он яростно, — видите, что мне пишут о нашей газете? А с кем я говорил, вы знаете? Ну так вот, мне довольно! Я больше не хочу так! Себя мне не жалко, но газету, газету я вам не дам губить!

— Хорошо, — сказал я, — не будем губить газету, а главное — пусть больше вас не требуют туда, где вас сегодня так расстроили.

Он не слушал меня.

— И я еще желаю знать: кому мы служим, — кричал он, — на чью мельницу мы льем воду? Да, я вас хочу прямо спросить: кому и на чью? А? Вы не знаете этого? Вот и я не знаю. А это уж очень плохо, когда сотрудники газеты не знают, какому господу они молятся. Да, ради Бога, что же это такое? Девчонка убила отца, а мы вдруг вместо отчета о суде начинаем свергать правительство. Почему? К чему? Мне это не известно! Старый дурак выследил кавалера своей дочери, накостьлял ему шею и притащил в полицию — не заглядывай по окнам, а другой дурак, но в парике, дал ему полмесяца. Так вот, вместо того чтобы говорить по существу, плох этот приговор или хорош, мы начинаем орать, что не судья дурак, а весь строй плох. А раз строй плох, так, значит, делай социальную революцию, зови коммунистов? Выходит, что так. Поймали за океаном двух шпионов — Боже мой, на кого и на что мы тут только не обрушивались! Пишем и о ловцах ведьм, и о коррупции, и о подлогах, только о самих шпионах ни слова: ну как же, они — жертвы! Да что же это, наконец, такое?

Меня вот спрашивают: "Во имя чего все это делается у вас?" И я молчу и думаю: "А верно, во имя чего, зачем?"

— Я вам налью кофе, — сказал я мирно.

Но он уже не хотел остановиться и кричал:

— Почему тот виноват, этот виноват, президент виноват, премьер виноват, английская королева виновата, только коммунисты, даже пойманные за руку, только они ни при чем? Нет, в конце концов, хватит! Есть какие-то пределы для терпения, хорошенького-то понемножку...

Он давно себя накачивал для этого разговора, и было видно, что, несмотря на все — на то, что он шеф, хозяин газеты, а я его сотрудник, что его линия совершенно пряма и неуязвима, а у меня и линии-то нет никакой, одно сплошное шатание, что он профессор, а я никто, — он чувствовал себя передо мной все-таки отнюдь не твердо. А я поглядел на его трясущиеся руки, незастегнутый желтый портфель, на бумаги, которые он разбросал по столу, и вдруг совершенно ясно понял, что буффонада, происходящая между нами, никому не нужна и ни к чему не ведет. Единственно, что сейчас требуется, — это прекратить всякие разговоры. Ведь ни себя я не чувствовал прокурором, ни его не считал подсудимым. Кроме того, его положение и с этой стороны было понятнее моего. В самом деле — он хочет сохранить свою газету, которой грозят большие неприятности, и свою незапятнанную репутацию, потому что уж очень будет плохо, если заинтересованные люди начнут копать в его прошлом. А чего хочу я? Автор уклончивых статей, полных намеков на что-то такое, о чем я не смею сказать громко? Кому страшны мои булавочные уколы? Еще удивительно то, что вокруг этих однодневок разгораются какие-то страсти, старика куда-то вызывают, толкуют ему о какой-то опасности (это мои-то статьи опасны!), а он, пугаясь до смерти, орет на меня дурным голосом и трясет портфелем, набитым бумажной трухой. Как я могу

ждать от него чего-то иного? Разве уже вылетело у меня из головы некое письмо, написанное им пятнадцать лет назад, где он уже не вопросы задавал, как сейчас, а просто и уверенно ставил крест на всей цивилизации и говорил, что самое главное и самое важное сейчас — это пронести через этот страшный мир свое бедное человеческое сознание? Ну вот, он и выжил и пронес его, да еще стал героем. Так куда же я его толкаю сейчас, чего я от него хочу?..

В общем, я понял, что надо кончать, и сказал:

— Шеф, я все понимаю и со всем согласен.

— Ну и отлично! — рассерженно фыркнул он.

— Я все понимаю. Дайте мне обратно мою статью. —

И протянул руку.

Тут он сразу осекся, лицо его сделалось растерянным, а глаза близорукими. То, что ему не пришлось хитрить и чертить вокруг меня лисьи петли и, значит, все речи и ультиматумы, которые он так тщательно подготавливал, пропали даром, произвело на него впечатление осечки, как будто он примерился, размахнулся, чтоб ткнуть противника в челюсть, а тот пригнулся или отскочил — и вот вместо упругого ощущения удара только ноет вывихнутая рука, и никак не поймешь: что же случилось?

Я взял у него статью и бросил ее на стол. Он проворчал что-то вроде того: "А вы что, разве хотите сами?.." — и замолк, не зная, что сказать.

Я обошел стол с другой стороны, взял чашки — его и свою, — налил кофе и сказал:

— Не будем ссориться. Я все продумал и вижу, что нам хотя на время надо разойтись.

— Как? — кудачкнул он уже в полной растерянности, охваченный, может быть, настоящей тревогой. Все ведь шло совсем не так, как он думал: я сам уходи, а не он меня увольнял.

— На время, на время, шеф! — успокоил я его.

И после того, как я произнес это решительное слово разрыва, все мое раздражение, неприязнь, даже чуть не ненависть — все как ветром снесло. Ибо не

было уже передо мной врага, изменника, капитулянта, а было, наконец, только препятствие, которое я — наконец-то! — одолел одним рывком и о котором после этого уже не стоило размышлять.

— Пейте кофе, профессор, — сказал я и чуть не улыбнулся, потому что и это все ведь было когда-то.

Весь последний год я ненавидел этого человека, ненавидел все, что он делает, пишет, организует, редактирует, ненавидел его за все доброе, ненавидел за все злое, а больше всего за то, что он все время менялся в своей роковой значимости. То он был для меня действительно дядей Иоганном, давним другом моего отца, у которого я играл на коленях, — это был, конечно, миф, но так уж повелось издавна. ("Ах, я же помню вас, Ганс, когда вы еще были вот какой! Помните, как вы играли у меня на коленях?") Или: "Вы же играли у шефа на коленях, разве он вам в чем-нибудь откажет?" — это когда надо было замять какую-нибудь неудобную редакционную историю.) Потом пришла война, в город вошли нацистские войска, на фонарях появились повешенные, на улицах — убитые. Нашу семью покинули все. Мы жили за сорок километров от города, и когда Ланэ появился там и пришел сначала к матери, а потом к отцу, впервые проползло по почти опустевшим комнатам таинственное и скользкое, как змея, слово "предатель". Но на предателя он не походил никак, — этакий толстый, добродушно-унылый человек, молчаливо скитающийся по комнатам нашего почти опустевшего дома. Я хорошо помню, как он вздрагивал при каждом выстреле, как подавленно говорил: "Боже мой, боже мой, чем же это кончится?!" Как все остальное время сидел в углу дивана с книжкой в руках, но не читал, а глядел поверх нее, на противоположную стену. Ему не доверяли, при нем не разговаривали. Мать говорила про него: "Предатель", отец говорил про него: "Шкурник", а я украдкой смотрел в его круглые ореховые глаза и думал: "Так вот какие бывают шкурники!" Затем события пошли с не-

вероятной быстротой. На меня сразу свалились смерть отца, убийство и самоубийство в нашем доме, пожар...

А дальше началась Восточная война, и все завертелось так, что я сразу потерял счет времени и событий. Тут я впервые услышал, как затрещала по всем швам гитлеровская империя. Наш город, как находящийся в глубоком тылу, еще не бомбили, и поэтому война чувствовалась здесь меньше, чем везде, но меньше — это еще не мало вообще. Война нависала над нами, как грозовая туча. Город заполняли беженцы с запада и раненые с востока, и там, где они жили, лежали или останавливались, постоянно шел разговор о таких страшных вещах, как ковровая и уютная бомбежка, о том, что в городе стоят кварталы черных развалин, что людей заваливает в бомбоубежищах и они гибнут там. Рассказывали, как из зоопарка после бомбежки вырвались звери и метались по улицам. Они бежали не от людей, а к людям, и скажем, медведь ревел и тряс лапой, страус махал обожженным крылом, а слон становился на колени, поднимал хобот и жалобно трубил. Но что могли сделать люди, когда и под ними горела земля? А коралловый аспид, очень ядовитая и красивая змея, похожая на красное и черное ожерелье, по пожарной лестнице заползла на шестой этаж и смиренно свернулось под чьей-то кроватью. И в этих рассказах о развалинах больших городов, об улицах, где ползают африканские гады и трубят умирающие слоны, было что-то и от Уэллса и от апокалипсиса — в общем от легенд о конце мира и тотальной гибели человечества. Очень страшно было слушать также о том, как налетают самолеты. Вдруг начинают сразу гудеть все сирены, воют, воют, воют, люди, как крысы, шмыгают сразу в подполье, а те летят волнами — две, три, Бог знает сколько тысяч, — гудят, гремят и аккуратно въжигают квартал за кварталом. Вот тогда-то от прямого попадания зажигалки и сгорел наш институт. Я хорошо помню эти дни. В подвалы набивалось столько народу, что ни встать ни сесть; раз один старичок-

аптекарь умер от инфаркта, и труп его продолжал стоять, так как был со всех сторон зажат живыми людьми.

Шептались о русских снегах, о партизанах, о смерти Кубе и покушении на Гитлера, о том, как под ударами Советской Армии трещит восточный фронт, как пала европейская крепость и что одна только надежда у гитлеровцев *Neue Waffe* — новое оружие — панацея от всех болезней и бед. Уже по тому, как произносились эти слова, можно было понять, с кем ты имеешь дело. Один говорил и сам улыбался, и тогда я отлично понимал: "Какое там к дьяволу новое оружие! Ничего им не поможет! Оружие-то новое, да обезьяна старая (по-немецки это получается очень складно: "*Neue Waffe und alte Affe*")".

Другие произносили эти два слова с угрозой. "Посмотрим, — словно говорили они, — посмотрим, господа, что останется от Лондона и Парижа! Посмотрим, что будет на месте Москвы! Яма с зеленой водой и лягушками".

Были и третьи — паникеры. Они произносили эти слова шепотом и заглядывали в лицо: они всего боялись.

Четвертые делали значительные физиономии: "Я не знаю, конечно, что это за штука — новое оружие, но я слышал один разговор в бомбоубежище, — говорил очень сведущий человек, очень сведущий! — Это ужасно, ужасно! Бедные матери, бедные их дети!" Пятые — сразу же в крик: "Когда же, господа хорошие, когда же?! Ведь мы сгорим, как моль, пока вы там раскачиваетесь!"

"Но оно обязательно появится", — отвечали им шестые, и это была самая тупая, но зато и самая стойкая публика — столпы империи! И оно действительно появлялось, и то оказывалось сверхмощным танком "тигр", то сверхманевренным танком "пантера", то фаустпатроном. Все эти "фаусты", "пантеры", "тигры" должны были кончить войну еще в этом сезоне, а она тянулась, тянулась, тянулась неизвестно куда,

и все меньше оставалось земли, куда можно было попятиться. А потом появлялась очередная еженедельная статья Геббельса, и все понимали, что новое оружие еще впереди, еще о нем надо гадать и гадать. А что конец не за горами, чувствовали все. Ужасны были мелочи, говорящие о конце. Например, в магазинах появилось мясо диких коз и кабанов — за килограммный талон два килограмма. Знаменитая "Мадонна" была скатана в трубку и тщательно упакована, а памятники забиты в ящики, спрятаны в подвалы, зарыты. Ходить после десяти часов по улицам запретили. Ползли слухи о шпионах. В окрестные леса будто бы сбросили парашютистов. И было, например, такое: в кафе "Лорелея" один офицер на глазах у публики застрелил другого — встал из-за столика, подошел к другому и бабахнул в затылок полковнику, который сидел и читал газету. А потом оказалось, что все это шпионское дело, — только не ясно, кто из двоих шпион: убитый или убийца?

Вдруг газеты сообщили: вчера гильотинированы три очень известные женщины — оказались шпионками. Еще кого-то казнили за распространение рукописных листовок, еще — за спекуляцию продовольствием и еще — за грабеж после бомбежки. Появилось страшное слово "дефатизмус" — дискредитация власти — и такие же страшные, короткие дела в полицейских судах. Жить становилось не то что страшнее (конечно, страшнее, но истощались болевые способности людей), а бессмысленнее с каждым днем. И опять-таки не то что не было уж решительно никакого выхода немецкому народу, — выход был, и такой, и эдакий, — но стало ясно, что все пошло прахом. На долю одних уже досталась смерть, других еще ждет позор и разорение. Вот тут и исчез куда-то Ланэ. Потом я узнал, он не был предателем, оккупанты вывезли его в Германию. Пришла весть, что его гильотинировали в Баумцене. Это в корне меняло все дело. После победы в конференц-зале вновь отстроенного института водрузили его портрет, об-

вить траурными лентами и лаврами, и вскоре в нашей городской газете я прочел некролог, подписанный всем научным коллективом нашего института: "Погиб выдающийся ученый, честнейший человек, бесстрашный борец фронта Сопротивления". И тогда он вдруг появился сам, сильно поседевший, потерявший все зубы, немного припадающий на левую ногу, — отдавили во время допросов, — но живой и в высшей степени деятельный. Он вернулся, и сразу все закипело в его руках. Теперь он был виднейшим антифашистским деятелем, крупным ученым, почетным председателем муниципального совета, одним из секретарей Партии прогрессистов. И какие речи он тогда произносил над могилами павших бойцов! На каких собраниях выступал! С какими деятелями и как фотографировался в обнимку! "Нет, еще живы старые дубы", — говорили слушатели, расходясь после его выступлений. В отношении же ко мне он был по-прежнему старым другом моего отца, у которого я играл на коленях.

Шли годы. Умерла моя мать. Я окончил юридический факультет и год проболтался без дела, ибо и не такие, как я, юристы в то время занимались вычиткой корректур. И тут помог он, уже полностью отошедший от ученой деятельности и ставший редактором одной из самых больших газет нашего департамента. Он приехал ко мне домой, расцеловал, посадил в авто и увез к себе в редакцию. Там мы и стали работать. До войны это был листок самой средней руки: четыре полосы в будни, шесть — в праздник, при нем стало двенадцать и восемнадцать. Стало выходить иллюстрированное приложение "Мир за семь дней", появились статьи известных авторов. И как мы бушевали тогда в этой обновленной газете, какие тирады произносили, сколько у нас было энергии, любви к жизни, беспощадности к ее врагам! Как мы обличали тогда спрятавшихся в крысиных норах усмирителей, как громогласно требовали им смертных казней! Позорной веревки требовали мы пала-

чам Освенцима и Трешлипки. Это были траурные дни больших процессов, раскопок братских могил, торжественных панихид, открытия памятников Неизвестным солдатам. Это опять были дни клятв в зале меча и светлой веры и надежды на будущее. И гением мести, карающим во имя человечества и счастья его, казался мне тогда мой шеф. Ведь и он видел смерть в глаза, и он ползал по мокрому цементу Баумцена, и на него надевали смирительную рубашку и затягивали так, что трещали ребра. И было очень радостно думать, что теперь он плотно сидит в своем редакторском кресле и все громады сосредоточены в его пухлых, коротких пальцах.

Так шли годы. Затем наступил перелом, такой резкий и острый, что я долго не мог понять: что же произошло? Все, что казалось установленным на века веков, стало опять таким же неясным, как и десять лет тому назад. Добро и зло, ставшие в первые послевоенные годы уже бесспорными, ощутимыми, зримыми, осязаемыми понятиями, опять начали вдруг тускнеть, убегать, а под конец обменялись между собой местами. И уж нельзя было разобраться, кто враг и кто друг и что почетнее — ловить скрывшихся от суда нацистов или выпускать на волю даже тех, кто в свое время ждал петли.

Вот отрывок из моего репортажа, написанного сейчас же после оправдания одного из главных участников процесса военных преступников:

”Зал суда большой, квадратный, без окон, но от сияния сотни искусственных солнц нестерпимо светло и жарко. В нем и был под утро объявлен приговор.

Тридцать человек были приговорены к смерти, десять — к заключению на разные сроки, один же...”

Два солдата из комендатуры подошли к скамье подсудимых. Тогда с самого конца ее поднялся маленький, длинноволосый человек, почти карлик.

Он огляделся, сделал один шаг, потом другой и пошел вдоль стены к выходу — чем дальше, тем быстрее и увереннее.

На нем был глухой военный френч с отпоротыми нашивками на руках и, совсем не к месту, модные желтые полуботинки.

Карлик дошел до поворота и вдруг остановился.

Он увидел, что движение в зале сразу же прекратилось.

Все, кто был около двери, даже солдаты из комендантского отделения смотрели на него молча и не двигались.

Так в цирке смотрят на акробата, шагающего по проволоке под самым куполом цирка: неужели сумеет пройти? Карлик, видимо, испугался. Это было, может быть, только секундное оцепенение. Он сразу же и нашелся — повернулся и быстро пошел обратно к скамье подсудимых: он сидел на ней около полугода, и сейчас только на ней он чувствовал себя безопасно.

Он дошел до нее, сел, повернулся так, чтобы от дверей видели одну его сгорбленную спину. Тут к нему подошли защитник и комендант и что-то сказали, показывая на комнату совещаний, — очевидно, там был запасной ход.

Карлик долго молчал, потом резко и коротко кивнул головой и совсем отвернулся от них, потом вдруг сорвался и быстро пошел к дверям.

Он шел теперь вслепую, через весь зал, не разбирая дороги, и было видно, какого усилия ему стоило, чтобы не побежать. Но люди стояли на его дороге, и их взгляды как бы отбрасывали его назад. Он не выдержал этой невидимой преграды, остановился и дико посмотрел на толпу. Ему встретились неподвижные лица, остановившиеся глаза, но он был храбрый человек и поэтому решил идти уж до конца. Он вошел в толпу, и тут вдруг вокруг него образовалась пустота. Люди раздались молчаливо и отчужденно, так, как будто все боялись коснуться руками его рук, лица или костюма.

Тогда я встал и сказал свидетелю обвинения, сидевшему около меня:

— Идемте.

Но он мне не ответил и продолжал смотреть.

— Что вы на него смотрите? Что в нем интересно-го? — повторил я более настойчиво.

И, продолжая смотреть на карлика, который теперь, вбирая голову, косо, почти панически бежал к дверям, свидетель спокойно ответил:

— А вот то, что он оправдан!”

С этого всего и началось. Потом освободили и тех, кого осудили раньше на больших и малых процессах, и они стали появляться среди нас в глухих военных формах с орденами и значками военных лет. Наряду с акафистами водородной бомбе и атомной гибели появились издевательские призывы к милосердию. ”Забудем все прошлое!” — орали газеты, и тогда по улицам замаршировали солдаты, солдаты, солдаты, сначала наши, потом развеселые американцы, в городах начались учебные затемнения. Вместо восстановления разрушенных столиц и деревень производительные силы мира начали изготавливать смерть во всех видах. Она была в бомбах, в газах, пахнущих орхидеями, в изящных перламутровых облатках, похожих на пудреницы, в мутных, бурых колбах, где неясно, бесшумно и грозно пульсировала живая плазма. Это было поистине страшная индустрия уничтожения, и скоро вся нация, каждый труженик ее уже работал не во имя жизни, своего ребенка, не на свою семью, не на самого себя, а исключительно на смерть неизвестного солдата. И вот в тот год, когда людям наконец, огромному большинству их, окончательно вбили в голову, что самый надежный и неподкупный гарант мира — война, тогда и начали расти, как поганки из навоза, сенсационные процессы о невероятных убийствах, малолетние бандиты, школьники с ножами, девочки, пустившиеся во все тяжкие, шпионы и изменники, слухи о том, наконец, что враги нации всюду и везде, что ими могут быть даже наши жены или наши друзья, — люди, садящиеся ежедневно за один стол с нами. Кого-то хва-

тали, судили и осуждали, до крайности упростив судопроизводство, без доказательств, без свидетелей, фактически без всякого суда, на основании каких-то чрезвычайных законов об охране государства. Людей казнили, а после я подбирал письма читателей и печатал статьи за и против их казни.

И хотя я был юристом, но ничего не мог понять толком в этой вальпургиевой ночи и поэтому молча обращал глаза к тому креслу, где сидел мой шеф, — разум и совесть нашей газеты. Но и он молчал до сегодняшнего дня, и вот вдруг разговорился.

Зазвонил телефон, и когда я снял трубку, то сразу понял, кто это. Узнал меня и тот, кто звонил.

— Это вы, Ганс? — спросил он.

Я ответил, что да, я.

— Ну, здравствуйте, дорогой! Смотрите — через столько лет я узнал сразу ваш голос! Вы знаете, я страшно обрадовался, когда получил ваше письмо. Как вы, однако, узнали, что я здесь?

Я объяснил ему, что прочел о его приезде в местной газете, а адрес узнал через бюро.

— Ах, так? — усмехнулся он по ту сторону провода. — Значит, вы все-таки получаете нашу газету? Ну, и я тоже всегда читаю ваши статьи и хотел написать вам, да не знал, будет ли вам это приятно. — Он опять засмеялся. — Ладно, об этом после... Так вы пишете, что вы страшно поразились этой встрече на почте? А вы знаете, что этот тип сейчас занимает очень видное место у себя на родине?

— Ну! — воскликнул я. — Нет, этого я не знаю.

— Ну, не официально, конечно, занимает, до этого еще они не дошли — стыдятся, — но общественная его карьера хоть куда! Он уже заместитель председателя фонда ветеранов войны и член президиума общества бывших ветеранов.

— Да разве он был в плену? — поразился я.

— Был, как и все ему подобные. Сдался англичанам за два дня до капитуляции. Если вас все это интересует и вы ничего не боитесь, зайдите-ка ко мне.

Мы собираем все материалы, касающиеся наших старых друзей. А вот когда-нибудь пригодятся для будущих процессов.

— И даже очень скоро пригодятся, — ответил я. — Так дальше не может продолжаться.

Он неопределенно хмыкнул.

— Да, по вашему письму я почувствовал, что вы так думаете. Вот даже повстречали Гарднера и не поверили своим глазам. Полисмена позвали, и тогда выяснилось, что перед вами стоит лояльнейший и охраняемый всеми законами гражданин, который каждую минуту может возбудить против вас иск за оскорбление личности. Этого и испугался сержант. А вот когда я приезжаю на съезд ветеранов и борцов Сопротивления, у меня нет даже полной уверенности, что этот самый сержант мне даст дожить до конца съезда. — Он помолчал, подумал. — Вы сейчас свободны?

Я ответил, что у меня сидит гость, да уж и не поздно ли?

— Нет, не поздно, — ответил он. — Приезжайте тогда, когда освободитесь.

Я положил трубку и сказал Ланэ: "Извините, но сегодня у меня была такая невероятная встреча, что..." — и нарочно не окончил. Старик мельком — мой разговор по телефону его очень насторожил и встревожил — покосился на меня, потом взял из сахарницы два куска сахара, положил осторожно в чашку и, помешивая ложечкой, спросил:

— Это какая же? — а пальцы у него уже слегка подрагивали.

— Да вот, понимаете... — и я рассказал все.

На него я не смотрел, но ложечка что ни секунда, то сильнее дребезжала в его руке, а потом он и вообще поставил чашку на стол и спросил, только для того, конечно, чтоб спросить:

— А это был точно он? Вы не могли ошибиться?

Но я даже не ответил на этот жалкий вопрос, только усмехнулся. Тогда он снова так же осторож-

но поднял ложечку и положил в чашку, но только она звякнула, как он с отвращением отбросил ее на стол.

— Черт знает, что делают эти идиоты! — сказал он искренне и сильно. — И к чему? Кого они, дураки, дразнят? Народ, что ли? Так народ дразнить нельзя! Милость, конечно, милостью, без нее не обойдешься, но... И, говорите, совершенно здоров?

Как яблочко румян.
... И весел бесконечно... —

продекламировал я. — И говорит, что его выпустили для общественного спокойствия. Но вот вам, я вижу, от этого не спокойнее, мне тоже. Так кто ж такие эти судьи милосердные? Вы думали об этом?

— Болваны они, — сердито отрезал старик, — болваны, вот и все, о чем тут еще думать?!

— Ах, шеф, но и болванам так же не хочется умирать, как и нам с вами, — улыбнулся я. — И трусы хотят войны не больше, чем храбрые. Значит, дело не в этом.

— Ну, а в чем же? — безнадежно вздохнул Ланэ и вдруг вскочил с места. — Ганс, вот вы опять вдаетесь в высокие материи. Да ну их ко всем чертям! Поверьте, что появление этого негодяя мне так же неприятно, как вам, но только не ищите, пожалуйста, за ним, как теперь любят выражаться, силы войны и тайных происков.

— Почему же тайных? — спросил я. — Как же тайных, когда...

— Когда мы ежедневно читаем газеты и сами даже издаем одну, самую крикливую, — улыбнулся Ланэ. — Ганс, милый друг, юный сын моего старейшего друга, если взять и выписать на бумажку имена всех тех почтеннейших людей, кого ежедневно то одна, то другая газета называет поджигателями, то не останется ни одного мало-мальски порядочного человека, которого не следовало бы повесить, по крайней мере за шпионаж. Наш брат, конечно, свое дело делает —

мы не даем людям успокоиться, — и это уж само по себе великое дело. Но, дорогой, пророков среди нас нет и не будет: ни один еще святой не работал репортером.

— А вы ведь однажды были самым настоящим пророком, дорогой шеф, — сказал я.

Ланэ махнул рукой.

— Ну да, действительно, нашли пророка! Я старый грешник, дитя мое, — он засмеялся. — Старый грешник, который давно не верит ни во что хорошее, а все-таки стремится к добру, а где оно и что оно, никто на свете толком не знает. Тот подлый змий все-таки не солгал Еве, когда говорил, что только одному Господу Богу известно полностью, что хорошо, а что плохо.

Он совершенно успокоился, взял чашку, стал пить маленькими, аккуратными глотками. Под старость он говорил так же, как и писал, — длинно, многословно и возвышенно. (Впрочем, замечу в скобках: все мы, когда нам нечего сказать, начинаем с Адама и Евы, с бесконечной сказки про добро и зло.)

— И все-таки вы однажды были самым настоящим пророком, — повторил я упорно. — Это было в самом начале оккупации. В столовой тогда сидели вы и Ганка и речь шла о первых повешенных. И вот когда отец стал долго, красиво и возвышенно, — а вы ведь знаете, он умел говорить красиво, — рассуждать о новых антропоидах, дерзнувших, — слышите, как пышно: "дерзнувших"! — поднять руку на человека, помните, что вы тогда ему ответили?

Ланэ подумал и сказал:

— Представьте себе — нет, не помню. Но, наверное, что-то такое, что на много лет запало вам в память.

— Даже на всю жизнь. Вы сказали отцу примерно: "Профессор, пора бросить разговаривать и клеймить презрением. Слова словами, все это очень красиво и правильно, но вот если откроется дверь и в столовую

войдет самый настоящий питекантроп и потребует у вас свой череп, который хранится у вас в сейфе, что вы тогда будете делать?”

Ланэ молча смотрел на меня, и на лице его я прочел сразу несколько разнородных чувств: тут были и неясный страх перед воспоминанием, и умиление перед временем, когда он был моложе на пятнадцать лет, и озабоченность, и колебания. И вдруг он вскочил с места.

— Да, Ганс, я все вспомнил, но то, что последовало тогда за моими словами, эта была чистая случайность! — воскликнул он, очевидно, действительно сразу вспомнив все.

— И дальше вы сказали, — методически продолжал я: — ”И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят и ведут идиотский разговор о Шиллере и Гете, — так черт бы подрал, — так сказали вы, — эту дряблую интеллигентскую душонку с ее малокровной кожей!” Но, к сожалению, ни один из интеллигентов, сидящих в зале, вас тогда не послушал, и вы знаете, чем это кончилось. И вот я весь последний год думаю: да полно, стоит ли тот мир, который мы создаем с вами, хотя бы наших покойников?

Пока я говорил это, Ланэ сидел, качал в такт моей речи головой, и глаза его были тихи и спокойны. Только при словах ”мир, который мы создаем” он чуть поморщился, но возмутиться у него уж не хватило ни сил, ни желаний.

— Вы думаете все-таки, что вы говорите, Ганс? — сказал он вяло и ворчливо. — ”Мир, который мы создаем”. Но ведь это тот самый мир, в котором живете и вы, судья праведный, не забывайте же об этом, пожалуйста.

— Живу вместе с Гарднером! — напомнил я ему. — С палачом моего отца, ныне чудесно избавленным от темницы. Ныне он продолжает то дело, за которое пятнадцать лет тому назад он убил моего отца! Как же так? Почему? Ведь он не переменялся,

он сам мне сказал об этом. Значит, не только он стал нам нужен, но и мы стали для него подходящими партнерами. Но тогда чей же мир мы строим? Кому он нужен? Кто в нем будет жить?

Ланэ молчал.

— Нет, шеф, говорю серьезно, или я сошел с ума, сидя на этих невероятных убийствах, или мир взбесился? Третьего не дано.

Он мне вдруг сказал очень просто и искренне:

— "Если это сумасшествие, Ганс, то в нем есть система". Так, вероятнее всего, словами Шекспира ответил бы вам ваш батюшка, если бы он слышал наш разговор. Вы правы, ваш отец всегда любил выражаться красиво.

— И это его погубило, — грустно улыбнулся я. — Когда я буду писать воспоминания о последнем годе его жизни, я так и начну: "Отец мой любил говорить красиво". — Я помолчал и посмотрел на моего шефа. — Можно мне будет посвятить их вам?

Он вдруг спросил:

— Ганс, можете вы мне поклясться, что в вашем вопросе сейчас не прозвучала угроза? Считаете ли вы, что вам есть чем мне грозить?

Я ответил ему просто и очень серьезно:

— Откровенно говоря, еще не знаю. Все зависит от того, как толковать некоторые правовые понятия. Вы смолoduшничали тогда перед Гарднером, это так. Но, прежде всего, что такое малодушие, какова юридическая природа его? Если оно право необходимой обороны, то скажу под присягой, в те годы вы его не превысили — речь действительно шла о вашей жизни. Но вот второй вопрос, и существеннейший: не превысили ли вы его сейчас, зарезая мою статью про живого Гарднера? Тут вопрос о вашей жизни не стоит, вы — редактор, а он — только преступник.

Он вскочил с места, как заводной.

— Да кто вам сказал, что я отказываюсь ее печатать? Кто вам сказал это? Вот еще маньяк! Честное слово, маньяк! Я взял, чтоб посмотреть, как

она уляжется в передовицу, а вы уж невесть что подумали... Посылайте ее завтра в типографию и не треплитесь!

Ровно через три дня Юрий Крыжевич сказал мне:

— Как это вам удалось подбить старика на то, что он согласился пропустить эту статью? Ведь это же полный скандал!

Мы сидели в кафе на крыше двенадцатиэтажного отеля "Регина" в весенний вечер — светлый, теплый, сладко пропахший душистым горошком и табаком. Возле нашего столика бесшумно, прямо из клумбы, бил невысокий фонтан, попеременно то синий, то красный, и цветы на клумбе все время мелко вздрагивали. Город лежал глубоко внизу, и даже самые большие огненные рекламы — синие, красные, желтые — находились под нами. Было так высоко, что до нас доносился только ровный, однообразный шум ночного города.

Крыжевич усмехнулся и сказал:

— И знаете, после этой статьи разумнее всего вам было бы не ходить сюда — слишком уж высоко!

Я не мог уловить по его тону, шутит он или нет, и ответил:

— Ну, я еще не страдаю манией преследования.

Он задумчиво перегнулся через балюстраду, посмотрел вниз и, поднимая голову, спокойно сказал:

— А еще одна такая статья, даже четверть такой статьи — и вам придется заболеть ею. Впрочем, вы и сейчас не избавитесь от неприятностей. Шеф вам здесь не защита. — Он говорил совершенно спокойно, серьезно, и я понял, что он имеет в виду что-то совершенно конкретное, но я не спросил, что именно, а он сейчас же заговорил о другом — о шефе.

— Ваш шеф в общем-то благая сила, — сказал он задумчиво, — в этом никаких сомнений нет. Но сейчас рассчитывать на него вам просто глупо. Скорее

всего ваша статья — последняя капля в чаше его многотерпения.

— Очевидно, — сказал я.

— И вы так думаете? Вот тогда и возникает вопрос: до каких же пределов он может пойти в своем желании загладить вину перед хозяевами, ибо они от него за эту статью могут потребовать очень многого? Вполне возможно даже, что они нарочно поджидали какого-нибудь такого демарша и теперь очень рады тому, что могут предъявить старику ультиматум — это на них очень похоже!

Он говорил задумчиво, тихо, смотря не на меня, а на город, блистающий под нами. Это были мысли, высказанные вслух.

— На очень многое он не пойдет, — ответил я ему. — Как хотите, но он честный человек.

Словно не слыша меня, Крыжевич вынул деньги, положил их под тарелку и встал.

— Идемте, — сказал он. — Я остерегаюсь ходить слишком поздно.

Потом мы очень долго шли по маленьким узким кривым переулочкам и говорили о том, о сем, о докторе Ганке, о Марте ("Самая замечательная женщина из всех, которых я только знал!" — воскликнул Крыжевич), потом немного о том, что я буду делать, уйдя из редакции, и опять о моей статье. И только когда мы уже стали прощаться, пожимая мне руку, он вдруг сказал:

— Ганс, помните только одно: подлецы никогда не делают ничего сами, для этого у них есть честные люди, которым стоит только шепнуть словечко — и все будет обделано за два-три часа в лучшем виде.

А статья моя действительно вызвала переполох. Когда я приехал из апелляционного суда, у всех сотрудников на столе лежал сегодняшний номер и они читали именно мою передовую. А когда я вошел в машинописное бюро, то увидел, как по-разному смотрят на меня и мои славные барышни и мои ис-

полнительные старушки, — кто с улыбкой, кто с любопытством, а кто даже с некоторой оторопью. Затем вдруг ко мне влетел редактор соседнего отдела и крикнул:

— Ух, старина, до чего же ты их здорово откатал! Но ты обеспечил себе тыл? Письмо этого редактора у тебя действительно имеется?.. Ну, тогда валяй их на все корки! Тогда все правильнее правильного! Не сдавайся, старик!

Потом были звонки от читателей. Звонили целый день. Кое-кто недоумевал: да неужели же я ничего не приукрасил? Кто-то спрашивал: "И фамилии подлинные?" Кое-кто сообщал, что и он знает такой же случай. Вот, например, в соседнем с ним доме, в квартире 20... И, рассказав все про своего соседа, спрашивал, нельзя ли и про него написать такую же статью, а материал он даст самый достоверный, если нужно, даже двух свидетельниц приведет. Был и такой звонок: кто-то, судя по голосу, очень злой и желчный, попросил позвать к телефону автора статьи, а когда я подошел, спросил:

— Это именно вы, господин Мезонье, а не секретарь отдела?

Я сказал, что нет, это точно я.

— И вы действительно написали эту гадость? — спросил мой собеседник с таким неподдельным возмущением, что я даже улыбнулся.

— А что вас интересует? — спросил я.

— Как вас земля еще носит, вот что меня интересует! — заорал он так, что даже задребезжала мембрана. — Это вы к чему же призываете? К убийству, что ли? "Враг гуляет между нами" — что это за лозунг такой? Гарднера выпустили по болезни. А если человек, кто б он ни был, болен, значит, он мне не враг, а враг мне тот, кто подбивает меня линчевать больного. Вы что же, уважаемый, опять виселиц захотели? Мало вам было их при нацистах?

— Позвольте, позвольте, — спросил я, несколько растерявшись, — а кто вы такой будете?

— А какое тебе дело, кто я такой? — закричал он в телефонную трубку. — Христианин я — вот кто я такой, уважаемый господин Мезонье!

— И, я надеюсь, вы точно также, — спросил я, — согласно христианскому закону, звонили во время оккупации и нацистам? Ну, хотя бы редактору той газеты, за которого вы так возмущаетесь, вы звонили по поводу его передовых?

— Да, звонил! — заревела телефонная трубка. — А какое тебе дело, мерзавец, звонил ли я или нет? Тебя это совсем и не касается. Вот я тебе звоню и говорю, что ты негодяй, поджигатель! — и он со звоном обрушил трубку на рычаг.

Затем позвонил еще кто-то и тихо сказал:

— Извините, господин Мезонье, я часто вижу, как вы гуляете по улицам. Сегодня мне очень хотелось подойти и пожать вам руку — и от себя, и от товарищей, — но у вас всегда такой отсутствующий вид...

Я спросил:

— Речь идет о нынешней статье?

Он ответил:

— Ну конечно.

Я спросил:

— И как, по-вашему, я правильно ставлю вопрос?

— Ну, — ответил он, и я почувствовал, что он улыбается, — это мало сказать, что правильно.

А потом позвонили из экспедиции нашей газеты и сказали, что по распоряжению полиции номер газеты конфискуется по всему городу, но только у газетчиков уже ничего не осталось, номера продаются по двойной цене на улице. Вечером я встретился с Крыжевичем.

А утром следующего дня меня вызвал к себе шеф.

Когда я вошел в кабинет, шеф разговаривал с двумя посетителями. Я могу их хорошо описать, потому что оба они запомнились мне сразу и на всю жизнь. Один из них был высоким, худым человеком,

с желтым, пыльным лицом, длинными прямыми складками около рта и носа и удивительной смесью совершенно черных и совершенно белых, седых волос. Он сидел около стола боком, и я сразу понял, кто это такой. Другой посетитель, тоже высокий и молодой, с богатырскими круглыми плечами и круглым же затылком, сидел ко мне спиной и даже не повернулся, когда я вошел, зато сразу же вскочил и засиял шеф. По его чрезмерной оживленности, по обворожительной и любящей улыбке, предназначенной только мне, я понял, что речь шла о моей статье. Эти двое затравили его, как зайца, и вот он прячется за улыбку, как за кусты.

— Ну вот, — сказал шеф и потер ручки, как будто бы все это его очень радовало, — вот и сам автор этой столь нашумевшей статьи. А это, — обратился он ко мне, — тот журналист, письмо которого вы цитировали. Он желает с нами объясниться и представляет ряд соображений и новых данных. Надо послушать его, Ганс.

— Как и нам выслушать вас, — сказал молодой и повернул ко мне холеное, широкое, полное, уже чуть обрюзгшее лицо. — Здравствуйте, господин Мезонье. Я адвокат, представляющий интересы господина Гарднера, который, к сожалению, только вчера поручил мне поговорить с вами. Если разрешите, я хотел сейчас бы и приступить.

— Я вас слушаю, господа, — ответил я. — Что вам угодно?

Шеф поднялся из-за стола, собрал какие-то бумаги, засунул их в папку и, держа ее как щит, быстро и суетливо сказал:

— Ну а я пошел, господа. Куча дел! Мы с вами, Ганс, еще потом поговорим. До свидания! — И, очень озабоченный, он выскочил из кабинета.

— Замечательный старик ваш шеф, — мечтательно сказал редактор фашистской газеты, смотря на дверь. — Ясный и острый ум, и это после стольких переживаний...

Я не ответил, и наступила неудобная пауза.

— Так что вам угодно, господа? — повторил я, проходя за стол и садясь на место шефа.

Смотря прямо мне в глаза, адвокат ответил мягко, ласково и нагло:

— Ну, прежде всего дружески предупредить вас, господин Мезонье: вы допустили серьезную ошибку, и ее последствия уже необратимы.

— А именно? — спросил я так же мягко и нагло. — Я что-нибудь наврал, перепутал, например, факты, оклеветал кого-то? Может быть, ваш почтенный доверитель в действительности никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, уважаемый коллега, никогда не издавали нацистской газеты и я просто спутал вас с вашим однофамильцем?

— Кстати, — вдруг спохватился редактор фашистского листка, — вот вы цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с ней полностью?

— Вполне, — сказал я радушно. — После конца разговора я вам вручу фотокопию. Это все, что вас интересует?

— О, нет, далеко не все, — улыбнулся редактор. — Насколько я знаю, цитированная вами статья никогда и нигде не публиковалась?

Тут я засмеялся и сказал:

— Совершенно верно, никогда и нигде! Но когда я сегодня же вручу вам фотокопию, вы увидите, что машинописный текст содержит множество мелких помарок, сделанных вашей рукой. Учтите, что этот документ находится в моих руках уже очень давно — лет тринадцать по крайней мере. Он был вручен лично шефом, когда шеф еще работал в институте, моей матери и хранился все время в ее бумагах. Цитированные строчки, как вы безусловно вспомните, — несколько строк вашего письма в редакцию, написанного от имени группы сотрудников института, отрекшихся от моего отца и осудивших всю его деятельность.

Наступила пауза. Редактор все еще улыбался, но с каждой секундой улыбка его становилась все задумчивее, тусклее, а потом он и совсем посерьезнел. Я безусловно вышиб из его рук очень сильный аргумент.

— Так я вам буду очень благодарен за фотокопию, — сказал он наконец с легким поклоном. — Но, возвращаясь к вашей статье, я должен сказать, что вы совершенно неправомерно представили дело так, как будто вами цитируется текст какого-то опубликованного фельетона.

— А, чепуха! Разрешите-ка лучше мне, — досадливо отмахнулся от редактора адвокат. — Опубликовано, не опубликовано — дело, в конце концов, не в этом! Такая статья есть — это главное, а вам не надо было оставлять компрометирующие документы! Но, господин Мезонье, ваша статья содержала прямой и очень деятельный призыв к убийству моего клиента, и это уже совершенно недопустимо.

Я сидел и молча смотрел на его полное, чуть обрюзгшее лицо, чем-то напоминающее мне лицо Оскара Уайльда, на спокойные глаза, изобличающие пронырливого, но не очень умного человека. А он продолжал:

— Как вот, например, понять такие строчки: "И вот тут возникает вопрос отнюдь не меньшей важности. Государство по каким-то своим, очень особым соображениям отказывается карать убийцу. Но что случится, если меч, выпавший из рук одряхлевшей Фемиды, подхватит брат, отец, сын жертвы или даже сама жертва, если она по непостижимому счастью окажется живой? Одним словом, что должна делать юстиция, если жертва казнит своего палача? И не приведет ли это, в конце концов, к возрождению библейского талиона, к тому знаменитому "око за око, зуб за зуб", при котором роль государства доведена до нуля? А что делать с мстителем? Повесить его за убийство? Но это значит только довершить то, что не сумели доделать наши общие враги. Посадить в тюрьму? Но уже сажали! И самое опасное. Если и

посадить и судить, то можно ли быть уверенным, что человек, убивший собственного палача, все-таки не будет оправдан присяжными? А когда это произойдет, не будет ли это как раз тем прецедентом, который снова восстановит права ножа, револьвера и убийства из-за угла? Как забыть далее, что государство, осуществляющее великий принцип "Мне отмщение, и аз воздам", так же не вправе оказать произвольную и преступную милость убийце, как и покарать за убийство невинного?" Достаточно ясно, правда? И вот этих-то строк, — адвокат постучал согнутым пальцем по газете, — одного этого места вполне достаточно, чтоб возбудить против вас судебное преследование за подстрекательство к убийству. Вы юрист и должны знать, что это такое.

Он замолчал, ожидая моего ответа. Но я тоже молчал. Мне было совершенно ясно, что все, что говорит этот сукин сын, очень разумно. Правда, возбудить дело против меня сейчас все-таки довольно трудно. Такие процессы и осуждения по ним возможны только после совершившегося покушения. Но разве не абсолютно ясно, что это же отлично сознают и мои противники? Так, значит, они уже приняли все меры к тому, чтобы угроза по крайней мере хотя бы выглядела реальной. Конечно, покушение будет совершено в надлежащие сроки и с надлежащими результатами. Негодяй получит несколько шишек на лбу или синяк, преступник будет задержан на самом месте преступления, да и всего вероятнее он даже бежать-то не будет, и при первых же допросах выяснится, что на преступление его подтолкнула статья известного журналиста (называется моя фамилия), и вот уже загудело, завертело меня громоздкое, бестолковое колесо юстиции. Все это было для меня вполне понятно, и я даже знал по опыту, как это делается.

— Итак, господа, — сказал я, — мне все понятно, кроме одного: чего же вы все-таки от меня хотите?

Смотря мне в глаза, адвокат ответил:

— А наши условия будут достаточно жестки, господин Мезонье. Мы будем просить прекратить вашу разрушительную деятельность, то есть, — поправился он, — разрушительную, конечно, только в той части, которая непосредственно направлена на разжигание междоусобной войны. Вы правы, но вы чрезмерно далеко зашли. Перед вами два потерпевших. Один из них пришел со мной и имеет честь с вами разговаривать. Другой, представителем которого являюсь я, мог прийти вчера, но сегодня он уже не придет.

Он говорил благожелательно, тихо, но все время смотря мне в глаза. От его тяжелого взгляда и ласковости мне стало так неприятно, что я грубо спросил:

— Но неужели Гарднер стал за эти дни таким трусом?

— Трусом? — спросил адвокат с хорошо разграниченным удивлением. — Нет, конечно. Но он вообще перестал быть человеком. Он убит вчера ночью за городом.

Надо сознаться, удар был подготовлен и нанесен мастерски. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. Мне мгновенно представилось все то, что неминуемо должно свалиться на меня, на шефа, на всю газету вообще. Говорить дальше было уже бессмысленно. Я скомкал конец разговора и почти выбежал из кабинета. Через час репортер криминального отдела принес первые подробности. Труп Гарднера был обнаружен в небольшом лесу, вернее — загородном парке, в одной из старых, заброшенных аллей. Он лежал на поляне лицом вниз, а все лицо, от уха до уха, пересекал рубец, очень тонкий, запекшийся по краям черной, как потемневшая смола, кровью. Одежда убитого, особенно пиджак, была смята, разорвана, затоптана, и вообще впечатление было такое, как будто Гарднер попал под машину и его минут пять тащило по дороге. Однако ясными оказались только два об-

стоятельства. Первое: смерть последовала от массивного размозжения мягкого мозгового вещества каким-то тупым орудием, возможно, обухом топора, и наступила около десяти часов тому назад. И второе: труп был перенесен с другого места, тащил его один человек, сначала на руках, а потом волоком по земле. Причин убийства вечерние газеты не приводили, хотя и называли преступление таинственным, знаменательным и даже многозначительным.

Наутро мне позвонил шеф и сердито спросил: — Ганс, я вас ни о чем не спрашиваю, но надеюсь, вы не такой болван, чтоб сунуться за информацией в полицию самому?

Я сказал, что как раз и собираюсь идти сейчас туда.

— Ну, тогда я вас очень попрошу, — сказал шеф тревожно, — ни в коем случае никуда не соваться. Достаточно и того, что уже есть.

— А что же такое есть? — спросил я.

Он сердито хмыкнул.

— А это как раз то, что нам еще придется сегодня уяснить полностью на собственной шкуре. Во всяком случае развернутых объяснений теперь не избежать. Подстрекательство к убийству через печать — знаете, что это такое по нынешним временам?

— Да, но кто же подстрекал-то? — спросил я.

— Да мы же, мы же с вами! — заорал он в трубку. — Вы да я, старый дуралей. И отвечать нам придется обоим, и, к сожалению, кажется, даже по ровну.

И он бросил трубку.

А вот что я узнал в полицей-президиуме.

Убийство, несомненно, носило явно выраженный политический характер. Все деньги и ценности — часы и браслет — оказались целыми. В день убийства, еще до обнаружения трупа, президенту полицей-президиума прислали вырезку из газеты с моей статьей. На полях ее крупными красными буквами было выведено: "Преступление и наказание". Как обнаружил осмотр штемпелей, опущено это письмо было в райо-

не нахождения Комитета коммунистической партии. Далее шла (я цитирую полицейское коммюнике для печати), так сказать, принципиальная часть. Учитывая все это, само собой напрашивался вопрос: как же расценивать действия автора статьи? Ясно: даже не поднимая вопрос о достоверности фактов, изложенных в статье, то есть о клевете, приходится прийти к выводу, что весь ход рассуждений господина Мезонье носит нетерпимый характер и она вполне способна вызвать эксцессы вроде происшедшего. Ясно и то, что автор если и не прямо подстрекал, то обязан был предвидеть реальные последствия своей статьи, тем более что он и сам является достаточно опытным юристом. Таким образом, публикация статьи может быть квалифицирована как вполне обдуманное преступное действие, направленное против жизни и здоровья лиц, неугодных автору, а это полностью соответствует такой-то и такой-то статьям кодекса.

Это заявление было сделано сначала устно в кабинете президента несколькими журналистам, а потом распространено в виде официального документа, который кончался так: "Таким образом, налицо преступление, начатое три дня тому назад в редакции газеты и затем полностью законченное в окрестностях города. Разумеется, предполагать согласованные действия двух лиц — журналиста и физического убийцы — невозможно. Не равна и доля их ответственности. Однако основание для привлечения господина Мезонье к уголовной ответственности безусловно имеется. Тем не менее ничего более ясного сказать пока нельзя, так как этот вопрос касается компетенции прокуратуры, а не полиции. Дело изучается органами государственного обвинения, и соображения тут могут быть самые различные".

Что это значило, я узнал полностью через два дня, когда мне позвонил по телефону Юрий Крыжевич.

Он сказал, что зайдет ко мне сейчас же, пусть только у меня никого не будет, и по его тону я по-

нял, что истории с убийством он придает чрезвычайное значение. Так оно и было на самом деле.

— Ну, — сказал он, проходя в комнату и на ходу расстегивая пуговицы на плаще, — на этот раз, кажется, вы дописались уж по-настоящему. Что говорит ваш шеф?

Я усмехнулся. Шеф мой мне ровно ничего не говорил, только вздыхал да качал головой, даже звонить и то перестал.

— Наверное, все звонит и спрашивается о здоровье? — спросил Крыжжевич. — Как, и не звонит даже? Ну а вы-то ему пробовали звонить? Тоже нет? А почему?.. Ну и правильно! Сейчас самое правильное — вам обоим молчать и ждать, чем все это кончится.

— А вы думаете, чем? — спросил я.

Он ничего не ответил, только пожал плечами.

Пережил я за эти два дня очень много.

Гроза надвигалась на меня со страшной постепенностью. Как будто даже ничто не изменилось вокруг меня. Я по-прежнему ходил в редакцию, аккуратно отвечал на письма читателей, принимал посетителей, подписывал к набору материал своего отдела. По-прежнему ко мне то с воплями, то с руганью, то с обольстительными улыбочками входили (или врывались) обычные мои посетители — бандиты, якобы невинно оклеветанные прессой, мужья, оскорбленные в лучших своих чувствах, девушки с разбитыми сердцами, чрезмерно удачливые адвокаты по криминальным делам. Никто никогда не говорил со мной о моей статье, хотя, конечно, знали про нее все. Но ведь и то надо понять: у человека, пришедшего в судебный отдел, у самого земля горит под ногами, так ему ли до чужих бед и смертей?! Почти прекратились и звонки. Зато по редакционным кабинетам поползли какие-то смутные слухи. Я долго не мог уловить их суть, но однажды ко мне в кабинет зашел редактор международного отдела — человек еще молодой, но уже видавший виды. За десять лет он успел с кор-

респондентским билетом пройти три войны — две малых и одну глобальную — и поэтому имел обширный круг знакомств среди военных. Зашел он уже после конца работы, прикрыл дверь и, подходя к самому столу (я правил гранки), сказал:

— Вы знаете, с убийством этого Гарднера происходит действительно какая-то чертовщина.

— Да? — спросил я.

— Да, да! Оказывается, негодяя-то намечали на крупный военный пост в комитете по координации чего-то, и были уже сделаны все нужные запросы, получены ответы — и вот тут как раз и ударила по нему ваша статья. Понимаете, как сразу все обострилось и как все забегали?

Он говорил, явно чего-то недосказывая и на что-то намекая, только я не улавливал, на что именно.

— Вот как? — сказал я, смотря на него.

Он улыбнулся мне, но глаза отвел.

— Конечно, если бы назначение уже состоялось и было объявлено, кое-кому сильно нагорело бы. Вы называете с сотню свидетелей — значит сообщаемые вами факты абсолютно не составляют секрета, они настолько лежат на поверхности земли, что никто из заинтересованных лиц, прочитав вашу статью после назначения негодяя, не мог бы сказать: "А я этого не знал, Мезонье открыл мне глаза", или их любимое: "Вот мерзавец! Иметь такие факты и так молчать! Значит, он ждал удобного момента для устройства всемирного скандала! Вот вам честь прессы! Вот вам ее подрывная роль!" Нет, все отлично все знали.

Я смотрел на моего собеседника, а он хитро улыбался, показывая, что он несравненно больше скрывает, чем говорит, — очевидно, мне следовало бы его попросить, раз уж он начал говорить, выложить мне на стол все, но я был так утомлен, так мне было все противно и на все наплевать, что я только спросил:

— Итак, смерть Гарднера сыграла на руку его покровителям?

— О! — воскликнул он радостно. — Вот наконец вы и поняли кое-что! Да, дорогой Ганс, есть, видимо, такие счастливицы, которым помогает все на свете, — деньги, люди и даже несчастные случаи. Кое-кому повезло опять. Вот как называется то, что случилось в загородной роще неделю тому назад.

На этом разговор наш и окончился. А утром я получил повестку с золотым гербом на бристольтском картоне — вызов канцелярии королевского прокурора на час дня. После обычной формулы приглашения стояло: "По делу об убийстве бывшего военнослужащего немецких оккупационных войск в Европе полковника Иоганна Гарднера". Я не выдержал характера, пришел раньше назначенного часа и в наказание за это наткнулся в приемной на редактора фашистского листка. Он сидел ко мне спиной за столом, что-то быстро строча в блокноте, и когда я обратился к нему с вопросом о начале приема, он поднял на меня глаза и заулыбался.

— Сейчас, сейчас вас примут, господин Мезонье, — сказал он добродушно, — и вас и меня. Секретарь только что увидел вас из окна и пошел с докладом к начальнику. О, вас все тут знают!

И всегда я попадаю в такие истории! Но отступить было уже поздно — я ведь сам к нему подошел, — и поэтому я спросил:

— А вы по какому делу?

Он безнадежно махнул рукой.

— Да все по тому же. Только какое я имею отношение к Гарднеру? — он слегка развел ладони. — Ваша легкая рука! Это ведь вы меня вместе с ним — и не скажу, чтобы удачно, — взяли заодно в общие квадратные скобки. Я-то так и понял: это прием публициста, и не больше. А тут, видимо, смотрят иначе, — конечно, прокуратура!

Но тут открылась тяжелая дверь, обитая черной кожей, и секретарь пригласил меня к его превосходительству.

Как только я появился на пороге, прокурор почтительно поднялся из-за стола и пошел мне навстречу с протянутой рукой. Мы были давно знакомы. Оба носили на лацкане пиджака весы и сову — эмблему высшей школы юридических наук (он окончил ее раньше меня на десять лет), оба чуть ли не дважды в неделю просиживали по несколько часов за одной шахматной доской в клубе, и поэтому то, что ему, моему доброму знакомому, сейчас приходится говорить со мной в кабинете королевского прокурора и как прокурору, смущало и озадачивало его. С минуту мы вообще говорили черт знает о чем — и о шахматах, и о здоровье, и чуть ли не о погоде. Потом он сразу посерьезнел.

— А сейчас, дорогой друг, — сказал он, усаживая меня возле небольшого секретарского столика и опускаясь в кресло сам, — возвратимся к нашим несчастным баранам. Дело есть дело, и строг закон, но закон! Нам приходится с вами беседовать по очень неприятному делу, хотя, говоря по-честному, виноваты не вы и не я, а те идиоты, которые не вздержали негодяя еще десять лет тому назад. Но факт есть факт, Гарднера не повесили в сорок пятом году, а убили на третий день после появления вашей статьи, и это в корне изменило все дело. Именно поэтому мне приходится беседовать с вами в качестве королевского прокурора, и ничего тут не напишешь. Вы, зная меня, угадываете, кому отданы мои симпатии, и поэтому понимаете и то, насколько сложно мое положение. Курите, пожалуйста, эта дощечка только для моего секретаря.

— Мое еще сложнее, — усмехнулся я, выбирая из его портсигара папиросу. — Мне приходится доказывать вам, высшему блюстителю закона страны, аксиому, известную любому школьнику: "после этого" еще не значит "ввиду этого". Гарднер действительно погиб после моей статьи, но это и все, что вы сможете доказать. Причинной связи вы здесь не установите.

— Ну что ж, я знал, что вы мне ответите именно так, — улыбнулся прокурор и, взяв себе папиросу, закрыл портсигар. — Действительно: как доказать, что Гарднер убит по вашему подстрекательству? Конечно, если ставить вопрос так, то вы для меня, как для прокурора, полностью недосыгаемы. Тут даже анонимные письма, ежедневно приходящие в адрес полицей-президиума или королевской прокуратуры, не помогут. Хотя надо вам сказать, что я получил и такое, где стояло просто черным по белому: "Убил Гарднера я, бывший борец фронта Соппротивления, узнав из статьи Мезонье о том, что разделявал этот мерзавец. В то время, когда мы, патриоты, сидели в подполье, этот изверг..." Ну, и так далее на десяти страницах. Но ясно, что такое письмо может написать всякий ваш недруг специально для того, чтобы посадить вас на скамью подсудимых. Нет, вся беда, друг мой, в том, что от вашей статьи пахнет убийством. Она криминальна сама по себе. Именно только с этой стороны королевская прокуратура и смотрит на ваше дело. Только с этой. И больше ни с какой. Вы знаете, как наш закон определяет подстрекательство? — И он продекламировал: — "Призывы через печать или листовки, размноженные типографским, стеклографическим или всяким иным способом, к совершению террористических актов против лиц, не занимающихся в момент преступления государственной, политической или общественной деятельностью". Санкция статьи до года одиночного заключения... Год одиночки! Вот и все, что вам грозит.

Он говорил, очень ласково и тихо смотря смотря мне в глаза. Но я-то отлично видел, насколько серьезно все, что он на меня двинул, и насколько мало я могу сейчас рассчитывать на какую-то справеливость. На минуту мне даже сделалось страшно. Ведь что я ни говори, о чем я ни кричи, а стену, воздвигнутую им против меня, уже не пробьешь ни кулаком, ни ломом. И тем не менее, подчиняясь голому инстинк-

ту отбиваться, когда на меня наускаивают из-за угла, я сказал:

— Но если, как вы говорите, убить — мерзавец, заслуживающий веревки, а факты, изложенные в статье, правдивы, то тогда в чем моя вина?

Он пожал плечами и успокаивающе улыбнулся.

— Повторяю: в подстрекательстве через печать и ни на одну букву больше. Вы говорите, все факты вашей статьи правдивы. Но, дорогой коллега, во-первых, закон не входит в обсуждение оценки личности жертвы, а во-вторых, излагать факты можно по-разному — в криминальном случае так, чтоб в конце их обязательно следовал вывод: "Бей!" — или, еще лучше: "Убей". Если мы констатируем такое намерение автора статьи и такое изложение фактов, мы должны ставить вопрос о подстрекательстве, даже не затрагивая вопроса, кто является объектом нападения и насколько он его заслуживает. В вашем деле именно такой случай. — Он помолчал и вдруг спросил: — Вам ясно, коллега, насколько ограничительно мы смотрим на вашу ответственность?

Я развел руками.

— Но я-то не говорил ни "бей", ни "убивай".

Прокурор хмыкнул и хитро погрозил мне пальцем.

— Коллега, коллега, мы же с вами оба юристы и оба все понимаем! Важен не грамматический, а правовой аспект фразы. Да, буквально вы нигде не написали "убей". Ну и что из этого? Призыв есть призыв. В этом-то все и дело! И, говоря строго между нами, убийство все-таки налицо, и если мы закрываем глаза на труп нациста, то это не значит, что мы его не видим.

Я молчал.

— Одним словом, сейчас я отдал вашу статью на изучение и консультацию. Как только будет установлено в ней наличие момента подстрекательства, то есть призыва к убийству лица, находящегося под го-

сударственной защитой, мы возбудим против вас формальное криминальное преследование и отдадим под суд. Ну а какой будет приговор, это уж дело совести присяжных. Это, так сказать, одна сторона дела. Но есть и другая. Есть, к сожалению, и другая. — Он взял со стола какую-то папку и положил ее перед собой. — А может быть, впрочем, и к счастью. Это смотря по тому, к какому соглашению мы сейчас придем. Речь идет о втором "разоблаченном" вами, журналисте, статью которого вы так заостренно, с восклицательными знаками и скобками в середине, но, извините, не всегда вполне лояльно и уместно цитировали.

— А он, кстати, вместе со мной ждал приема, — напомнил я. — Но почему же неуместно и нелояльно?

— Да прежде всего потому, что вы, извините, передернули карты! — спокойно воскликнул прокурор. — Вы пишете: "статья", а цитируется-то письмо, пусть коллективное, но все равно только письмо — документ совершенно частный и нигде не напечатанный.

— А что это было за письмо, вы знаете? — спросил я.

— О, не беспокойтесь, ваша фотокопия у меня, — значительно улыбнулся прокурор и постучал пальцами по папке. — Вот она! Документ, конечно, на редкость подлый, но опять-таки я же говорю не о моральной оценке его, а о том формальном и, простите, совершенно неоспоримом нарушении права, которое вы имели неосторожность допустить. Называя письмо статьей и предавая гласности то, что имеет частный характер, вы совершаете преступление. Право опять-таки отнюдь не на вашей стороне. Поэтому, когда потерпевший обратился ко мне с жалобой...

Тут меня наконец взорвало окончательно, и я спросил грубо и прямо:

— Прямо-таки к вам? К самому королевскому прокурору? Этот фашист? С жалобой на оскорбление

в печати? Да за кого, ваше превосходительство, вы, наконец, меня принимаете?

Я думал, он также закричит на меня, но он улыбался все добрее и добрее.

— Да ведь в этом-то и весь вопрос, дорогой господин Мезонье, — сказал он очень добродушно и даже фамильярно. — В том-то и вопрос, за кого мне вас принимать. Вот говорят: "Принимай его за коммуниста". Я отвечаю им: "На это у меня нет никаких оснований, да и впечатление он оставляет совсем иное". Другие говорят: "Считай его за честного журналиста". — "А что такое "честный журналист"?" — спрашиваю я их. — По отношению к кому он честен? Кому он служит? Его статьи, составленные вместе, представляют определенную систему нападений, направленную прямо против основных ценностей нашего мира. В том числе против, — он стал загибать пальцы, — содружества с нашим великим другом — раз, против права нашей маленькой нации быть великодушной и незлопаматной — два, против основ нашей послевоенной политики — три, против основ нашей конституции — четыре, против жизни честных граждан, привлеченных к делу охраны безопасности Европы, — пять!" Хватит? Вот видите, что получается, — и он показал мне сжатый кулак.

— Эти речи, ваше превосходительство, я уже однажды слышал из одного рупора, — сказал я, — только не знал фамилии диктора.

Я думал, что он хоть тут рассердится, но он только встал, подошел и обнял меня за плечи.

— Дорогой господин Мезонье, а я ведь не диктор, — сказал он шаловливо, — вернее, я диктор, но никак не автор текста. Беда в том, что вы, мой дорогой, честный, но, увы, неосторожный друг, не учли нескольких важнейших моментов сегодняшней мировой обстановки и реальной расстановки сил. Отсюда и все ваши болести. Впрочем, давайте попытаемся что-нибудь сделать для их врачевания.

Он подошел к столу, поднял телефонную трубку и приказал секретарю вызвать из комнаты ожидания редактора.

Фашист вошел и сел на второй стул, сбоку стола королевского прокурора, так что теперь я сидел перед ними обоими, как на скамье подсудимых.

— Ну вот, — сказал прокурор, — все мы в сборе, и давайте кончать это дело. Я не знаю в стране человека, который пожалел бы того негодяя. Свое он получил звонкой монетой, но мы-то...

Мне очень трудно передать полностью свои ощущения от всего этого разговора, но это было чувство какого-то совершенно неподвижного, безмолвного и даже просто тупого удивления, пожалуй, даже ошеломления всем тем, что происходит. Я не кричал, не протестовал, не возмущался, я даже не расспрашивал ни о чем. Просто вдруг в совершенно ясном и четком свете я увидел то, о чем даже и догадываться-то не смел, — все эти темные лазы, черные ходы, разбойничьи подземелья, которыми были связаны все корпуса и фасады нашей государственности. Все вдруг оказалось совершенно иным. Там, где я видел политических врагов — судью и преступника — оказались тайные, но преданные друзья, связанные общностью преступления, и в свете их общих задач вдруг прокурор стал не прокурором, Гарднер — не Гарднером, и преступник — не преступником. Внезапность этой перемены была настолько ошеломляющей, что я не сумел ни оценить, ни понять ее сразу, а только смутно почувствовал, что отныне все, что у меня было — моя вера в людей, мои убеждения, то дело, над которым я, правда, лениво и вяло, но зато с полной верой работал всю жизнь, взгляды, которые я исповедовал, и даже моя профессия и годы учения, — все полетело к дьяволу. А как начинать сызнова, за что хвататься и с чем бороться насмерть, я еще не знал. И когда высокий холеный человек в роговых очках, курящий папиросы специальной марки, не притво-

ряющийся королевским прокурором, а всамделишный королевский прокурор, сказал мне добродушно и дружески: "Давайте-ка кончать это дело миром!" — я не нашелся, что ответить ему.

Зато фашист с очаровательной улыбкой ответил за меня с другого конца прокурорского стола:

— А я всегда предпочитаю мир и всегда думаю, что нечего работать на третьего радующегося. Я согласен. Давайте скорее покончим с этим недоразумением.

— Тем более, — сказал прокурор, — что уже по вашей фотокопии видно, что нашему коллеге принадлежит только стилистическая правка документа, конечно, печального, но-о...

— Не совсем, не совсем, — вмешался фашист. — Я не только выправил документ, я его фактически обезвредил, так что в нем не осталось его ядовитых жал. В этом-то и есть моя претензия к вам, господин Мезонье. Вы написали про меня: "Составил нацистскую декларацию, доведшую моего отца до самоубийства", — а я отвечаю: нет, ничего я не составлял, наоборот, настолько обезвредил декларацию, написанную в стенах института, что ее и печатать-то не стали. Именно поэтому она и осталась в бумагах вашего покойного батюшки в виде чернового проекта. Иными словами, я не породил эту гадину, а раздавил ее. Вот факты.

— И эти факты вы, Ганс, никак не сможете отрицать, — серьезно сказал прокурор, так серьезно, что я почти поверил в его искренность, — в этом-то все и дело.

— Все дело в том, что мой отец погиб после того, как прочитал эту декларацию, — ответил я сдержанно. — Вот тут "после того" значило именно "ввиду этого". Это я и доказываю. А опубликовать эту бумажонку после его смерти не имело уже ровно никакого смысла.

Тут фашист закричал: "Однако же позвольте", — а я стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Ничего я вам не позволю, гестаповец вы этакий! Слушайте, господа, я уже совершенно перестал понимать, что у нас такое происходит. Вы, автор грязной, подлейшей бумажонки, оказываетесь благодетелем моего убитого вами отца. И вот я публикую несколько строк из этой гадости, причем у меня на руках имеется и подлинник, дающий мне полное право утверждать, что вы схвачены за шиворот, тогда как у вас в руках есть фотокопия, отнимающая у вас право отрицать это, и что же получается? Восстает правосудие, смертельно оскорбленное. Кем? Мною! Чем? Тем, что я ему указал на преступников. Я — убийца и подстрекатель, а вы — герой и друг королевского прокурора. И вот все вы вместе, во главе с тенью мертвого Гарднера и клянясь его именем, устремляетесь на меня во имя чести и справедливости, гуманности и еще черт знает чего. Да в уме ли вы, господа? Вот уж именно: "В наш жирный век добродетель должна просить прощения у порока за то, что она существует".

Наступила тяжелая пауза, потом королевский прокурор развел руками и сказал:

— Ну, что же, тогда, пожалуй, все! Дошло уже до Шекспира! И того в гробу потревожили! — Фашист молчал. Прокурор повернулся ко мне. — Поверьте, мне очень жаль, Ганс, что все происходит именно так, но, в конце концов, что же я могу сделать? — Он встал. — Прощайте, господа, — сказал он печально. — Желаю всего хорошего.

Так мы и разошлись.

...Вот обо всем этом я и рассказал при новой встрече Юрию Крыжжевичу. Он сидел, слушал, а потом вдруг сказал:

— И все-таки я вижу, что вы-таки ничего и не поняли.

— Боюсь, что все понял, — ответил я.

— Боюсь, что ничего ровно не поняли, — отпарировал он. — Начнем с исходного пункта. Вы впервые встретились с Гарднером неделю тому назад.

Раньше его в городе не было. Зачем же он приехал?

Я пожал плечами.

— Для вас тогда был вопрос, но ваш коллега объяснил вам, в чем дело. Бандита назначили на очень высокий международный пост, вот он и явился за ним. Я уточню. Здесь находится штаб-квартира того отдела объединенной международной полиции, во главе которой его и собирались поставить, заметьте — как крупнейшего специалиста по политическому сыску. Но тут произошло то, что они должны были предвидеть, но, конечно, не предвидели. Его встретил один из облагодетельствованных им, то есть вы, и сразу загорелся и развил бешеную деятельность: В результате всяких правд и неправд вам удалось протащить верблюда через игольное ушко, то есть разгромную статью о подвигах этого разбойника через газету. А это конкретно значило, что хозяева Гарднера попали в ужасное положение. Вы не только вырвали из колоды короля, но и сорвали весь их банк начисто, и если бы эта история продолжалась, дело дошло бы до запросов и тогда кое-кто слетел бы с поста. Но ведь их всегда выручает случайность. Гарднер случайно погибает от руки неизвестного, и сразу все меняется. Во-первых, отпадают все разговоры о прошлом Гарднера, так же как и розыски покровителей Гарднера в правительстве, а назойливый журналист, то есть ваша милость, не только лишился прав задавать правительству каверзные вопросы и требовать ответа, но, наоборот, вдруг сам оказался привлеченным к ответу, — ибо кто бы там ни убил Гарднера (а этот убийца, будьте уверены, никогда не будет разыскан), но преступник отныне именно этот назойливый и чрезмерно активный молодой человек, который суется в воду, не зная броду, и тут уж насчет него возможны всякие соображения. Если он быстро не поймет, что произошло, то его можно и за решетку. А самое главное — вдруг открылись неограниченные возможности вообще уда-

рять по всей печати определенного рода. Вот, мол, до чего доводят такие статьи! Такие, с позволения сказать, разоблачения! До охоты за черепами! До убийств в предместье! До суда Линча! Понимаете? Вы говорите, что видели там этого прохвоста? Ну, это и есть его работа: он — заведующий отделом печати прокуратуры. Для редактора фашистского листа это сейчас самая подходящая должность на свете.

Он говоил спокойно, ровно, не повышая и не понижая голоса. А я давно уже понял, не только что это правда, но и чьих это рук дело.

— Так что же теперь делать? — вырвалось у меня.

Он встал, застегнул плащ, взял со стола шляпу и, держа ее в руке на отлете, ответил:

— Ничего. Ждать. Посмотрим, до чего они посмеют дойти.

Но, по существу, и ждать-то было нечего. События обрушились на меня сразу, как лавина. Мне очень трудно описать, как и что это было, потому что ясного в памяти моей осталось немного

Дня через два после этого разговора я зашел в клуб и опять встретился с прокурором. Он страшно обрадовался. На этот раз мы говорили почти исключительно о шахматах — в городе только что прошел турнир на первенство страны, — и уже на прощание он мне сказал:

— А шеф ваш был перепуган до чрезвычайности, не за вас, конечно, а за газету, но я ему обещал, что газету-то мы не тронем.

У меня чуть не вырвалось: "А меня?" — но я вовремя спохватился и только пожал ему руку. Было уже совершенно ясно, что гроза разразится надо мной вот-вот. Но она грянула буквально через несколько минут.

Когда я спустился к вешалке, ко мне подошел один из секретарей клуба и, отозвав меня в сторону, вполголоса сказал, что по делу Сюзанны Сабо — девочки, застрелившей своего отца, — меня хочет ви-

деть какая-то женщина. Я позабыл сказать о том, что девочку, как невменяемую, прямо с суда отправили в одну из больниц для морально дефективных больных, где она находилась уже второй год. Дело Сабо в свое время меня очень заинтересовало, и я посвятил ему целый цикл небольших заметок под заглавием "Погубившие малых сих". Это и было моей основной мыслью. А тезис цикла был: "Не убийца, а убитый виноват". Ибо действительно, убитый — отец девочки — казался мне виноватым значительно больше, чем его малолетняя убийца. На процессе выяснилось, как тщательно и любовно выращивали родители в ребенке того зверя, который под конец и слопал их обоих. Какие книжки они ей покупали, каким диким играм обучали, какие страшные истории рассказывали, на кого натравливали и от чего остерегали. Я приветствовал оправдательный приговор еще потому, что, как мне показалось, присяжные — два почтальона, два лавочника, один шофер — поняли ту сокровенную сущность дела, которая оказалась недоступной для всех профессоров психологии и криминалистики, и именно поэтому в пику им и оправдали убийцу. Понятно, что, когда мне сказали о посетительнице, которая хочет сообщить нечто новое об этом деле, моим первым движением было спросить:

— Где же она?

— Я привел ее в библиотеку, — ответил секретарь нехотя. И только что я пошел, окликнул: — Пойдите! Не лучше ли сказать ей, что вы сегодня уже уехали и вас надо искать завтра в редакции?

— А что такое? — спросил я, приостановившись.

Также нехотя он ответил:

— Да ничего, только странная она какая-то, пьяна или кокаинистка. Черт знает, кто она...

— Ну, посмотрим, — сказал я бодро.

И только вошел в библиотеку, как увидел ее.

Она стояла возле шкафа, маленькая, худенькая, в каком-то покрывале или темном пледе. Лица ее

мне не было видно, но я почему-то остро и быстро подумал: "А ведь, пожалуй, лучше бы в самом деле завтра в редакции..." Я громко спросил:

— А что же он вас оставил тут? Пройдем в зал.

Она покачала головой и отбросила от лица плед. Тут я и увидел, что она и есть Сюзанна Сабо. Признаюсь, я был так ошеломлен, что пробормотал что-то глупое, вроде того: "Так вас, Сюзанна, разве выпустили? Давно ли? Я не знал..."

— Два дня назад. Меня взял на поруки мой друг. — Она выговорила это четко, жестоко, хлестко, не двигаясь и смотря мне прямо в глаза.

Я тоже смотрел на нее и видел, как она возмужала, огрубела за эти два года. Тогда это была просто девчонка, завитая и подкрашенная, позирующая и изломанная (это когда ей, например, задавал вопросы королевский прокурор или когда она чувствовала на себе глаз фотоаппарата), такая же простая, как и все девчонки ее возраста, когда их постигает горе. Однажды я видел, как она — это было в перерыве — сидела в полутемном зале, о чем-то тихо разговаривала с конвоиром, здоровым рябым парнем с добродушным плоским лицом и пышными усами, и задумчиво сосала дешёвую карамельку в пестрой обертке. Рядом с ней на деревянной лавке лежал бумажный пакет. Именно тогда, поглядев на этот мятый бумажный кулек, на эту карамельку в тоненькой руке, я и понял, не умом, а всем своим существом, остро, твердо и совершенно бесспорно, — вот это-то и называется, наверное, "меня как осенило!", — что не убийца, а убитый виноват, и название статьи — "Погибшие малых сих" — само пришло мне в голову. Но сейчас передо мной была уже не девочка и даже не девушка, а взрослая, издерганная женщина. У нее было худое, страшно бледное, несколько припухшее лицо, яркие, ядовитые губы, вырисованные с особой тщательностью, глубокие черные глаза, обведенные бурой синевой. Они глядели на меня откуда-то из необъятной глубины, и этот взгляд выражал чувство

такого одиночества и беззащитности, что мне сразу стало и тоскливо и жутко. Вообще в этой темной комнате, где горел только верхний зеленый свет и тускло поблескивали дубовые шкафы, было неестественно тихо и мертво, и центром этой тишины была именно она, как бы струящая это молчание. Все это мной владело всего несколько секунд. Потом я сбросил с себя оцепенение и спросил очень четко и даже резковато:

— Но чем же я вам могу быть сейчас полезным? Ведь у вас все устраивается как нельзя лучше.

Стоя так же неподвижно, скрестя руки под пледом (такие женщины всегда что-то изображают — Изиду ли, статую ли, знаменитую ли актрису), она сказала ровно и невыразительно:

— Мне вас жалко! — И прибавила: — Очень, очень жалко!

Я вдруг вспомнил, что имею дело с сумасшедшей, скорее всего сбежавшей из лечебницы, и поэтому ответил:

— И я вас тогда тоже жалел.

— А! Это все не то, — ответила она досадливо. — Мне жалко потому, что вас хотят убить.

— За что же, дорогая? — спросил я ласково. — Что я сделал плохого?

— Ну да все равно, — оборвала она вдруг себя, — черт с вами! — И, не целясь, не стремясь попасть, вдруг вырвала руку из-под пледа и выстрелила в меня раз и другой.

Боли я не почувствовал, только удар в бедро, такой резкий, что мне показалось, будто у меня вихрем оторвало ногу. Пол стал стеной под моими ногами, я осел и закрыл голову, но она больше и не стреляла, а только ударила с размаху ногой в деревянную перегородку шкафа, так, что он весь загудел и из него со звоном посыпались стекла.

— Довольно крови, довольно убийств! — сказала она ровно, заученно и громко, как в жестяной рупор.

И вдруг — раз! раз! раз! — выстрелила в потолок еще три раза.

Когда вбежали люди — секретарь, королевский прокурор, еще кто-то, — она выстрелила шестой раз. Просто вскинула руку поверх их голов и пустила пулю в бронзовый бюст Роденбаха. Когда на нее налетели, подмяли, обезоружили, она не сопротивлялась, а только, лежа на полу, повторяла громко, хрипло и спокойно, высоко подняв голову:

— Довольно крови! Крови довольно! Довольно, довольно, довольно!

А дальше все пошло так, что сразу стало ясно: покушение — только последний акт хорошо продуманной и даже, вероятно, где-то уже прорепетированной пьесы. Меня доставили в больницу, и на другой день явился заместитель прокурора. Он выразил мне соболезнование, поговорил со мной о том о сем — мы были немного знакомы, — а уходя, предъявил мне два постановления: одно — о привлечении меня к ответственности по такой-то статье уголовного кодекса и по такому-то примечанию к ней — и другое — об избрании меры пресечения (подписка о невыезде) ввиду того, что по состоянию здоровья обвиняемый участвовать в следствии и суде не может. А далее газеты принесли сообщение, что известная всему миру Сюзанна Сабо, вообразившая себя новой Шарлоттой Корде, по постановлению королевского прокурора, возвращена обратно в больницу, ибо вопрос о ее невменяемости был уже однажды разрешен в судебном порядке, а с тех пор состояние больной не улучшилось. Врач, давший согласие на ее выписку из больницы, привлечен к дисциплинарной ответственности. Несмотря на это, большинство газет поместило ее развернутое интервью на тему о покушении на убийство журналиста Ганса Мезонье. "Я очень жалею, — заявляла она корреспондентам, — что меня под явно вымышленным предлогом отказались отдать под суд. Я бы доказала, что дело отнюдь не в несчастном Гансе Мезонье, что мой выстрел, как и все то, что по-

будило меня к нему, — единственный путь к спасению нации”. Эти слова газеты печатали крупно под ее портретом и фотографией того угла библиотеки, из которого она стреляла в меня. Затем появилась публикация полиции о том, что разыскивается Юрий Крыжевич, причастный к убийству Гарднера. Потом сообщение о том, что, по сведениям бюро уголовного розыска, он покинул пределы страны и находится вне пределов досягаемости. Вот тогда и затрещали все правые газеты. О чем они только не писали! Об уголовниках, которым почему-то разрешают приезжать в нашу мирную страну и среди бела дня охотиться на неугодных им людей, о болванах в наших министерствах, которые этому покровительствуют, о подрывной роли так называемой независимой прессы, о продажных писаках, которые поражают своих врагов не только пером и сарказмом, но и самым настоящим кинжалом; снова обо мне, но уже прямо, называя по фамилии, как о недостойном сыне великого отца, продавшем свое первородство и совесть за чечевичную похлебку. И, наконец, о темной и зловещей фигуре Юрия Крыжевича, что стоит за моей спиной. И, дойдя до него, газеты задали ряд вопросов. (О, как сразу же я почувствовал за их воем дирижерскую палочку моего старинного знакомца — редактора фашистского листка, заведующего отделом прессы прокуратуры!) ”Разве история садовника Курта, — спрашивали газеты, — сумевшего проникнуть в дом профессора, ясна до самого конца? Разве обстоятельства смерти профессора не окутаны до сих пор густым туманом? А рукопись? Рукопись итогового труда профессора, над которой он работал двадцать лет? Как она смогла исчезнуть из дома, захваченного нацистами, и очутиться за границей? Говорят, профессор завещал ее Академии наук СССР? Хорошо. Но кто видел подлинную рукопись? Покажите нам ее, и мы поверим, а пока мы спрашиваем коммунистов: ”Чем вы докажете, что это не подлог?” Сначала это были только риторические вопро-

сы, но потом газеты заговорили по-иному. "Недурно бы, — писали они, — обо всех этих странностях допросить (обратите внимание: не "спросить", а именно "допросить") сына покойного, который, кстати, сейчас находится под судом за подстрекательство к убийству. Конечно, по всей вероятности, этот приткный молодой человек либо отмолчится, либо предпочтет сказать, что он ничего не знает и ничего не помнит, — ему тогда ведь было всего-навсего двенадцать лет! Но ведь и то сказать: как он ответит, это больше всего зависит от того, кто с ним будет разговаривать и как разговаривать. Если умело спрашивать, то, вероятно, кое-что придется и припомнить". Так писали газеты, и я узнавал голоса моих старых приятелей из прокуратуры. Они-то и натолкнули меня на мысль написать эти записки. Но только, господин заведующий пресс-бюро прокуратуры и господин королевский прокурор, вам не придется прибегать к столь хорошо известным вам по годам оккупации методам — я все отлично помню и все знаю, вы это увидите из моего рассказа. Только рассказывать я буду не вам и не вашим покровителям — вам все это известно и без меня. Я хочу рассказать эту историю всем моим соотечественникам, всем людям земного шара — если они захотят меня слушать. Конечно, не все я видел сам, — кое-что мне стало известно от других, кое о чем я прочел в газетах и официальных документах, кое-что, наконец, я просто додумал, — но, так или иначе, история смерти моего отца — история страшная и поучительная, и над уроками ее стоит подумать.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

...Пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода извергов — одна из ужаснейших тайн истории; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое — все покоряется гневу ее.

Салтыков-Щедрин, "За рубежом"

Глава первая

Я до сих пор помню о том, каким образом у нас в доме впервые заговорили о Карле Войцике.

Отец мой, директор Международного института палеантропологии и предыстории, профессор Мезонье, любил себя сравнивать с героями древности.

Так, когда немецкие войска вошли в наш город, он сказал моей матери:

— Я остался здесь, чтобы, как Архимед, охранять свои чертежи.

После этого он ушел в кабинет и хлопнул дверью, а мать целый день возилась со своим фарфором, и глаза у нее были красные.

Конец Архимеда был известен и ей.

Вечером следующего дня я увидел и первого живого немца. По правде сказать, он был совсем не таким страшным, как я ожидал сначала.

Но начну по порядку.

С утра по городу ходили тревожные слухи, говорили об облавах, арестах, массовых расстрелах.

Например, рассказывали такое: шел человек, мимо здания префектуры и вынул носовой платок, чтобы обтереть лицо, а часовой приложился и — бабах! — ковырнул человека прямо в лужу. Из здания на выстрел выскочило несколько военных, часовой равнодушно сказал им: "Уберите шпиона!" — и человека взяли за ноги и куда-то оттащили.

— Господи, что будет с нами дальше? — вскрикнула горничная Марта, принеся этот рассказ в кухню из города.

— Что будет с нами? — спросил садовник Курт (он когда-то работал у родителей моей матери и теперь, после многолетнего перерыва, откуда-то появился опять в городе). — А вот что. Я когда-то читал одну занимательную книгу. В ней военный за дружеской попойкой разъяснял своим собутыльникам смысл войны. "Что бы там ни писали в газетах, — говорил он, — война состоит в том, чтобы красть кур и поросят у крестьян". И в доказательство этого тут же приводилась старая галльская поговорка: "У солдата жена — кража".

— Ох, если бы только кража! — мечтательно вздохнула горничная Марта. — Разве кто-нибудь погнался за курицей или поросенком... А вот говорят, что на перилах Королевского моста...

— Стойте, одну минуту! — воскликнул садовник Курт и поднял растопыренную пятерню. — Во-первых, так говорили в восемнадцатом веке, а сейчас у нас половина двадцатого...

— Ну вот, видите! — укоризненно сказала Марта.

— Потом — не забывайте, что это говорил французский офицер, а мы имеем дело с немцами, и, наконец, главное — офицер этот нацизм не исповедовал. Значит, поросенок и курица, мадемуазель Марта, это далекое прошлое. Сейчас же у немецкого солдата жена не кража, а грабеж плюс убийство.

— Говорите тише, — сказала мать, — вас можно услышать и на улице.

— Извините, сударыня, но это не секрет. Немецкий солдат не из стеснительных. Да, так вы спрашивали, Марта, что будет с нами? А вот что! Они присмотрятся и начнут шарить. Увидят дома хорошую скатерть — сдернут вместе с посудой. Понравится, скажем, сапог, — тут он выставил ногу свою в блестящем желтом сапоге и повертел ею в разные стороны, — и сапог сдернут, и ногу отрубят. Увидят, что старуха тащит курицу, — застрелят и старуху и курицу. Курицу — в суп, старуху — в огород, чертей пугать...

— Бог знает что вы говорите, Курт! — сказала горничная Марта: она была богобоязненная женщина и не любила, когда поминали имя нечистого.

— Одну минуту, мадемуазель Марта, — сказал Курт весело. — Сейчас разговор пойдет и о вас. И вот выходите, скажем, вы на улицу. Вот так, как вы есть сейчас: в белом переднике, в наколке, с этой очаровательной розой в волосах. А по улице ходит немецкий солдат...

Мать подошла ко мне и взяла меня за плечи.

— Иди, иди в комнаты, — сказала она. — Поду-мать, целый день он вертится в кухне! Посмотри, что там делает отец.

В столовой было уже темно, и низкое раскаленное небо быстро мутнело и остывало, принимая зеленоватые тона. Чувствовалось, что скоро должны были прорезаться первые молодые звезды. На окне четким квадратом обозначалась клетка с ручным снегирем; его пухлая, грушевидная фигура ярко рисовалась на фоне еще светлого неба. Под ним, в кресле, такой же пухлый, неподвижный и молчаливый, сидел ученый хранитель музея Иоганн Ланэ. Он посасывал толстую пенковую трубку в виде нагой женщины, и вокруг него стояло неподвижное и зловонное облако дыма.

Рядом в огромном кожаном кресле сидел вице-директор института, доктор Ганка.

Отец ходил по столовой тяжелыми, злыми шагами, и в такт им звенело и подпрыгивало волшебное фарфоровое царство матери за стеклянными перегородками шкафа.

Размахивая окурком, отец говорил:

— Антропометрия, антропометрия! Они теперь все помешались на этом. Ох, если бы дело было так просто, что простым промером можно было бы определить, где гений, где преступник, где просто золотая посредственность! Но на этом полвека тому назад сломал себе шею мой уважаемый коллега Чезаре Ломброзо, а он был настоящий ученый. Ведь в том-то и дело, что неизвестно, где и в каких недрах черепа таится таинственный человеческий интеллект.

— Ну, это более или менее им ясно, профессор, — устало улыбнулся Ганка. — Когда они расстреливают, то всегда метят в затылок. Значит, в нем все и дело! Что у человека мозг для того, чтобы думать, это они уяснили себе хорошо. Поэтому в Германии и рубят головы.

Он так ушел в кресло, что видны были только его маленькие желтые руки на поручнях и голова.

Голова у Ганки была большая, круглая, волосы на ней росли плохо, и казалось, что только по ошибке она попала на его костлявые плечи.

— Вот вы смеетесь, Ганка, — сказал отец с тяжелой укоризной, — а ведь в одном этом заключается разница мировоззрений. Для нас человеческий мозг — это святая святых, перед которой делаются жалкими все недоступнейшие тайны природы. Мы с вами знаем, что в этом узком пространстве заключены силы, переделывающие мир. Помню, например, с каким трепетом я рассматривал черепную кость питекантропа. Вот, думал я тогда, из этого узкого, темного костного ларца вышло впервые сокровище человеческой мысли. Все высокое, прекрасное, разумное, что создано пером, кистью или резцом, — тут отец остановился, он любил и умел говорить, фразы выходили из его губ гладкие, законченные и звуч-

ные; недаром же его любимым писателем был Сенека, — все, прежде чем воплотиться в книге, мраморе или живописи должно было выкристаллизовываться в человеческом мозгу. Природа безобразна, дика и неразумна, прекрасен только человек и то, что творит его разум. О, человеческий мозг — это самый благородный металл вселенной! И в этом отношении черепная коробка питекантропа в тысячу раз совершеннее Венеры Милосской.

Он остановился.

— Вы знаете, в России есть Институт мозга, где целый штат профессоров и академиков пытается нащупать пути к этой недоступной для нас тайне. А они!.. Боже мой, как у них все просто! Кронциркуль, две три формулы, какая-нибудь таблица промеров — вот и все. Право, не больше, чем в сумке коновала. Впрочем, оно и понятно. Мы изучаем череп для того, чтобы делать человека еще более мудрым, а они — чтобы превратить его в скота. Вот посмотрите, пожалуйста... — Он схватил со стола какую-то книгу и стал ее быстро перелистывать. — Вот-вот, это действительно интересно! — Он с треском, как веер, развернул какую-то таблицу. — "Показатель антропометрических промеров черепов нордической расы, из нормандских погребений одиннадцатого — тринадцатого веков, второго и третьего порядка". Слог-то, слог какой, обратили внимание, господа? Так вот, по этой самой таблице — хотя бы по этой самой таблице! — я с удовольствием измерил бы череп самого Геббельса, с предисловием которого вышла эта пакость.

— И ничего бы у вас не вышло, профессор, — сказал Ганка. — Я как-то видел его — это маленькая злая мартышка, ни под какую мерку он не подходит.

Отец свирепо швырнул в угол книгу немецкого профессора.

Снегирь в клетке вздрогнул и неясно щебетнул со сна.

— А что мне в их лавочке! — раздражительно сказал отец. — Если бы они были только кастратами или коновалами! Но они больны некроманией. Посмотрите, как они упорно рядятся в лохмотья, стащенные с покойников. Они щеголяют во фраке Ницше или жилетке моего покойного коллеги Ратцеля, и все-таки даже это зловонное тряпье слишком для них изящно. Они распарывают его по швам, когда надевают на себя. Поэтому от всех их книг несет мертвечиной, а хуже этого запаха я уж ничего не знаю.

— Есть хуже, — сказал Ганка и улыбнулся, показывая маленькие острые зубы. — Мы доктора и привыкли к воздуху анатомического покоя. Мы историки, и поэтому все прошлое для нас только огромная секционная. Но от них пахнет молью, мышами и нафталином, так что у меня сразу начинает першить в горле. Они выкапывают то, что никогда и не было живым. Вот выпустили какую-то паскудную книжонку "Протоколы сионских мудрецов", изданную лет тридцать тому назад в России и сейчас же забытую там, какие-то древние ритуалы в честь людоедского бога Тора. А как они изобретательны на пакости! Все человечество они мыслят сотворенным по образу и подобию своему. Послушайте, Ланэ, — вы этого еще, наверное, не знаете, — в течение полтора года лет мир знал о великой и трогательной дружбе Шиллера и Гете. Мне нечего, конечно, вам говорить о том, что это было чистое, крепкое и плодотворное для обоих чувство. Так все мы учили в школах. Но разве нацист, чья стихия — слепое разрушение, может поверить во что-нибудь, что основано на чувстве уважения человека к человеку?

"Прекрасным гимном Господу является человек", — говорили древние монахи. Ну, а у них на этот счет другая поговорка: "Человек человеку волк". И они ее придерживаются свято. И вот, пожалуйста, готова теория: дружбы не было, а была жестокая, но тайная борьба. Шиллер умер раньше Гете. Значит, Гете отравил Шиллера. Легко и просто! Это вполне

укладывается в голову каждого кретина. Отравить конкурента — это же, черт возьми, выгодное дело! От него никто и никогда не откажется! Надо только обтяпать его половчее, так, чтобы не попасться! — Он улыбнулся и покачал головой. — Бедные гении, которые должны были родиться в Германии. Они все становятся уголовниками и дегенератами: так их легче понять!

Ланэ повернул голову. Он действительно походил сейчас на ручного снегиря — такой же медлительный, солидный и толстый. И когда он посмотрел на отца, даже взгляд у него был птичий — округлый, внимательный и чуть туповатый.

— Господа, господа! — сказал он, призывая к порядку. — Вы говорите Бог знает о чем!

Отец весело и быстро повернулся к нему.

— Ба, Ланэ! — сказал он. — Вот позабыл-то! Вы просили у меня тему для докторской диссертации. Сейчас она пришла мне в голову. Берите карандаш и пишите: "Европейский подвид синантропа на территории Германии".

Ланэ недовольно поморщился:

— Вот видите, профессор, — сказал он, — как вы отстаєте от жизни! Ваша тема уже устарела. Во-первых, этот синантроп, как вы остроумно выразились, уже давно перешагнул границу Германии и теперь спешно доглатывает остатки Европы — это раз. Во-вторых, он является к нам не с дубиной, как подобает синантропу, а во всеоружии техники уничтожения. У него в руках автоматы, радио, зенитные орудия, магнитные мины и удушливые газы. Он сметает с лица земли наши города, даже не дотрагиваясь до них. Он превращает в огонь, дым и пепел целые области, даже не видя их. И неужели вы, господа, до такой степени слепы, что можете говорить черт знает о чем и о ком, когда петля уже накинута на наше горло?! Видите ли, Ганку очень возмущает, что какой-то там осел написал дурацкую книгу о том, что Гете отравил Шиллера. Ну и черт с ними! Бумага-то все

терпит, — отравил и отравил, — не наше это совсем дело! А вот что всех нас скоро перетравят, об этом вы, господа, подумали? Нет ведь? Нет! — И он откинулся на спинку кресла, глядя на отца зло и выжидающе.

Отец посмотрел на него в некотором замешательстве.

Ланэ был всегда медлителен, сдержан и не любил лишних слов, нужны были особые обстоятельства, чтобы вывести его из себя. Правда, они и были сейчас налицо. В одном, по крайней мере, он был неоспоримо прав: петля была уже заброшена на шею, и кто знает, когда она должна была затянуться!..

— Ну, — сказал отец, — предположим, что вы правы, но что же вы предложите делать? — Он развел руками. — Знаете, есть положения, которые...

— Послушайте, — сказал Ланэ и встал с места так стремительно, что толкнул клетку со снегирем. — Вот Ганка сказал, что они на перилах Королевского моста повесили Гагена. Я с ним виделся в последний раз три месяца тому назад. Мы встретились в вагоне пригородного поезда. Он возвращался из комиссии по увековечению памяти Флобера. И знаете, что он мне сказал? "Обезьянья лапа повисла над Европой, а мы не видим, что уже сегодня находимся в ее тени. Берегитесь, Ланэ! Если дело пойдет дальше таким же темпом, то через месяц в кабинет вашего института явится за своим черепом живой питекантроп, но в руках у него будет уже не дубина, а автомат". И вот обезьяна приходит за своим черепом, а три интеллигента сидят в креслах, покуривают трубки и рассуждают о дружбе Шиллера и Гете... О, черт бы подрал эту дряблую интеллигентскую душу с ее малокровной кожей!

Он снова тяжело плюхнулся в кресло, и над ним успокоенно и сонно свистнул снегирь.

Отец, который было остановился, слушая Ланэ, снова забегал по комнате.

Затренькали в своих гнездах фарфоровые безделушки, как стая всколыхнувшихся со сна птиц.

Он подбежал к выключателю и повернул его.

На столе зажглась зеленая лампа.

Гольй череп Ганки и его маленькие ручки, попав в зону света, сразу стали страшными, как у утопленника. Ганка выставил их и легко пошевелил пальцами. Это было уже совсем жутко, и он сейчас же опустил руку.

— Последний свет, — сказал отец. — В других городах давно выключена вся осветительная сеть. Бедный Гаген, что он им сделал? Ведь он не интересовался ничем, кроме своего Флобера.

— А ничего! — ответил Ганка. — Они его просто обвинили в знакомстве с Карлом Войциком. Ох! Чтоб поймать этого человека, они готовы сжечь весь город! Жена Гагена рассказывала мне, как все это было. Пришли двое с этими, — он слегка дотронулся до своего локтя, — белыми пауками на повязках. Гаген сидел перед зеркалом и брился. Они его спросили: "Это вы и есть Гаген?" Он встал с бритвой в руке и ответил: "Я". Тогда старший сказал: "Положите бритву, она вам не понадобится больше. Впрочем, если вы хотите перерезать себе горло..." И оба заржали... Так они его и повели, даже не дали смыть мыло с лица!

Ганка оторвал пуговицу от пиджака, несколько секунд неподвижно смотрел на нее, а потом яростно бросил в стену.

— Вы понимаете, это особое хамство, это скотское наслаждение — тащить через город человека с намыленной мордой!

Ланэ тяжело дышал.

Его доброе, круглое лицо с крупными, грубыми чертами и массивным носом было красно от напряжения. Он даже приоткрыл было рот, желая что-то сказать, но только махнул рукой. Ганка погладил зеленой, худенькой ручкой массивную спинку кресла.

— На другой день его привели к мосту, набросили на шею провод, — знаете, такой тонкий шнур, что, как нож, врезается в тело, — и повесили. Он минут пять хрипел, перед тем как задохнуться.

Отец подошел к шкафу и стал через стекло разглядывать огромную и белую, как водяная лилия, чашку.

Было уже совсем темно, и чистое фиолетовое небо с прозрачными кристаллическими звездами смотрело в окно. Снегирь спал, подоткнув голову под крыло.

— Когда его уводили, — сказал Ганка, и я почувствовал, что он сжал зубы, — заплакала его жена. Он стал ее успокаивать и сказал: "Не плачь, я скоро вернусь, это недоразумение". Тогда один из этих — старший, наверное, — сказал ему: "Вы очень самоуверенны, молодой человек. Конечно, это надо приписать вашей неопытности. Сколько вам лет?" Гаген сказал: "Скоро будет тридцать". — "Не будет!" — ответил старший, и опять оба заржали... Потом они его увели на допрос и через день повесили.

— Вот! — сказал Ланэ и ударил кулаком по креслу. — Вот почему меня бесят так эти импотентные разговоры о Шиллере и Гете! Ведь такой же, точно такой же конец ждет и нас! Придет немецкий офицер и скажет...

— Хорошо, — начал отец, — но что же...

И вдруг обернулся.

Сзади стояла мать, держась за портьеру.

— К тебе немецкий офицер, — сказала она, жалко улыбаясь. — Он ждет тебя в кабинете.

Ганка вскочил с места, подбежал к отцу и встал с ним рядом.

— Вот она, — сказал Ланэ, — вот она, эта немецкая петля. И как же она быстро затянулась вокруг шеи!

И растерянно, беспомощно, ничего не понимая, он поднял голову и в упор посмотрел на снегиря.

Но снегирь уже спал, и ничто человеческое не было ему интересно.

Глава вторая

Слова Ланэ о петле, затянувшейся вокруг шеи, имели свой особенный смысл.

Прежде всего надо сказать, что петля эта никак не должна быть понята как метафора.

Нет, была такая петля, и лежала она в нижнем ящике письменного стола, похожая на свернувшуюся ядовитую гадину. К ней и записка была приложена так, чтобы никаких сомнений насчет ее назначения не оставалось. Но опять-таки, чтобы вполне понять, что она обозначала, и то, что произошло дальше, надо начать издавека, с первых годов двадцатого столетия.

Именно в это время, окончив медицинский факультет Гейдельбергского университета, отец поступил судовым доктором на грузовой пароход голландского акционерного общества "Ван Суоотен и К°".

Случайно я знаю некоторые подробности.

Судно было вместимостью в шесть тысяч тонн, называлось "Афродита Пенорожденная", и это совсем не соответствовало ни его виду, ни его назначению.

Начать с того, что это было большое грязное корыто, годное только на слом и на получение страховой премии. Может, на это и рассчитывали его владельцы, посылая эту лохань в такие далекие рейсы. Но судно не тонуло: на нем был старый, опытный капитан, сорок матросов да представитель фирмы, и все они никак не хотели расстаться с жизнью.

А жизнь была у них простая, ясная и не особенно тяжелая.

Пристав к берегу, судно по целым неделям стояло на якоре и ожидало погрузки, а матросы пили джин, сходились с женщинами и резались в карты. Доктору нечего было делать с просмоленными органами этих морских бродяг.

С утра он брал палку, томик трагедий Сенеки, сачок для бабочек, вешал через плечо ботанизирку и уезжал на берег. Он увлекался в ту пору латинскими стихами, коллекцией экзотических бабочек и составлением гербария ядовитых растений. Его первой научной работой было исследование о растительных ядах Римской империи.

Вот в одну из этих прогулок он и натолкнулся на череп индонезского человека.

Я написал "на череп".

Это не совсем так.

Не череп он нашел, а только часть черепного свода, бурую шершавую окаменелость, с первого взгляда даже не отличимую от валяющейся тут же гальки.

Отец после рассказывал, что он как будто сразу же понял все гигантское значение своей находки.

Запыхавшись, он вбежал в каюту капитана и положил перед ним на стол эту бесценную окаменелость.

— Что это такое? — ошалело спросил капитан и потрогал было кость пальцами.

— Череп Адама! — ответил отец.

— Вот что, Леон, — сказал капитан и брезгливо отряхнул пальцы, — выбросьте вы эту гадость за борт и не пейте натошак; вы еще молодой человек, и не надо прививать себе дурные привычки.

Конечно, у меня есть все основания думать, что этот рассказ сильно стилизован, так же как рассказ о знаменитом ньютоновском яблоке или ванне Архимеда, но таким он вошел во все научные биографии моего отца. Повторяю еще раз — мой отец любил выражаться красиво, недаром любимым его автором был Сенека. На другой день отец привез с берега обугленную от времени берцовую кость, коренной зуб и обломок затылочной части черепа. Дальше уже требовались основательные раскопки, и больше отец на это место не ездил. Вернувшись в Голландию, он сейчас же рассчитался с торговой фирмой "Суотен и К°" и уехал на родину. Там у его отца, старого но-

тариуса города Нанта, было свое небольшое имение, и он засел в нем, обложившись книгами.

Усидчивость и трудолюбие его были просто невероятны.

За три месяца он исписал две тетради по пятьсот страниц каждая, начал было третью, но не кончил, бросил в корзину, где вместе с грязным бельем валялся Сенека, и уехал — сначала в Париж, а потом в Лондон.

Еще год упорной, усидчивой и безмолвной работы в библиотеке Британского музея — и вот биография отца уже идет крупным планом.

Доклад в Лондонском королевском обществе археологии и древней истории.

Статья в анналах Британского музея.

Другая статья, популярная, в воскресном номере "Таймс".

Еще один доклад, публичный, в обществе любителей древности.

Отец любил рассказывать об этом вечере.

Зал переполнен публикой.

В первых рядах блещут голубые седины и розовые лысины знаменитых стариков. После двухчасового доклада к отцу подходит человек, чье имя известно каждому школьнику. Он стар, но еще прям и бодр, как крепкое столетнее дерево.

— Молодой коллега, — говорит он громко, так, что слышат все находящиеся в зале, — позвольте позжать вам руку. Вы сделали великое открытие. Вы пошли дальше Кювье. Он показал мне предка моей собаки, а вы сегодня отдернули завесу времени, и я увидел самого себя.

Три музея и два института четырех различных стран спорят между собой за честь обладать этими бесценными останками. Год продолжается переписка, и наконец отец жертвует их в музей своего родного города. Там они покрываются лаком и заключаются в стеклянную раму. "Homo indonesia Messonie", — гласит надпись на металлической таблице,

и с этим именем гипотетический крестник моего отца, весь состоящий из одного зуба, берцовой кости и обломка черепа, входит в науку.

Но шум в газетах продолжается.

Так вот как выглядит наш предок!

Вот какое у него было обезьянье лицо, звериные, острые скулы, полусогнутое, очевидно, волосатое тело. Вот он, родоначальник всех Венер и Аполлонов! Полно, так ли все это? Не напутал ли чего-нибудь этот шустрый судовой доктор? И вот на средства какой-то скужающей английской леди собирается на место находки новая экспедиция.

Фрахтуется специальный корабль, на его палубе сидят проворные геологи с молоточками в карманах, антропологи и специалисты по археологии и первобытному искусству.

Но черта с два! Ничего не обнаруживается в диллювиальных глинах. Холм пуст, и привезенные эолиты оказываются просто бульжниками. Огорченная леди может их выбросить в помойное ведро.

А дальше?

Дальше создается институт первобытной культуры и палеантропологии.

Отец назначается его научным руководителем и первым директором.

Снова организуется экспедиция. Может быть, что-нибудь да выдаст земля, если ее хорошенько попросить об этом.

Несчастный холм грызут со всех сторон!

Выкапываются какие-то сомнительные собачьи кости, но отец отрицательно качает головой. Нет, это не пойдет: индонезский человек не занимался охотой, он не имел домашних животных. Да и вообще хватит! Хватит шума, газетных сплетен, научных статей и экспедиций! С него достаточно и того, что он сделал. Достаточно? Нет, это еще не все. Надо выжать из этой жесткой костяной губки все, что она имеет. Вот надо хотя бы получить гипсовый слепок с мозговой полости. Черепной свод сохранился хоро-

шо — значит, что-нибудь да должно получиться. Но ведь череп до краев заполнен кремнеземом, сросшимся с костью! Очищать его нельзя — он сейчас же превратится в известковую пыль! Каждое неосторожное прикосновение может быть гибельным. И вот отец совершает свой второй подвиг! Он покупает обыкновенную зубоврачебную бормашину, ставит ее к себе в кабинет и начинает высверливать череп.

Он терпелив и неустанен.

Двадцать пять лет продолжается эта операция. Он не торопится, за день он делает всего несколько миллиметров. Поистине он похож на ту мифическую птицу, которая раз в столетие прилетает в горы, чтобы долбить гранитную скалу. Откуда-то об этом узнают газеты и юмористические журналы; фельетонисты не знают, как к этому следует отнестись, и на всякий случай начинают смеяться.

Отец не обращает внимания на это.

Он все сверлит, сверлит, сверлит свой злосчастный череп.

Смеются?

А, пусть себе смеются!

Он сам улыбается, когда при нем говорят об этом. Но через двадцать пять лет в "Известиях института" появляются снимки слепков с мозговой полости индонезского человека. Становится возможным сделать ряд выводов о его интеллекте и психике, в частности решить вопрос, обладал ли он членораздельной речью.

Бормашина уже не нужна. Ее стаскивают со второго этажа, где находится кабинет отца, и переносят в зубоврачебный кабинет какого-то благотворительного общества.

Иди с миром, старушка! Ты достаточно потрудились на своем веку. Теперь ты будешь сверлить обыкновенные человеческие зубы.

Вот, собственно говоря, и все, что касается индонезского человека.

Но, конечно, научная биография отца была много шире. Не надо представлять себе так, что он двадцать пять лет сидел в кабинете и жужжал на бормашине. Нет, конечно, у него были такие промежутки, когда он месяцами не поднимался на второй этаж института. Во время одного из них он женился (надо сказать, так же быстро и неожиданно, как когда-то сделался антропологом) и родил сына.

Летом он блуждал по Европе и Азии с группой студентов и землекопов, раскапывал устья древних рек, рылся в бытовых остатках палеолита и вслед за индонезским человеком откопал еще двух или трех его братьев. В его кабинете появилось еще несколько человеческих разновидностей: новый тип неандертальца; какой-то богемский человек, близкий к расе кроманьонцев, но значительно более древний; европейский подвид синантропа и какие-то неясные костные фрагменты загадочной эпохи, реконструировать которые ему так и не пришлось.

Затем была проделана работа по восстановлению облика всех первобытных рас, открытых за тридцать лет работы института. На сохранившиеся лицевые части черепа наносились хрящи, фасции, мускулатура, кожа, потом все это переносилось на бумагу, гипс или глину.

Это была трудная работа, которую художники проделывали не только костью и резцом, но и какими-то специальными измерительными приборами.

Человеческое лицо рассчитывалось и размерялось, как архитектурный чертеж. Оно было разложено на столбики цифр, пропорций и измерений.

В конце десятого года работы сад института украсился галереей страшных обезьяньих харь, которым, верно, позавидовал бы и строитель собора Парижской Богоматери.

Последние пять лет отец сидел в кабинете и писал книгу, в которой был подытожен сорокалетний опыт его исследований.

Когда вышел шестой выпуск второго тома, Оксфордский университет преподнес отцу докторскую мантию.

После выхода третьего тома его выбрали в члены Академии наук СССР.

Книга называлась "История раннего палеолита в свете антропологии (к вопросу об единстве происхождения современных человеческих рас)". Книга имела мировой успех, и в 1933 году один экземпляр ее был сожжен в Берлине.

Узнав об этом, отец потер руки и продекламировал:

Я не бежал, я не отвел глаза
От пасти окровавленного гада
И от земли, усеянной костями
Вокруг его пустынного жилья.

Но костер в Берлине не был еще исчерпывающим ответом.

Чудовище възжидало и собиралось с мыслями.

В следующем году, в журнале "Фольк унд расе", появилась статья некоего Кенига "О черном кабинете профессора Мезонье, или Чудеса френологии". Автор ее уже был достаточно известен отцу по другим статьям в том же журнале. Все они касались вопросов расы и крови, и пока позиция отца не была еще вполне ясна (а ясна она стала только после выхода его последней книги), его имя не появлялось иначе, как в сопровождении эпитетов: "уважаемый", "высококочтимый" и "многоученный". Кениг любил двухсложные, гомеровские эпитеты и щедро награждал ими отца.

Но, читая его статьи, отец качал головой и хмурился.

Кенигу никак нельзя было отказать в ловкости и в каком-то странном, изошренном таланте исказить все, до чего он дотрагивался. Под его пером лгало все. Цитаты, которые он приводил в невероятном количестве, часто даже не извращая их, — для этого ему достаточно было просто отсечь начало или конец фра-

зы — цифры, статистические данные. Он брал отдельные куски текста из разных мест, сталкивал их, пересыпал восклицательными и вопросительными знаками, и вот они превращались в абракадабру, бессмыслицу, начинали противоречить друг другу. А мысли-то были правильные и хорошие.

У Кенига Гете становился расистом, Клейст приветствовал Гитлера, Рудольф Вирхов говорил о пользе стерилизации.

В тот год на книжном рынке Европы усиленно шел Чехов. Кениг добрался до него, выписал монолог фон Корена из "Дуэли" и поместил его в статье "Великий русский новеллист об охране чести и крови нации". Дураки читали и разевали рты.

Пока это были довольно невинные упражнения, рассчитанные не так на человеческую глупость, как на примитивное невежество. Но вот в одной из своих статей Кениг назвал себя учеником и продолжателем высокочтимого, высокоавторитетного профессора Мезонье. В этой же статье, несколькими страницами ниже, он уже прямо заявлял о своей многолетней работе в стенах института. Это озадачило отца.

И статья была наглая, и никакого Кенига отец не помнил.

Он написал ответ, в котором с достаточной ясностью высказал свой взгляд на упражнения Кенига, а главное, выяснил позицию института по отношению к журналу и к расовой теории вообще.

Ответ был помещен в очередном томе трудов института.

Кениг в то время перчатку не поднял, и на этом дело пока и кончилось.

Отец уже стал забывать об этом инциденте, когда появилась новая статья Кенига.

Тон ее был еще сдержанный: пышные гомеровские эпитеты еще не исчезли окончательно, но наряду с ними появились другие. Профессор Мезонье, не переставая быть высокоученым и высокоавторитетным, становится хитроумно изобретательным, а под

конец и просто ловким. "Мы бы не желали употребить другое слово", — замечал автор статьи. Но если тон статьи еще допускал толкования, то самая суть ее была вполне ясна и определена.

Кениг ставил под вопрос всю научную работу института.

Рассуждал он примерно таким образом.

Как известно, огромное значение имеют не только самые находки, но и то, где, кем, когда и при каких обстоятельствах они были найдены.

И он повторил еще раз — где, когда и кем?

Ведь дело-то обстоит так.

Вот демонстрируется какой-то и чей-то череп. Профессор Мезонье говорит: "Этот череп принадлежит человеку вымершей расы, жившей, ну, скажем, в конце вюрмского обледенения". Отлично! Учитель сказал, и всем остается только верить. Ну, а если это все-таки не так, если совсем не на такой глубине и не в тех геологических слоях найден череп и несчастный носитель его умер всего сто или двести лет тому назад? Что остается тогда от всех ученых построений хитроумного профессора? За доводы профессора, однако, говорят как будто сами его находки.

Ведь галерея антропидов все-таки украшает его институт, а вид их говорит сам за себя. Хорошо! Но тут он задает такой вопрос: учел ли высокочтимый ученый те изменения, которые претерпевает полая человеческая кость под давлением огромных земляных масс? Неужели приходится повторять великому антропологу, что кость не камень, не бронза, даже не затвердевшая глина, а податливая, пластическая масса, пропитанная кальциевыми солями, и под влиянием огромной тяжести она может менять свою форму? К тому же окончательное окостенение черепного свода оканчивается очень поздно, оно может быть и вообще не полным: под влиянием некоторых болезненных процессов наступает иногда так называемая декальцинация организма, то есть размягчение кости.

Как же не учесть всего этого при объективном исследовании!

Кто, например, не только из анатомов, но и просто из образованных людей не знает, какой мягкостью отличается череп Тургенева, — а ведь он умер в очень преклонном возрасте.

Предположим теперь, что этот череп попал бы сначала под равномерно-медленное давление земной массы, а потом, эдак лет через сто, очутился в руках изобретательного профессора. Какой бы страшный облик придали тогда этот ловкий ученый ("мы бы не желали применять другое слово", — оговаривался Кениг) великому писателю!

Здесь стоит вопрос только о добросовестном заблуждении. Но если продолжать мысль, то позволено спросить: а что же будет с черепом, специально обработанным с целью удалить полностью или частично кальциевые соли? Ведь тогда и года хватит для получения любых результатов!

О, он не ставит точки над "и", он ничего не утверждает, он только предполагает и спрашивает. Он просто считает, что работы института нуждаются в проверке.

А что при такой проверке могут получиться самые неожиданные результаты, он скоро попытается доказать.

И вот в следующем же номере журнала появилась целая серия снимков с "Коллекции доктора Кенига".

Чего тут только не было!

Черепы — удлинённые, как тыквы, круглые, как арбуз, сплюснутые с боков. Какие звериные облики должны были иметь их обладатели, если бы они оделись кожей и плотью!

В сопроводительной статье, очень короткой, впрочем, доктор Кениг писал, что он не требует лавров профессора Мезонье, а только доказывает ему, что и он мог бы их иметь, если бы захотел. Что же касается нападок профессора на истинную науку и на великий принцип чистоты крови, который так

не нравится профессору, то он очень советует ему прочесть две хорошие книги — "Моя борьба" Гитлера и "Миф XX века" Розенберга.

И отец поднял перчатку.

Он опять поднялся на второй этаж, в свой кабинет, уже давно освобожденный от бормашины, и через месяц в Париже и Лондоне вышла его книга "Моя борьба с мифом XX века".

Вот тогда-то ему и прислали эту петлю.

Сопроводительное письмо, приложенное к ней, было немногословно:

"На ней повесит вас первый немецкий офицер, перешедший с нашими войсками через границу".

Вместо подписи стояли крючок, точка и клякса.

Теперь этот офицер пришел в ждал отца в кабинете.

Глава третья

Офицер стоял перед картиной, на которой парили розовые ангелы, и курил.

Это была его вторая папироса.

Первую он вместе с раздавленной спичечной коробкой бросил в череп питекантропа, видимо, приняв его за пепельницу.

У него было удлиненное, острое лицо с тяжелым подбородком, небольшие серые и как будто бы мутные, но на самом деле очень зоркие глаза, которые подолгу задерживались на одном предмете, гладкий лоб, короткие темные волосы. Говоря, он часто поднимал руку и проводил рукой по голове, как будто приглаживая прическу.

Увидев отца, он быстро шагнул к нему навстречу, и на лице его, вернее — на одних тонких лиловых губах, появилась ласковая и в то же время сдержанная улыбка...

Он щелкнул сапогами — тонко и остро звякнули шпоры — и, глядя в лицо отца, пристально и друже-

любно спросил по-французски, имеет ли он высокую честь видеть профессора Мезонье.

Он именно так и выразился — "высокую честь".

Вообще же я сразу заметил, что говорит он плохо, запас слов у него ограничен и, прежде чем сказать фразу, он предварительно должен составить ее в уме.

Отец кивнул головой — он волновался и не хотел, чтобы слышали его голос.

— В таком случае разрешите пожать вам руку! — быстро сказал офицер и протянул отцу прямую и жесткую ладонь.

Отец порывисто пожал ее и глубоко вздохнул.

Я взглянул на мать.

Лицо у нее было утомленное и туманное.

Она поймала мой взгляд и медленно закрыла и снова открыла глаза, показывая этим, что все обстоит благополучно. Потом она тоже вздохнула и улыбнулась.

Так улыбаются, так вздыхают, так смотрят очнувшиеся после утарного обморока.

— Я являюсь вашим давнишним почитателем, профессор, — сказал офицер, не спуская с отца тяжелых, оловянных глаз. — Я тоже учился в археологическом институте. Но война... — Он остановился, вспомнил что-то и добавил: — Кто-то из поэтов выразился так: "Когда говорят пушки, то музы бегут с Парнаса". Не правда ли? Но главная цель моего посещения...

— А мы можем говорить по-немецки, — сказал отец, — я окончил Гейдельбергский университет.

— Да? — радостно, но спокойно изумился офицер. — Прекрасно! С питомцем старейшего европейского университета на другом языке и не подобает говорить! Так вот, моя миссия... — У него догорела папироса, и он остановился, разыскивая глазами череп синантропа, но мать быстро подставила ему пепельницу. — Моя миссия заключается в том, чтобы передать вам привет от вашего родственника. — Тут он вынул из кармана перламутровый портсигар и по-

ложил его на ладонь. — Привет и письмо, которое он просил передать вам лично. Это и к вам относится, сударыня, — обернулся он с легким полупоклоном к матери.

Затем он щелкнул портсигаром и достал узкий синеватый конверт.

— Пожалуйста! — сказал он.

Отец полез в карман за очками. Их там не оказалось, и он в отчаянии взглянул на мать.

— Они в столовой, сейчас я принесу, — сказала она и вышла.

Отец надорвал конверт, и оттуда выпал лиловый листок.

— Сударь, — сказал отец, глядя на офицера, — если бы вы только знали, как я все эти годы ждал этого письма. Мой несчастный брат, который с тысяча девятьсот тридцать второго года пропал без вести...

— А вот вы прочтите письмо, — посоветовал офицер и улыбнулся снова, спокойно, вежливо и жестко.

В кабинете было совсем темно.

Ганка неслышно подошел к окну и опустил тяжелые синие шторы.

Потом он наклонился над столом и зажег лампу. Тогда на письменном столе неясно замерцала тяжелая бронза дорогого письменного прибора в египетском стиле, а райские птицы на шторах вспыхнули и заиграли матовым, перламутровым свечением. Офицер шагнул к столу, взял пресс-папье и подбросил его на ладони. Потом поднял и опустил крышки на чернильницах в форме лотоса.

— Дорогая вещь, — сказал он с уважением, — редкая, дорогая вещь.

Дотронулся до штор и уже ничего не сказал, а только покачал головой.

Мать возвратилась с очками.

Отец надел их и быстро перевернул листок, разыскивая подпись.

— Господи, Боже мой, — сказал он вдруг изумленно. — Да ведь это!.. Берта, ты знаешь, кто это пишет?

Он хотел что-то сказать еще, но взглянул на офицера и прищелкнул языком. Потом прочитал письмо до конца и молча протянул его матери.

— Дорогая вещь, — повторил офицер, глядя на чернильницу, — редкая, дорогая вещь. У меня с детства наклонность к бронзе, и если бы вы... — он, как кошку, погладил бронзового сфинкса, — если бы... — повторил он. Потом вдруг спохватился и даже нахмурился. — Я сегодня буду говорить по прямому проводу с Берлином. Так вот, если вам нужно передать что-нибудь спешное...

Отец растерянно поглядел на мать — она кончила читать письмо и спокойно положила его на стол.

— Нет, чего же передавать! Как будто нечего. А? Берта? Мы ему ответим письмом.

— Ну, а вы, сударья, — офицер повернулся к матери, — не захотите ли вы передать чего-нибудь вашему брату?

— Скажите Фридриху, что мы его ждем, — ответила мать, — и чем скорее он приедет, тем лучше.

Отец быстро взглянул на нее.

— Чем скорее, тем лучше, — упорно повторила она, не спуская с отца глаз. — Это я вас прошу передать от нас обоих.

— Хорошо! — сказал офицер, и рот его слегка дрогнул. — Передам от вас обоих.

— И потом вот еще что, сударь, — мать секунду подумала, — вам понравился наш чернильный прибор, а у нас в семье такой обычай: если гостю, дорогому гостю, потому что вы приносите нам весть о моем пропавшем брате, — подчеркнула она, — что-нибудь понравится...

— Ну что вы, что вы! — радостно забеспокоился офицер. — И потом же — вы меня совсем не знаете... С какой же стати?.. А вот, я вижу, вас интересуют библейские сюжеты! — он обрадованно кивнул головой на розовых ангелов с гусиными крыльями. — Я

вывез из Галиции недурную коллекцию старых византийских икон, так я сегодня же вечером пришлю их вам...

— А что, сударь, — вдруг спросил Ганка, — вот эту коллекцию икон, что вы вывезли из Галиции, вам тоже подарили? — Он стоял около двери, и лица его не было видно.

Офицер вздрогнул и остановился.

— Что такое? — спросил он с недоумением и даже с легкой оторопью.

— Иконы, иконы, византийские иконы! — настойчиво повторил Ганка. — Их вам тоже подарили в Галиции? Вы зашли в церковь, похвалили их, и священник сказал: "Дорогой господин офицер, — не знаю, к сожалению, как вас следует именовать, — возьмите, будьте добры, на память эти иконы, раз они уж вам так нравятся. Почему-то мне кажется, что они теперь все равно не удержатся". Так, что ли?

Офицер уже понял и смотрел на Ганку неподвижно и прямо, тяжелыми, белесоватыми глазами.

— Вы большой шутник! — выговорил он, отчеканивая каждое слово. — Извините, я тоже не имею чести знать вашего имени... Да, эти иконы мне тоже подарили! Довольно с вас этого?

Тогда Ганка вышел вперед.

Маленький, худой, в узком сюртуке, тесно обтягивавшем все его тщедушное, птичье тельце, он выглядел, по правде сказать, очень жалким и даже смешным рядом с тонкой, точно вылитой из металла, крепкой фигурой офицера.

Притом еще он весь дрожал. Не от страха, конечно, а от возбуждения, ярости и усилия сдерживаться. Но я знал: сдержаться он уже не мог, раз он начал, должен был говорить до конца.

Он был страшно нервный, этот Ганка, нервный, вспыльчивый и злой, и когда ненавидел кого-нибудь, то ненавидел уже рьяно, всеми силами души, всеми помыслами и желаниями, и молчать тогда ему становилось не под силу. Его ненависть всегда была силой

активной, действенной, не знающей преграды. Под влиянием ее он дрожал, извивался всем телом, корчился как от стыда, и сам не знал, что и как он сделает в следующую минуту.

— У вас очень много друзей, — пробормотал он, дрожа.

Офицер подошел к нему вплотную.

Так с минуту они молча стояли друг перед другом.

Лицо офицера, тяжелые серые глаза, тонкие, фиолетовые губы — все это было неподвижно и сжато. Ганка дрожал, менялся в лице, но глаз не опускал и на офицера смотрел дико и прямо.

— Да! — что-то решил наконец офицер и спокойно повернулся к отцу. — Как звать этого господина?

— Боже мой... Господа, господа! — засуетился отец, как будто выведенный из тяжелого транса. — Разве так можно? Это мой помощник, доктор исторических наук Владислав Ганка, у него бывает...

— Я вижу, что у него бывает, — жестко улыбнулся офицер. — Так вот, господин Ганка, меня зовут Иоганн Гарднер, полковник государственной тайной полиции. Теперь вы знаете, с кем имеете дело. Я думаю, что сейчас нет смысла продолжать этот разговор, но обещаю вам, что мы встретимся и тогда поговорим обо всем как следует. О дружбе, о вражде и о прочих интересных вещах...

И он совсем уже двинулся к двери, но вдруг остановился опять.

— У меня много друзей, — сказал он, уже не сдерживая угрозы, — но имейте в виду, что и врагами я никогда не пренебрегаю!

— Это оттого, что вам в них очень везет, сударь! — быстро ответил Ганка.

— Немецкому офицеру во всем везет! — жестко улыбнулся Гарднер. — И во врагах, конечно, прежде всего. Но мы их не боимся. Мы делаем с ними вот! — и он разжал и снова сжал кулак. — Раз, два, три — и нет! Мокро!

— Я видел это, — сказал Ганка, и голос его вдруг пересох и прервался, — там, на перилах Королевского моста...

— Ах, вот как! Вы, значит, уже и там были! — многозначительно воскликнул офицер и вдруг повернулся к матери. — До свиданья, фрау Курцер, спасибо за дорогой подарок, но я боюсь, что этот странный господин с чешской фамилией укусит меня за палец.

— Слушайте, господин Гарднер, — сказала мать сердечно и просто, — у доктора Ганки тяжелые нервные припадки, во время которых он не сознает, что и как он делает. Иначе он бы понял, в какое положение он нас ставит...

— И эти нервные припадки случаются у него тогда, когда он увидит мундир немецкого офицера? — уже без улыбки спросил Гарднер. — Не беспокойтесь, я вполне понимаю состояние доктора. До свиданья, господа, мы с вами еще увидимся!

Он вышел из комнаты, высокий, прямой, стройный, и отец даже не догадался его проводить.

Тогда мать опустила на диван и сжала руками виски.

— Что вы наделали, Ганка! — сказала она глухо. — Что вы только наделали! И к чему все это!

— А, собака! — вдруг закричал Ганка и кулаком погрозил портьерам. — Немецкий шакал! Ты сюда пришел грабить, срывать с окон занавески!.. погоди, погоди! Скоро вас!.. Скоро вас всех! — он замолчал, весь дрожа и извиваясь.

Мать встала и тихо погладила его по голове.

Он стоял, закрыв глаза и запрокинув голову, как человек, стремящийся поймать ртом дождевую каплю.

— Бедный! — сказала мать.

Тогда Ганка очнулся, глубоко вздохнул, свел и развел руки, посмотрел на мать, на отца и вдруг слабо улыбнулся.

— Бедный! — повторила мать с тихой лаской. — Идемте, я вас хоть чаем напою. Ланэ теперь в столовой с ума сошел от страха. А ты, — она взяла меня за плечи, — спать, спать и спать!

Наутро я узнал две новости. Первая: к нам приезжает брат матери, дядя Фридрих, которого я никогда не видел. И вторая, с ней связанная: так как у дяди слабое здоровье, через неделю мы переезжаем на дачу.

А дня через три случилось и самое главное.

Глава четвертая

И вот как это произошло.

В тот день с утра мать готовилась к переезду и упаковывала фарфор.

Отец сидел в кресле и курил.

Мать несколько раз пыталась с ним заговорить, но на вопросы ее он отвечал односложно, а то и совсем не отвечал, ограничиваясь кивком головы; если же приходилось все-таки говорить, то он болезненно морщился, цедил слова сквозь зубы, да притом еще так, что и разобрать-то можно было не все.

А день, как нарочно, выдался ненастный, серенький; шел мелкий, противный дождик, да и не дождик даже, а просто стоял пронизывающий, неподвижный туман, такой, что сразу же, как мокрая паутина, осаждается на кожу, на лицо и одежду. Листья деревьев, кусты, трава, самое небо даже — все было мокрым, тусклым, как будто вылитым из непрозрачной, тяжелой массы.

В такие дни отец с утра забирался в халат, надевал туфли, круглую черную шапочку и возился с латинскими изданиями классиков. Вот и сейчас у него был томик трагедий Сенеки, но книга лежала на коленях, а он откинулся головой на спинку кресла и закрыл глаза. Лицо у него было утомленное, невыразительное, нехорошего, землистого цвета.

— Надо будет взять с собой и твои коллекции, — вдруг сказала мать, — вот о чем я думаю все время! Но как? Ведь это — два таких огромных ящика... Разве попытаться...

Отец сидел по-прежнему молчаливый и отчужденный от всего, и глаза у него были закрыты.

Мать поглядела и отставила в сторону чашку.

— Тебе нехорошо, Леон? — спросила она.

— Да! — ответил отец сквозь зубы.

— Может быть, у тебя болит голова?

— Нет! — ответил отец.

Мать вздохнула и снова взялась за фарфор.

— Какая ужасная погода! — сказала она.

Отец молчал.

— Я все-таки пошлю письменный прибор этому Гарднеру... У нас есть еще один, простенький, но хороший. Помнишь, тот, что я привезла из Вены? Ну, как же не помнишь? — Отец молчал. — Он так тебе нравился... из черного дерева, с перламутровой насечкой! Жалко? Конечно, жалко. Но что же поделаешь, этот все равно не удержишь.

Отец молчал.

— Леон! — позвала мать.

Отец с недоумением, словно просыпаясь, открыл глаза и посмотрел на мать. Взгляд у него был мутный и нехороший.

— Ну что ты, Леон? — тревожно и ласково спросила мать и, подойдя, положила ему руку на плечо. — Ну? Я с тобой поговорить хочу, а ты...

— Берга! — сказал отец, и голос его раздраженно вздрогнул. — Давай, чтоб не возвращаться, договоримся: делай все, что тебе угодно, все, что тебе только угодно, но, пожалуйста, не спрашивай моих советов.

— Почему? — спросила мать.

— А! Ты знаешь, почему! Я тебе уже изложил свою точку зрения. С тех пор, как я узнал, что это нечистое животное вползет в наш дом, мне все стало

до такой степени противным, что я готов закрыть лицо руками и бежать, бежать куда-нибудь подальше, чтоб только не видеть, не слышать, не дышать с ним одним воздухом, — поднимаешь?

— Ты на меня сердисься, Леон? — спросила мать, помолчав.

— Сердишься! — Отец взмахнул рукой. — Сердишься! Что за никчемное, бабье понятие! Как будто все дело только в моем настроении! Я не сержусь, мне просто противно!

— Что тебе противно? — спросила мать.

— Да все мне противно! — закричал отец и стукнул кулаком по столу. Сенека упал на пол. — Все! Решительно все! И ты мне противна, и ты! Потому что ты — мой грубый, практический ум, мое реальное осознание происходящего, как говорит этот трус Ланэ, ты — мой компромисс с совестью. Пойми: я не на тебя сержусь, я себя презираю. Понимаешь ли ты хоть это?

— Леон... — начала мать.

— Худшее я знаю про себя, много худшего. Вот подожди, подожди, — в голосе отца прозвучало какое-то дикое злорадство, он словно был рад своему унижению, — придет твой людоед, твой уважаемый братец, и мы мирно — слышишь, Берта, мирно! — будем говорить о вопросах палеантропологии. Мы ведь с ним коллеги по ремеслу! Он ведь тоже работает в нашей области, и я ему еще улыбаться буду, вот так же, как ты улыбалась вчера этому прохвосту Гарднеру, когда он плевал в череп синантропа. Я буду скрывать, что знаю про его кровавые подвиги в Австрии и Чехии, где он сыграл в футбол человеческими черепами. Вот что гнусно!

Мать взяла его за руку.

— Ну, а что делается в городе, ты знаешь? — спросила она сурово.

— Господи! — отец зажал голову руками. — Где то далекое, счастливое время, когда этот выродец не убивал людей, а мирно занимался фабрикацией доис-

торических черепов?! Милое, наивное время, возвратись хоть на минуту! Пусть я увижу перед собой не убийцу ребенка, а просто глупого и неопытного шулера! Ты помнишь, как летел у меня с лестницы вместе со своим "Моравским эоантропом" — этой гнусной фабрикацией из обезьяньих и человеческих костей? Меня именно и потрясла тогда эта его бесстыдная, воинствующая наглость: ведь не где-нибудь на стороне он подобрал эти кости, а у меня же, у меня же в кабинете, просто открыл шкаф, набрал костей, измазал их землей и принес их мне же. Я швырнул их ему вслед, и ты не упрекала меня, Берта, но, честное слово, насколько лучше бы было ему заниматься обезьяньими черепами и оставить человека в покое!

Отец вздохнул и нагнулся за Сенекой.

— Брось книгу, — сказала мать. — Что происходит в городе, ты знаешь?

— Ради Бога, Берта! — сказал отец, прижимая к груди левую руку — в правой он держал Сенеку, — и набрал воздуха для новой, пылкой и бичующей тирады. — Ради всего святого...

— Брось книгу! — повторила мать и вырвала у него Сенеку из рук. — Профессор Бернс, когда пришли за ним, выпрыгнул с пятого этажа, профессора Жослена вытащили прямо из постели и не дали ему даже попрощаться с детьми. Теперь, говорят, он уже расстрелян. Его видели вместе с Карлом Войциком. А когда я сегодня пошла в булочную, то при мне немецкий ефрейтор бил какого-то прохожего. Ты и понятия не имеешь, как они бьют, Леон... Он его... Да нет, нет, ты не представишь, это надо видеть! Тот повалился навзничь головой в чье-то окно, а он хлестал его кулаком по зубам... А из окон смотрели люди. Потом ефрейтор обтер руки о его пиджак, надел перчатку и пошел дальше. Я узнала потом, что этот человек случайно толкнул его локтем на улице. Ну, скажи: ты хочешь, чтобы это было и с тобой?

Отец сидел ошеломленный и сгорбленный.

Уже ничего не осталось от его суровой взыскательности и гордого величия. Одно имя поразило его особенно.

— Профессор Бернс! — сказал он в ужасе. — Ведь я его видел всего неделю тому назад... Господи, что же он им сделал?

— Ты хочешь, чтобы тебя тоже в одном белье стащили с кровати, а потом повесили на шнуре, так, что ли? — неумолимо повторила мать.

— Нет, нет, Берта! — отец, как будто защищаясь, поднял руку. — Но я не могу же...

— Чтобы к тебе подошел Гарднер, снял перчатку и начал бить тебя по зубам, чтобы тебя засадили в подвал, а потом придушили в углу, как крысу, — ты этого хочешь? Ну, так я этого не хочу!

— Нет, нет, Берта, ради бога... Ну что ты, в самом деле... — Отец продолжал что-то бормотать, сам плохо вдаваясь в смысл своих слов. Картина, нарисованная матерью, поразила его своей реальностью.

— Я этого не хочу, — повторила мать с тихой яростью. — Фридрих — негодяй и преступник. Ты пятнадцать лет тому назад вышвырнул его из дома и хорошо сделал, но теперь я должна сохранить твою жизнь и жизнь Ганса, а ты должен сохранить свой институт и свою науку — вот что я понимаю во всей этой истории! Поэтому я буду держать пепельницу, когда в нее плюет немецкий офицер, подарю твой письменный прибор Гарднеру и буду с нетерпением ждать приезда Фридриха, потому что я знаю — в этом спасение. А тебя прошу мне не мешать и... — тут у нее дрогнул голос, и она тяжело осела в кресло, — и, Леон, неужели ты думаешь, что это все мне легко? Когда Ганка...

— Да, да, а где же Ганка? — забеспокоился отец. — Он обещал прийти с утра, а сейчас...

Мать сидела в кресле и плакала. Она закрывала лицо, но слезы текли у нее по рукам и груди.

— Берта, милая! — всполошился отец. — Голубка моя... Я тебя обидел? Да? Ну, прости, прости меня, старого дурака!

Отворилась дверь и вошел Ганка.

Под мышкой он держал папку с бумагами и, войдя, сейчас же бросил ее на стол.

Он был слегка бледен и тяжело дышал.

— Вот! — сказал он и задохнулся. — Здесь все!

— Что все? — шутливо переспросил отец. В присутствии Ганки он опять обрел свой прежний тон. — Во-первых, здравствуйте, во-вторых, снимите шляпу и садитесь...

Ганка слепо, не видя, посмотрел ему в лицо, рывком оправил галстук, потом повернулся и молча пошел к двери.

— Ганка! — окликнул его отец. — Да что с вами, в самом деле? Прибежал, не поздоровался, бросил папку: "Здесь все", — а что все?

Ганка обернулся и повел шеей так, как будто ему жал воротничок.

— За мной погоня, — сказал он почти спокойно, — я не хочу, чтобы меня взяли у вас!

— Этого еще не хватало! — отшатнулся отец. — Да стойте, куда же вы?.. Берта... Берта... — взмолился он. — Ты слышишь, что он говорит?

Мать стояла, прислушиваясь.

— Вот они, уже идут, — сказала она, — поздно!

Вошли двое; в коридоре были и еще люди, видимо, несколько человек, но те остались за дверьми.

Первым вошел высокий, сухой мужчина, по своей хищной худобе, узкому треугольному лицу и жестким усам несколько похожий на Дон Кихота, каким его изобразил Густав Доре. У него была морщинистая кожа цвета лежалого масла и быстрые, зоркие, внимательные глаза.

Одет он был в глухой кожаный плащ и, может быть, поэтому напомнил мне нашего домашнего монтера.

За ним шел офицер, красивый, румяный, молодой и очень полный, с белыми вьющимися волосами и бездумным выражением в больших синих глазах.

— Который? Этот? — спросил усатый, показывая на Ганку.

— Этот! — ответил офицер и чему-то улыбнулся.

Тогда усатый пнул ногой стул, что стоял на дороге, и вплотную подошел к Ганке. С полминуты они оба молчали.

Ганка поднял руку — пальцы у него дрожали — и оправил галстук.

— Что вы здесь делаете? — спросил усатый.

Они стояли так близко друг к другу, что если бы Ганка был выше ростом, то он вряд ли увидел бы лицо усатого. Но он смотрел на него, маленький Ганка, — снизу вверх, прямо, неподвижно и строго.

— Я брал вчера у профессора плащ, — ответил он слегка изменившимся голосом, — и вот пришел возвратиться ему.

— Хорошо. Где же у вас плащ? — спросил усатый.

— Плащ на мне, — ответил Ганка и стал расстегивать пуговицы.

— Ну, а где же ваш собственный плащ? — спокойно, не повышая голоса, спросил усатый.

— Мой остался дома, — ответил Ганка. Вдруг его передернула быстрая, косая дрожь. Он хотел что-то сказать еще, но только открыл рот и глотнул воздух.

— Ты его не слушай! — сказал офицер. — Он был уже в плаще, когда мы подошли к дому. Его кто-то предупредил, и он шмыгнул через калитку в палисаднике.

— Слышите? — спросил усатый, не сводя с него глаз. — Зачем же вы пришли сюда?.. Да ты не дрожи, не дрожи, — вдруг сказал он с тихим презрением, — тебя ж никто не бьет. Стой ровно... Зачем сюда пришел? Ну?

— Я уж вам... — начал Ганка.

Усатый поднял кулак и ударил Ганку в лицо.

Я заметил — удар был четкий, хорошо рассчитанный и очень короткий.

Ганка упал.

Тогда усатый наклонился и поднял его за плечо.

— Так зачем вы сюда пришли? — спросил он прежним тоном, с силой разминая пальцы.

Папка, с которой пришел Ганка, лежала на столе.

Красивый офицер взял ее в руки, полистал немного и сказал: "Ага!" Он сказал "ага" таким тоном, который значил: "Так вот зачем вы сюда собрались".

— Вы за этим сюда пришли? — спросил усатый и, не оборачиваясь, приказал офицеру: — Ну-ка, посмотри, что там такое!

— Здесь не по-немецки, — ответил офицер. — Постой-ка, хотя сейчас...

— А я вам переведу, господа, — сказал отец, тяжело дыша. — Это рукопись, уже подготовленная к печати, и называется она "Вопрос об эолитическом человеке в антропологическом и археологическом освещении".

— Да, что-то в этом роде, — небрежно ответил офицер и веером пустил несколько страниц рукописи. — Какие-то бульжники, кости, какие-то цифры. — Он перелистал еще. — Череп, а на нем стрелки и цифры.

— Какие цифры? — спросил усатый.

— А вот что-то: "пять см; два см; пять; восемь".

— Это же научная рукопись, — сказал отец. Голос у него дрожал и прерывался самым жалким образом, хотя он и старался держаться молодцом, стоял независимо, недоумевающе пожимая плечами, и бормотал, глядя на Ганку и на усатого: "Что такое? Ну, ничего не понимаю, абсолютно ничего". — Это плод многолетних работ доктора Ганки...

— Закрой. Ерунда! — сказал усатый. — Ну, так вы будете отвечать на мой вопрос или нет? Зачем вы сюда пришли?

— Разрешите, я объясню вам все? — солидно проговорил отец, улыбаясь. — Ровно ничего особенного тут нет. Доктор Ганка работал под моим руководством...

— А вы не будьте таким прытким, — посоветовал офицер (усатый вообще молчал, он смотрел и видел перед собой одного Ганку, все остальное для него просто не существовало), — Вам еще придется достаточно отвечать за самого себя.

— Я, господа, всегда готов... — начал отец.

— Ну и вот. А пока молчите.

Мать вдруг поднялась и пошла из комнаты.

— Вы зачем? — спросил офицер и крикнул в коридор: — Густав, проводи госпожу Мезонье, куда ей нужно!

Я слышал, как мать отворила дверь в соседнюю комнату и вместе с ней туда вошел солдат.

— Ну, так вы не желаете отвечать? — спросил усатый и притронулся к кобуре револьвера.

Офицер раскрыл книгу и стал ее перелистывать.

— Сенека! — сказал он протяжно и бросил книгу обратно.

— А ну-ка, дай сюда эту рукопись, — сказал усатый. — Вот мы посмотрим, что там у него за освещение.

Он протянул было руку, но вдруг захрипел, схватился за горло и рухнул на пол.

Это произошло так неожиданно, что я не сразу даже понял смысл случившегося — почему усатый лежит на полу и хрипит и каким образом Ганка очутился на нем.

Не сразу понял это и румяный офицер, потому что он сначала только ахнул и взмахнул руками. Падая, усатый еще зацепил стул, на стуле лежало несколько словарей, и все это повалилось на пол.

Ганка сидел на усатом.

Он и вообще-то был очень сильным, несмотря на свою худобу, а сейчас его маленькие костлявые руки действовали с обезьяньей ловкостью и хваткой. Кроме того, он знал с точностью физиолога и боксера, куда и как следует бить человека. Поэтому когда он схватил за горло усатого, а потом еще ткнул его кулаком в подбородок, из того сразу потекла кровь. А Ганка не давал ему опомниться: он уже не сидел, а лежал на нем и быстро, ловко и точно колотил его по физиономии. При этом лицо его было неподвижно и сосредоточенно, даже особой злобы не было заметно на нем.

Усатый хрипел и хлюпал. Потом вдруг заорал: "Помогите!" — но сразу же и подавился своим криком.

Тут только офицер опомнился и схватился за кобуру, но стрелять он не стал — поваленный стул, три толстых тома словаря, яростно переплетенные тела двух противников образовали такую кашу, такое непонятное смещение, что он только потрогал ручку браунинга и бросился на помощь. Но отец предупредил его, он перескочил через стол и схватил Ганку за плечо.

— Ганка, Ганка, что вы делаете? Бросьте, ради Бога, бросьте! — заклинал он его и тряс за плечо.

Но Ганка с красным, застывшим лицом и закушенной губой хлестал усатого. При этом он еще фыркал от наслаждения и глаза его блестели, как у разозлившегося кота.

Офицер ткнул отца ногой так, что он отлетел, вытащил браунинг и ударил им Ганку.

Ганка продолжал колотить усатого.

Офицер ударил второй раз в упор, по затылку, действуя рукояткой браунинга как молотком, и так сильно, что мне показалось, будто у Ганки треснул череп. Звук от удара был тупой и деревянный.

Ганка упал на бок.

Офицер взял его за ногу и оттащил в сторону.

В комнату вбежали несколько солдат, они остановились, смотря на происшедшее.

Оба — и Ганка и усатый — лежали на полу.

Вид у усатого был самый жалкий. Из расквашенного носа капала кровь. Черный кожаный плащ распачнулся, и из-под него показались пиджак и сиреневая рубашка.

Румяный офицер обернулся, поглядел на солдат, покачал головой и, глумливо усмехаясь, подошел к Ганке с браунингом в руке.

Тогда усатый вдруг поднял голову.

Лицо, глаза, нос — все у него было мокрое, все блестело. Он хрипел, поводил шей и при этом болезненно морщился.

— Не надо! — сказал он обморочным голосом, увидев браунинг. — Помогите мне подняться.

Он стал вставать, опираясь рукой на стул, но повалил его и снова сел на пол.

— Черт! — выругался он с омерзением.

Румяный офицер стоял и улыбался. Видно было по всему, что он доволен унижением усатого.

— Хорек! — не то выругался, не то похвалил он Ганку. — Куда он вас?

— Не надо... — тупо повторил усатый и осторожно повертел шей. — Дайте воды!

Ему налили стакан.

Он взял его, но только пригубил и отставил в сторону. Потом встал, посмотрел на солдат и неожиданно рассвирепел.

— А вы чего тут? — закричал он. — Ну, чего, чего рты разинули? Чего не видели?! Кто у вас тут старший? Взять эту чешскую свинью!

Вошла мать с большим узлом и положила его на стол.

— Вот, Ганка, — сказала она.

Ганка лежал на ковре, согнув ноги в коленях.

Мать подошла к нему.

— Вот, Ганка, — сказала она ласково, наклоняясь над ним, так, как будто ничего не случилось. — Здесь

я вам положила кое-какие вещи — хлеб, сало, смену белья, потом одеяло и подушку.

— Да он не донесет! — сказал солдат. — Какое ему тут сало! Тут ему не сало нужно, а...

Между тем Ганку подняли и поставили на ноги. Он стоял, закрыв глаза и полуоткрыв рот.

— Сало! — повторил солдат. — Какое ему тут сало! Вы посмотрите-ка на него! Сало! — и он, ухмыляясь, покачал головой.

— Да как же так? Как он пойдет? — забеспокоилась мать. — У него же ничего нет.

— "Как же так! Как пойдет!" — закричал усатый, каким-то чуть ли не бабьим, скандальным голосом. — А вот бегать не надо! Не надо бегать! Надо себя вести по-человечески! Он имел полную возможность и собраться, и все!.. Вот мы ему теперь покажем это освещение...

Он закашлялся, задохнулся, затрясся, затопал ногами, пересиливая кашель, и махнул рукой.

— Давайте сюда, — сказал матери солдат, — я донесу. Не бойтесь, давайте, все цело будет.

Они ушли, не захватив рукописи.

Ганка лежал на руках солдат, и глаза его были устремлены мимо лица матери, мимо вещей и стен...

— Вот, — сказала мать, когда дверь захлопнулась за последним солдатом. — Теперь ты понимаешь, от чего я хочу избавить тебя!

Отец сидел в кресле, смотрел на мать, и глаза у него были дикие и бессмысленные.

— Господи, — сказал он тихо, — что же это такое было?

Потом он схватил Сенеку и стал его быстро перелистывать, ища какую-то ему нужную страницу.

— Ну не волнуйся, Леон, — сказала мать. — Теперь уж ничего не поделаешь, придет Фридрих — будем хлопотать. Тебе нужно выпить кофе, но он, — она приложила руку к кофейнику, — совсем холодный. Надо пойти подогреть.

— Стой! — закричал отец, отыскав нужное место. — Вот это самое. Слушай, Берта! — И он прочел громко и торжественно:

Рожденный
В долине рек, огромный змей свистит.
Он выше сосен поднимает шею
И голубую голову, влача
Далеко по долине хвост кольчатый.
Он спермой гибельной осеменил
Сухую землю, и она родила
Железных воинов сомкнутый строй.
Гремит труба, и медь рожка поет.
Они же, порожденные землей,
Не знают человеческих наречий,
Их слово первое — враждебный крик!
Разбившись меж собою на полки,
Они дерутся, силясь доказать,
Что семени змеиною достойны.
Перед зарей вас родила земля,
Погибнете вы раньше звезд вечерних¹.

Он положил книгу и посмотрел на мать.

— И они погибнут, Берта, — сказал он негромко, с силой глобокого убеждения, — все до одного. Они любят ссылаться на древнюю историю и мифологию. Так вот, во всех мифах человек всегда побеждает дракона. Ты видела, что сделал Ганка? Он маленький, худой, а как захрипел этот волкодав! Ты, я, Ганка — смотри, нас уже трое, одна пятнадцатимиллионная нашего народа.

Мать подошла к окну и отдернула занавес.

Одинокий солнечный луч, пробившийся сквозь тучи, лег на стол, и сразу засветились черным серебром кофейник и синие тарелки с золотыми ободками.

Перед зарей вас родила земля,
Погибнете вы раньше звезд вечерних! —

повторил отец и вздохнул. — Ну что же, давай пить кофе, Берта.

¹ Перевод мой. В подлиннике очень любимый Сенекой, но чуждый русскому стихосложению анапестический диметр. (Здесь и далее примечания автора.)

Глава пятая

Город переживал тяжелое время.

На третий день вдруг перестал ходить троллейбус. Говорили, что скоро будет выключена и осветительная сеть: вся энергия будто бы переключается на военную промышленность. Из пятнадцати кинотеатров работало только три, и в них шли идиотские фильмы о ковбоях и красавицах. Но скоро Третья империя показала свое уродливое лицо. Собственно говоря, лиц было несколько.

На экране маленький, очень верткий человек, почти карлик, с зачесанными назад волосами и удлиненным обезьяньим черепом что-то говорил с эстрады, махал рукой и улыбался.

Ему хлопали и несли цветы.

Другой был толст, кряжист, но очень поворотлив.

Из всей компании он выглядел наиболее солидным.

Он не появлялся на эстраде, не говорил речей, и ему не подносили цветов.

Он шел тяжелой походкой мимо выстроившихся полков, а в ответ на приветствия поднимал руку. От его грубого лица орангутанга, угловатой походки, коротких, узловатых пальцев — от всего-всего, даже от жестких коротких волос и какого-то стволитого затылка, исходила та тупая, неразумная мощь, которую жители города чувствовали в его марширующих войсках, в его законах, в его расправах.

А потом по зеленому экрану шли солдаты, солдаты, солдаты. Проходя мимо зрителя, они поднимали руку, улыбались и кричали.

Они шли мимо развалин в Афинах, по площади Согласия в Париже, по узким улицам голландских городов, по выжженным солнцем пустыням Африки.

И где бы они ни были, они всегда одинаково кричали и одинаково улыбались.

Все это было не особенно интересно, потому что солдат жители видели достаточно и в своем городе.

Скоро стало туго с удовольствием.

Настоящий голод был еще впереди, но из окна я видел уже очередь около булочной.

Люди вставали ночью, а утром выносили из магазина триста граммов липкого, влажного хлеба. Он, как замазка, приставал к рукам и бумаге и походил на кусок скверного мыла.

У матери были запасы, и поэтому в продуктах мы пока не нуждались, но теперь за утренним кофе отец брал банку сгущенного молока и вспарывал ее с видом мученика. На второй день он куда-то засунул или просто потерял нож для консервов и теперь пускал в ход свой садовый ножик с ручкой из оленьего рога. Банка давалась туго, лезвие все время соскальзывало с ее краев, он краснел и мотал головой. Как большинство людей, не привыкших к физической работе, он пускал в ход всю свою силу. Наконец банка ускользала и отец резал себе пальцы.

— Позволь, — говорила мать, которой надоедало это единоборство, — позволь, я тебе открою. Ты же не так делаешь!

Но отец только пыхтел и мотал головой.

Однажды банка, которую он держал как-то по-особенному, ребром, выскользнула из его рук и за-скакала по столу — круша и разбивая посуду. Отец хотел схватить ее на ходу, но повалил окончательно, и она сочно ляпнула на скатерть половину своего содержимого. Отец схватился за голову, и в это время вошла молочница. Она принесла с собой два полных бидона, и отец кинулся к ней, словно ища спасения.

— Ох, постойте! — сказала молочница. — Что я видела!..

Она сняла бидоны, поставила их на пол и остановилась, тупо и изумленно глядя перед собой.

— Что же это я видела? — спросила она.

Ее усадили и налили ей кофе, а она все мотала головой и отставляла чашку.

— Постойте, постойте! — говорила она.

Потом взяла чашку, сделала глоток, посмотрела на отца, посмотрела на мать и вдруг улыбнулась, и тут все улыбнулись, глядя на нее.

— Так что же с вами случилось, милая? — спросила мать.

— Нет, как же это так, как же я это унесла? — спросила она, кивая на бидоны, и покачала головой.

Потом она стала рассказывать, что с ней случилось.

А случилось с ней вот что.

Как-то ей удалось с полными бидонами сливок протиснуться через толпу и сесть в переполненный поезд, сохранить их в давке и доехать до города. Около площади Принцессы Вильгельмины она попала в какую-то облаву. То есть даже и не облава была это, а просто стояли люди в полицейской форме, проверяли документы, кое-кого сейчас же уводили, других группировали, выстраивали и гнали в оцепление. Погнали и ее — прямо так, с бидонами на спине. "Ну, пропали мои сливки!" — подумала она.

Толпу несло на самую площадь. Она была вся оцеплена конными войсками.

На тротуарах ходили наряды полиции. Как-то получилось так, что ее вынесло в самый центр, к тому красивому желтому зданию, где раньше помещался кинотеатр "Аргус", а теперь висела вывеска: "Офицерский клуб". Она стала смотреть.

Толпу отгораживала и теснила цепь нашей полиции.

Дверь клуба была открыта, и в нее входили и выходили какие-то люди.

На тротуаре, немного поодаль от двери, стоял пожилой офицер и чего-то ждал.

На толпу он не смотрел, но иногда подзывал к себе ефрейтора и отдавал ему какие-то приказания, кивал головой на цепь полиции.

Тогда ефрейтор кричал, взмахивал дубинкой, и толпу осаживали назад.

Молочница тоскливо думала о том, что сливки у нее, пожалуй, пропали наверняка, — как их вынесешь из такой толпы, — и ничего не могла понять.

Впрочем, и никто ничего не мог понять.

Рядом с ней стояла какая-то женщина, худенькая, черная, в зеленой шляпке; почему-то казалось, что это швейка. Она все время поправляла эту шляпку и тоскливо говорила: "Господи, Господи, и зачем я пошла сегодня?"

Потом сзади загудела сирена. Люди шарахнулись. Ее сильно ударило бидоном по спине и прижало в какой-то угол. Через толпу ехал крытый черный автомобиль. Около самого подъезда в клуб он остановился: выскочили двое в серых форменных плащах и пробежали в здание. Один из них мельком взглянул на пожилого офицера, и тот дотронулся двумя пальцами до фуражки, сохраняя прежнюю одеревенелость корпуса.

Шофер молча и неподвижно сидел за рулем.

"Господи, Господи!" — взмолилась сзади швейка. И вдруг из здания послышался крик, а вслед за тем шум тяжелого тела, которое тащат волоком прямо через ступеньки.

Пожилой офицер отступил от входа.

На тротуар вылетел и упал высокий человек со смуглым четырехугольным лицом, очень крепкий и большеголовый. На него сейчас же набросились несколько военных, схватили его за шею, за руки, поставили на ноги и прижали к стене.

Он стоял молча, потряхивая квадратной головой и часто подергивая плечами, но его крепко и осторожно держали. Потом вывели еще одного, — он был в пиджаке, который все время разлетался, показывая грязную сорочку с галстуком, сбитым на сторону, и разодранным воротничком. Кроме того, он был в пуху, сене и еще какой-то мерзости, которая пристала к его сюртуку.

Все это молочница видела очень точно, ясно и не менее точно пересказала.

А вот затем произошло что-то уже совсем неожиданное.

Внезапно офицер около двери вздрогнул и вытянулся. Люди, державшие арестованных, застыли и совсем притиснули их к стене.

Ефрейтор строго кашлянул, поправил фуражку и кобуру.

Из здания вышли люди в штатской одежде.

Их было не очень много, человек девять-десять, никак не больше.

Сзади шли военные.

Люди в штатском сошли на тротуар и остановились, разговаривая и чего-то ожидая.

Один повернулся и стал смотреть на дверь. И тогда на тротуар сошел неторопливым, солидным шагом карлик, худенький, черноволосый, с подвижным, обезьяньим лицом. Он остановился и поглядел на толпу. Тот, что смотрел на дверь, что-то сказал ему вполголоса, и он слегка кивнул ему головой.

— Какой же он был из себя? — спросила мать.

— Я его видела всего одну минуту, — ответила молочница. — Но он... он почему-то показался мне очень страшным... Когда он стал что-то говорить, у него дрожали губы... Да я его и не успела рассмотреть — было некогда...

Потом карлик повернулся и пошел к арестованным, и тут...

Молочница остановилась и посмотрела на мать.

— И тут около него взорвалась земля.

Кверху взметнулся столб огня почти малинового цвета.

Земля брызнула фонтаном, и сейчас же зазвенели стекла и дурным голосом закричала какая-то женщина.

Кто-то сзади или впереди выстрелил из браунинга, и сейчас же завопило несколько голосов.

Полумертвая от страха, она подумала, что падает, но сейчас же почувствовала, что падать ей некуда, что

она стоит неподвижно и прямо, как в гробу, в людской толще.

Ничего впереди не было уже видно.

Полз дым тяжелыми круглыми клубами, и выше его была только вывеска:

”Офицерский клуб”.

Все это заняло ничтожнейшую часть минуты.

Потом вдруг ее подняло и шарахнуло в сторону.

Как будто огромная метла поднялась и разбросала людей. Сразу все закричало, заговорило, заверещало в рожки и сирены, застонало и заплакало.

Какие-то люди, истошно крича и трясясь от страха, перли на толпу, лупя направо и налево рукоятками браунингов.

Около клуба, на развороченной и вывернутой наизнанку земле, блестела кровь, валялись какие-то люди и через клубы дыма, в оседающей пыли страшно желтело заголенное тело.

Автомобиль стоял, вздыбясь, как конь на триумфальной арке.

Взрывом сломало деревце, и зеленую купу подбросило на балкон, а изуродованный ствол торчал изпод измятой решетки.

Молочница стояла минуту неподвижно и видела, как карлика усаживали в автомобиль; двое военных стояли около дверцы, а он суетился, что-то говорил им и все никак не хотел или не мог войти в автомобиль. Наконец его как-то усадили, дверца захлопнулась, военный снаружи подергал ее и покачал головой.

Это она еще видела. Потом за ноги проволокли куда-то того, в пиджаке и грязной сорочке, который только что стоял около стены: у него была начисто оторвана голова, и из подмокшей сорочки тянулось что-то черное и красное. Когда она увидела это, она мгновенно вспотела и ее закачало. Это колебалась толпа, распирая каменную коробку площади. И молочница потеряла сознание.

Очнулась же она среди сквера.

Она лежала на газоне.

Бидоны стояли рядом.

Над ней наклонился полицейский и держал ее за плечо. "Тетушка, слышишь, тетушка?" — говорил он ей, и по его тону она поняла, что он окликает ее уже давно. Она вздохнула, взглянула на его грубое солдатское лицо, жесткие усы и вдруг заплакала...

Заплакала она и сейчас, когда окончила свою историю.

— Я хотела ему налить сливок, да не было куда, а он махнул рукой и сказал: "Ладно, не надо".

— Что же вы плачете? — улыбнулась мать и налила ей еще чашку. — Хорошо, что все так кончилось! Вот, пейте!

— Спасибо, — сказала она, всхлипывая и тоже улыбаясь.

— А ты, Леон? — спросила мать, обращаясь к отцу, но он уже не слушал ее, а блаженно курлыкал над бидоном, цедя холодные, густые сливки.

— Так что ж это было? — спросил он, возвращаясь к столу.

— А кто ж его знает... — ответила молочница, уже успокоясь. — Значит, кто-то что-то им подстроил.

— Да, но что же? Бомбу, адскую машину или гранату?

— Да кто ж его знает! Если бы я следила за тем... — беззаботно сказала молочница.

— Да! — Отец быстро допил чашку и отодвинул ее в сторону. — И этот карлик...

— Это он и был, — сказала молочница.

Отец мгновенно понял, что она хотела сказать.

— Он?

— Он самый! — с испугом подтвердила молочница.

— А! Идиоты! — Отец быстро вскочил со стула и снова сел. — Ничего не могут сделать порядком, как следует! Такой был случай! Стоял рядом, были бомбы, только протянуть руку — и вот, пожалуйста, сел в авто и уехал. Да за это я бы им головы оторвал. Герои! — Он с каким-то злым восхищением ударил

ладонью по столу. — Пожалуйста, сел и уехал!.. Скоты!

— Как тебе не стыдно, Леон! Ведь они погибли! — упрекнула мать.

— Да, они погибли... верно, погибли, — сумрачно вспомнил отец. — Да, они-то погибли! — воскликнул он снова. — Да он-то! Он-то остался жив! Как вы говорите? Стоял около автомобиля, суетился и все не мог в него влезть?

— Влезть, верно, не мог, — подтвердила молочница. — Наверное, уж очень растерялся.

— Черт знает что такое! — выругался отец и сел на стул верхом. — Я отдал бы всю институтскую коллекцию, только взглянуть бы на его череп! Ну ладно, будем ждать газет...

— Хочешь еще кофе? — спросила мать.

— И все-таки это непонятно, в высшей степени непонятно! — заговорил он, опять расстраиваясь. — Вы, милая, стояли рядом, смотрели...

— Слушай, оставь ты ее, оставь в покое! Видишь, девушка чуть жива от страха, принесла тебе сливок, а ты ее мучаешь! Ну что она может знать? — вмешалась мать.

— Ну, ладно, ладно, — успокоился отец, — будем ждать газет.

В это время вошла Марта.

— К вам давешний офицер, — сказала она.

— А? — отец не успел задать вопроса.

В комнату входил полковник Гарднер.

Он был в штатском, и только в петлице его плаща торчал какой-то значок военного образца.

— О! — сказала мать удивленно и радостно. — Дорогой гость...

— И прибавьте: незваный и негаданный, — улыбнулся Гарднер. — Извините, особые обстоятельства заставили меня...

— Он еще извиняется! — возмущенно взмахнула рукой мать. — Садитесь, садитесь, пожалуйста! Вот я

сейчас вам налью кофе. Кроме того, у меня есть к вам дело...

— Буду слушать с полным вниманием, — слегка поклонился Гарднер, — а то вы в самом деле можете подумать невесть что. Этот странный маленький господин... но ведь, наверное, о нем и будет речь, не так ли?

— Так! — кивнул головой отец. — Именно об этом мы и собирались с вами поговорить, господин Гарднер. Видите ли, доктор Ганка — больной человек, спрашивать с него за его поступки...

— Вот видите! — Гарднер придвинул стул и сел к столу. — Но, во-первых, скажите: поверили бы вы моему честному слову?

— Поверили бы, — решительно сказал отец.

— Безусловно! — сказала мать. — Честному слову офицера...

— Но прибавьте: немецкого офицера, фрау Курцер! — с какой-то затаенной улыбочкой напомнил Гарднер.

— Для меня национальность не делает разницы, — пышно сказал отец.

— О, — радостно удивился Гарднер, — даже так? Ну, да вы совсем снисходительны к Германии и к ее армии, господин Мезонье! — Он отвесил легкий полупоклон отцу. — Ну ладно, если вы уже так великодушны, так вот я даю вам честное слово, что доктор Ганка арестован совершенно вне зависимости от разговора, который на днях мне пришлось с ним вести. Удовлетворяет вас это?

Отец нерешительно поглядел на него.

— Я, — начал он, — не совсем...

— ...мне верите, — предупредительно dokonчил Гарднер.

— Нет, не то. Но тогда я не совсем понимаю причины его ареста... Что мог сделать Ганка?

Гарднер посмотрел ему в глаза и покачал головой.

— Ай-ай-ай, господин Мезонье, господин Мезонье! Неужели это правда? — спросил он с легким осуждением.

— Что правда?

— А вот то, что вы говорите мне сейчас?

— Что я не знаю, за что арестован Ганка? — пожал плечами отец. — Ну, если вы считаете меня его общником...

— О, нет! Ни в коем случае я не считаю вас сообщником Ганки. Но Ганка-то, несомненно, ваш сообщник.

За столом наступило короткое тревожное молчание.

Гарднер обернулся и посмотрел на молочницу.

— Эта девушка? — спросил он.

Она вспыхнула и отодвинула чашку.

— Это наша молочница, — сказала мать. — Она принесла нам сливок и попала в эту кашу на площади Принцессы Вильгельмины.

— Ага! — принял к сведению Гарднер. — Но теперь она вам не нужна, не правда ли?

Молочница неловко встала с места.

— Я подожду на кухне, — сказала она и вышла.

— Вы мне обещали кофе, фрау Курцер! — напомнил Гарднер и повернулся к отцу. — Вы, конечно, клеветаете на себя, господин Мезонье! Я слишком высокого мнения о вашей догадливости и интуиции, чтоб поверить вам. Да и не мое дело разъяснять вам наши отношения. Но что касается господина Ганки, то тут я вам должен твердо и решительно сказать: никакие личные счета в его аресте не замешаны.

— Вот теперь-то я и не верю вам, господин Гарднер! — убито сказал отец. — Иначе почему я не арестован и зачем вы все мне это говорите?

— Ну, это я вам объяснять пока не буду, — ласково улыбнулся Гарднер, — вы очень скоро все узнаете сами. Но вот что мне хочется вам сказать сейчас. — Он стал вдруг очень серьезен. — Я работаю в гестапо, в органе уничтожения, пресечения и смерти. Но ни-

когда я, державший в руках весь этот мощный и беспощадный механизм, не пользовался им, чтобы уничтожить моего личного врага. Верите вы мне?

Отец молчал.

— Вижу, что не верите. Но сейчас объясню, почему вам следует мне верить. Дело-то вот в чем: когда кто-нибудь меня заденет или оскорбит, я его тут же, как собаку, застрелю на месте.

— А это всегда возможно? — поинтересовался отец.

— Всегда! — твердо ответил Гарднер. — В военное время? В неприятельском городе? Всегда! Теперь вы мне верите?

— Да! — вздохнул отец. — Это логично, в это верю!

— Ну, а если вы в это поверили, то поверьте во все остальное: в аресте Ганки моя личная воля никакой роли не играла. Главный виновник ареста Ганки...

— Ну? — со страхом спросил отец.

Гарднер неожиданно повернулся к матери.

— Теперь вот какое у меня дело. Разрешите взглянуть на ваш балкон? Он ведь не заперт?

— Нет, — сказала мать и поглядела на него.

— Так разрешите, я пройду посмотреть? — Он быстро встал и вышел на балкон.

— Главный виновник ареста Ганки... — повторил отец. — Как это он сказал, Берта?

— А, да не думай ты об этом, не думай! — досадливо приказала мать. — Мало ли что тебе он скажет!

Отец приложил руку ко лбу.

— Я начинаю кое-что понимать, Берта, — сказал он жалобно. — Но не дай Бог, чтоб я понял все до конца!

Возвратился Гарднер.

— Что у вас там, овощи? — спросил он, отряхивая колени.

— Картошка! — убито ответила мать.

— Так! Картошка! Ну, а когда он у вас ремонтировался в последний раз?

Мать посмотрела на него с недоумением.

— Точно месяц я вам не назову...

— А сезон назвать можете? Летом? Зимой? Весной? — он все отряхивал колени.

— Последний раз — в марте, — вспомнил отец.

— Ага, в марте! Ну, а какой ремонт был — текущий или капитальный?

— Что-то там со штукатуркой, — медленно и нерешительно вспомнил отец.

— Текущий ремонт, — решил Гарднер. — Ну, а внизу кто живет?

— Весь дом занимаем мы, внизу, под балконом, пустая комната, — ответила мать.

— Хорошо, но в ней, в этой пустой комнате, все-таки, наверное, что-то есть? — в голосе Гарднера слышалось легкое нетерпение.

— Только старые вещи! — сказала мать.

— Так вот идемте посмотрим эти старые вещи, — сказал Гарднер и пошел к двери.

Я побежал за ним.

В комнате Гарднер осмотрел все диваны с гудящими пружинами — казалось, что в них завелся целый рой майских жуков — сдвинул с места пыльные и дряхлые кресла с экзематозной сыпью позолоты, открыл дверцы шкафа и сунул в него лицо, пнул ногой сундук, так, что он рассерженно загудел густым, утробным голосом, потом долго, прищурившись, смотрел на потолок и вдруг потребовал лестницу.

Лестницу принесли.

Он полез на нее, потрогал хвост облезлого плафона, заглянул под него.

Там был опять-таки потолок.

Он сказал "ага", отряхнул руки и слез с лестницы.

— Теперь идемте пить кофе! — сказал он с легким вздохом облегчения.

— Так вы спрашиваете, что произошло на площади Принцессы Вильгельмины? — спросил он у отца. — Произошло вот что. Трое негодяев, настоящие имена которых выясняются, под предводительством известного государственного преступника Карла Войцика узнали, что некая важная персона должна приехать в город и выступить с речью в офицерском клубе. Откуда-то этим негодьям стал известен и день выступления, хотя об этом знало всего несколько человек. Под видом рабочих они по подложным документам проникли в клуб и установили в трех разных местах адские машинки. Но один из них вызвал подозрение — его четырехугольная морда известна полицейским всей Европы, — вот его задержали как раз в то время, когда...

Зазвонил телефон.

— Извините, это, наверное, меня, — сказал Гарднер, подошел и снял трубку. — Слушаю! — крикнул он и ответил: — Да. Все в порядке... Да... Хорошо, присылайте! Если успеют! — Его, видимо, не так поняли. — Если успеют, то застанут... — Он посмотрел на часы. — Да, минут двадцать еще буду... Ну, уж это я не знаю. — На ответе, видимо, настаивали, и он раздраженно затряс головой. — Не знаю, не знаю, я не архитектор, надо посмотреть... Надо, говорю, прийти и посмотреть.

Он повесил трубку, выругался: "Скотина" — и потом подошел к столу.

— Итак? — спросил отец.

Гарднер поднял на него тяжелые глаза.

— Ага! — вспомнил он. — Так вот, стало известно, что в толпе должны находиться еще двое... так сказать, запасных швейцарцев, кроме того, нам сообщили их приметы. Поэтому площадь, а также часть прилегающих улиц оцепили и стали проверять документы у подозрительных лиц. Между тем, когда арестованных стали уводить, Войчик затеял драку с конвоем, чтобы выиграть время и отвлечь внимание. Но тогда это почему-то не бросилось в глаза. Одним сло-

вом, пришлось порядком повозиться, парень оказался крепким, и вот в это время один из его негодяев, стоящий в толпе, бросил бомбу. К счастью, больших разрушений не произошло. Было убито четыре человека и в том числе один из негодяев, ранено человек двадцать пять, сломано дерево и разнесло автомобиль — вот и все. Но самое главное — удалось захватить самого предводителя банды.

— А персона? — спросил отец.

— Что персона? — не понял Гарднер и отставил чашку.

— А некая персона уцелела?

— Уцелела, — ответил Гарднер, — и скоро вы ее увидите. Завтра в час дня под вашим балконом пройдут войска, и речь будет все-таки произнесена, парад состоится, хотя и с опозданием. Сейчас придут сюда и будут готовить помещение. — Он подошел к отцу. — Вас же, уважаемый господин профессор, и всю вашу семью я попрошу сделать нам любезность и не покидать это помещение до завтра. Вы ведь не откажете нам, профессор, правда?

— Правда, — сказал отец и покорно наклонил голову.

...Маленький, юркий, словно бескостный человек быстро взошел на балкон и остановился, смотря на толпу большими, лунатическими глазами.

Толпа, согнанная со всех окрестных улиц и теперь зажата в оцеплении, почти безмолвно колебалась внизу.

Когда он взошел на балкон, в ней произошло какое-то движение, послышались несогласованные возгласы, но он ждал взрыва, криков, а как раз их-то и не было.

Их не было, может быть, даже потому, что никто и не догадывался, как они ему нужны и что он именно их ждет. А он не то что любил их или нуждался в них, — нет, ему, кажется, даже не было никакого дела до чувств этой живой плазмы, одушевленного ме-

сива, которое он презирал искренне и глубоко. Но он во всем любил порядок, от привычек своих не отступал без крайности и уж больше всего гнался за соблюдением традиций.

Любовь народа, который он вместе с другими главарями только что поставил на колени, жестоко смиряя его огнем, железом и опустошением, была одной из таких самых крепких и верных традиций, и отступление от нее он почел бы преступным.

Сейчас он недоумевал, сердился и искренне переживал неудачу. Он даже сделал было движение, чтоб посмотреть назад, на свою свиту, и взглядом спросить у нее, что это значит, но в это время позади, а потом и под самым балконом вспыхнули нестройные и несогласованные крики — это наконец догадались военные.

Солдат было очень много, и все они до одного кричали. Тогда он удовлетворился, вынул платок и прижал его несколько раз к острому, колкому подбородку. Теперь все шло как следует, и он только выжидал какого-то одному ему известного и нужного момента.

Его уродливое, обезьянье личико было странно неподвижно, и только иногда быстро вздрагивали губы и крылья худого, тонкого, злого носа.

А крики все росли и множились.

Теперь внизу попросту шумели, топали ногами, даже бесновались, — этим разрешалось томительное и долгое ожидание, и мало кто понимал внизу значение этих криков. Но главное, кажется, что поняли все: сегодняшний день кончится речью, — значит, бояться нечего.

Тогда он шагнул вплотную к перилам и положил на них руку.

Шум продолжался, и он хорошо проработанным, четким жестом поднял кверху эту маленькую, худую лапку и вознес ее с высоты балкона над толпой, как бы укрощая и сдерживая.

Затем он заговорил.

Говорил он медленно, складно, и вместе с тем как-то тяжело, словно стараясь вбить в мозг каждую фразу. Надо признаться, речь его не отличалась от тех же тоненьких и паскудных брошюрок в восемь листиков, что в изобилии заполняли мостовые и все общественные писсуары, и слушать было скучно. Но этот уродец, эта юркая мартышка, вознесшая над толпой свою маленькую бескостную, лиловую и очень страшную ладонь, была судьбой, роком, той грубой, непонятной, даже почти неразумной, но хорошо организованной силой, которая несла смерть и разрушение — только смерть и разрушение! — и поэтому все с усиленным вниманием вслушивались в ее слова. Они слушали еще потому, что хотели понять необъяснимое — все то, что убивало их детей, жгло их жилища, превращало их, здоровых, свободных людей, в калек. Они ждали от него объяснения и разгадки того, что претворялось в жизнь огнем, авиацией дальнего действия и руками веселых, спокойно-озверелых солдат.

Но этого-то и не пожелала объяснить маленькая обезьянка, столь жестоко осудившая человечество и человечность.

Уродец кончил речь и сошел с балкона, какой-то взъерошенный, недовольный и своей речью и ее действием на умы согнанных людей.

Стоит ли им говорить об истории и судьбах мира? Большие, фосфоресцирующие глаза его быстро и тревожно забегали, он тяжело, шумно вздохнул и пошел к выходу. И тут к нему подошел отец.

Он выдвинулся так неожиданно и уверенно, что свита, стоящая вокруг, не успела его задержать. Только усатый, тот самый, что арестовывал и уводил Ганку, схватил было его, — но было поздно, — за руку.

Уродец вопросительно посмотрел на них.

— Это профессор Мезонье, — сказал Гарднер, — директор Института первобытной истории.

Уродец с любопытством взглянул на отца.

— И автор книги "Моя борьба с мифом двадцатого века"? — спросил он.

Отец неловко и растерянно поклонился.

Он был донельзя смущен и испуган тем, что происходит, и, верно, сам не мог хорошенько разобраться, что за сила толкает его вперед, но она толкала, и вот он с опасностью для собственного благополучия и даже — кто знает? — может быть, жизни лез вперед, в самую пасть дракона. Свита, стоящая вокруг, всколыхнулась и смутно зажужжала.

Поведение отца, даже вне зависимости от того, что он желал сказать, было до невероятности глупо. Имея фамилию Мезонье, не следовало соваться вперед.

Человечек продолжал молча смотреть в лицо моего отца и потому спросил:

— Да? Ну и что же вам нужно, господин Мезонье?

Отец сказал, что он хочет обратиться с просьбой.

— А именно? — спросил тот.

Отец довольно связно и даже не путаясь сказал, что он просит, чтоб отпустили на поруки его лучшего ученика, старшего научного сотрудника института.

— Лучшего ученика? — переспросил уродец, продолжая неподвижно и изучающе рассматривать отца. — Это очень плохая характеристика. Не думаете ли вы, господин Мезонье, что мы склонны слишком высоко оценивать вашу деятельность?

Отец смешался, покраснел, но сейчас же возразил, что дело не в его деятельности, конечно, о значении которой можно спорить, ибо он и сам-то о ней весьма скромного мнения...

— Зря! — сказал человечек. — К сожалению, она не скромна и совершенно бесспорна.

— ...а о примитивной справедливости или хотя бы беспристрастности...

— Да, да, — иронически покачал головой карлик, — справедливость и беспристрастность! Какие

хорошие слова есть у вас в запасе и как быстро вы об них вспоминаете, когда вам зажмет дверью палец!

Он вдруг улыбнулся.

— Ладно, об этом еще мы будем говорить. Ну, так что же натворил ваш ученик? — Он обернулся к Гарднеру. — Это, наверное, по вашей линии, полковник?

Гарднер выступил из толпы.

— Речь, очевидно, идет о докторе Ганке? — спросил он, взглянув на отца. — Этот человек арестован, во-первых, за упорную антигерманскую деятельность...

— Вздор! Он никогда не занимался политикой, — быстро сказал отец уродцу.

— Одну минуточку, — улыбнулся тот одной щекой, — дайте мне уж дослушать. Ну?

— ...выразившуюся в сочинении пасквильных листовок и в участии в труде, осужденном в Германии за антинацистские идеи.

— Позвольте, позвольте, — сказал отец возмущенно, — позвольте! Автор-то этого труда — я!

Гарднер сладко улыбнулся.

— Именно об этом мы и вели с вами разговор, профессор, но тогда вы почему-то не понимали этого.

— Так что? — спросил уродец, глядя на отца. — Вы недовольны, что находитесь на свободе? Так, что ли?

— Я... — начал отец.

— Когда будет и если будет нужно, вы тоже за все ответите. Раз мы вас щадим, значит, имеются какие-то основания. — Он обернулся в Гарднеру. — Дальше, полковник! Вы сказали: "во-первых".

— Во-вторых, он бежал, а будучи захвачен, при аресте оказал упорное сопротивление, чуть не задуших лейтенанта Губера, и, в-третьих, он является заложником и должен ответить за взрыв в офицерском клубе, ибо доказано, что он в свое время принимал Карла Войцика.

— Ах, значит, он уже... — догадался человечек.

— Нет, — мотнул головой Гарднер. — Но об этом я желал бы...

— Так! — Человечек наклонил голову, что-то соображая. — Справедливость! — вдруг громко засмеялся он и покачал головой. — Ах вы, господа гуманисты, поэтому вы и проворонили мир! Ладно, — сказал он, оканчивая разговор, — ответ вы получите через полковника Гарднера.

Он подошел к двери и вдруг остановился.

— Но учтите, господин Мезонье, — сказал он, сдвигая брови, — что над вопросом, почему вы находитесь на свободе, а ваш ученик арестован, вам придется подумать, и как следует подумать! Мы живем в такое — уж что поделаешь! — жестокое и несправедливое время, когда великая Германия не может позволить себе роскошь щадить своих врагов из лагеря гуманистов и демократов, и раз я сегодня имею честь разговаривать с вами у вас на квартире, значит, совсем не все так просто.

И он вышел, окруженный своей свитой.

— Бедный Ганка, — сказала мать, — они его замучают.

— Да, — ответил отец, — если...

Г л а в а ш е с т а я

Целую неделю мы уже жили на даче, а о дяде все еще не было никаких известий.

Отец осунулся и побледнел.

Он мучился сознанием того, что уже произошло, и того, что неминуемо должно было произойти в самые ближайшие дни.

Он не был храбрецом, мой бедный, добрый отец, и поэтому ожидание и неизвестность были ему особенно мучительны.

Он плохо спал, и однажды, проснувшись среди ночи, я увидел через окно его одинокую и сутулую

фигуру, стоящую в лиловом свете луны посреди террасы.

Очевидно, он только что встал из-за стола.

В руке его был зажат подсвечник с толстой, оплывающей свечой.

Свеча горела, расплавленный стеарин капал на его пальцы, а он стоял, бездумно и пусто смотрел на крупную, тяжелую луну, и на досках террасы под его ногами лежала, распластавшись, такая же неподвижная, как он, густая, черная тень.

Было видно, что его на ходу застигла какая-то мысль и он остановился, пораженный и подавленный ею.

Я смотрел из окна на доброе старое лицо с редкой, мочальной бородкой, худые руки в узлах жил, согнутые узкие плечи, и мне было жалко его, так жалко, что на глаза навертывались слезы.

И халат на нем уже был старенький-старенький, и туфли худые, с оттоптаннми задками, и сам он какой-то поношенный, потертый, такой, каким я его никогда не видел днем.

Наконец он очнулся, вздохнул, посмотрел вперед, на черную глубь сада, покачал головой и пошел обратно.

А мать сразу же после приезда на дачу взялась за хозяйство.

Дом недавно ремонтировали, и он был еще сравнительно в порядке, разве кое-где осыпалась известь да на террасе подгнила одна доска. Зато сад!.. Боже мой, что было с садом! На клумбах, пышных и многоцветных, как огромные диванные подушки, росла дикая трава — что ни день, то гуще и дичее.

Непрорубленные и нерасчищенные аллеи превратились в сплошную заросль, — надо было все прорубать, чистить, засаживать снова. Здесь пышно распустились черные лопухи, тонкий крепкий вереск, ползкий и живучий, как змея; злой татарник с тяжелыми мохнатыми цветами, нежная, фарфорово-розо-

вая повилика, слегка пахнувшая миндалем, и еще какие-то цветы и травы, названий которых я не знал.

Но мать ходила среди этого неистового и буйного цветения и качала головой. Конечно, ни ее любимым тюльпанам, ни розам, ни малокровным и прекрасным лилиям было не под силу победить эту грубую и цепкую траву.

Пруд, на котором когда-то, по рассказам, плавали лебеди, был тоже заброшен.

Его затягивала ряска, и он теперь походил на танцевальную площадку, выложенную малахитом.

Белые лилии и кувшинки, точно вылитые из желтого воска, торчали из этих мощных зеленых плит.

— Где же Курт? — говорила мать с недоумением. — Обещал прийти через три дня — и вот уже больше двух недель прошло, а от него ни слуху ни духу. И вот однажды пришел Курт.

Он принес с собой письмо, которое передал отцу, и тот, недоуменно повертев его в руках, начал читать.

Письмо, верно, было странное.

Во-первых, оно было вложено в глухой белый конверт без всякой надписи — даже имя адресата не было обозначено. Во-вторых, и все-то оно было не написано, и напечатано на машинке. В-третьих, отсутствовала даже подпись в конце письма.

— От кого это? — спросила мать.

Но отец только досадливо сморщился и затряс головой.

— Главное, машинка-то, машинка-то не его! — сказал он вдруг с раздражением. — Я по шрифту знаю — это университетская машинка, смотри, у нее буква Н с отбитым концом. Ах ты, Господи!

Он дочитал письмо и бессильно опустил руку, лиловый листок выпорхнул из его пальцев и плавно лег на землю.

Он не поднимал его, а сидел, сгорбленный и жалкий, напоминая чем-то больную птицу.

Мать наклонилась и взяла письмо.

— Дай сюда! — резко сказал отец. Когда он поднял большие, круглые глаза, в них стояли слезы.

— Вот, слушай! — сказал он и начал читать:

”Дорогой профессор!

Не без большого колебания и даже, если так можно выразиться, не без трепета сердечного, решил я вам писать. Да нет! И не писать даже, а, как видите сами, печатать на машинке, хотя, собственно говоря, это глупо до невозможности. В самом деле, что может изменить, убавить или прибавить моя подпись?

И так ведь это ясно.

Впрочем, мне и писать-то вам нечего, кроме разве одного.

Я изменил, я стал предателем.

Я бы и об этом вам не стал писать, надеясь на то, что вы все равно узнаете. Но дело-то вот в чем: я отлично понимаю — не за моей головой они гонятся. Если бы я был один, сам по себе, они бы просто пристукнули меня в подвале или удавили на электропроводном шнуре. Это обстоятельные люди, и они куда больше доверяют трупу, чем живому человеку.

Нет, я им не нужен, конечно, но мной они будут бить других.

Я — слепое орудие в их руках, которое обрушится на чужие головы, а на вашу, дорогой учитель (позволено ли мне будет так вас называть?), раньше, чем на других.

Вот именно поэтому я и пишу вам.

Видите, как славно у меня все это получается — во мне заговорила совесть.

Только не смейтесь, только, пожалуйста, не смейтесь, учитель!

Вот Шекспир где-то писал:

Ведь и палач у жертв прощенья просит
Пред тем, как смертный нанести удар.

Вот хотя бы только в этом плане — палача, просящего прощения, — и следует понимать мои слова о совести. Да нет, впрочем, не палач я даже, — палач-то

Гарднер, а я топор или, еще лучше, плаха — глупый, тупой кусок дерева, который сам рубится вместе с осужденным”.

— Сволочь! — сочно выругался отец. — Толстая, жирная свинья! Вместо того чтобы прятаться от людей, он, видите ли, сочиняет лирические поэмы с цитатами из Шекспира!

Он стукнул кулаком по столу так, что заколебалась вода в бронзовой полоскательнице и светлые зайчики, выпорхнув из нее, заметались по скатерти.

— Да тише! — сказала мать и страдальчески дотронулась до виска. — Ну кого ты ругаешь? Кто это такой?

Отец только сопел.

— Да брось ты читать, тебе нельзя волноваться! — сказала мать. — У тебя больное сердце! Помнишь, что сказал доктор?

— У меня больное сердце, — хрипло согласился отец и пощупал воротничок. — Но слушай дальше.

Он взял было письмо и опять опустил руку.

— Но обратила ты, обратила ты внимание, как складно, как хорошо все написано? Прямо по всем правилам школьной риторики, даже все знаки препинания стоят на своих местах. Ох, почему так бывает, Берта, что когда какая-нибудь сволочь продается, как публичная девка, она сейчас же начинает вспоминать, дрожа и млея, не Иуду, а непременно Стринберга или Достоевского?

”Вы спросите, что за причина? И сейчас же ответите: ”Страх! Страх физического уничтожения, страх за семью, страх материальных лишений”. И будете неправы.

Нет, не страх, никак не страх, никак не только один страх заставил меня перемахнуть в чужой лагерь. Перешел-то я искренне и убежденно, ибо искренне убежден, что наше дело проиграно на много столетий вперед. Вот что вас-то я предал — это уж другое дело, — но об этом после как-нибудь. Вся беда в том, что есть в ходе истории какие-то провалы,

черные, угольные мешки, когда все живое, разумное, мыслящее, а то и просто чувствующее нормально, объявляется подлежащим уничтожению.

Откуда-то снизу, из самой мутной и темной тины, поднимаются неразумные, слепые, но мощные, как вся неорганизованная, косная природа, силы и сметают все, что не согласно с их законами. А законы-то эти очень просты: законы роста, размножения и социальной антропофагии. Многие не понимают успеха этих разрушительных сил, этого триумфального, обезьяньего шествия, когда в течение недель погибает все то, что выработалось тысячелетиями и казалось вечным и незыблемым. А ведь это понятно, это ведь очень понятно, дорогой учитель, ибо в самом деле — что на свете может быть сильнее кулака?

Человек, как мы с вами установили, в начале своей истории изобрел мотыгу, одежду, приспособил и запер в очаг огонь, приручил животных. Но это он именно и изобрел-то, становясь человеком, а кулак-то — он ведь Богом данный, его и изобретать-то не надо, он присущ человеку не меньше, чем горилле.

Мораль, искусство, религию, даже самую человечность — все это еще нужно прививать человеку, еще растолковывать, еще убеждать в их необходимости, да и не всякий, пожалуй, еще и согласится, а кулак-то — вот он.

Заметили ли вы, кстати, что когда грубая сила освобождается от своей юридической и гуманитарной оболочки и является на свет, так сказать, в кристаллически чистом виде, она всегда претендует на божественность?

Они логически и последовательно ненавидят нас за нашу любовь, человечность, уважение к слабым, за наш трепет перед прекрасной человеческой личностью, которую мы тоже считали божественной. Они ненавидят нас за тонкость наших переживаний, ибо у них, где все просто, точно и ясно, никаких переживаний нет. Вот вы с таким уважением относитесь к человеческому мозгу. Помню я, хорошо

помню ваши слова насчет того, что мозг — это сила, укрощающая космос, и что он — самый благородный металл вселенной, и что даже черепная коробка питекантропа прекраснее Венеры Милосской, — все помню, дорогой учитель! Но только знаете что? Зря вы все это говорили! Ровно ничего не стоит эта трясучая, киселеобразная слякоть, кое-как разлитая по черепам. Не тот прав, у кого мозга больше, а тот, у кого дубина тяжелее.

И вот я пришел к заключению, что сопротивляться бесполезно.

Пока мы собирали мирные конференции, вырабатывали правила гуманного ведения войны, учреждали всевозможные лиги или, попросту, забыв все, запирали дверь кабинета и работали в тишине над вопросом об интеллекте индонезского человека, они потихоньку, ворча да урча, выламывали дубину, — выломали да шархнули так, что только грязные брызги полетели в разные стороны от этого благородного металла.

Вот тебе и гуманность!

Значит, что же?

С чем и как я приду воевать с этой обезьяной?

У нее в руках дубина, а у меня что? Университетское свидетельство!

Как будто маловато, до смешного даже маловато, профессор! Дон Кихот — тот, правда, воевал с ветряными мельницами, не только что с обезьянами, ну да он никогда не был моим любимым героем. Да нет, и у того даже было копьё да Росинант, хоть дохленький, да был, а у меня ведь, кроме антропометрического циркуля, ничего в руках нет.

Да и за что сражаться? Посмотрите — все разрушено, все поругано, все разбито!”

Отец опять положил письмо на стол и взглянул на мать.

— Господи, да кто же это так пишет? — спросила она растерянно. — И подписи нет?

— И подписи нет! — улыбнулся отец.

Он задумался и опустил голову.

Было очень тихо в саду, и только на перилах террасы тонко и остро тренькала какая-то птичка с буро-желтой, цвета гниющего дерева, грудкой.

Она юлила, вертелась и при каждом звуке, легком, как пузырек воздуха, вылетающем из ее птичьего горла, передергивала хвостиком.

Небо было очень ясное и мягкое от вялых и рассеянных солнечных лучей.

Сердитая оса, жужжа и вибрируя крыльшками, — так, что целый крохотный ураган бушевал вокруг нее, — ползла по розетке с вареньем. При этом она вязла и поднимала верхнюю часть туловища так, что казалась стоящей на задних ножках.

Мать зацепила ее ложкой и выбросила на траву.

— Теперь ее слопают собственные подружки, — сказал отец, что-то вспоминая. — Слушай дальше.

”Так вот, обвиняйте как хотите меня за это, но у меня слабые нервы, и я знаю, что не выдержу, когда они будут лить мне в легкие через резиновую трубку керосин или даже просто лупить резиновой дубинкой. Я же слабый, я очень слабый, я тогда черт знает что могу наговорить. Эдак-то лучше, а может быть, и почетнее.

Где-то у Вундта, что ли, я читал, что когда полчища муравьев встречаются по дороге ручей, то первые ряды бросаются в него и застилают своими телами, а остальные проходят по их трупам и идут дальше.

Благородно? Очень благородно, конечно! Но ведь это муравьи, и благородство-то и героизм у них подсознательные, а поэтому и такие высокие. Они страшно высоки для моего бедного человеческого рассудка. Муравей-то умирает, не думая, не размышляя, а потому и не веря в смерть, а я-то думаю, переживаю и боюсь ее. ”Так трусами нас делает раздумье”, — говорит Гамлет. Нет, не буду я муравьем.

Я хочу жить, я очень хочу жить!

Пронести через этот страшный, кровавый мир свое бедное человеческое сознание!

Не хочу, не хочу я превращаться в фосфорнокислые соли, в уголекислоту и азотистые соединения. Вы как-то приводили мне изречение Паскаля: "Если ты хочешь не бояться смерти, подумай: сзади тебя мрак и впереди мрак, а ты — как искра, мелькнувшая между двумя безднами".

Так вот, миллиарды лет носился я где-то во мраке, на секунду появился на свет — и опять туда же, в эту темноту, в ничто, и уже навсегда...

Чтобы превратиться в лопух, в дерево, в куст шиповника, в жирный слой чернозема!

Нет, не хочу, не хочу и не хочу!

Тысяча мертвых Ахиллов не стоит одного живого дезертира.

И знаете что?

Дарвин был неправ, когда говорил, что выживают наиболее приспособленные к борьбе за существование.

Нет, выживают только те, которые умеют и дальше приспособливаться к изменившимся условиям, вот что главное: приспособливаться дальше.

В юрский, скажем, период наиболее приспособленным был атлантозавр, а выжил-то не он, а маленькая сумчатая крыса.

Такой сумчатой крысой я и хочу просуществовать где-нибудь в щелке все это страшное время.

А до атлантозавров!.. Господи, как мне далеко до них! Нет, пусть они погибают, если могут и смеют. А я из своей темной, крысиной норки подивлюсь на их титаническую гибель и еще раз прокляну свою проклятую природу.

Что делать? Я — крыса! Только крыса, никак не больше, чем крыса!

Кстати, из той же области.

Вы помните, конечно, старую и совершенно отвергнутую теорию Кювье о геологических переворотах: через определенные промежутки какие-то неизвестные силы — то ли потоп, то ли вулканические явления, то ли космический холод — сметают все, что

есть живого, и на голой, чистой, обесплощенной земле возникает новая, не похожая на все прежнее, жизнь.

Вот не то же ли происходит и в мире социальном?

Так было, когда под натиском варваров погибла троянская культура, так было, когда гибли и рассыпались страны древнего Востока, так было при разрушении и распаде Римской империи, и вот такая же судьба ждет и современную Европу.

И кто знает, какое новое скотское царство возникнет на ее угольках!

Пора кончать.

Человек, который обещал передать вам это письмо, придет через полчаса.

Он почему-то очень спешит, и я не могу его задерживать.

Подумайте, и, может быть, вы признаете, что я не совсем неправ...”

Отец кончил читать и бросил письмо на стол.

— И подумать, — сказал он, — что эту мерзость написал профессор Ланэ!

...Садовник Курт ходил по саду и качал головой. Был он еще не стар, лет сорок ему было, никак не больше. Усы и бороду он брил, оставляя на висках небольшие полоски бакенбард. И его можно было, пожалуй, назвать даже красивым, если бы не одна неприятная особенность: когда он волновался, его лицо передергивалось быстрой, кривой и какой-то молниеподобной — право, не знаю другого слова — судорогой; тогда же он начинал заикаться, перескакивать через слова и, зная за собой эту особенность, старался говорить медленно и плавно, нараспев.

Одет он был совсем необычно: на нем была красная венгерская рубаха из какого-то блестящего крепкого материала, похожего на шелк, но никак не шелка, тонкий пояс, кольчатый и блестящий, как змея, и, наконец, синие шаровары. На ногах же его были блестящие черные (теперь уже черные!) сапоги,

которые, несмотря на множество трещин, казались совершенно новыми, — такое матовое, мягкое сияние от них исходило. Но что особенно меня поразило и, сознаюсь, даже поставило в тупик — это его прическа. Он носил длинные, остриженные в кружок волосы, которые доходили ему до ушей. Их он чем-то мазал, может быть, даже репейным маслом, и поэтому они тоже блестели.

Нет, никогда и ни у кого я не видел такой великолепной, иссиня-черной шевелюры. Когда он таким франтом, этакой легкой, разноцветной бабочкой (красная рубаха! синие шаровары! черный пояс! фосфоресцирующие сапоги!) явился к нам в сад и взыскательно покачал головой, прошел по аллеям, сознаюсь, я просто обомлел и потерял голову. Но горничная Марта, девушка благочестивая и довольно попидавшая на своем зрелом веку, одним словом разрушила все мое очарование.

— Ну, что же ты на него смотришь, открыв рот? — сказала она сердито. — Самый обыкновенный цыган. И что его сюда принесло, ума не приложу. Садовник, скажи пожалуйста! Разве бывают такие садовники? Станет он работать! Не так он отцом замешен, чтобы работать. У него и на уме этого никогда не было. Ишь, ишь как расхаживает, блистает сапогами! Блестай, блистай! Больно нужны кому-нибудь твои сапоги! Подумаешь, удивил!

Но в тот же вечер я их увидел рядом на кухне и почему-то даже не особенно удивился.

Марта держала в руках кусок белой материи, а цыган быстро и ловко вышивал.

На материи была нарисована какая-то неведомая, но, несомненно, райская птица с хвостом, бьющим фонтаном. Под беглой иглой цыгана она расцветала всеми цветами радуги.

При этом оба они о чем-то разговаривали. Я прислушался.

— Запущен, чрезвычайно запущен. Я вот вчера по центральной аллее прошел. Помилуйте, да разве это

сад? Разве сад таким бывает? Кругом дикая трава, подорожник растет прямо среди дороги. А около самого дома какая-то яблоня выросла. Ну, о клумбах я уже и не говорю, не клумбы, а мусорные кучи. Некоторые даже крапивой заросли. Позор! Нет, как хотите, это я не согласен считать за сад. А может быть, хвост сделать золотым?

— Сделайте золотым, — ответила Марта.

— Тут работы и работы. Разве одному человеку тут справиться? Я помню этот сад двадцать лет тому назад. Ну! Разве можно сравнить! Тогда клумба была как клумба, лужайка как лужайка, пруд как пруд, а теперь на этом пруду болотные черти...

— Ой, что вы такое говорите! — воскликнула Марта. — И как у вас язык... Гуще, гуще берите, не жалейте ниток, там у меня еще есть... Вы всегда такое преподнесете, Курт, что... Ну как можно так! Надо хоть немножко следить за собой!

— Извините, можете ударить меня по затылку, — упорно и угрюмо произнес Курт, — но я никак не могу иначе выразить свои мысли. Я говорю — на этом пруду болотные черти...

— Опять! — ударила себя по колену Марта.

— ...могут плясать тарантеллу — вот что только я хотел сказать.

— Это оттого, что хозяева никогда тут не живут, — сказала Марта докторальным тоном. — Они и в этот-то год приехали сюда по особым обстоятельствам.

— Вообще, — пожал плечами Курт, — странное время они выбрали: лето уже кончается... еще с месяц — и будут утренники. Вы знаете, я вот даже и не знаю, стоит ли высаживать некоторые зябкие цветы на клумбах... Прямо не знаю, Марта! С одной стороны, конечно... А зачем вы даете мне золотые нитки? Я уже кончил вышивать золотом.

— Сделайте крыло зеленым! Хвост золотой, крылья зеленые, так же, как у госпожи Мезонье на занавесках.

Марта не отрываясь смотрела на быстрые руки Курта.

— Видите, все дело в том, что господа приехали сюда неожиданно... Вы ведь знаете эту историю с братом госпожи Мезонье?

— Ну, откуда же я могу знать! — сказал он, продолжая вышивать.

Марта покосилась на меня.

— А что это за история? — спросил Курт равнодушно.

— Видите ли, — ответила Марта после небольшой паузы, — они лет пятнадцать не виделись друг с другом... Господин Мезонье не поладил что-то с ним и выгнал его... Он что-то там наплутовал с черепами. Знаете, ученые...

— Да! — кивнул Курт. — Совсем сумасшедший народ, я знаю.

— Ну вот, и они много лет не виделись, потом — это уже пять лет тому назад — господин Курцер прислал письмо из Германии. Оказывается, он сделался там каким-то очень большим человеком у ихнего вожака.

— У Гитлера, что ли? — небрежно спросил Курт, вышивая.

— Не называйте только его имя, — поморщилась Марта. — Что с вами, Курт? То вы поминаете нечистого, то Гитлера. Прислал письмо, и тут, говорят, был большой скандал.

— Ого! — удивился садовник и откинулся назад, рассматривая свое рукоделие. — Так будет хорошо? А? Да, но почему же скандал? Письмо ведь, наоборот, это хорошо. Или он написал что-нибудь такое, — Курт пошевелил пальцами, — неподобное, вроде того, дескать, что же ты, старый...

— Ну! — воскликнула Марта.

— ...ворон, не знаешь своих ближайших родственников?

— Господи, с вами с ума сойдешь, Курт! И что у вас за дикие мысли! — горестно удивилась Марта. —

Нет, конечно, ничего подобного он не писал. Но он из этих, как их там, нацистов, занимает какое-то особое положение, заместника, что ли, и его каждый день треплют во всех газетах. Он усмирять там какое-то восстание... впрочем, нет, не знаю. Он, кажется, не военный и работает там... в... гестапо, что ли? А впрочем, тоже не знаю, там ли, только теперь он написал еще письмо и просил разрешения приехать и отдохнуть в имении, потому что... Но меня удивляет, Курт, ведь вы работали у родителей госпожи Мезонье и вы ничего не знаете.

— Ничего не знаю, — покрутил головой Курт. — Работал я здесь всего несколько месяцев, и то лет двадцать тому назад, тогда ни господина Мезонье, ни госпожи, ни ее брата, никого не было, жил один старик Курцер, вот я у него и ухаживал за розами... — Он помолчал. — Тогда и этот институт, где работает господин Мезонье, был не здесь, он уже сюда, кажется, после переехал. Все принадлежало Курцеру, я ему еще в город ездил клумбы разбивать, он любил, чтобы прямо перед окном росли цветы и особенно розы и лилии. Эх, и до чего же хороший старик он был, Марта!.. Ну ладно, так что вы хотите сказать? Что с этим братом госпожи Мезонье?

— У него что-то неладно с головой, — Марта покрутила пальцами около лба, — переутомился или что еще, не знаю, право, но врачи прописали ему полный покой.

— Они всегда под конец сходят с ума, — сказал убежденно Курт и перекусил нитку, — таков уж их конец. Я знал одного палача — он под старость разговаривал со своим ночным горшком...

Он осторожно взял вышивку из рук Марты, положил ее и встал с места.

— Ну вот, крылья и хвост готовы, уже становится темно, а я в сумерках плохо вижу. Остальное придется окончить завтра утром... И когда же приезжает этот господин?

— Как же мне благодарить вас, господин Курт! — сказала Марта. — Это такая красота, такая красота!

— Так когда же он приезжает? — повторил садовник и так выпрямился, что у него хрустнул позвоночник. — Почистить хотя бы ближайšie аллеи к его приезду надо, приготовиться... — И вдруг быстрая гримаса пробежала по его лицу, дернула щеку, вывернула нижнюю губу и заставила на мгновение закрыть глаза; он хотел что-то сказать, но только грубо вздохнул, открыл рот и остался так неподвижно. — А то эти господа не любят шуток, — сказал он нараспев.

— Да, вам нужно тогда поторопиться, Курт, — сказала Марта, глядя на него с некоторым страхом. — Его можно ждать каждый день...

— Пойду, — сказал Курт, зевая, и прикрыл рот рукой. — Опять разболелась голова. Что за окаянная болезнь!

Он вышел и затворил за собой дверь.

Я подбежал к Марте.

Она держала платок за самый кончик двумя пальцами и, прищурясь, откинув голову назад, любовалась своей рукой.

— Но хотела бы я знать, — сказала она вдруг задумчиво, — где его так изуродовало, что он дергает щекой?

Глава седьмая

В саду мы играли в индейцев.

Это была очень интересная игра, но и строго-настрога запрещенная игра. Чтобы участвовать в ней, нужно было прятаться в песчаные гроты, взбираться на деревья, падать в волчьи ямы, стрелять из луков и рогаток, что опять-таки было далеко не безопасным, — словом, проделывать множество интересных, но абсолютно неприемлемых, с точки зрения гигиены, приличия и сохранения одежды, трюков. Играть

поэтому приходилось тихонько, забираясь в самые далекие чащи сада и тщательно хоронясь от постороннего глаза. Было нас восемь краснокожих, смертельно, по замыслу игры, ненавидящих друг друга и твердо выполняющих три основных правила — не трусить, не плакать, не жаловаться.

В тот день, о котором я рассказываю, мне особенно не повезло. Я зазевался и попал в засаду. Меня сейчас же повалили на землю, обезоружили, связали и бросили в кусты. Еще бы немного — и меня пригвоздили бы к столбу пыток и расстреляли бы из луков. Но тут на моих врагов налетело дружественное нам племя, и они позорно бежали, теряя по дороге убитых, пленных и раненых. В переполохе меня совсем позабыли.

Я лежал связанный по рукам и ногам на полянке, между двумя большими кустами сирени. Жесткие листья опущенных ветвей касались моего лица. От них шел едва заметный горьковатый запах, какой бывает, когда пожухнешь веточку сирени. Какая-то букашка с жирным, мягким телом и очень короткими металлически-синими круглыми надкрыльями не торопясь ползла по желобу листа.

В одном листе было еще немного влаги — утром прошел небольшой дождь, — и когда я задел ветку, на лицо мне упала тяжелая, чистая капля.

Тогда я выполз из-под куста и стал смотреть на небо.

Было оно ясное, высокое и такое голубое-голубое, что казалось черным. Бог его знает, где оно начиналось, — возможно, у самого моего лица, — но когда я стал глядеть в его глубину, мне вдруг показалось, что времени больше не существует. Небо было пустое, ни единого облачка не было на нем, оно всасывало меня в себя, и я падал, падал, падал в него и не мог удержаться. Слипались глаза, истома охватывала тело, и вот земля покачнулась, тронулась с места и плавно полетела, неся меня на себе. Еще борясь со сном, я открыл было глаза, но опять

увидел черные острые листья, строгие и жесткие, как вырезанные из глянцевитой бумаги, почувствовал чуть горьковатый запах коры и земли, а над всем этим опять легло то же черное, пустое небо. Тогда я перевернулся на бок, спрятал голову и заснул.

Очнулся я оттого, что кто-то очень осторожно, так, чтобы не разбудить, режет мои веревки.

Я открыл глаза и сел.

Надо мной с ножом в руках наклонился Курт.

— А вас уж искали-искали! — сказал он весело. — Марта весь сад обежала, и как она вас тут не накрыла, не пойму!

Он срезал веревку с ног и отбросил ее в сторону.

— Ишь как затянули, прямо мертвым узлом, — сказал он, покачивая головой. — В индейцев, что ли?

— В индейцев, — ответил я и тут заметил в его руках самодельную свирель.

— Что это у вас? — спросил я.

— Это? Это ножик, — ответил он, слегка недоумевающая, — обыкновенный садовый ножик, что, не видели такого разве? Ну, вставайте, наверное, новую рубашку-то всю замазали! Ишь ведь какая сырость, — он провел рукой по траве, как по конской гриве. — Мамаша-то увидит вас таким трубочистом, что скажет?

— Нет, не нож, а вот это? — сказал я, показывая на его левую руку.

— Ах, это! — он хитро улыбнулся. — Это я тут дрозда хотел подманить, вон в тех кустах у меня и силочек стоит. Здесь знаменитый дрозд живет, только вот на знаю точно, где его искать. — Он посмотрел на солнце. — Скоро его пора придет. Давайте посидим минутку тихо...

Так, друг около друга, в полной неподвижности, мы просидели минут двадцать. Потом Курт приложил свирель к губам.

Сначала он извлек из нее тончайший, как волос, певучий звук, похожий не то на призыв, не то на сигнал, и сейчас же отнял свирель.

В кустах было тихо.

Он снова посвистел, теперь длинно и протяжно, остановился, переждал немного и посвистел опять. Тогда над нашей головой в кустах что-то зашумело, колыхнулись и вздрогнули напряженные ветки. Верхняя, с крупными острыми листьями, закачалась, как будто ее кто-то толкнул.

— Прилетел, — тихо сказал Курт, — сидит и слушает.

И он опять заиграл.

Теперь свирель пела безостановочно на какой-то очень высокой ноте, оповещая, дразня и вызывая на состязание. Вверху, в кустах, слышался жесткий, гортанный звук: трэнк, рри! Это дрозд отвечал своему незримому сопернику. Ветка вздрагивала неровными крупными толчками, как будто по ней барабанил град, и вдруг дрозд запел.

Я сразу понял, что поет он, весь уходя в песню, не видя ничего и забывая все на свете. Мне подумалось даже, что, может быть, в это время он закрывает глаза.

Вся песня его была светлая и какая-то прозрачная насквозь. Тогда же мне пришла на память песня соловья, и я понял разницу; вспомнил, как поет скворец, и опять решил, что это не то, — тянулась, тянулась сплошная музыкальная ткань, сверкая и переливаясь, но никакого богатства и разнообразия не было в ней, кроме необычайной чистоты. Она была более одухотворенной, чем человеческий голос. Никогда и ни в чем человек не может достигнуть такой чистоты и слаженности. Уж одно присутствие мысли замутило бы чистоту этой песни, созданной природой еще до появления человека. Наверное, так могла бы разговаривать природа, если бы эти кусты сирени, трава, холм и полянка обрели голос.

Я открыл рот, чтобы сказать что-то, но Курт сделал мне знак молчать, и я опять припал к траве.

А дрозд заливался.

Он сидел теперь неподвижно.

Кусты больше не качались, и где он сидит, определить было невозможно. Вероятно, песнь и не зависела теперь от него. Может быть, птицы в эти минуты своего ярчайшего цветения утрачивают сознание окружающего, и тогда приходи и бери их голой рукой.

Песнь исходила от него произвольно, как свет от гнилушки, как запах от ландыша, как блеск и свечение от озера, залитого солнцем. Конечно, все это я чувствовал, а не думал, здесь я передаю только голое ощущение от песни, переведенная же на слова, эта мысль выразилась бы куда проще и понятнее. "Соловей, — думал я (а о ту пору я уже слышал и соловья), — так петь не умеет. Он щелкает и заливаётся на тридцать ладов, все хитрит и манерничает, а этот дрозд, когда поет, забывает все на свете. Вот когда он эдак поет, подойти и накрыть его шляпой — он даже и не заметит".

И тут я увидел, что Курт поднялся с травы и пошел куда-то в обход кустов.

"Ну, теперь он уже его поймает", — подумал я, и сердце у меня забилося так, что я почувствовал, как горячая кровь, оглушая, ударила меня в виски.

И вдруг песня прекратилась, послышалось звонкое и пронзительное "диск-диск, гри-гих-гих", потом быстрые шаги и треск веток, наконец зашуршала под ногами сухая листва, и Курт вышел из середины кустов.

— Ишь какой строгий! — сказал он с уважением. — И головы нельзя показать. А у меня на него петли были поставлены, сунулся не вовремя, он и увидел. Ну ничего, в другой раз...

Он наклонился и тронул меня за плечо.

— Идемте домой, а то попадет по первому разряду — ишь новая рубашка вся зеленая, — мать возьмет ремень...

Я посмотрел на него с пренебрежением.

— Меня никогда не наказывают физически, — сказал я важно, — это не педагогично.

— Не пе-да-го-гич-но? — весело удивился Курт. — Ну а меня, — он махнул рукой и засмеялся, — меня иной раз драли так, что рубаха к спине приставала. Честное слово, приставала. Как возьмут, разложат, да и... Эх, и драли! — добавил он с восхищением. — Значит, не дерут? Это хорошо! Раз не дерут, значит хорошо! Это кто ж говорит, что не "пе-да-го-гич-но"? Сама матушка, что ли?

— Вообще бить человека не гуманно, а ребенка тем более, — произнес я поучающе.

— О! — Курт так оторопел, что даже остановился. — Не гуманно? Ишь ты! — И он произнес еще раз с особым удовольствием: — Не гуманно. — Потом, по какой-то непонятной мне ассоциации, вдруг спросил: — Ну, а вот дядя-то должен приехать, как, дя-дюшку-то вы помните?

Мы уже вышли с полянки и шли теперь по дорожке сада.

— Мы никогда не виделись, — ответил я холодно, придумывая, чтобы соврать матери.

Вид мой был действительно очень нехорош: бок зеленый, в башмаке хлюпала грязь — это я провалился в канаву, — один локоть порвался не то о колючую проволоку, не то о шиповник. Ну, сразу можно было определить, что в течение целого дня я был индейцем.

— Никогда не виделись? — переспросил Курт с особым выражением, смысл которого опять-таки уловить я не мог. — Да, и вот мне к его приезду надо сад в порядок привести, а что я могу сделать? — Он опять остановился среди дороги. — Разве я могу один что-нибудь сделать, — произнес он с досадой и щека его дернулась, — а?

Мы подошли к дому.

Из комнат выбежала Марта, с выражением ужаса и ожесточения, молча подбежала ко мне, схватила за руку и потащила в кухню — умываться.

— Не гуманно! — повторил Курт, смотря нам вслед, и снова чему-то улыбнулся.

Отец ходил по дорожкам сада, вздыхал и, если не видел никого около себя, начинал громко декламировать Сенеку.

Иногда он натыкался на Курта.

Курт вдруг выходил из кустов и останавливался на середине дороги, смотря на отца с величайшим сомнением и даже осуждением.

— А, Курт! — говорил отец рассеянно. — Ну что, как вы?

Курт смотрел на него строго и неподвижно.

— Не в обиду будет вам сказано, господин Мезонье, я не ожидал этого! Клянусь, не ожидал! Такой сад — и так его запустить! Здесь черти...

— Да, да, — говорил отец, ловко обходя Курта, — именно так. Именно так! Вы извините, мне сейчас некогда, а потом как-нибудь я с величайшим удовольствием...

С матерью Курт почему-то не встречался и даже как будто избегал ее. Впрочем, и некогда было ему особенно долго разговаривать.

Марта оказалась неправа.

Курт работал с величайшим ожесточением. Он прорубал, чистил заросли, срывал и переделывал все клумбы. Перед домом он вычистил полянку, остриг траву, разбил цветник и высадил откуда-то с сотню астр. Слазил на чердак, нашел там зеркальные шары, вымыл их и водрузил посередине клумб. Привез на лошади две телеги гравия и пересыпал им все дорожки. Потом... Ой, да мало ли что он делал!

Марта, с новым платком в руке, на котором неведомая птица, распутив крылья и хвост, играла всеми цветами имеющихся у нее в наличии ниток, стояла на дороге и с какой-то сложной, не вполне доступной мне гаммой чувств смотрела на Курта.

— Цыган! — говорила она. — А что ж, если и цыган? Когда цыган примется за работу, у него все в руках горит. Другой при такой работе ходил бы свинья свиньей, а он вон как за собой следит! Сапо-

ги-то, сапоги-то как начистил! Ишь как блестят! Глазам больно!

А отец походил, походил по дорожкам, потом сел за стол и начал писать. Он писал два-три часа, потом перечитывал написанное, комкал бумагу в кулаке и начинал снова.

Первый раз он написал: "Мой уважаемый коллега, дорогой профессор г-н Ланэ!" — скомкал и бросил.

Потом: "Дорогой профессор!"

Потом: "Профессор!"

Наконец: "Г-н Ланэ!"

Последнее письмо просто: "Г-н Ланэ (уже без восклицательного знака), вашу анонимку я получил".

Бумага была хорошая, гладкая, и я подбирал ее из корзинки.

На третий день отец запечатал письмо в конверт и послал меня за Куртом.

Курт пришел и встал около двери.

— Да нет, нет, вы подойдите сюда, что вы там вытянулись, — позвал отец. — Во-первых, я слышу плохо, а во-вторых, просто... ну, проходите сюда.

Курт посмотрел на меня — я сидел около окна и мастерил кораблик. "Многоуважаемый коллега" было написано на борту. Курт подмигнул мне и даже прошептал что-то про себя. Готов побиться об заклад, что он окончил шепотком фразу отца и окончил ее так: "Просто не гуманно".

— Вот! — Отец повернулся к Курту и взял конверт в руку. — Я вас попрошу... — Он опасливо оглянулся. — Вы мадам Мезонье не видели?

— Она только что была в беседке, — ответил Курт.

— О! В беседке. Отлично! — отец сразу повеселел. — То письмо вам передала госпожа Ланэ? Вы ведь, кажется, и у нее лет десять тому назад работали?

— Нет, сам господин Ланэ, — ответил Курт.

— Ага, господин Ланэ! И он вам сказал...

— Он мне сказал: "Вот, Курт, возьмите, спрячьте это письмо куда-нибудь подальше, и если вас задержат, будут обыскивать и найдут это письмо, то вы..."

— Так, понятно, — кивнул головой отец. — Теперь вот какое дело, Курт. Вот и я даю вам это письмо и... Но вы как? Уже оглядели тут сад и оранжерею и все... ну, и все, что подлежит вашему, так сказать, верховному владению... вашу монархию, что ли? — он бледно улыбнулся.

— Да, господин профессор, — ответил Курт очень серьезно, не принимая улыбки отца, — но должен вам сказать откровенно... Я человек прямой и без этих самых...

— Да, да, пожалуйста, — сказал отец рассеянно, — пожалуйста, Курт.

— Должен сказать, очень запущенное хозяйство... очень. Вы посмотрите, что стало с клумбами. Ведь на них кра-пи-ва рас-пус-ка-ет-ся! Вы знаете, я сегодня очищал одну клумбу... — Курт выглядел очень обеспокоенным, но я смотрел на его щеку — она не дергалась.

— Ну-ну, — сказал успокоенно отец, — как-нибудь там, знаете, помаленьку...

— Потом пруд, ведь это черт... Извините, это черт знает что такое. Он зацвел, как мокрый сухарь, на нем скоро можно будет уже и грибы собирать.

— Ну-ну, уж вы как-нибудь там, Курт, — просительно сказал отец, он был уже не рад, что начал этот разговор. Он пошарил в ящике стола и вынул коробку сигар. — Вы курите, Курт?

— Только трубку. Аллеи! Ну что это за аллеи!

— Ладно, Курт, ладно! — отец мягко дотронулся розовым пальцем до его грубой, обветренной руки (теперь Курт стоял рядом). — Ведь я в этом ничего не понимаю, — сознался он виновато. — Теперь вот какое дело. Видите это письмо? Его надо передать лично, только — вы слышите, Курт, лично! — господину Ланэ. Послать сейчас некого, я знаю, что не ва-

ше дело, но, видите, — отец развел руками, — никого нет, почта не работает, и вообще...

— Ладно, давайте письмо, — сказал Курт и взял в руки конверт.

— Только смотрите, Курт, — отец поднял палец. — это письмо надо хранить.

— Ну, — улыбнулся Курт, — будто я не знаю!

Он положил письмо на стол, опустил на одно колено и стал разворачивать обмотку.

(Сегодня он был почему-то не в сапогах, а в несокрушимых футбольных бутсах, которые были так грубы, что даже и не блестели, несмотря на все его старания.) В это время вошла мать, и отец проворно схватил письмо.

Мать подошла и вырвала конверт из его рук.

— Дай сюда! — сказала она, поглядела на адрес, покачала головой, вздохнула и пошла из комнаты.

— Берта! — позвал отец.

Мать остановилась и поглядела на него.

— Нет, ты с ума сошел! — сказала она убежденно. — Ты попросту сошел с ума! Как же тебе не стыдно, Леон! Мы с тобой, кажется, обо всем договорились, а сегодня ты... Есть у тебя слово или нет?

— Да нет же, Берта! — отец чувствовал себя очень неловко. — Это же не то, нет, нет! Совсем не то.

— Не нет, а да! — сказала мать твердо. — Посылать такой документ! В такое время! К такому человеку! Постой, Леон, я пощупаю у тебя голову. Ведь ты же сам называл его Иудой. Ну, скажи, пожалуйста, что будет, если это письмо попадет в руки тех...

— Ну! — отец покровительственно засмеялся. — Чепуха. Берта, как ты не понимаешь! Ведь это же ответ на его собственное письмо.

— А! — мать даже досадливо сморщилась. — Нет, право, хочется пощупать, какой у тебя лоб... Ну кто же говорит, что он пойдет и выдаст! Ну, скажем, найдут у него это письмо, тогда что? Ты что же думаешь, он станет молчать? Выносить побои? Да, Боже мой,

он сейчас же скажет: "Это письмо написал мне профессор Мезонье..."

— И погубит самого себя, — сказал отец.

— Во-первых, пускай даже погубит: ведь он тебе сам пишет, что если его начнут бить резиновой дубинкой, он может Бог знает что наговорить. Значит, как же ему верить? И, во-вторых, ну, скажи, чего он может особенно бояться? Что же, они не знают, что он спасает свою шкуру? А ведь только об этом он тебе пишет. Да еще прибавляет, что сделал это искренне, и потом, — мать поглядела на Курта, — ты думаешь, что ты делаешь? Ты посылаешь человека пешком за сорок километров, потому что транспорта теперь не достанешь, только затем, чтобы...

Курт встал с пола и улыбнулся матери.

— Вы не бойтесь, сударыня, — сказал он скромно, — я дороги не боюсь, мне пройти сорок километров — это все равно что плюнуть, если дело только за этим...

Мать покачала головой и спрятала письмо.

— Ну, Курт, — улыбнулась она, — а о саде я боюсь вас и спрашивать. Все запущено, разрушено, поломано. Но скажите, хоть клумбы-то можно привести в порядок?

Лицо Курта стало серьезно.

— Одну, центральную клумбу, — сказал он продуманно, — я уже вычистил и сегодня же посажу на ней хризантемы и что-нибудь еще поглубже, ну, скажем, георгины... Вот только не знаю, сколько их есть?

— Надо бы было что-нибудь сделать, Курт, — сказала мать. — Мы не сегодня завтра ждем господина Курцера.

— А что у вас с глазом, Курт? — спросил отец. — Это у вас чисто нервного порядка. Вы, наверное, чего-нибудь испугались, Курт, или вас неожиданно со сна разбудили? Я знаю, это иногда бывает.

— Да нет, — ответил Курт, и глаз его задергался, — было дело несколько иного рода.

— Упали, наверное, или ушиблись? Да вы не бойтесь, говорите все. Вот вы не хотите говорить об этом вашем физическом недостатке, смущаетесь и боитесь его, — да, да, боитесь его, — а этого не надо, ни в коем случае не надо, наоборот, вы должны позволить обсуждать и говорить о нем. Тогда вам будет легче и он пройдет. Об этом писал еще Эразм Дарсин.

— Да нет, я не боюсь, — криво улыбнулся Курт, — только рассказывать-то об этом...

— Послушай, — вступилась мать, — ну что ты мучаешь человека? Он, конечно, совершенно не расположен к твоим вопросам.

— Да нет, я расскажу, — улыбнулся Курт. — Только вот нога-то у меня, — и он пощупал колено. — Вы сесть мне разрешите? — И улыбка его стала совсем недоброй, он опять взглянул на меня, и лицо его дернулось.

— Да, да, — забеспокоился отец, — как же... как же... — Он в смятении схватился за ящик сигар. — Курите, пожалуйста. Ах, Господи, на стуле-то книги... Складывайте, складывайте их прямо на пол. — Он все суетился с ящиком в руках.

— Да не курю я папиросы, — снова улыбнулся Курт. Он сел в кресло и подогнул ноги. — А дело-то было так, — начал он нараспев...

Г л а в а в о с ь м я я

(Рассказ Курта)

— Я лежал в больнице, у меня, видите ли, припадки с детства.

— А когда это было? — осторожно спросила мать, проходя к столу и расчищая его от лишних бумаг.

— Было это... было это... — Курт на минуту задумался, — было это около одного года, — твердо выговорил он. — Знаете, меня с детства бьют припадки. Вдруг упаду, и начнет меня швырять и бить о землю,

весь скорчусь, опять вытянусь, почернею, ну и лежу на боку, пока меня не подберут. Вот эдак меня раз подобрали и свезли в больницу. Была такая специальная лечебница на улице Любаша. Пролежал я там месяца два, наверное. Профессор там был старичок. Что-то он в моей болезни интересное нашел, стал какие-то опыты надо мной делать... там... электричество... не могу уж я вам точно объяснить, зачем, ну, только какой-то новый метод. Сажают на кресло, потом включают ток, все жужжит, ток через тебя... в общем не знаю... Но сильно прохватывало, не гуманный метод, — улыбнулся он криво, — но действенный, кажется, на мне его первом стали пробовать. Прохватывает до костей. Так я месяца два или три пролечился, знаете, легче стало. Ну, были, конечно, припадки, но только уже не такие... Может быть, этот метод помог, может быть, пора уж такая пришла... Не знаю... Потом вот это и случилось...

Он остановился, как будто в нерешительности.
— Что? — спросил отец.

— Ну вот, немцы-то пришли, — плавно ответил Курт.

— Да, да, — забеспокоился отец. — Ну и...

— Да нет, я ничего не видел, — медленно сказал Курт. — Говорю же вам, что в больнице лежал. Потом профессора этого сменили, не подошел им там, что ли, другого назначили, из немцев, красивый такой, сероглазый, высокий. Ну вот, он в первый день меня вызвал, начал расспрашивать. Знаете, обыкновенные докторские расспросы... Когда? Да с чего? Да где?.. Ну, я сказал:

”Первый припадок случился со мной, когда я кончил садоводческую школу”.

Тут он встрепенулся.

”Да вы разве учились?” — спрашивает он.

”Как же, говорю, учился”.

”Ну, а специальность у вас какая?”

”Садовод, говорю, но больше в последнее время работал по агрохимии, то есть по удобрениям”.

Ладно, помолчал он, записал что-то себе на бумажку.

”А где у вас семья?”

”Семьи, говорю, у меня никакой нет. Один я”.

Тут он даже улыбнулся — так ему понравилось это. Потом опять спрашивает:

”А из родителей у вас кто-нибудь этим недугом страдал?”

”Мать, говорю, болела”.

”Хорошо! — Опять записал.— Ну а дальше по восходящей линии не помните: дедушка, бабушка, может быть, кто-нибудь из прадедов?”

”Нет, говорю, не помню”.

”Ладно, идите”.

Так еще я пролежал сколько-то, приходит раз санитар, говорит:

”Больной Курт Вагнер, собирайтесь, пожалуйста, в ординаторскую, там вас ждут”.

”А кто ждет?”

”А это уж, говорю, не знаю, доктора, наверное, какие-нибудь”.

”А! — думаю. — Консилиум!”

Пришел. Нет, вижу, не доктора! Никак не доктора! Под халатами серые полувоенные формы. На галстуках булавки, а на булавках эти паучки, и такие морды у них, знаете, одна к другой! Какие же там, к черту, доктора!

Директор больницы говорит:

”Вот он сам, Курт Вагнер!”

Эти военные уставились на меня, смотрят. Тут один спрашивает:

”Вы химию хорошо знаете?”

”Как же, говорю, в том объеме, в каком мне требуется знать, знаю”.

”То есть? Объясните”.

”Ну, я же, говорю, агрохимик, я искусственное удобрение вырабатываю”.

”Так. А в лабораториях когда-нибудь работали?”

”А как же, говорю, у меня и своя лаборатория была, я для комнатных растений удобрения вырабатывал”.

Он поморщился.

”Нет, я не про это. Что там удобрения! А вот в настоящей, хотя бы в фабричной лаборатории работали когда-нибудь?”

”Нет, говорю, не приходилось так”.

Помолчал он, почертил что-то на бумажке, к другому обращается:

”У вас вопросы есть?”

Тот спрашивает:

”Припадками давно страдаете?”

Я ему объяснил, как, когда, и не один я, а и мать моя тем же страдала.

Тут директор подошел с моей историей болезни, пальцем в нее тычет: вот, мол, и вот что. Тот отмахнулся от него:

”Да, да, вижу!”

Потом повернулся к своим и что-то сказал длинное такое, по-латыни, что ли, я не понял. Тогда тот, что меня раньше о химии спрашивал, пожал плечами. Потом принесли кресло, круглое такое, с вращающимся сиденьем.

”Садитесь”.

Я сел. Они начали мне голову измерять, уж и так измеряли и эдак, и вдоль, и поперек вертели, снимут один промер — запишут, снимут другой — опять запишут. Потом стали говорить между собой про эти цифры. Слышу только слово ”неполноценный”. Тогда этот, что раньше со мной про химию толковал, обращается к директору и говорит:

”Ну что же, дело ясное, можете его пока отпустить”.

Вечером директор вызывает меня и говорит, что меня выписывают, болезнь у меня неизлечимая, наследственная, показаний для операции нет, подкрепить они меня подкрепили и больше ничего сделать не могут, но вот могу я поступить в лабораторию

Агрохимического института. Он меня завтра и свезет, если я хочу. Об условиях договорюсь на месте.

”Ладно, говорю, раз Агрохимический, это мне подходит”.

Пошел к себе на койку и еще подумал: ”Вот как хорошо складывается”.

А потом другая мысль кольнула: ”Что это он обо мне так вдруг стал хлопотать, ровно это бы не его дело?” И вдруг этот, что меня про химию пытал, вспомнился. Очень он мне не по сердцу пришелся. Вот череп-то зачем измеряли? Зачем череп измеряли? Не знаю! Потом это слово ”неполноценный”. Не могу вам даже сказать, до чего оно меня резануло... Нехорошее слово! ”Вопрос ясный”! Что за ясность такая? Опять не знаю! Ну, подумал, подумал, да и забыл. Наутро он повез меня в этот институт. Чтобы не вдаваться в многословие, скажу, что директор этого института и оказался тот самый, что меня о химии пытал. Договорились мы с ним быстро. Служить мне при лаборатории, но при собаках.

”При каких, — спрашиваю, — собаках? Я ведь по химии, да и сами вы мне говорили”.

”Ну, химия, говорит, потом, а сначала собаки”.

”Да какие собаки? Ну их к Богу! Ведь по собакам я не специалист. Драл, правда, с дохлых шкуры в детстве, но с тех пор сколько времени-то прошло, я теперь и не помню даже, с чего начинать. Я же вам объяснил: я больше насчет агроудобрений: всякие там азотистые соли, суперфосфат, золы различные, костная мука и тому подобное. Может быть, это потребуется? Ведь институт-то Агрохимический”.

Посмотрел он на меня, усмехнулся.

”Нет, говорит, этого не потребуется. Потом вы, конечно, будете и в самой лаборатории использованы, люди нам нужны, но пока вот при собаках”.

”Ну, ладно, говорю, что с вами поделаешь. При собаках — так при собаках, пес с ними, в особенности если питание ваше”.

”О питании, — говорит директор, — не беспокойтесь, даже и квартира казенная вам будет”.

”О! — говорю. — Это еще лучше”.

”Но вот условие: из ворот института никуда. Работа секретная, государственного значения”.

”Вот это уж, говорю, плохо, это не по-моему, я человек веселый, мне и погулять надо, и в театр сходить, и вообще... Да и как это — из ворот никуда? Не понимаю!..”

Он эдак нехорошо скосоротился:

”Ничего, за это не беспокойтесь! Поживете — все поймете. А театр мы вам тут свой устроим”.

”Ну, — думаю, — пес с вами, устраивайте”.

Позвонил он, пришел какой-то лупоглазый, в белом фартуке. Он ему:

”Вот вам новый служащий при лаборатории номер пять, проведите его и познакомьте с обязанностями. Покажите, где он будет жить, и потом хорошенько накормите”.

Вот он меня и повел...

...В комнате быстро темнело.

Мать взяла лампу — электричество не работало, — сняла стекло и стала оглядывать стол, ища спички.

Спичек не было. Да разве возможно было найти что-нибудь на письменном столе отца!

— Спичек! — догадался Курт и достал из кармана коробку.

Отец зашевелился в кресле. Он был очень заинтересован рассказом, у него был своеобразный вкус, и в художественной литературе после Сенеки он больше всего любил детективные романы с похищениями, тайнами, страдающими красавицами, убийствами и утраченными секретами.

— Ну и что ж в этой лаборатории? — спросил он с нетерпением.

— Да, в этой лаборатории, — с улыбкой повторил Курт, смотря на отца. — В этой самой лаборатории я и стал работать...

— С собаками? — спросил отец.

— Собак там было, чтобы не соврать, штук триста.

— Породистые? — снова спросил отец.

— Ну, породистые! Откуда они там возьмутся! Там всякий сброд. Дворняги! Их по всему городу ловили, а потом секретным порядком нам доставляли. Там для них специальное помещение было. Вот они в клетках и сидели, на каждой клетке номер, и на собаке, где ошейник должен быть, особый номерок.

Мое дело было какое? Мне собак привезли, я должен их два раза в день кормить. Им откуда-то, с бойни, верно, кости привозили. Надо, значит, было так распорядиться, чтобы к вечеру все чисто было: где надо, чтобы соломка была, где надо — песочек посыпан, подручный у меня был, он-то все это и делал, я только следил за порядком. Так, какой-то курносенький и рыжий, и не рыжий даже, а просто бесцветный, черт его поймет, что за человек. Жену бы я ему свою доверил, а вот комнату — ни за что! Обязательно либо посуду перебьет, либо пожару понаделает. Ну, однако, ничего, с делом справлялся. Только понукать его нужно было, да иной раз метет, метет, вдруг остановится, глаза выпучит, да так и стоит, с открытым ртом. Крикнешь ему:

”Станислав, Станислав!” (его Станиславом звали).

”А?”

”Что ж ты стоишь, как столб?”

”А?”

”Почему не метешь-то?”

”А?”

Подойдешь, толкнешь его легонько в плечо — тут он покачнется, вздохнет, посмотрит на тебя да как начнет метлой шаркать! Потом его спросишь:

”Что с тобой было, Станислав?”

”А ничего!”

”Что ж ты стоял?”

”Так, задумался”.

”О чем же задумался?”

”Да так, ни о чем”.

”Да разве можно ни о чем не думать? Думают о чем-нибудь”.

”Нет, я всегда ни о чем не думаю”.

Так и до сих пор не пойму, что он за человек был. Тут же, в собачнике, и кровать его стояла. Когда делать нечего, сидит он и песни поет. Вообразите обстановку! Собаки лают, грызутся, по клеткам бегают. Я полдня там побуду — у меня голова во какая станет, — Курт руками показал, какая у него делается голова, — а он целые сутки там, и ничего. В десять часов вечера я делаю последний обход. Собаки все накормлены, пол, смотрю, чистый, можно спать идти. Так прослужил я неделю и никого не видел.

— А на улицу не пускали? — спросил отец.

— Ну, на улицу! — взмахнул рукой Курт. — Тут и на двор выдешь, чуть от собачника отойдешь не в ту сторону, смотрят во все глаза. Двор обширный был, асфальтированный, и в нем несколько корпусов, а около каждого корпуса забор и проходная будка, в каждый корпус особый пропуск надо. Куда ни оглянешься, везде колючая проволока, волчьи зубы, электрическая сигнализация, а ночью прожектора. Тут и по двору-то не разгуляешься, а то на улицу! Ну, верно, — прибавил он, подумав, — кормили хорошо, что правда, то правда, на питание обижаться не приходилось. Да и комната тоже неплохая была. Тут же при собачнике, — электричество, газ, водопровод, паровое отопление, электрическая плитка, радио. Видно, какая-то лаборатория тут раньше была, в общем материально, — он с особым выражением выговорил это слово, — материально... никак обижаться не приходилось.

— Но послушайте, зачем же такая пропасть собак? — удивился отец. — Триста штук! Что с ними делать? — Он обернулся к матери. — Вот, Берта, наверное, по утрам визг поднимали!

— Что с ними делать? — переспросил Курт. — А вот что, — он хитро поглядел на отца. — Дней через

десяток звонят мне по телефону. У меня телефон над кроватью висел. Передают телефонограмму: "При-слать сорок штук собак в лабораторию номер шесть. Отправляем для помощи двух человек, доставку ор-ганизовать немедленно".

"Как, — спрашивает, — справитесь?"

"Справимся! Номера передавать не будете?"

"Номера безразличны, говорит, только в книге отметьте — там графа есть: "Выбыло в лаборато-рию". Так вот вы число поставьте".

"А обратно они когда придут?"

"А вам что?"

"Да как же, говорю, прижился, привык за две не-дели, все равно как родные они мне стали".

Ничего не ответил, повесил с грохотом трубку. Ну, ладно, пес с тобой, мое дело маленькое, хоть все триста штук заберите, я плакать не буду. Отобрал я сорок собак, которые поголосистее, отметил в кни-ге, тут пришло двое молодцов, собрали мы собак и повели их в эту самую лабораторию номер шесть. Прошли через проходную будку, там уже на нас дво-их пропуска лежат. Зашли — опять двор асфальтиро-ванный, колючая проволока, решетки на окнах, волчьи зубы на заборах, перед входом в лабораторию будка и часовой прогуливается. Привели нас в ка-кой-то деревянный загончик, говорят:

"Спускай".

Ну, спустили мы их с цепи. Забегали они по это-му загончику, залаяли, стали играть, друг через друга прыгать — рады после клетки-то! Рыжий стоит и уж-мыляется. Вдруг смотрю — приходит тот сероглазый, что меня сюда определил. Посмотрел на меня, на со-бак и:

"Сколько здесь?"

"Сорок штук", — отвечаю.

"А в книге, — спрашивает, — отметил?"

"А как же! — говорю. — Выбыло в лабораторию номер шесть сорок собак".

”А что вы там по телефону шуточки отпускаете? Что вам тут, мюзик-холл, что ли?”

”Нет, говорю, не мюзик-холл!”

”Ну вот и советую вам этот стиль переменить, здесь он не у места. Собаки кормлены?”

”Есть стиль переменить. Так точно, кормлены”.

Посмотрел он на меня долгим, пристальным взглядом, ничего больше не сказал, вышел. Пришел я обратно, тот, рыжий, сидит на ящике, песни поет — раньше меня вернулся. Сел я напротив, смотрю на него. Он поет, он поет — глаза, как соловей, закатывает.

”Что же, — спрашиваю я, — они с собаками будут делать?”

”А что с ними делать? Шкуру долой, а мясо нам же — других собак кормить”.

”О! — говорю. — Что ж, их там режут?”

”Нет, — отвечает, — вроде как давят”.

”А зачем?” — спрашиваю.

”Ну, зачем! Значит, нужно зачем-то, какую-то из них науку там вырабатывают”.

И снова песни запел.

Ну что ты с таким дьяволом сделаешь?! Плюнул я, слез с ящика и ушел к себе. Верно, на другой день привозят нам уже не собак, а сорок собачьих туш. Посмотрел я на них — нет, горло не резаное, раны нигде нет. ”Что за черт? — думаю. — Верно, давленные они, что ли?” Разрубили мы их с рыжим на куски, бросили собакам — нате, мол, лопайте! Скоро туда же пойдете, раз такое дело...

Ну-с, вот проработал я таким образом два месяца с лишком, все собак принимал и отправлял, и за это время перевели их, хорошо помню, ни больше ни меньше как пятьсот собак. Потом раз ночью звонит телефон. Вскочил я со сна. Что такое? Слышу, в трубке голос того, что меня сюда принимал:

”Немедленно явиться в лабораторию номер шесть”.

”С собаками?”

”Нет, без собак”.

”Что за история?” — думаю. Никогда меня ночью не вызывали.

Оделся, пошел. В проходной будке меня уже ждут, прямо без пропуска провели в корпус, на второй этаж. Там мой хозяин и еще какой-то, помоложе. Оба в белых халатах, а из-под халатов серые формы.

”Здравствуйте, Курт”, — говорит старший. Я поклонился легонько.

”Здравствуйте, господин начальник”.

”Как ваши собаки?”

”Спасибо, говорю, ничего, все благополучно”.

”Так вот, придется вам помочь кое-что сделать в лаборатории”.

”Что же, говорю, идемте”.

Пошли.

Завел он меня в лабораторию. Смотрю — через все помещение мраморные столы, а на столах пусто, ничего нет, ни посуды химической, ни приборов, ни книг, ничего. Смотрю на окна — окна в железную решетку убраны, да только как-то странно, со стороны комнат, так, что до стекла не достанешь. ”К чему это, — думаю, — так?” Смотрю на стены. А стены глухие, пробкой обитые, и ничего на них нет. Ни полок, ни таблиц, ничего! Смотрю на двери — двери железные, герметические, и над ними, так на высоте человеческого роста, окно проделано, и стекло в нем толстое-толстое, в два пальца. Ох, как все мне это не понравилось! Главное — не вижу, на чем же тут работать. Столы да стены! Какой же тут ремонт? И закололо мне сердце, закололо, так нехорошо стало... Ну, прямо объяснить вам не могу, как нехорошо. Ночь... Тишина... Окна в решетках. Эти стены глухие, столы мраморные. ”Ой, — думаю, — неладно что-то! Не кончится это добром!” Но стараюсь вида не показывать, как будто так и должно все быть.

”Так что ж прикажете делать?”

А он с меня глаз не сводит. Стоит и улыбается.

”Ну как, припадки у вас бывают?”

”Да вот, говорю, уже две недели не было”.

”Ну а общее самочувствие как? Улучшается?”

”И общее самочувствие, говорю, то же”.

”А скучать теперь не скучаете?”

”Как, говорю, не скучать, если я, кроме рыжего, ни одного человеческого лица не вижу, все одни собаки, будь они трижды прокляты!”

Засмеялся.

”Собака, говорит, друг человека!”

”Нет, говорю, избавь меня, Боже, от таких друзей, как сказал какой-то философ. Да что тут говорить, у меня там невеста осталась. (Это я уже нарочно сочинил: что он, думаю, мне на это скажет?) Мне ее увидеть надо, а тут пожалуйста... собаки!”

Рассмеялся он, похлопал меня по плечу.

”Это, говорит, верно, собака невесту не заменит. Ну, ничего, мы вам скоро длительный отпуск дадим. Собаки... они, верно, в больших дозах действуют раздражающе”.

Тут входит какой-то, тоже в белом халате, и к нему:

”Вас к себе начальник просит”.

”Ага! — говорит мой хозяин. — Вы, Курт, подождите здесь одну минуту, я сейчас приду и покажу, что надо делать. Одну минуточку”.

Вышел, и сейчас же дверь за ним захлопнулась, щелкнула. Четко эдак, ясно щелкнула, как будто курок кто спустил. ”Эх, — думаю, — неладно”. Подошел, подергал-подергал — так и есть, заперта! Стукнул для чего-то, сам не пойму, для чего. Куда там! Только кулак ушиб. Сел тогда я к столу, закрыл лицо руками. ”Что ж, — думаю, — будет? Зачем меня сюда привезли? Починка? Какая тут, к черту, починка! Чего тут чинить? Пробка да железо, нечего тут чинить! Окончательно можно сказать, что нечего!” Думаю так, а сам дрожу и дрожу, как будто меня в холодную воду окунули. Хочу удержаться и, представьте, не могу — тело само собой ходит. Э, думаю, плохо

мое дело. А кругом-то тишина! Та-ка-я ти-ши-на! Слышно, как собственное сердце бьется. Так минуты две я посидел, вдруг дверь сзади опять щелкнула, отворилась, но не полностью, а так только, чтобы можно было пройти, и вот входит какой-то человек; я сразу увидел, что он не из ихних, хотя и в халате. Так какой-то, низенький, головка репкой, нос придавлен, глаза ясные и пустые, как солдатские пуговицы. Вошел в лабораторию, рот открыл, стоит и смотрит.

”Здравствуй!” — говорю.

”Здравствуйте!” — отвечает он мне и с места не двигается.

”Ну, что ж стоишь, проходи!”

”Ничего, я и так!”

”Ну, стой так, если уж ты такой деликатный! Давно тут работаешь?”

”Нет, я только что поступил!”

”А откуда, — спрашиваю, — поступил?”

”Да вот из больницы выписался”.

”Что, болел разве чем?”

Не отвечает, стоит и улыбается. Да улыбается эдак криво и жалко, ровно милостыню просит.

”Что ж, — говорю, — молчишь?”

А он мне:

”Я неполноценный”.

Вздогнул я.

”Это что ж такое? — спрашиваю (опять это слово!). — Как то есть неполноценный? Кто же за тебя и какую цену дает? Что ты — конь или корова?”

”Нет, — отвечает, — я психический”.

”Вот оно что! — думаю. — Я припадочный, а он психический. Хорошо! Недаром такую компанию собирают”.

Курт остановился, и лицо его несколько раз передернулось.

Мать слушала стоя, облокотясь о спинку кресла. Отец выглядел чрезвычайно заинтересованным. Он сидел выпрямившись и не сводя с Курта зачарован-

ного взгляда. Курт вынул платок и стал старательно обтирать лоб. Говорить ему становилось все труднее и труднее.

— Ну, ну! — заторопил отец его. — Ну, ну, Курт, голубчик, дальше что?

— Ну, дальше... Смотрим мы с этим психическим друг на друга и молчим. Не о чем больше разговаривать. Передернул он плечами, говорит: "Холодно".

Вдруг я слышу — сзади опять дверь щелкнула, это уже в третий раз, и влетает... кто бы вы думали... Рыжий! Видно, он упирался, не шел, так ему в коридоре хорошего пинка дали, потому что он влетел, как с дерева в воду нырнул, головой вперед и об пол ррраз! — стул тут на дороге стоял, он стул свалил к дьяволу и сейчас же вскакивает на ноги, подлетает к двери и ну в нее стучать кулаком: "Пустите, пустите!" Да разве дверь прошибешь? Дверь железная, герметически закрывающаяся, в нее бревном бей — она не шелохнется. Вот он раза три так стукнул и сполз, как мешок, на пол. Я к нему подбежал, поднимаю его, а он только головой мотает и ревет, ревет, — не плачет, а вот именно ревет, без слез. Взял я его за плечо.

"Да что с тобой? — говорю. — Опомнись!"

И вдруг чувствую — *она* на меня находит. Как будто на какое-то кратчайшее мгновение у меня перед глазами вздрогнуло и не то что раздвоилось, а как-то отслаиваться начало. Ну да это никак словами не объяснишь. Сам становишься иным, и все вокруг тебя иное, совсем не то, что было секунду назад. А главное — вдруг страшная такая ясность, четкость, резкость во всех предметах. Как будто все вокруг из черной жести вырезано или, еще лучше, будто все, что есть, ты на мгновение увидел при свете молнии. До этого был мрак и после этого мрак, а вот какое-то малейшее мгновение вырывается из этой тьмы, и ты все видишь ярко, точно, резко, а главное — совершенно неподвижно. Так у меня с этого озарения всегда припадок начинается. А сознание-то

ясное, очень ясное, еще, пожалуй, тверже и яснее, чем всегда, и главное — все что-то не так, как следует, но это уж потом понимаешь, потом, а сейчас только стоишь неподвижно и видишь все в каком-то новом освещении — жестком, пронизывающем насквозь, беспощадном.

”Ах, — думаю, — упаду! Сейчас упаду!”

И вот чувствую, как меня изнутри ломает и выгибать начинает... и голову, голову назад закинуть хочется, даже не то что ломает, а просто хочется и надо закинуть, выгнуться как-то, ровно от сильной боли, а боли-то никакой нет. И в то же время все чувства отлетают — ни страха, ни желаний, ничего. Только стоишь, смотришь и ждешь, что вот-вот волна какая-то обрушится и накроет с головой. Стою я, смотрю на рыжего и чувствую эту волну уже на себе.

”А, — думаю, — так вот оно что! Вот он где, мой конец!” И почему-то мне думается, что, как я упаду, тут меня обязательно о камни и расшибет, потому что все тут камень и железо! Куда ни посмотри, все одно железо и камень!

”Вставай, — говорю рыжему, — что ты расселся! Нехорошо, ведь не маленький!”

А он с полу поднял на меня глаза и спокойно мне эдак говорит:

”Ну вот и смерть наша пришла. Сейчас нас всех удавят”.

Я почему-то даже и не удивился этому, но тот-то, с примятым носом, как закричит — и тоже к двери. Ударился в нее головой, как бабочка в стекло, отскочил да к окну, а от окна снова к двери да снова к окну. Смотрю — поднялся на пальцы, лезет, лезет по стене, пыхтит, все хочет рукой до стекла дотянуться. Да куда там! Решетка в два пальца толщиной! Он как-то руку боком просунул, ободрал ее, да так и завяз и повис. Я спрашиваю рыжего:

”То есть как удавят? Чем удавят? Да и зачем нас давить?”

А он с пола на меня смотрит и говорит, опять-таки совершенно спокойно:

”А как собак газом удавили, так и нас удавят. Сначала на собаках пробуют, а потом на людях, на неполноценных”.

Смотрю я на него и чувствую, как будто мне к лицу мокрая паутина пристала или кто легонько холодной рукой провел по щекам вверх и вниз, и напрягается, напрягается тело, растет и все назад, назад подается. И уж я на себя, как во сне, со стороны смотрю и себя словно во весь рост вижу. То есть опять-таки не то что вижу буквально, а как-то чувствую или думаю, что вижу себя, как в зеркале, с ног до головы. Никак я этого объяснить не смогу.

А он, рыжий, мне с пола опять:

”При мне уж третью партию пробуют, все психически неполноценных, я думал, что меня не тронут, а оно, видишь, как вышло”.

И с тем усмехнулся! Честное слово, усмехнулся! Тут этот, около окна, опять как закричит. Рука-то у него завязла, он так на ней и повис. И меня в виски как саданет! Ну, расшибусь, думаю, обязательно расшибусь. И вот прямо перед собой вижу мраморный угол стола, ничего больше вокруг не вижу, только его. И опять так ясно, резко, четко вижу, и несет, несет, несет меня прямо на него! И вдруг наступила тишина. Такая тишина! Вот она, думаю! Вот она, моя смерть!

...Очнулся.

Лежу где-то на диване, а тела-то у меня и нет. Так во мне все легко и расслаблено. Рот запекся какой-то противной сладостью. Только одно сознание и сохранилось: что вот я есть, живу, лежу где-то и притом так еще лежу, что голова у меня в яме.

Слышу разговор.

”Пускай, пускай! Это интересный случай, я хочу проследить”.

Другой ему что-то возражает, вроде того, что неудобно, инструкция, пойдут слухи, лучше бы сейчас же сделать инъекцию, и опять первый говорит:

”Вы же видели — припадок, что он знает?”

Открыл глаза, смотрю — около меня тот, которого я хозяином называл. Стоит, за руку меня держит. Увидел, что я очнулся, спрашивает:

”Ну как?”

Я только головой покачал.

Он улыбнулся, наклонился надо мной и говорит:

”Знаете, несчастье случилось, ночью, когда вы были в лаборатории, баллон с газом разорвало. Ну да вы крепкий, выжили”.

Я ему на это ничего не ответил. Опять глаза закрыл. Все тело качается, звенит и как будто улетает куда-то, даже легкая тошнота от этого качания и полета. И так мне на все это наплевать, так мне это легко и безразлично, что ни думать, ни говорить, ни жить не хочется. ”Инъекция! — думаю. — Черт с вами, пусть инъекция!..” Слышу опять:

”Нет, все-таки надо бы...”

”Э, — думаю, — да коли ты! Коли скорее! Коли да уходи, чтоб я голос твой не слышал!”

И вдруг мой хозяин тому эдак резко: ”Оставьте!”.

Потом опять тишина — ушли, значит.

Курт снова вынул из кармана платок и тщательно вытер лицо. Его левая щека теперь безостановочно дергалась.

— Ну что ж, — начал отец и поднялся с кресла, — как же вы?..

Вдруг мать быстро повернулась к окну.

Гулко и повелительно раздался в саду автомобильный гудок.

Вошел высокий, статный человек в сером плаще и, не закрывая дверь на террасу, остановился, улыбаясь и смотря на нас. Сзади, в уже сгустившейся, но прозрачной темноте, копошились еще люди, но он

стоял, загораживая им вход и легко переводя глаза с отца на мать и с матери на меня. При этом он улыбался сдержанно, тонко, как будто чего-то выжидая и спрашивая.

— Боже мой! — сказала мать с почти религиозным ужасом и пошла на него, простирая руки.

Я быстро взглянул на нее — лицо у матери было вытянувшееся, не выражающее ничего, кроме одного безграничного удивления и если радости, то радости смутной, невыявившейся и только готовой вот-вот прорваться. Приезд дяди как будто придавил ее своей неожиданностью и значимостью.

Я посмотрел на отца. Он сидел, глубоко уйдя в кресло, глупо полуоткрыв рот, и смотрел на вошедшего растерянно и беспокойно.

Я повернулся к Курту. Курта уже не было.

— Ну, ну, Берта! — сказал вошедший, простирая руки, и тут мать бросилась к нему.

Он схватил ее за виски и мгновение неподвижно смотрел ей в лицо. Потом привлек к себе и звучно поцеловал в обе щеки. Затем отодвинул от себя ее голову, посмотрел и сказал:

— Нет, нет, совсем изменилась.

И еще раз поцеловал — в самые губы.

— Господи, Господи! — говорила мать, и голос у нее был как у человека, подавленного неожиданным и незаслуженным счастьем. — Дай хотя бы посмотреть на тебя... Нет, тот... тот, прежний... Постарел только немного... Вон серебряные нитки в волосах, тут морщинки... А так все такой же... Но когда же ты приехал?.. Ведь мы ждали тебя еще неделю тому назад... А ты...

— Ну как же, — сказал дядя, — я ведь в письме писал, когда!

Он улыбнулся, теперь уже счастливо, ясно и широко.

— Господи, Господи! — повторяла мать, не отрываясь от его красивого, чисто выбритого и бледного лица. Казалось, что она все еще не может опомниться

от радости. — Ты бы хоть известил ”молнией”, ведь и комната-то для тебя еще...

— Да что комната! — отмахнулся дядя. — Мое дело солдатское, я, знаешь... Но подожди, я еще с профессором не поздоровался.

Он отодвинул мать, и тут я каким-то верхним чутьем понял, что она нарочно удерживала дядю, чтобы дать опомниться и собраться с мыслями отцу.

— Да, да, как же, как же! Леон! Леон! — в ее голосе явно прозвучали нотки беспокойства.

Она бегло, но пристально взглянула на отца, и он уже вставал с кресла, нелепо растопырив руки, и шел к дяде. Дядя смотрел на него своими очень ясными, рысьими глазами.

— Профессор! — сказал он наконец негромко, каким-то надорванным, шедшим из самой глубины, голосом. Потом шагнул и остановился, выжида.

— Ну, ну, голубчик! — сказал отец, подходя и тряся протунутую руку. — Ну, ну, здравствуйте, здравствуйте!

Они неловко обнялись, и дядя поцеловал отца в лысину.

— Сколько лет прошло, а вы все еще такой же красавец, — сказал отец.

— А все-таки он постарел! — сказала мать, глядя дядю по плечу. — Сколько тебе лет, Фридрих? Уже больше сорока пяти?

— Ну, постарел, — улыбнулся отец, все еще не выпуская дядю. — Нисколько он не постарел, такой же, как и был. Вот я так, верно, стал уже старым псом... Ведь как-никак, а мне уже шестьдесят стукнуло.

Дядя смотрел на него, улыбался и молчал.

— Господи, — вдруг всполошилась мать, — ты ведь еще и племянника не видел! Ганс, Ганс! — обратилась она ко мне.

Но тут дядя широко шагнул, схватил меня легко на руки, подбросил еще и, держа перед собой (какой он был сильный: он держал меня на весу, и руки его даже не дрожали!), сказал:

— Ого, какой кавалер! Сколько же ему лет, Берта?

— Двенадцать исполнилось, — гордо ответила мать, глядя на нас с некоторым беспокойством.

— Кавалер, кавалер! — повторил дядя. — Ну, давай знакомиться. — И он крепко и, как мне показалось, искренне расцеловал меня в обе щеки. — Берта, а он, наверное, не знает меня, — повернулся он к матери. — А? Ведь не знает?

— Ну, что ты, Фридрих, — обиделась мать, — родного дядю — и вдруг не...

— А все-таки и не знает! — весело решил дядя. — Не знаешь ведь, кавалер, правда?

Я молчал.

— Ну, конечно, правда. Так вот, разреши тогда представиться: твой родной и законный дядя, то есть брат твоей матери, Фридрих Курцер, которого ты обязан любить! Запомнишь это, малыш?

— Запомню, — сказал я, и мне почему-то стало очень смешно.

— О, молодец, люблю сговорчивых людей! — похвалил меня дядя. — Я тоже, хотя и не знал твердо о твоём существовании, но... — он быстро взглянул на мать, — но тем не менее привез тебе кое-что интересное. Ну, теперь это там, в автомобиле, а завтра... Да! — обернулся он к матери. — Надо распорядиться с моими вещами, я с собой взял только самое необходимое — два чемодана и одного слугу, больше ничего и никого со мной нет.

— А охрана? — неожиданно спросил отец.

— Охрана чего? — не понял дядя и опустил меня на пол. — Про какую вы охрану говорите?

— Ну, ваша, личная охрана, — улыбнулся отец.

— А, вы вон про что! — наконец раскусил дядя. — Ну нет, вы меня, наверное, не за того принимаете. Я только солдат, и никакой охраны со мной нет.

— Ну! — обиженно вскинулся отец, готовясь, очевидно, протестовать против ложной скромности дяди. — Я же отлично знаю...

— Марта, Марта! — закричала в это время мать. — Ведь тебе, наверное, надо умыться с дороги? Леон, что ты говоришь глупости, — быстро обернулась она к отцу, — какая еще охрана? Что, Фридрих на фронт, что ли, приехал?

— Именно! — весело воскликнул дядя. — Умница, Берта! Никакой охраны! Два чемодана, игрушка племяннику да старый попугай камердинер — вот и весь мой багаж!

Отец раскрыл было рот.

— Марта, Марта! — снова закричала мать. — Да где же она, Господи!

Но Марта уже стояла у порога комнаты, улыбаясь сдержанно и радушно.

— Все приготовлено, — сказала она почтительно и важно.

— Можно уже вносить вещи... — заторопилась мать. — Да, опять забываю, что ты еще не умылся с дороги, ей-Богу, совсем потеряла голову. Идем же, идем же в комнату. Господи, куда же Курт девался? Курт! Курт!

— Слушай, да ты не беспокойся, не беспокойся, Берта, у меня же есть человек! Он все сделает... Не трогай же своего Курта!

— А, — поморщилась мать, — как же так? Только что он был тут...

— Вы его лучше, верно, не трогайте, сударыня, — сказала Марта, — толку из него все равно не получится. Он лежит на клумбе, у него опять припадок.

— Эпилептик? — спросил дядя, проходя за матерью.

— Нет, просто слабое сердце, — ответила мать. — Но скажи же мне, пожалуйста, когда же ты...

Через открытую дверь вошел шофер, таща два огромных чемодана, и за ним камердинер дяди в черном пальто и какой-то очень фасонной, но не совсем новой, мягкой, островерхой шляпе. Он нес большую коробку, завернутую в серую бумагу. Но зря, совершенно зря дядя называл его старым попугаем.

Никак на попугая он не походил. Наоборот, это был еще очень крепкий, жилистый мужчина, лет сорока пяти, с великолепными ибсеновскими бакенбардами и очень неподвижным, холеным лицом. Войдя, он поклонился сначала отцу, потом матери и наконец мне. Но на Марту, стоящую около двери, он даже и не взглянул и прошел мимо, важно пронося в комнаты свой тонкий, одеревеневший корпус.

Когда все ушли, отец снова сел в кресло и стал поправлять фитиль у лампы.

— Да! — сказал он, во что-то вдумываясь. — Да, вот оно, это самое!

На открытой книге лежала ночная бабочка с острыми, блестящими крыльями. Отец осторожно поднял ее и положил на ладонь. Бабочка была уже мертва.

— Ну вот и началась новая, счастливая жизнь, — сказал отец, задумчиво рассматривая эту бабочку, и вздохнул. — Новая... Счастливая...

Глава девятая

На другой день Курт с утра зашел за мной, и мы пошли в сад ловить щеглов. Тут надо оговориться. Я все время пишу "сад". Но это, конечно, не так. Не сад это был, а парк, и парк обширный, со множеством аллей, двумя прудами — большим и малым, — лужайками и даже несколькими небольшими рошицами. Принадлежал этот парк раньше отцу моей матери, владельцу крупной цветоческой фирмы, снабжающей всю страну семенами экзотов, парниковой рассадой и живыми пальмами в зеленых кадках.

Мой дед раньше сам был садовником, полжизни работал в людях, и за садом ходил сам, допуская к себе как печальную необходимость только помощников — двух-трех учеников Высшей школы цветоводства, организованной им самим в самый год основания фирмы. Вот в ту пору у него и работал Курт.

Парк тогда был совсем не то, что сейчас. Говорят, он напоминал гигантскую россыпь драгоценных камней, ибо в нем росли цветы, собранные со всех пяти частей света, и цветы, которые никогда не росли ни в одной из этих пяти частей. Я видел потом фотографии этих уродцев, необычайных по своей красоте, хилой хрупкости и нежизнеспособности, эдаких чудесных пришельцев с чужой планеты, лишь случайно попавших на нашу землю. Зона их распространения ограничивалась одной большой оранжереей, где они жили в искусственной атмосфере, при искусственном свете, на какой-то искусственной, чуть ли не синтетической почве, созданной тоже моим дедом.

Мне до сих пор, к слову, не совсем понятно, как он, эдакий грубоватый, кряжистый, наполненный звонкой кровью мужик, хотя и богатый, мог любить эту красивую дегенеративную жизнь, гибнущую от первого неосторожного прикосновения. Но он ее любил, выращивал и строил ей обширные, дорогие оранжереи, где, кажется, только вода и не была искусственной.

Вот к одной из этих оранжерей, находящихся в самой глуши, в конце сада, и повел меня Курт. И опять нужно оговориться — собственно говоря, никакой оранжереи здесь уже не было, она сгорела лет пять тому назад. Теперь на ее месте, между рыхлых, замшелых кирпичей, осколков стекла, ставших мутными и радужными от времени и постоянной сырости, и черной, обгорелой проволоки — над всем этим запустением буйствовала пышная сорная растительность. С весны здесь поднимались вверх и вширь гигантские, почти черные сверху, нежно-серебристые снизу, лопухи, с лиловыми черенками, такие мощные, что казалось, их не возьмет даже коса. Они поднимались после первых же дождей и к началу лета стояли сплошной, непроходимой зарослью, совершенно скрывая от глаз развалины оранжереи. Росла здесь еще сердитая, тоже почти совершенно черная крапива, с острыми листьями и желтыми нежными

сережками; вереск, издали похожий на канделябры, со всех сторон усаженные разноцветными крохотными свечками, кое-где польхал еще несокрушимый грубый татарник с ненатурально красивыми листьями, точно вырезанными из железа, и пушистыми алыми цветами, конский щавель, чертополох и еще какие-то травы, такие же буйные, мощные, цепкие и несокрушимые. Мелкая трава росла только на самом краю полянки, здесь же она заглушалась совершенно. Чтобы пробиться через эту заросль, надо было захватить с собой хорошую палку. Раньше мы бегали еще сюда играть в индейцев. В середине бурьяна, где сохранилось углубление, выложенное кирпичами, и весной стояла жидкая зеленая тина, был выстроен наш вигвам.

Почему никто не догадался выкосить этот бурьян, убрать кирпичи и перегоревшее железо, заровнять уродливую ямину, наполненную мелким стеклом и наполовину заполненную тиной? Бог его знает, почему. Вернее всего потому, что никому она не мешала. К тому же сад был велик, для клумб места хватало, а новую оранжерею никто строить не собирался.

Вот сюда-то и привел меня Курт.

Он принес с собой какое-то нехитрое сооружение из серого холста, дерева и тонкого шпагата и раскинул все это на земле. В таком виде это напоминало что-то вроде игрушечной качели или гамака.

Он не торопясь расставил ее в заранее выбранном месте, проверил быстроту и точность действия своей снасти — она работала безотказно, — потом вынул из кармана радужный мешочек, набрал полную горсть конопляного семени и бросил на холст.

— Ну вот, — сказал он, с удовлетворением оглядывая раскинутую снасть, — теперь идем спрячемся.

Он провел меня через заранее проложенную дорожку в ямину, где на уцелевшей кладке кирпича стояла большая белая клетка, видимо, только что сделанная из свежих ивовых прутьев.

— Дворец готов, — сказал он, подмигивая мне на эту клетку, — стол накрыт, — в клетке было насыпано конопляное семя, — вино разлито, — в двух белых фарфоровых розетках блестела вода, — будем ждать гостей.

А гостей на репейнике было, точно, много.

Со всех сторон на нем копошились десятки и сотни щеглов. Господи, сколько их тут было!

Одни сидели, раскачиваясь, на самой вершине его, и долбили жесткие, колючие головки так, что из них летел пух; другие лазили по стеблю, перепрыгивая с ветки на ветку и что-то озабоченно лопоча, третьи в самых разных положениях, чуть ли не вверх ногами даже, сидели на стебле и попискивали, а кое-кто, из наиболее сытых, наверное, просто копошился на земле, у конца бурьяна, там, где уже начиналась мягкая трава. Все это пело, чирикало, бормотало, перебивая и не слушая друг друга.

Были тут еще какие-то птицы, небольшие, серенькие, но они держались поодаль и либо тоже что-то искали на земле, либо чистились, распутив веером крыло. Две важные и жирные коноплянки неподвижно сидели на тонкой дикой вишне и, не вмешиваясь, смотрели на этот содом. Я-то хорошо знал, что эти толстухи имеют куда лучшие корма и на репейное семя их не затянешь. На минуту откуда-то слетела довольно большая серая птица с загнутым клювом и недобрými ясными глазами, прошлась по траве туда-сюда, посмотрела на снасть, снялась и улетела.

— Тц! — прищелкнул языком Курт и покачал головой. — Сорокопут! И что его принесло сюда? Вот бы!.. Да нет, разве на него такую снасть нужно!

Щеглы ругались, чирикали, долбили репейник и никакого внимания на снасть Курта не обращали. Ровно никакого внимания! Как будто не для них было насыпано жирное, лоснящееся семя, не для них настроили эти качалки, захлопывающиеся от легкого прикосновения к бечевке.

Я посмотрел на Курта. Он сидел на развалинах стены и раскуривал трубку. На свою снасть он даже и не смотрел.

— Табак! — сказал он с осуждением, качая головой. — Разве это табак... Да и мокрый еще... Разве — пых-пых! — такой — пых-пых! — закуришь.

— Щеглы-то! — сказал я, показывая на репейник.

— Что щеглы? — спросил он, не поднимая головы и не отрываясь от трубки. Он разжег ее наконец и глубоко втянул дым.

— Щеглы, — сказал он рассудительно, — самая, можно сказать, глупая птица... Вот смотрите, сколько их сейчас налетит.

Я посмотрел на него и вспомнил вчерашний разговор.

— Вы так и не сказали: отчего у вас щека стала дергаться?

Он почесал щеку и раздумчиво посмотрел на меня.

— Щека? — спросил он медленно и спокойно. — Щека у меня такая от рождения, с пяти лет, кажется. Испугался я чего-то, что ли, или нянька уронила, уж не знаю.

— А вы... — начал я и понял, что продолжать не следует.

Курт все чесал лицо.

— Да, щека! — повторил он тем же тоном, делая вид, что не понимает, или в самом деле не понимая, что я хочу сказать. — А щеглы слетят! Это вот они еще не заметили, а заметят — так сразу налетят. Щеглы — это дурачье, их просто можно решето ловить, и силка никакого не надо. Щека! — вспомнил он вдруг. — Щека что! Вот нога-то болит, это нехорошо.

— А что с ногой у вас? — спросил я, успокоенный его тоном спокойного и серьезного презрения к глупой и неосновательной птице, для которой и решето тоже подходящая снасть. — Сильно болит?

— Мочи иногда нет, как болит! — сказал он негромко и серьезно, как взрослому и понимающему

собеседнику, посмотрел мне прямо в глаза. — Вот то-то и нехорошо, что нога болит. Не ко времени это.

— Почему? — спросил я.

— Почему болит-то? — Он мотнул головой. — Это долго рассказывать, да и не поймете вы. Как-нибудь потом уж.

— Нет, почему не ко времени?

— Ах, почему не ко времени? — Он вдруг косо улыбнулся, и щека у него дернулась. — Да время теперь пошло веселое, только успевай пошевеливаться, а не успеешь, так и сам не заметишь, как голова отлетит... Не гуманное время! — сказал он вдруг зло и насмешливо. Потом провел рукой по лицу и повторил: — Да, щека!..

Большой, красивый щегол с лоснящимися перьями вдруг перестал долбить, задорно чирикнул что-то и слетел на край западни. Повертелся, посмотрел вовнутрь, но клевать не стал, а снялся и перелетел на прежнее место.

— Ну, сейчас! — сказал Курт и быстро, по-кошачьи соскользнул со стены. — Сейчас всей компанией...

И верно — через минуту не один уже, а целых три щегла, до того мирно попискивавшие на кустах чертополоха и даже ни разу не посмотревшие на западню, с разных сторон сели на ее края.

Я схватил Курта за ногу. Он стоял на гряде щебня на коленях и, приподнявшись, внимательно смотрел на происходящее.

— Сейчас, сейчас! — сказал он. — Сейчас все они будут здесь... Эх, конопляного семени не видели! Говорю, неосновательная птица!

Щеглы повертелись, повертелись, о чем-то взволнованно, второпях поговорили между собой, и один из них стремительно (все, что делают эти птицы, они делают стремительно) прыгнул в глубь силка.

— Вот, пожалуйста! — сказал Курт с неодобрением. — Даже лесная канарейка, уж на что глупа, а и то ее так не поймашь, а эти...

Их было уже штук пять, и все они быстро, ожесточенно клевали конопляное семя.

— Ну что же вы, что же вы? — дергал я Курта. — Они же сейчас снимутся и улетят!

— Улетят! — Курт презирал их все больше и больше. — Никуда они улететь не могут, не такая это птица, чтоб она... — Он приподнялся на коленях, всматриваясь в то, что там происходит, а там уже шла настоящая драка. — Чтоб она... Вот сейчас еще подерутся немного, погодите...

Весь дрожа от возбуждения и вцепившись в ногу Курта, я смотрел на силок, и мне казалось, что Курт пропустит нужное мгновение, щеглы снимутся и улетят.

— Ну! — И он сильно потянул бечевку.

Станок дернулся, и сейчас же серый холст закрыл взлетевших было птиц.

— Есть! — отрывисто сказал Курт и быстро встал. — Давайте клетку, живо!

Он подбежал к западне и стал вынимать птиц. Они пищали в его кулаке, злобно клевали его круглые, мутные ногти, а он бросал их в дверку клетки и говорил:

— Раз, два... Ишь какой злой, какой злой, дьявол, так и норовит ухватить за палец... Да на! На! Хватай! — он подставил ноготь. — Три, четыре... Лети! Вот тут, в кормушке семени сколько хочешь... Пять. Э, это добрый щегол, добрый! Вот этот петь будет... Шесть...

Всех щеглов оказалось двенадцать штук. Он поймал последнего и бросил его в клетку. В это время зашуршал репейник и уже очень знакомый голос сказал:

— А, вот он где, с клеткой даже! Ну и охотник!

...Теперь я мог разглядеть его как следует.

Дядя был в белом костюме, очень легком, простом и, очевидно, очень дорогом, — не сразу даже можно было понять, из какого материала он сшит, — в легких желтых туфлях и светло-кремовой шелко-

вой сетке, под которую были заправлены его мягкие, недлинные волосы. В руках у него была простая белая трость с тяжелым серебряным набалдашником. Таким — белым, легким, сверкающим — он вышел из кустов и встал на черно-зеленом фоне крапивы и чертополоха. Таким я вижу его и сейчас перед собой.

При первых же звуках его голоса, еще раньше, чем он появился, Курт вобрал голову в плечи и юркнул в развалины оранжереи, причем сделал это так быстро, что я даже не успел удивиться.

Дядя подошел и поднял клетку.

Щеглы неистово бились и клевали прутья клетки. Некоторые из них, как дятлы, даже висели на ее стенках. Когда дядя взялся за клетку рукой, тот же злой и солидный щегол с раздражением ущепнул его за палец, и сейчас же дядя подставил ему свой длинный, полупрозрачный и почти перламутровый ноготь и с удовольствием сказал:

— Ишь ты, какой сердитый!

Он повернул несколько раз клетку — птицы бились и с дурным криком взлетали при каждом толчке — и, держа ее на весу, спросил:

— А кто с тобой был еще?

— Садовник, — ответил я.

— А, садовник, — сказал дядя и поставил клетку. — Это тот, припадочный? А где же он?

Я оглянулся по сторонам. В самом деле, зачем и куда скрылся Курт?

Заглянул в яму — там его не было. Но дядя не повторял вопроса. Очевидно, ему было не внове, что люди бегут и прячутся при его приближении. Он и о садовнике-то спросил только вскользь, никакого дела ему до этого садовника не было, а спросив, сейчас же забыл свой вопрос и заговорил о другом:

— А я тебя искал, искал, весь парк обошел. Потом уж эта ваша горничная... как ее? Ганза, что ли?

— Марта, — сказал я.

— Марта сказала, что ты еще с вечера сговаривался с садовником идти ловить птиц около оранжереи.

— А откуда вы... — начал я и остановился.

— Что я? Откуда я знаю, где находится оранжерея? — улыбнулся дядя. — Да я в эту оранжерею ходил вместе с отцом, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас, тридцать лет тому назад. Тридцать лет! — повторил он, сам удивляясь тому, что с тех пор прошло столько времени. Он поглядел на заросли крапивы и бурые кирпичи. — Это и все, что от нее осталось. Бедная старушка! Что с ней стало?

— Сгорела, — сказал я.

— Да, все переменялось, все переменялось, и пруд заглох, и липовые аллеи уже не те, и дом уже не прежний, и клумб с цветами нет, и все не то, не то, и дом даже не тот. — Он говорил, не переставая улыбаться, но слова-то были серьезные, и обращался он ко мне как к взрослому, который может понять его печаль и если не разделить, то хоть посочувствовать ей.

— Дом все время был такой, другого я не помню, — сказал я.

— Ну, где же тебе помнить! — усмехнулся дядя. — Тебя и на свете тогда не было, когда старый разрушили. Ну ладно, потом мы с тобой походим, посмотрим, где, что и как... А теперь идем домой. Ты забыл, что я тебе подарок привез?

— А с клеткой как же? — спросил я; мне стало неудобно, когда он заговорил со мной о подарке.

— А что с клеткой? Клетку оставь тут, я сейчас пришло за ней, да не бойся, никто ничего с ней не сделает, все твои щеглы будут целы, ручаюсь.

Он взял меня за руку, и мы пошли по саду, но сейчас же остановились. Около клумбы, на большом мраморном пьедестале, стояла одна из скульптур из галереи моего отца.

Массивная, приземистая, сутулая от той огромной силы, которую она выражала, фигура эта представляла таинственное существо, одинаково близкое

и к человеку и к зверю, с высоким человеческим лбом и тяжелой, срезанной у подбородка обезьяньей челюстью. В руках этого существа была зажата дубина, не та бутафорская, похожая на восклицательный знак палка, которая рисуется в старых изданиях "Айвенго" или "Робинзона Крузо", а настоящая, выломанная в лесу, кривая и грубая коряга с торчащими в разные стороны корнями и содранной корой. Оно скалило зубы, и на лице его, грубом и угловатом, как у всякой обезьяны, было множество складок и морщин. Нечеловечески подвижное лицо было у этого свирепого чудовища. Но разрез глаз был прямой, широкий, и поэтому глаза казались скорбными, человеческими, а высокий, выпуклый лоб и совсем не подходил к гориллей гримасе нижней части лица.

Это была статуя таинственного пильтдаунского человека, в существовании которого отец, как и большинство ученых, сомневался и которого поэтому не ввел в свою коллекцию антропологов.

Дядя долго и внимательно смотрел на чудовище, и я никак не мог понять выражения его лица.

— Да, — сказал он наконец, — ведь вот же существует эта помесь обезьяны с человеком, и никто ничего не говорит, а когда я хотел... — Он не договорил и снова взял меня за руку. — Ну, ладно уж, идем. Что ж поделать, оно, пожалуй, и лучше, что вышло так. Ученым сейчас быть... Ой, нехорошо быть сейчас ученым! Таким ученым, как твой отец, особенно.

Подарок моего дяди был разложен на двух креслах.

Сознаюсь, что, увидев его, я просто обомлел от восторга.

Во-первых, это были блестящие рыцарские доспехи, во-вторых, шлем с массивными бычьими рогами и, в-третьих, пистолет "монтекристо" в роскошном кожаном футляре. Около него лежала коробка с патронами. Разве мог я от кого-нибудь ожидать такой

подарок! Верно, отец мне постоянно покупал то книги с раскрашенными картинками, то умных заводных жуков, которые ползали по столу и, дойдя до самого края, послушно поворачивали обратно. Один раз он привез мне даже целую железную дорогу с двумя паровозами, разноцветным составом поездов, семафорами и станцией, но все это было не то, не то и не то! Пока я, окаменев от восхищения, смотрел на это богатство, дядя снял доспехи со стула и стал их надевать на меня. Шлем с рогами был немного велик, но дядя подложил под него свернутый кусок бумаги, и он стал как раз.

— Вот, — сказал он, отходя в сторону, чтоб лучше разглядеть меня.

Я сверкал, как рыба, только что вытщенная из воды.

— Настоящий Арминий в Тевтобургском лесу! Иди покажись маме.

На лестнице меня встретил отец. Он осмотрел меня с ног до головы, сказал: "Хорошо, очень хорошо", — и за руку потащил к матери.

Мать сидела около зеркала и, надев на руку чулок, штопала его пятку. Услышав бряцание моих доспехов, — отец потащил меня за руку, и я звенел, как гремучая змея, — она подняла голову и всплеснула руками.

— Боже мой! — сказала она восхищенно. — Неужели это тебе все привез дядя?!

Отец сорвал с меня шлем и бросил его в угол.

— Тебя это восхищает? — спросил он свирепо.

Я робко посмотрел на суровое его лицо, дрожащую нижнюю челюсть — признак самого страшного гнева — и захныкал. Он толкнул меня, тогда я нарочно упал на пол и заревел уже во все горло.

Мать бросила чулок и подошла к отцу.

— Что это, Леон? — сказала она с неудовольствием. — Ведь мы с тобой, кажется, договорились обо

всем? Ребенок совсем не должен знать твоих настроений. Такой чудный подарок — и вдруг ты...

— А? Чудный?! — закричал отец в полной ярости. — Посмотри, посмотри хорошенько, — ты найдешь на нем свастику! И вот, заявляю тебе, я не позволю...

— Да тише, тише, ради Бога! — сказала мать, страдальчески морщась, и дотронулась пальцем до виска. — Господи, как ты кричишь! Там же есть люди!

— Так пусть они слышат и знают, что я им не позволю уродовать моего сына! Выбросить, немедленно выбросить, — приказал он, — все это барахло! А ты... — он потянул меня за руку, — ты вставай! Ишь Арминий из Тевтобургского леса. Еще мал, чтобы носить эти разбойничьи бляхи с пауками. Вот закроешь мне глаза, и тогда...

— Господи! — сказала мать, глядя меня по голове, — я ревел, уткнувшись ей в колени. — Ну, скажи, что может понимать ребенок? Да и я-то толком ничего не понимаю. Ну, шлем, ну, рыцарские доспехи...

— Рыцарские доспехи! — зло ухмыльнулся он. — Да, доспехи рыцаря с большой дороги.

— Леон... — начала мать.

— Берта! — вдруг взмолился отец голосом мягким и дрожащим от обузданной ярости. — Берта, ты же все-таки жена историка, уж не показывай так явно-то, явно-то свое азбучное невежество! Это одежда древнетевтонских воинов времен Тацита. Теперь в нацистской Германии, где воскресили культ языческого бога Тора, их дурачки пляшут вокруг его рогатого идола. И вот эта идиотская жестянка с коровьими рогами, — он злобно щелкнул по шлему, — их священная эмблема. И знаешь, что я тебе скажу. Пусть наша религия как угодно плоха, но я никогда не променяю Христа на Тора. И если ты не хочешь скандала, большого скандала...

— Нет, не хочу, — сказала мать, — никак не хочу! И ты его тоже не хочешь... Ганс, иди-ка, голубчик,

погуляй по саду. Сними эти доспехи, сейчас и без того жарко... — Она провела рукой по моему лбу. — Вон как ты вспотел!

— Вот, вот, внушай, внушай ему, что дело только в погоде! Ни при какой погоде, — закричал он, тараща глаза, и борода у него затряслась, — ни при жаре, ни при дожде ты не наденешь этого кровельного железа — и марш!.. Что ты делал?

— Ловил с Куртом щеглов, — сказал я, глядя на мать и выбирая удобную минуту, чтобы опять заплакать.

— И марш с Куртом ловить щеглов!

Мать сняла мои доспехи, аккуратно положила их на стул и поцеловала меня в макушку.

— Приходи потом в столовую, — шепнула она мне, — я тебе что-то дам. Но только не сейчас, а попозже. Ладно?

Я побежал отыскивать Курта. На пустыре его не было. Я пробежал мимо клумб — везде были следы его недавнего пребывания; здесь горшки с цветами стояли прямо на земле, там клумба была разрыта, кое-где приготовлены лунки, а около стены стояли садовые грабли и подле них лейка, полная воды.

— Курт, Курт! — позвал я.

Мне никто не откликнулся.

Я побежал на кухню. Тонкий голубой воздух стоял над плитой. Марта, разомлевшая, сердитая, иссиня-красная, как отварная свекла, наклонившись над плитой, колдовала над кастрюлями.

Около нее стоял камердинер дяди и что-то говорил.

Я прислушался.

— Затем все это мелко рубится, поливается уксусом, посыпается настоящим кайенским перцем, — еще по вкусу можно сюда добавить корицы, и, пожалуй, немного ванили, — и ставится в формах на лед.

Он говорил медленно, солидно и напоминал мне отца, объясняющего своим студентам особенности какого-нибудь доисторического черепа.

— Когда так при температуре ноль по Цельсию он простоит не менее восьми часов... — говорил камердинер.

— Нет, пригорит, обязательно пригорит! — вдруг сокрушенно воскликнула Марта. — Разве на таких дровах что-нибудь сварить? — Она злобно поглядела на камердинера. — Ну, а шуку по-еврейски вы вашему барину готовите? — спросила она с вежливой ненавистью.

Я побежал дальше.

Не было Курта и в его комнате. На столе стояла клетка со щеглами, и двое наиболее отчаянных, еще попискивая, взлетали, ударяясь о крышку клетки, неуклюже трепеща крыльями, и злобно бились о прутья; другие, уже смирившись, клевали коноплю или, нахохлившись, сидели на жердочках. Некоторые спали.

”Да куда же мог он деваться?” — подумал я в отчаянии.

И только в середине парка, на полянке, образованной небольшой липовой рощицей, я увидел Курта. Он быстро ходил взад и вперед, что-то бормоча себе под нос.

Не знаю, почему я остановился и не побежал к нему. Полянка была не очень большая, и он ходил по ней крупными, размеренными шагами — десять шагов туда, десять шагов обратно, — и когда, поворачиваясь, он обернулся ко мне лицом, я даже не сразу узнал его — до того чем-то очень тонким, почти неуловимым, но сразу изменившим его, он не походил на того веселого, развязного цыгана, который сегодня со мной ловил щеглов. Выражение большой сосредоточенности и углубленности во что-то понятное ему одному и дотоле тщательно скрываемое от всех лежало на его лице, и в то же время лицо его было бледно, устало, даже помято как-то, и большие

черные глаза (я только сейчас разглядел, что они большие и черные) смотрели прямо перед собой. Он прошел еще раз, теперь уже быстро, почти бегом. Потом шаг его стал замедляться, замедляться. Он остановился, поднял руку ко рту, погрыз ноготь, потом глубоко вздохнул и сел на ствол срубленного дерева. Оно лежало здесь уже давно, лет пять, наверное, наполовину уже истлело, и в нем находилось несколько гнезд черных ядовитых муравьев. Курт взглянул себе под ноги и рассеянно постучал по коре. Оттуда сейчас же выскочил целый полк этих насекомых и засновал по дереву. Тогда он отодвинулся немного, несколькими быстрыми, сильными ударами отряхнул колени и сейчас же забыл о муравьях.

Так, отрешенный от всего, подперев рукой голову, он просидел несколько минут неподвижно.

— Да, — сказал он, словно решив про себя какой-то важный и сложный вопрос. — Да, так, — и раздумчиво покачал головой.

Потом полез в сапог, вынул длинный, тонкий нож, которым обыкновенно охотники прикалывают добычу, и стал застрругивать какую-то палочку. Отложил одну, взялся за другую, застругал и ее и вдруг случайно посмотрел на свою руку.

В руке был нож.

Он поднял его и снова опустил, как будто нанося удар. При этом лицо его было неподвижно, а губы шевелились.

Я смотрел на него из кустов, не узнавая.

Да! Да! Это, несомненно, был какой-то новый, совершенно незнакомый мне человек. Все повседневное, мелкое сошло с его лица, хотя в нем ничто не изменилось. Но так, например, неуловимо и существенно меняется лицо покойника или человека, воочию увидевшего смерть.

— Да! — повторил он громко, отвечая каким-то своим мыслям. — И стихи, а также и стихи.

И вот, глядя неподвижно и зорко в чашу, он вдруг проговорил:

Я б хотел, чтобы враг тебя бил до конца,
Чтоб он не жалел ни гранат, ни свинца,
Ни зарядов, ни пуль, ни железа, ни мин,
Чтоб ревел в его танках веселый бензин,
Чтоб блуждал ты, как зверь, по дорогам глухим
И вдыхал, словно суслик, отравленный дым,
Чтобы твой же солдат, беспощаден и дик,
Насадил бы тебя на затупленный штык,
Чтобы, узкий твой череп о камни дробя,
Твой же танк, как змею, переехал тебя,
Чтоб тебя, наш незваный, негаданный гость,
Вбили в землю, как в стену вбивается гвоздь.
О, тобою одним опозорен наш век!
Стыдно мне, больно мне, что и я человек,
Что есть камень, железо, дубина и нож —
И по-прежнему ты неведимым живешь.

Тут он поднял голову и увидел меня. Какое-то кратчайшее время, может быть, доли секунды, мы смотрели неподвижно друг на друга. Потом, не торопясь, он встал с дерева, спрятал нож в карман, оглянулся, увидел на земле, около своих ног, заостренные палочки, поднял их и пошел ко мне. Лицо его уже оживилось мелкими, ласковыми морщинками, глаза потухли, стали ближе, обыденнее, в них не было того огромного пытливого напряжения, которое бывает у человека, смотрящего в темноту, и которое я только что подметил у него. И все-таки и сейчас лицо его не было вполне обыденным.

— Ну, — сказал он, — рассказывайте: что же привез вам дядя?

Глава десятая

Отец и дядя сидели друг против друга и разговаривали.

Был конец дня, за окном, между вершинами деревьев, сгущались летние прозрачные сумерки.

Отец курил трубку, дядя ломал папиросную коробку и складывал ее в пепельницу.

— И вот наконец эта история с Гансом, — говорил дядя. — Ну, сознаюсь, тут уж я ничего не понимаю, абсолютно ничего не понимаю. Вы ни за что ни про что набрасываетесь на ребенка, отнимаете у него мой подарок, бьете его, толкаете так, что он растягивается на полу, — и все это только потому, что это монтекристо сделано в Германии.

Отец курил.

Дядя посмотрел на него и слегка пожал одним плечом.

— Ну, конечно, мое дело тут сторона. "Под моим плащом я убиваю короля", — говорил Дон Кихот Ламанчский. В вашем доме хозяин вы, а я у вас только в гостях, и, как это говорят англичане: "Мой дом — моя крепость".

Отец вдруг поднял на него глаза.

— Поэтому вы и обращаетесь с каждым нашим домом как с завоеванной крепостью, не так ли? Вот вы и подарили Гансу боевой тевтонский шлем со знаком вашего бога огня. Ведь огня, кажется? Я не силен в языческих культах...

Дядя доломал остаток коробки и пирамидкой сложил ее в пепельцу — на это у него ушло около минуты.

— Вот откуда все пошло! — догадался он. — Вам, значит, не нравится свастика?

— Очень не нравится! — серьезно согласился с ним отец. — И вы знаете это, Фридрих!

— Я? Знаю? — как будто даже несколько удивился дядя.

— Вы настолько это хорошо знаете, что именно об этом и пришли со мной говорить!

— Да? — спросил дядя и пристально посмотрел на отца.

— Конечно, да, Фридрих, — ответил отец.

Потом очень долго, несколько минут, оба молчали.

Дядя сидел, постукивая пальцами по столу, и о чем-то думал.

— Дайте-ка огня, Фридрих! — вдруг попросил отец.

Дядя вынул зажигалку и молча протянул отцу. Потом встал и зашагал по комнате.

Отец аккуратно выбил трубку, снова набил ее и закурил.

— Ну, — сказал он, затягиваясь, — итак...

Дядя походил, походил по комнате и вдруг решительно остановился перед отцом.

— Вы несколько торопитесь, — сказал он недовольно, — и я не понимаю, почему. Но хорошо, давайте поговорим об этом. Видите, я не начинал этого разговора раньше, потому что отлично понимаю: то, чего мы от вас потребуем, не моментальный перелом, не озарение свыше, а длительный и тяжелый процесс пере... переосознания, — я не знаю, есть ли такое слово, но в данном случае оно хорошо выражает мою мысль, — переосознания всего происходящего, поэтому я вас не тороплю и на немедленном решении не настаиваю. Но подумать, и хорошо подумать, вам все-таки придется. Мир и новая Европа живут сегодня минутой, а вы, извините меня, смотрите на все происходящее с какой-то неолитической точки зрения.

— Нет, даже палеолитической, — хладнокровно поправил отец. — Ведь именно тогда и жили синантропы.

Дядя встал со стула и снова зашагал по комнате.

— Все шуточки, профессор! — сказал он брюзгливо. — Я вижу, что мы с вами вряд ли договоримся, но вот я хочу задать вам один вопрос.

— Пожалуйста, — любезно наклонил голову отец и выпустил изо рта большой клуб дыма.

— Что вас удерживает около них?

Отец молча курил.

— Моя наука, — сказал он коротко. — Моя совесть, — прибавил он, подумав.

— Совесть?! — обидно засмеялся дядя.

— Да, вы знаете, я ведь ее не считаю химерой, как ваш фюрер.

— Ваша совесть, ваша наука! — сказал, будто выругался, дядя. — Ваша наука! Ну, что же она вам дала? Шкаф с коллекцией обезьяньих черепов, мантию какого-то университета и еще что? Да! Подержанный фордовский автомобиль и квартиру с казенными дровами! Это почти за сорок лет беспорочной, я ска- зал бы, солдатской службы! Признайтесь: немного! Мы своим ученым даем гораздо больше.

Отец поднял голову, нижняя челюсть его дрогнула.

— Знаете что? — сказал он. — Давайте не будем касаться науки, моей науки, — подчеркнул он. — Тут мы действительно не сговоримся.

— Хорошо, — согласился сдержанно дядя, — не будем касаться вашей науки. Но дело-то ведь очень простое. Двадцать лет вы боролись против нас...

— Двадцать лет, вы сказали, — перебил его отец, как будто подсчитывая. — Больше, много больше. Я боролся с вами с первых же дней моей сознательной жизни, а мне уже шестьдесят лет.

— Как вы, ей-Богу, любите красивые фразы! — поморщился дядя. — Вот к вам действительно приложимы слова вашего любимого писателя Сенеки: "Мы погибаем от словоблудия". Вы боролись, говорю я, против нас всеми средствами, от благотворительных лекций до организации этого вашего псевдонаучного института. Вы с кучкой ваших сотрудников занимались моральной партизанщиной, называя это наукой. В то время мы не имели физической возможности призвать вас к порядку и сражались наименее эффективным оружием, взятым из вашего же арсенала, — печатным словом. На вашу ругань мы отвечали тоже руганью.

— Вы отвечали клеветой, сударь! — сказал отец и стукнул кулаком по столу. — На серьезные научные доводы вы отвечали фиглярством этого шута городского Кенига!

Дядя прищурившись смотрел на отца.

— Ого! — сказал он с удовлетворением. — Я вижу, вы сердитесь, значит, Кениг вам причинил все-таки серьезное огорчение.

— Вот что, — сказал отец серьезно и поднялся было с кресла. — Вы знаете, я не играю краплеными картами и всякое шулерство мне органически противно. В особенности когда это касается науки. Вы помните, у нас уже был как-то разговор на этот счет.

— Но наука-то, наука-то! — закричал дядя. — Наука-то не существует сама по себе, наука-то тоже чему-то служит. Неужели вам ваши друзья не объяснили даже этого? Если бы дело касалось только обезьяньих черепов, мы дали бы вам играть в них сколько угодно. Верьте моему честному слову, — мы до сих пор не повесили ни одного собирателя марок или нумизмата. Но вы задели нас в самом больном месте — в вопросе происхождения нашей расы, в вопросе крови и чести нации, — и мы этого допустить не можем. Против инсинуаций вашего института и собственно ваших мы боролись — охотно соглашаюсь! — тоже инсинуациями. Мы говорили с вами тогда словами. Теперь, когда мимо вашего института проходят наши войска и ползут наши танки, у нас могут быть и иные доводы. Ведь мы и пришли затем, чтобы положить конец всяким спорам, которые ведутся совершенно бесплодно вот уже в течение семи лет. Теперь мы можем добиться последней ясности во всех вопросах — и, конечно, добьемся ее.

— Вот это другой разговор, — одобрил отец. — Это мне понятно. Так что же вы от меня хотите? Давайте-ка внесем эту необходимую ясность в наши отношения.

— Давайте, — согласился дядя. — И начнем тогда с азов. Вы знаете, что мы стоим на точке зрения принципиального неравенства человека человеку. Мы боремся против вас потому, что вы заразили мир жалостью. В веселое и славное время средневековья, во время господства единого разумного бога из всех бо-

гов, сотворенных человеком, — грубой физической силы, то есть попросту, когда в истории действовал тот же безжалостный и спасительный закон естественного отбора, что и в природе, все было в относительном порядке. Относительном, говорю я, потому что поклонники неполноценных и уродливых тварей существовали все время. К сожалению, жалость к ним пока неотъемлема от человека.

— Вам нравится средневековье? — с интересом спросил отец.

— Ни в коем случае! — энергично покачал головой дядя. — Это пройденный этап, и никогда он не повторится снова.

— Ну конечно, — согласился отец, — тогда были только костер, топор и петля, но явились вы — и оказалось, что для того, чтобы облагодетельствовать человечество, нужны еще удушливые газы.

— Вот что... — Дядя встал и оттолкнул стул, его большие, рысьи глаза потемнели и стали еще глубже. — Вот что, профессор...

— Да, да, — откликнулся отец.

Дядя вынул из кармана портсигар, открыл его, достал длинными, тонкими пальцами папиросу, но курить не стал, только сломал ее и бросил на пол.

— Вот что, профессор, — сказал он наконец, с трудом подбирая слова. — Говорить нам с вами в таком тоне бесполезно. Если вы расположены острить, мне остается только сесть в автомобиль и уехать.

— И тогда разговор со мной dokonчит Гарднер, но без всякой философии и цитат, не так ли? — спросил отец, улыбаясь.

— А вам хотелось бы непременно довести до этого? — Дядя вынул новую папироску и стал шарить по карманам, разыскивая зажигалку. — Я специально и приехал, чтобы не допустить такого исхода.

— По собственной инициативе приехали? — полюбопытствовал отец и протянул ему зажигалку.

Дядя не мигая, в упор посмотрел на отца, потом высек огонь и стал закуривать.

— Мы же с вами все-таки родственники, — сказал он не особенно уверенно.

— Ах, так? — кивнул головой отец. — Ну хорошо, я слушаю дальше.

— Вам все-таки не удастся меня вывести из себя, — сказал дядя. — Все-таки не удастся, хотя, видимо, вам этого очень хочется. Я уйду, только высказав вам все, что должен сказать.

Итак, вы мешаете нам. Мы доказываем своему соотечественнику, что он человек, — дядя жестко чеканил каждую букву, — совершенно особого рода и происхождения, что его раса — высшая, столько же отличная от какого-нибудь польского еврея или славянина, как отлична арабская лошадь от монгольской клячи или горилла от человека, а вы говорите: "Ничего подобного! Ты такой же человек, как и все остальные. Вы произошли от одного предка, одинаково развивались, и ваши прадеды жили в одной пещере, грелись около одного костра, спали с одинаковыми женщинами, и рождались от вас одинаковые дети". Когда наши ученые находят наряду с грубыми осколками кремня и дикого камня, в которых только специалист увидит след человеческой руки, совершенные орудия из слоновой кости, скульптуру и живопись, тогда мы говорим: "Вот что создал твой великий предок в то время, когда низшие расы только что научились собирать и скалывать кремень". А вы говорите, что это вздор, что скульптуру и эти грубые кремниевые желваки делали люди одной расы, только кремниевые желваки раньше, скажем, на пятьдесят тысяч лет, а скульптуру и кость позже. Мы находим скелеты прекрасных и сильных людей с огромной черепной коробкой, с правильными, гармоничными частями лицевого черепа — остатки могучей исчезнувшей расы кроманьонцев — и говорим немцу: "Смотри, вот твой предок". Потом показываем асимметрический череп неандертальца, и от обезьяны-то ушедшего не очень далеко, и говорим: "А вот прадед низших неисторических народностей".

А вы говорите: "Этот неандерталец и есть предок кроманьонца, но только эти люди жили в разное время, поэтому один из них похож на полубога, а другой — на шимпанзе". И дальше вы заявляете: "И поэтому я считаю, — именно ведь так кончается ваша последняя книжка, — что все человечество биологически равноценно и имеет право на одинаковое существование". А этого-то мы и не можем допустить.

— Понятно. — Отец сидел очень тихо, внимательно слушая все, что говорит дядя. Очевидно, он желал уразуметь из его слов все то, что должно случиться позже. — Все это я знал и раньше, теперь я вас хочу спросить вот о чем: для чего вы это мне говорите?

Дядя подошел к отцу и положил ему руку на плечо.

— Вот теперь, в заключение нашего разговора, я и хочу спросить вас: неужели вы живете в башне из слоновой кости? Вы глухи и слепы ко всему, что происходит за стенами вашего кабинета, а там идут танки, маршируют наши войска, там жгут, режут и убивают. Высшая раса пришла для того, чтобы ввести раз навсегда новый порядок и навеки разрешить все вопросы раздачи корма, работы и спаривания.

— И эта высшая раса, которая режет, жжет и убивает за стенами моего дома, и прислала вас ко мне? — любезно спросил отец. — Ну, так в качестве ее посла объясните мне, чего же она от меня хочет, и давайте кончим этот разговор.

Дядя вынул из кармана зажигалку, положил ее на ладонь, подбросил в воздух, поймал, снова спрятал в карман. Было видно, что он раздражен, но старается сдержаться.

— Вы решительно отказываетесь говорить со мной по-человечески? — спросил он почти угрожающе.

— Милый мой, — взмахнул отец рукой, — я не хочу говорить попусту. Я люблю декламацию только хороших актеров, а вы, не в обиду вам сказать... Ну, да уж что там, не будем ссориться... Так вот, я чело-

век деловой и вижу, что вам что-то от меня нужно. Все эти разговоры ведутся недаром. Не думаете же вы меня обратить в свою веру и заставить отбивать земные поклоны перед этим размалеванным... как его там... богом Тором, что ли? Какого бы я ни был мнения о вас, но я знаю, что вы человек неглупый. Значит, у вас есть какое-то конкретное и строго определенное дело — это раз. Теперь я вижу: Ганка арестован; профессор Бернс выпрыгнул из окна; Гаген не успел этого сделать, и вы его повесили; Ланэ не захотел быть арестованным, как Ганка, и повешенным, как Гаген, а прыгнуть с пятого этажа у него не хватило мужества, поэтому он теперь носит свастику и орет дурным голосом "Хайль Гитлер!". Я насолил вам больше всех этих людей, но меня не трогают. Почему? Очевидно, потому, что чего-то от меня ждут. Это два. Так вот — чего именно? И, наконец, будем уж до конца откровенны, эти ваши неожиданные родственные чувства к нашей семье, которые я по некоторым обстоятельствам не могу в вас предполагать, откуда они? Это уже три. Вот на эти вопросы я и прошу вас мне ответить. Чего вы хотите от меня и моего института?

Опять наступило молчание. Дядя сидел и высекал огонь из зажигалки. Высек, достал папиросу, помял ее конец, закурил, помахал зажигалкой в воздухе, чтоб потушить огонь, и бросил ее на стол.

Быстро темнело.

В углах комнаты стояли тихие, сонные заводи неподвижных сумерек, и из них выступали только верхушки предметов.

— Во-первых, — сказал дядя, — вы и весь ваш институт должны переменить направление.

— Раз! — отсчитал отец и загнул один палец.

— Вы должны публично, через печать, признать все ваши...

— Понятно, понятно! — успокоил его отец. — Я знаю, как это делается, в крайнем случае Ланэ научит! Дальше!

— Дальше — вы должны пересмотреть свои позиции, помочь нашим ученым в разработке строго научной теории. Ибо мы только и хотим помочь вам стать на путь истинной науки происхождения арийской расы и доказать ее преимущественное, а может быть и исключительное, место в истории человечества.

— Два! — отец загнул второй палец.

— На этих скромных и разумных условиях мы покончим с вашим прошлым и откроем новый счет. Ваш институт будет продолжать свое существование как имперский институт предьистории. Вы останетесь его бессменным руководителем, и вам будет оказана любая помощь, возможная в условиях военного времени. Мало того — Прусская академия наук и старейший в Европе Гейдельбергский университет изберут вас своим членом.

Отец сидел, улыбался и слушал.

— И если вы истинный ученый и разумный человек... — продолжал дядя.

— Так! — Отец встал, облакачиваясь на стол. — Дорогой Фридрих, помните, подобный же разговор у нас был пятнадцать лет назад, когда на человеческом черепе неожиданно выросла обезьянья челюсть. Потом подобные же советы мне давал некий Кениг...

Дядя сначала нахмурился, а потом вдруг улыбнулся.

— Дался вам этот Кениг! — сказал он. — Вот вы второй раз уже упоминаете о нем. Чем он вас так огорчил?

— Слушайте! — крикнул отец. — Неужели вы действительно думаете, что я не знаю, кто этот Кениг?

Дядя слегка пожал плечами.

— Знаете? Римляне говорили: "Льва узнают по когтям", — сказал он с тонкой улыбочкой.

— "А осла — по ушам", — докончил отец.

— Ну, профессор, — сказал дядя, как мне показалось, даже несколько остолбенело.

— Ладно, ладно! — торопливо замахал рукой отец. — Не будем вдаваться в подробности. Что же

касается вашего предложения насчет Гейдельбергского университета, старейшего в Европе, то, дорогой мой, я член другого университета — Пражского, тоже очень старого, который вы разгромили несколько лет тому назад.

— Итак, — спросил дядя, — вы отказываетесь?

— К сожалению, — ответил отец и приложил руку к груди. — Ваши предложения мне никак не подходят, придется вам двинуть против меня танки и марширующие войска, как вы недавно выразились. А впрочем, зачем я вам? У вас же Ланэ. Он напишет вам все, что угодно.

— Но вы-то, вы-то, — почти крикнул дядя, — вы-то что намерены делать?

— Я? На это я отвечу словами Сенеки: "Да будет мне позволено молчать. Какая есть свобода меньше этой?"

— Все Сенека! — усмехнулся дядя. — Хорошо! А не помните ли вы, кстати, чем он кончил?

Снова наступило молчание. Отец встал и подошел к дяде почти вплотную.

— Сенека вскрыл себе вены по приказанию Нерона и истек кровью, — сказал он негромко, смотря в глаза дяди. — Теперь, когда в мир явился новый Нерон и тысячи моих братьев по науке и убеждениям истекают кровью, его пример стоит всегда перед моими глазами. Я бы хотел, чтобы вы помнили это.

С минуту дядя молчал, потом взял со стола зажигалку и быстро сунул ее в карман. Ответ отца сбил его с толку. Он даже дернулся, чтобы что-то возразить, но потом махнул рукой и встал со стула.

— И вы думаете, что это геройство? — спросил он зло, но не особенно уверенно.

Снова оба помолчали.

— Во всяком случае, вы подумайте, профессор, — сказал он почти просительно. — Вы же не можете сомневаться, что я вам искренне желаю добра.

— Я ни в чем не сомневаюсь, как есть ни в чем, — спокойно ответил отец. — Вы же совершенно искрен-

не привели мне в пример Сенеку. Разве это не показатель для всех наших отношений?

Дядя снова вынул зажигалку и молча стал вертеть ее в руках.

— Я вспылчив, — сказал он изменившимся голосом. — А вы взорвали меня этой нелепой бравадой, этим петушиным задором, и я ляпнул вам первое, что пришло в голову. — Он криво усмехнулся. — "Человек никогда не может отвечать за свои первые движения и поступки", — говорит Сервантес в "Дон Кихоте".

— Какой вы стали ученый, Фридрих! — усмехнулся отец. — Ну, позвольте, тогда я вам тоже процитирую Сервантеса: "Он был вспылчив, как всякий занимающийся убоем".

— Что?! — крикнул дядя бешено, неудержимо, свирепо, и лицо его сразу позеленело. Он ударил кулаком по столу так, что комната сразу наполнилась звоном фарфора. Он весь дрожал, его лицо побурело, отвердело, и ясно стали видны жесткие линии скул.

— Что вы такое сказали? Что?..

Он слепо надвинулся на отца и остановился, подняв руку с тяжелой зажигалкой, занесенной, как для смертельного удара. Казалось, еще секунда — и он обрушит отца на землю. Невероятное животное бешенство светилось в его рысых, теперь почему-то немного косящих глазах.

Отец смотрел на него спокойно и просто.

— Кстати, — сказал он тем же тоном, — вы так и не объяснили мне, что вы делали в Чехии?

— А?.. — выдохнул дядя свирепо, потом с размаху швырнул зажигалку в угол и бегом выскочил из комнаты.

— Вот и конец нашему разговору, Берта, — сказал самому себе отец. — Он, верно, сильно нервничает... "Злодейства безопасными бывают, спокойными они не могут быть", — что ж, Сенека знал толк и в этом! — Он пошел в угол и поднял зажигалку. —

Вот и внесена полная ясность, предельная ясность, — он покачал головой и усмехнулся, — а продолжение, надо думать, не последует. Да, не последует. — И он сунул зажигалку в карман.

Шел опять дождь, и меня целый день не пускали на улицу.

Огромные, как озера, бурые, пузырчатые лужи тускло блестели перед окнами, и ветер гнал по ним покоробленные листья. Клумба стояла мокрая и тяжелая, и астры на ней все время кланялись дождю и холодному ветру.

Вот в это время и явился Ланэ.

С него текло, а там, где он стоял, сразу же образовалась лужа. Когда он снял широкую фетровую шляпу и стал ее отряхивать, то и со шляпы текла вода. В прихожей его встретила мать и всплеснула руками.

— Боже мой, — сказала она, — Ланэ! На кого же вы похожи!

— Ливень, — сказал Ланэ, переводя тяжелое дыхание, и помотал головой, стряхивая капли дождя. — На улице настоящий тропический ливень и притом холодный ветер. Пока я добирался до вас, мне казалось, что я превращусь в сосульку.

— А где ваш автомобиль? — спросила мать.

— Бросил его за пять километров отсюда, у него что-то случилось с мотором.

— Так как же... — всплеснула руками мать.

— Э, все равно! — поморщился Ланэ и затопал ногами, размазывая грязь. — Уже есть приказ о конфискации всех автомобилей и мотоциклов, хватит, поездили! — И он снова стал шаркать ногами по полу.

— Да нет, проходите, проходите, — сказала мать, — все равно придется мыть пол. А грязен-то, грязен-то как... Сейчас пойду принесу вам что-нибудь из одежды... Господи Боже мой, при вашей комплекции... — Она поглядела ему в лицо. — Слушайте, Ланэ, а вы ведь похудели.

— Уф! — Ланэ шумно вздохнул и покрутил головой. — Ручку вашу, сударыня! — он несколько раз крепко поцеловал пальцы матери. — Похудел? Спросите, как я вообще не издох, вот что удивительно. Если бы вы, мадам, знали, что делается в городе... А где профессор? — спросил он вдруг, воровато понизив голос.

— Он заперся в кабинете наверху. И знаете что? Вам лучше его сейчас не трогать — пусть отдышится и остынет. Три дня тому назад у него был очень горячий разговор с Курцером, и теперь... Ну, да вы же знаете его...

— Они поругались? — испуганно спросил Ланэ.

Он все шаркал и шаркал ногами о половики, который сразу же пропитался грязью и теперь только хлюпал, как старая галоша.

— Они разговаривали и... — Он пугливо взглянул на мать, полуоткрыв рот.

— Пойдемте же в столовую, вам нужно переодеться и просохнуть, — сказала мать. — Да, да, они очень, очень крепко поговорили.

— И... профессор кричал? — спросил Ланэ, проходя за матерью в столовую.

— Ну, кричал! Нет, конечно. Я взяла с него слово... Но судя по всему, ему были сделаны такие предложения... К тому же еще ваше письмо...

— Что мое письмо? — быстро спросил Ланэ.

— Марта! Марта! — закричала мать. — Идемте же сюда, надо затопить камин. Вот, садитесь, Ланэ, сюда, на это кресло, — она провела рукой по его жестким коротким волосам. — Бедный, бедный! И как вы действительно остались живы?

— Ну, так что же мое письмо? — нетерпеливо повторил Ланэ. — Он очень сердился?

— Ах, да вы же знаете его! Нет, он не кричал и не волновался, но ушел и заперся в своем кабинете, а когда я сказала ему: "Бедный Ланэ, ему тоже, наверное, не сладко", — он мне ответил: "Ну что ж, ты сам хотел этого, Жорж Данден".

— Да! — Ланэ опустил голову и долго сидел молча. — Бедный Ланэ! — произнес он наконец с глубоким чувством. — Вы правы, мадам, бедный Ланэ! Но он-то, он-то неспособен понять это. А вот мне рассказывали: выводят на тюремный двор тридцать человек и кладут в ряд, вверх затылками.

— Зачем? — спросила мать.

— А вот зачем. За ними идет офицер — ефрейтрам там не доверяют этого, — наклоняется, приставляет браунинг к затылку, потом — бац! И все.

— Ужас! — сказала мать, и лицо ее дрогнуло, как от сдерживаемой тошноты.

— Ужас! — повторил Ланэ. — А вешают так. Лежат вот они, как спеленатые куклы, на земле, их берут по одному и на руках подносят к виселице. Одного вешают, а остальные лежат, ждут очереди. Снимут одного — придут за другим. Так и лежат — сначала тридцать, потом двадцать девять, потом двадцать восемь. Лежат и смотрят.

— Ужас! — повторила мать.

— Вот это злодейство, — сказал Ланэ. — А то, что я спасал свою жизнь и свою науку... — Он не закончил и махнул рукой.

— Вы расскажите это Леону! — посоветовала мать. — Но его еще взбесило именно то, что это письмо не было подписано.

— Письмо? — нахмурился Ланэ. — Разве я сказал о неподписанном письме? Нет, речь идет о совершенно ином документе, подписанном.

— Как? — спросила мать. — Разве есть еще что-то?

— В том-то и дело, — сказал Ланэ с горечью, — в том-то и дело, что есть. Вот она, декларация, которую подписали пять сотрудников нашего института. С ней-то я и приехал сюда.

— Ну, тогда я вас, — сказала мать и встала со стула, — сейчас же проведу к Леону. Он никогда не простит мне этой задержки... Идемте, я вам дам только переодеться... Господи, да где же эта Марта?

— Пойдите, мадам! — Ланэ нетерпеливо и досадливо махнул рукой. — Никакого удовольствия ему эта декларация доставить не может, до завтра я еще могу ждать... Ну, а там уж... — Он зябко передернул плечами.

Через час Ланэ, чисто вымытый, переодетый во все сухое и даже побритый, сидел за столом ипил кофе, пыхтя и отдуваясь от удовольствия.

— Так что же это за декларация? — спросила мать, когда Ланэ выпил пять чашек и отказался от шестой. Он отодвинул чашку и откинулся на спинку кресла.

— Погодите, — сказал он вдруг неожиданно сонным голосом и опустил на мгновение серые веки. — Погодите, я вам сейчас прочту.

Мать посмотрела на него.

Он сидел, опустив глаза, и дремал. Голова и грудь его вздрагивала равномерными толчками.

— Да вы спите! — ужаснулась мать. — Ланэ! Ланэ! Ну вот, слава Богу, он заснул! Идемте, я проведу вас в гостиную, там есть диван, вы же совсем размлели с дороги... Ланэ! Господин Ланэ!

— С... сейчас прочту, — повторил Ланэ, не поднимая головы, и глаза его были по-прежнему закрыты. — Сейчас... сейчас... Одну минуту...

— Ну вот! — сказала мать.

— Одну минуту! — повторил Ланэ и вдруг быстро поднял голову — Декларация! — вспомнил он и вытаскил из кармана большое, толстое портмоне. Открыл его и вынул оттуда сложенный вчетверо лист бумаги.

Декларация была напечатана на машинке, на обеих сторонах листа.

— Слушайте, — сказал он и начал читать:

”Мы, сотрудники Международного института антропологии и предистории, считаем своим долгом ныне довести до сведения ученых организаций, научной общественности, а также всех интересующихся нашей наукой, что мы порываем всякие связи с научным руководством института в лице профессора Мезонье и с группой сотрудников, поддерживающей

наперекор науке и здравому смыслу псевдонаучные теории о едином происхождении и путях развития человека”.

— Боже! — воскликнула мать.

— ”Вся многолетняя деятельность профессора Мезонье и его школы, — продолжал читать Ланэ, — заключается в отстаивании антинаучной концепции о единстве происхождения человека, а также о переходе низших ископаемых расовых единиц в высшие, вплоть до современного *Homo sapiens*. При ближайшем же рассмотрении эта антинаучная теория является замаскированной пропагандой теории большевизма, ибо в ней нельзя не увидеть попытки умалить роль расы и тем самым безоговорочно признать полное равенство и биологическую равноценность всех существующих народностей, вне зависимости от вопросов крови и их исторических судеб, что, кстати сказать, в корне подрывает мировую систему колоний, подмандатных территорий и протекторатов.

Особенно недопустимым представляется нам умаление ведущей роли великой белой расы и злобные выходки против ученых, пытающихся во весь рост поставить наболевший вопрос о расовой дифференциации отдельных представителей ископаемого человека и попытку проследить их судьбу в уже вполне историческое время.

С археологической стороны взгляды профессора Мезонье восходят к грубо материалистической концепции французского ученого Мортилье, с социальной же — прямо к коммунистическим взглядам английского исследователя Моргана и далее, по прямой линии, к одному из основоположников марксизма — Фридриху Энгельсу.

Таким образом, борьба с ядовитой продукцией профессора Мезонье и его школы (кстати, во многом поддерживаемой в Советской России, что является особенно показательным для правильной политической оценки ее роли в свете современных собы-

тий) должна отныне стать во главе угла работы нашего института.

Повторяем еще раз: нас совершенно зря называют только антикоммунистами, — истина заключается в том, что отныне коммунизм и коммунисты будут только первым и главным объектом нападения нашего института, но так же энергично и последовательно мы будем бороться против любой формы демократии и демократизма и даже против простого либерализма — одним словом, против всякого учения или государственного строя, который кладет в основу безоговорочное признание равенства одного человека другому, минуя расовые и биологические различия”.

— Уф! — Ланэ перевел дыхание и посмотрел на мать.

— Боже мой! — сказала мать. — И вы с этой бумагой... Ланэ, Ланэ... Неужели тут стоит и ваша подпись?

Ланэ многообещающе поднял кверху руку с короткими мясистыми пальцами.

— Подождите, это только начало, главное еще впереди... Я пропущу кусок и перейду к главному... Вот, слушайте...

”Желая доказать свою абсурдную, но преследующую самые осязаемые цели политической пропаганды теорию, а также завоевать себе определенное место в научном мире, профессор Мезонье вместе с группой своих учеников (здесь оставлено пустое место, фамилии будут поставлены потом, — объяснил Ланэ), — профессор Мезонье совершил ряд подлогов, в свое время уже отмеченных в журнале ”Фольк унд расе”.

— Как? — вскопчила мать. — Они смеют писать о...

— Пойдите же, пойдите, вот главное: ”Автор этой статьи... — Ланэ поглядел на мать и перескочил через строчку, — будучи в тысяча девятьсот двадцать четвертом году препаратором института, имел случай убедиться в искусственном приготовлении целой серии костных фрагментов и даже целых черепов, со-

ответствующих по номенклатуре профессора Мезонье видам *Neoantropus Messonie*, *Neopitcantropus* и *Homo Indonesia erectus Mortilie*. Эта операция производилась посредством длительной обработки черепов слабым раствором различных кислот с целью их декальцинации. Последующее за этим столкновение...” — Тут Ланэ опять посмотрел на мать и пропустил несколько строк.

— Что такое? — закричала мать. — Читайте же, читайте все!

— Я все и читаю, но некоторые места просто не дописаны.. — сказал Ланэ. — Но вот самый конец:

”Таким образом, домыслы профессора Мезонье сделаны на основании костного материала, во-первых, обнаруженного в разных геологических слоях и только впоследствии сведенных в одно целое, по примеру находки так называемого пильтдаунского человека, представляющей, как известно, смешение обезьяньих и человеческих частей черепа, к тому же найденных при неизвестных обстоятельствах; во-вторых, на черепках, искусственно деформированных в определенных направлениях, с целью достигнуть определенной картины; в-третьих, на основании материала, не имеющего никакой научной ценности ввиду полной неясности всего, что относится к обстоятельствам его находки. Понятно, что, по-разному группируя этот анонимный, недостоверный, а то и просто фальсифицированный материал, профессор Мезонье, сохраняя вид научной добросовестности и беспристрастности, мог доказать все, что ему угодно.

Выступая с таким разоблачением, мы имеем в виду в самое ближайшее время осветить в научной печати все, что касается метода работ профессора Мезонье в области предьистории, и вместе с тем размежевать и выделить то действительно ценное в работе института, что было проделано штатом научных сотрудников без ведома его научного руководителя”.

— Боже мой! — сказала мать с тихим ужасом. — Да что же это такое? И как вы смели, как вы смели, Ланэ, подписать эту бумагу?

— Я? — Ланэ усмехнулся, но лицо его было искажено, как от сильного отвращения. — Если бы только я, мадам, то обо мне и разговору не было бы. Известно, Ланэ — трус, Ланэ — шкурник, Ланэ — Калибан. Но вот под этой платформой подписались даже те непорочнейшие, что находятся в подвалах гестапо.

— Но ведь это... это... — мать задышалась, лицо ее было покрыто красными пятнами. (Я заметил: в эту минуту крайнего душевного и даже физического напряжения все ее движения приобрели угловатость и обрывистость движений отца.) — Показать Леону эту декларацию — все равно что пойти взять нож и всадить ему в горло... Вы знаете, как он дорожит своим честным именем, — и вот... И потом большевики... Но при чем тут большевики? Какое ему дело до этих большевиков!.. Нет, это... Боже мой, Боже мой!.. Да нет, это невозможно, это же совершенно невозможно, Ланэ!

— Невозможно? — усмехнулся Ланэ. — Нет, все возможно, как есть все возможно, дорогая мадам Мезонье! Я теперь не вижу предела для человеческих возможностей. Они же бедны людьми, страшно бедны, у них есть в избытке только пушечное мясо, все остальное бежит от них как от проказы.

— Не говорите так громко, Ланэ, — попросила мать, — ведь там Курцер...

— Курцер! — усмехнулся Ланэ. — Почему вы думаете, что то, что я говорю, почему-либо неприятно Курцеру? Он только говорит одним языком, а я — другим, но все равно цель-то у нас одна.

— Какая?! — крикнула мать и вскочила со стула.

— Не волнуйтесь, мадам: цель — спасти профессора Мезонье.

— Господи, что вы говорите, Ланэ? Спасти профессора Мезонье от Гарднера через Курцера — я уж и не знаю даже, кто из них лучше.

Мать тяжело опустилась на стул.

— Курцер, Курцер, Курцер лучше, — поучающе сказал Ланэ. — Лучше потому, что он хочет получить профессора Мезонье с его огромным научным авторитетом живым, тогда как Гарднер, кажется, всему предпочитает покойников.

— Но подумайте: ведь это полнейший крах всей сорокалетней работы Леона, — сказала мать. — Когда будет опубликована эта... как вы ее называете... эта декларация, то...

— Ну, так она не будет опубликована, — улыбнулся Ланэ.

— То есть как же? — удивилась мать. — Ведь смысл этой бумаги...

— Единственный смысл этой бумаги, — сказал Ланэ спокойно и нравоучительно, — в том, чтобы она не существовала... Не понимаете? А ведь это так просто. Вот эту бумагу, — он держал декларацию за угол двумя пальцами, так же, как держат за хвост дохлую крысу, — вот эту самую бумагу сегодня вечером я покажу профессору. Так?

— Так! — сказала мать.

— И предложу ему одно из двух. Либо он сейчас же напишет письмо в редакцию одной из наиболее влиятельных европейских газет, где откажется от части своих утверждений, ничего, понятно, не говоря о намеренных... вы понимаете меня, мадам Мезонье? — намеренных фальсификациях, и тогда все дело кончится двумя-тремя полуосуждающими и полусочувствующими статьями в пронацистских газетах. Либо...

— Он никогда не напишет такого письма, — быстро сказала мать, — у него просто рука не поднимется на это.

— Отлично! Пусть тогда не пишет! — спокойно согласился Ланэ. — Этого и не требуется: оно уже написано и лежит у меня в кармане. Пусть только зажмурится, плюнет и подпишет его. Вот и все! Тогда, говорю, дело ограничится двумя-тремя статьями,

осуждающими, конечно, но в общем вполне приличными и даже сочувствующими. Ну, а потом опять он может работать, открывать черепа, делать раскопки и писать, писать, писать, — но, конечно... хм!.. как бы сказать... в несколько ином духе, чем раньше. Это все в том, — я согласен с вами, — в том вполне пока проблематичном случае, если профессор согласится подписать эту бумагу.

— Но он никогда не согласится, — сказала мать, глядя на Ланэ. — Да и скажите сами: как можно согласиться на это?

— А мне говорить нечего, мадам Мезонье, — скорбно улыбнулся Ланэ. — Я уже пошел на это. И знаете, какой совет я вам дам? Пусть профессор не геройствует по-пустому, а возьмет да подпишет. Что уж тут бить себя в грудь да произносить высокие слова! Надо принимать действительность такой, как она есть. Ведь дело-то очень ясное. Мы проиграли, и тут уж ничего не спасет. Раз проиграли, то, значит, неправы, — неправы уж тем, что проиграли, ибо правые-то не проигрывают. На нас семь лет поднималась эта обезьянья лапа, а мы на нее смотрели да смеялись. И просмеялись, и просмеялись, — повторил он с тихой яростью и ударил кулаком по столу. — Да, просме-я-лись! Вот и случилось то, о чем говорил покойный Гаген: обезьяна пришла за своим черепом. Только полно, за своим ли? Не за нашими ли с вами? Что ж тут выламываться перед гориллой и декламировать ей Сенеку! Она скалит зубы да так ударит кулаком, что только мокро будет. Мокрое место будет — вот что я вам говорю. Так, значит, надо спасти свою жизнь. Вы — мать, вы должны понять это. Знаю, профессор великий ученый, но он либо бешеный, либо блаженный, либо и бешеный и блаженный в одно и то же время. Но вы-то, вы-то, мадам Мезонье...

Мать сидела и плакала...

Ланэ осторожно взял ее руку и начал целовать пальцы. Вдруг мать подняла голову и сказала:

— Вот я так и знала, что этим кончится. Как только мы получили письмо Фридриха, я поняла, что это недаром, что затевается какая-то большая гадость... только вот не знала, какая.

— А я знал, — раздался из коридора голос отца.

Оба — и Ланэ и мать — разом соскочили с мест, как вспугнутые любовники. Отец вышел из передней и, не дойдя до Ланэ, остановился посредине комнаты.

Он, как всегда, был в халате, туфлях и черной шапочке.

— ...только ты тогда не хотела мне верить, Берта, — окончил он и повернулся к Ланэ. — Что, сильный дождь? — спросил он своим обыкновенным тоном.

— Тропический ливень! — решительно и быстро ответил Ланэ.

— И, наверное, промокли до нитки? — спросил отец сочувственно.

— Весь плащ был мокрый, — сказала мать.

— Так надо просушить. — Он посмотрел на мать. — Как же так, Берта? А где у нас...

— Да я уже сделала все, — сказала мать, опустив веки, — она не хотела смотреть на отца.

— Ага! Отлично! Но вы ведь, наверное, голодны с дороги-то? Голодны? Да?

— Нет, мадам сейчас напоила меня кофе, и я выпил пять чашек, — тускло улыбнулся Ланэ.

Отец, не отрываясь, смотрел на его ноги.

— Ну, тогда что ж... Обсушились, покушали... Спать ложиться еще рано... Прошу вас ко мне наверх... Так, что ли, Берта? Он тебе больше не нужен? А? Ну, а если не нужен, прошу ко мне, по старой памяти! Бумагу-то не оставили?.. Вы ее все в руках вертели... Надо же прочесть еще раз... Слог-то, верно, плохой, да и смысла особого нет... Берта в этом многого не понимает, а меня так сразу резануло... — Он пропустил его мимо себя и сказал: — Проходите.

Глава одиннадцатая

Потом я узнал: Ланэ пешком пришлось идти совсем немного, до нашей дачи его довез камердинер дяди, которого тот посылал в город за кое-какими покупками.

Был этот камердинер, как я уже сказал, важным, медлительным и очень строгим — не стариком, конечно, а пожилым мужчиной, лет сорока пяти или около того. Из его наружности мне запомнились прежде всего и больше всего прямые вильгельмовские усы. Он их обильно смазывал фиксауром и еще какой-то мазью, которую не покупал, — она, кажется, нигде не продавалась, — а составлял сам и от которой пахло не то геранью, не то просто дешевыми духами. По утрам он делал гимнастику, — наверное, не иначе, как по Мюллеру, — и обливался холодной водой. Стоя за дверью его каморки, я слышал команду: "Раз, два, три..." Потом гремел металлический тазик, лилась вода, скрипел стул и слышались только зверские покрякивания: "А! А! Вот хорошо! А! Еще раз! А! А!" Через пять минут после этого он выходил из комнаты благоухающий, свежий и розовый, как кусок дешевого туалетного мыла. Шел по коридору, спускался в сад и часа два ходил по дорожкам. Это называлось — гулять! С посторонними он говорил мало, а если и говорил, то только по делу. Тема его разговоров всегда строго согласовывалась с профессией собеседника. Так, раз при мне он заговорил с Куртом и сказал, что клумбу, большую, центральную, находящуюся около дома, лучше всего засадить хризантемами — они и стоят дольше и красивее, — а вот розы — это непрочный и капризный товар (честное слово, он так и выразился "непрочный товар"), день простоят да осыплются. К тому же теперь конец лета, и цветы надо выбирать осенние.

— Вот вы все с птичками больше занимаетесь, — сказал он Курту, — а на сад срам взглянуть. Разве такие сады у хороших господ бывают?

Потом сделал он какие-то замечания Марте, что вроде того, что для настоящего приготовления мяса у нее не хватает посуды; сливочное масло, например, для изготовления какого-то соуса надо растапливать на алюминиевой сковородке, а у нее вообще черт знает какая.

— Я своим господам и на этой хорошо готовлю, — огрызнулась Марта, — а кому не нравится, пусть берет свою!

Камердинер не обиделся, он улыбнулся просто и снисходительно и объяснил, что вот на этой посудине можно приготовить бифштекс, омлет, какие-нибудь рубленые котлеты, но вот если бы ее, Марту, заставили готовить (тут он назвал какое-то мудреное название, отчасти похожее на имя неподвижной звезды), то этого блюда она, конечно, никогда бы и не сделала. Тут он даже улыбнулся — печально, снисходительно, просто, как ученый, объясняющий неграмотному крестьянскому парню какую-нибудь простейшую и неумолимую истину. После этой улыбки и разговора о сковородках, щеглах и хризантемах его одинаково возненавидели и Курт и Марта.

Целый день этот камердинер ничего не делал. Его обязанности были какого-то совершенно особого рода, и касались они только умывания дяди и подачи ему кофе. Справившись с этим, он сидел перед центральной клумбой, где росли и осыпались махровые розы (все-таки розы, а не хризантемы), и грелся на солнце.

— Истукан! — говорила про него Марта, и в самом деле в эти часы он был почти так же неподвижен, как и любая из фигур антропоидов, украшающая наш институт.

Кстати, об одном из наших антропоидов. Из-за него вышел тоже разговор — и, надо сказать, неприятный.

— Вот, — сказал Курт заискивающе, нарочно подкараулив бравого камердинера в ту минуту, когда тот остановился в раздумье перед статуей пильтда-

унского человека. — Подумать только, господин, извините, не знаю вашего имени...

Камердинер повернулся к Курту. В черном глухом сюртуке с одиноким искусственным цветком в петлице, в длинных и широких брюках, в шляпе жесткой, прямой, как цилиндр, он был необычайно прост и внушитель.

— Ну-ну! — подбодрил он робкого Курта.

— И подумать только, что даже такой высокий господин, как ваша милость, произошел от такого... как бы сказать... мохнатого производителя!

Камердинер выпрямился, хотя для меня остается загадкой, как он мог это сделать, ибо и так он был прям, как ружейный выстрел. Его сложное головное сооружение блеснуло жирным, матовым блеском, как черная шелковая ткань или патефонная пластинка. Он уставился прямо в лицо глупого Курта.

— Что-с? — спросил он со жгучим презрением. — Не знаю, от кого произошли вы, уважаемый господин садовник, но я-то, я-то родился от своего отца, господина Бенцинга, проживающего в городе Профцгейме, и именно поэтому в моих жилах нет ни одной капли цыганской крови, чем вы, уважаемый господин садовник, кажется, похвастаться не можете.

Так вот этот господин Бенцинг — назову наконец его по фамилии — в начале недели куда-то исчез и вернулся только через три дня. Он-то и привез с собой вымокшего, грязного Ланэ и несколько небольших ящичков, тщательно запакованных в толстую серую бумагу. Ящички эти были, очевидно, совершенно пустые, судя по той легкости, с которой он их внес в комнату дяди и поставил друг на друга. При этом дядя спросил его, не поломались ли они по дороге, на что господин Бенцинг только гордо усмехнулся в свои великолепные вильгельмовские усы.

Потом произошло вот что.

Когда отец и Ланэ поднялись наверх, дядя зашел в столовую и обратился прямо ко мне.

— А ведь у меня тебе подарок есть, Ганс, — сказал он интригующим тоном и улыбаясь. — И ты, пожалуйста, не отгадаешь даже, какой.

— С этими подарками, Фридрих... — сказала мать недовольно. — Ты ведь знаешь Леона, вот ты подарил этот шлем с рогами — я понимаю, ты хотел доставить удовольствие Гансу, а вышло...

— Не бойся, — ответил дядя, — он теперь не сделает скандала. Этот подарок из совсем другого отдела магазина игрушек. Но знаешь что, Берта, серьезно-то говоря, ты думаешь, чем все это может кончиться?

— Что "это"? — спросила мать.

— А! Только не притворяйся наивной! Это тебе совсем не идет. — Дядя прошел и сел в кресло. — Садись, давай поговорим. Твой муж меня терпеть не может. Не мотай головой, я это знаю, и ты отлично знаешь, что я это знаю. У него не было снисхождения ко мне в мои почти юношеские лета, когда я сделал одну... ну... скажем так... вполне простительную ошибку. Ей-Богу, мне не хочется это называть иначе. Все можно было просто превратить в шутку или даже не заметить вовсе, а ты знаешь, что тогда произошло... Этот дикий крик, биение себя в грудь кулаком, потом летели какие-то кости из анатомического кабинета, что-то упало и разбилось... Словом, твой муж вполне — я подчеркиваю это слово: вполне! — воспользовался своим правом быть беспощадным. И ты, Берта, ты, моя сестра, оказалась не на моей стороне. Вот что мне было особенно обидно. Ну ладно, оставим это. Но скажи мне: не естественно ли было, что теперь я, выгнанный из дома, лишенный им не только всякой помощи — это, в конце концов, его дело, — но и ославленный как жулик, как прохвост, как авантюрист, что я должен был и сейчас... Ну... (он задумался в выборе слова) ну, хотя бы просто умыть руки и отойти в сторону? Не правда ли? Ты меня прогнал, ты меня оскорбил, ты меня ославил — ну и выкручивайся как знаешь, не так ли? А? Ведь вот вы меня не ждали?

— Не ждали, Фридрих, — согласилась мать.

— Ну вот, видишь! — обрадовался дядя. — А я приехал, как только наши войска вошли в город, — и нет, даже раньше. Как только я узнал, что они должны были вступить в ваш город, я бросил все, — а у меня там не маленькое хозяйство, Берта, — поговорил со своим врачом, получил свидетельство о том, что у меня какая-то особая, острая форма нев-растении, добился наконец отпуска, добился отпуска! — дядя особенно подчеркнул это слово. — Ты и не знаешь, что такое значит у нас, в наше время, добиться отпуска. И вот я здесь. Понимаешь ли ты хоть это, Берта?..

Мать сидела молча, но глаза у нее были полны слез. Она, не отрываясь, прямо, пристально и просто смотрела на дядю. Нет, она сейчас уже не хитрила: то огромное, тяжелое, хотя и до сих пор не понятное ею до конца, горе, которое придавило ее плечи, не оставляло места притворству. Я написал — не хитрила, но, может быть, и хитрила, может быть, скрывала что-то, но играть сейчас она не могла бы. Притворство у нее было почти неосознанное. Да, может быть, хоть не вполне, хоть на какое-то время, она верила дяде.

А он уже встал с кресла, подошел к ней и говорил ласково, снисходительно и настойчиво:

— И вот я здесь. Я хочу помочь тебе, Берта. Ведь как бы ты ко мне ни относилась, но все-таки ты мне сестра. Нас двое в целом свете. Никого ни ближе, ни дороже тебя у меня нет. У тебя вот муж, Ганс, свой дом; а я-то один, один... У меня ни жены, ни друга, ни ребенка. В молодости все это нипочем, но мне уже сорок пять лет, Берта, и вот, когда оглянешься назад... и... Ах, неужели все это так трудно понять, Берта? Неужели это притворство, одно притворство, только притворство?

— Я верю тебе, Фридрих, — сказала мать.

— Ну, спасибо хоть за это, Берта! Ну, а обо всем остальном можно поговорить и позже. Все эти аресты, расстрелы, зверства во время моего наместни-

чества — не отрекаюсь, грешен! Во многом грешен, хотя и не так, как трещали газеты. Ох, эти собаки, подлизывающие сгустки чужой крови! Знаешь, когда я думаю о них, мне становится понятным, как Наполеон мог расстрелять издателя какой-то пасквильной книжонки. Оправдываться не буду. Ты не судья, а я не преступник. Скажу только вот что: когда твоими руками делается история, ты осознаешь себя не приказчиком, не исполнителем чьей-то чужой, иногда просто тебе навязанной глупой воли, а непосредственно действующим лицом... Или нет, даже соавтором трагедии. Если при этом ты еще сам ежеминутно рискуешь своей жизнью, честное слово, и чужую ты будешь ценить не так высоко, как это рекомендуется в хрестоматиях для воскресного чтения. Арестовывал ли? Арестовывал. Стрелял ли? Стрелял. И они в меня тоже стреляли. Вот видишь? — Он откинул волосы и показал выше виска блестящий лиловый рубец. — Немного бы ниже — и конец. Значит, мы квиты. А попадусь я к ним в руки, они тоже приставят меня к забору и даже разговаривать со мной не будут. Что делать! Такое уж время — никто не щадит друг друга. Но тебя, тебя, Берта, я желал бы сохранить. И вот, кажется, мне это плохо удастся. Да, да, слишком плохо...

— Ты говоришь о Леоне, Фридрих? — спросила мать, и лицо ее было неподвижно.

— Да, я говорю о твоём муже, Берта, — вздохнул дядя. — И вот я думаю, что я могу сейчас сделать. Нельзя, — ты извини за резкость, — нельзя с большей наглостью и каким-то таким, знаешь, скверным ухарством, энергичнее добиваться петли, чем это делает он. Все это кривляние, грубые выпады, фиглярство, насмешка над тем, что для нас является самым святым!.. Ах, Господи, да все, все, что только ни возьми, все это вполне логично сделало то, что его фамилия попала первой в список, врученный Гарднеру. Вот арестовали этого бесноватого Ганку, профессора Либерта, Жослена, еще с десяток его учеников,

виновных только в том, что они были с ним и слушали его. А он-то цел, его не тронули, он по-прежнему пьет кофе и цитирует Сенеку. Но ты умнее его, ты понимаешь, что так долго продолжаться не может. Сенека-то Сенекой, а война-то войной! Жизнь сейчас звериная, ставка идет на полное уничтожение всех инакомыслящих. Значит, что же? Вывод ясен, Берта! — Он пожал плечами и улыбнулся. — Ну конечно, я кое-что и еще сделаю со своей стороны. Но ведь и мое влияние ограничено, долго продержаться на такой позиции я не смогу. Значит, конец один, а какой — известно тебе, Берта.

Мать сидела, опустив голову. По ее щекам текли слезы. Я подбежал к ней и уткнулся лицом в ее колени.

Она молча стала гладить меня по волосам. Дядя подошел, взял меня за плечо и оторвал от матери.

Он был спокоен и строг.

— Теперь взглянем на дело с другой стороны, — продолжал он методически. — Если твой муж согласится пойти на тот компромисс, который я ему предложил, он поставит себя сразу в исключительное положение. Не буду скрывать, нам нужно имя, авторитет, научная незапятнанная репутация, которая одним своим присутствием — хорошо, пусть даже одним своим сочувственным молчанием! — скажет больше, чем трескотня тысячи брошюр. Такой человек может рассчитывать на самое высокое назначение. Пойми только, Берта: для него не будет никаких преград в его карьере. Ну, чего, будем говорить прямо, добился твой муж за свою многолетнюю работу? Имени? Черт возьми, я видел профессоров с именем, которые сейчас продают газеты, ибо при новом порядке они не получают места даже в самой захудалой школе. Своего института? Просто из любопытства хотел бы я посмотреть, чем и как ему помог этот институт.

Твой муж собирает десять лет средства на экспедицию в Центральную Африку, и до сих пор дальше

подписного листа дело не двинулось. Материальные блага? Вот я не был пятнадцать лет в вашем доме, а приехал — так даже ни одного стула нового не нашел. Только разве твоя коллекция фарфора несколько пополнилась, — неожиданно улыбнулся он. — Ну, так это уж не такое большое приобретение. Но главное даже не это, а вот что: ты никак не хочешь понять, что это не только совершенно в порядке вещей, но иначе и быть-то не может. В самом деле — вот ты прожила с мужем бок о бок столько лет, а думала ли когда-нибудь, куда ведет тот путь, на который он вступил? Что Леон доказывает? Чего он добивается? На кого он работает?.. Ну, так очень, очень жаль, что ты над этим никогда даже и не задумывалась! Очень, очень жалко, только и могу сказать. Вот, представь себе невозможное: твой муж и подобные ему, — дядя жестко усмехнулся, — те-о-ре-ти-ки доказали с фактами в руках всему человечеству, что мы несовместимы с жизнью и поэтому нас нужно передавить, как крыс. Хотя ты, конечно, понимаешь — грош цена всем доказательствам твоего Леона, как и всей его науке, когда над страной грохочут *наши* пушки и летят *наши* истребители. Но я же и говорю: представим себе самое невозможное — мы стерты с лица земли. Так кончилась ли вместе с нашей гибелью и борьба твоего мужа против нас? Может ли он вылезти из бомбоубежища и снова спокойно заняться черепами? Черта с два! Борьба по-настоящему еще даже не развернулась, ибо не нами расизм начался и не нами он кончится. Враг номер два твоего ученого мужа — это его сегодняшние друзья, ибо, чтоб чего-нибудь достигнуть, придется перевернуть весь мир, сверху донизу. А что такое линчевание негров в южных штатах? Ты можешь мне ответить? А положение индейских племен в Америке? А сегрегация черных в Южной Африке? Затем арабы — нескончаемые убийства в Марокко. А Иностраннный легион — для чего он? Что он представляет, из кого состоит? И наконец, что делается и что будет делаться с колониями вообще?

Тут уж действует логика: если ты отрицаешь право немца бить еврея или стряхивать поляка с его земли, то сразу же оказывается недоказуемым — да нет, нет, попросту абсурдным — и право француза владеть арабом, и право англичанина выколачивать деньги из индуса. Те мои французские, английские, американские, бельгийские коллеги, которые называют меня людоедом с университетских кафедр и трибун и требуют, чтоб меня во имя гуманности вздернули на первом попавшемся суку, так же, как и я, не отдадут свою дочь за негра. Да и возьми себя. Когда лет через десять или чуть раньше Ганс станет подыскивать себе невесту, ты ведь будешь ждать к себе в дом только белую девушку, не так ли? А вы ведь знамя гуманизма, ее цитадель! — Он усмехнулся. — Знамя-то знаменем, а когда ваши друзья американцы вздергивают негров на сук без всякого суда и следствия, вы молчите как убитые. "Изнасилование белой женщины", — вот и весь разговор. Но, говоря по совести, разве это не то же самое, что мы называем законом охраны чести и достоинства нации? И вот именно поэтому твоему мужу однажды его друзья скажут: "Ну, хватит, старик" — и зажмут ему рот по-настоящему, так, чтобы он больше и не пикнул. И такой конец не только неизбежен, Берта, но и даже и не зависит от него. Гонимые-то ведь хитры, — кто скажет в их пользу только одно "а", того они заставят пропеть всю азбуку. А как же иначе? Как только твой муж покажет всему миру, что он за гонимых, сейчас же к нему протянутся черные и красные руки с обоих континентов. "Вы же наш рыцарь, — скажут ему, — защитник истребляемых и гонимых наций. Вы — апостол равноправия. — Ну, и еще подберут с десяток таких же эпитетов, они их выучили наизусть. — Так как же вы, — скажут они дальше, — спокойно миритесь с тем, что ваши культурные соотечественники делают из нас бифштексы? Гуманнейший из гуманных, почему же вы не кричите, когда нас убивают?!" И придется, Берта, твоему мужу действительно кричать на

весь мир, пока не придут его хозяева и не укажут ему его настоящее место. А оно ведь маленькое, Берта, очень-очень маленькое — в лаборатории, над ящиком с костями. Вот и все, на что он заработал право. Ты не смотри, что сейчас ему дают оратор о чем угодно и даже лягать Теодора Рузвельта: это, во-первых, потому, что он еще не научился договаривать до конца, а во-вторых, всякая палка хороша на собаку, даже если она такая сукастая да корявая, что ее и в руки-то брать противно. Берут потому, что понимают: собаку прогонят — и палку об колено. В том-то и все дело, Берта, — вам ничто в мире не может помочь. Вам даже и победа ничего хорошего не принесет, ибо ваша борьба такова, что конца ей нет и быть не может. Так стоит ли и начинать бесконечное? Не лучше ли остановиться и подумать: "Полно, что же я такое делаю, куда лезу? Неужели я один сильнее целого мира!" А мы дали бы Леону все, чего он желает, — почет, деньги, свою академию. Да, да, в течение суток он-станет членом трех иностранных академий, ученым секретарем, вице-президентом! Президентом! Нам не жалко. Мы ценим услуги, Берта, и умеем платить за них! Наконец, еще одно. Как только твой муж согласится подписать некоторые бумаги, мы отпускаем этого безумного доктора Ганку. Хотя, по словам Гарднера, это вредное насекомое. Притом...

Шум в коридоре не дал ему окончить. Что-то разрушалось, опрокидывалось, ломалось на части, как будто с высоты падали пустые деревянные ящики и разбивались о землю. Дядя вздрогнул и машинально провел рукой по карману.

Появился отец, таща за руку растрепанного, испуганного и задыхающегося Ланэ. Они влетели в комнату и с десятков секунд оба простояли неподвижно.

Глаза отца были расширены. Он звучно дышал и, прежде чем заговорить, схватился за грудь.

Мать быстро вскочила со стула и подбежала к нему.

— Леон, что случилось? — спросила она.

— Я ему... — оправдываясь, заговорил Ланэ.

— Дурак! — рявкнул на него дядя.

Вдруг отец осел на пол. Его подняли и под руки повели в кресло.

— Под этой бумагой, — сказал он вдруг слабо и без всякого выражения, — что я поддельваю черепа, подписались все и в том числе... — Он замолк, с трудом преодолевая дурноту.

— Ну, ну? — сказала мать.

— В том числе и Ганка.

Вечером, проходя по столовой, я увидел Курцера. Барабаня по стеклу, дядя стоял около окна и смотрел на высокое, быстро чернеющее небо.

Услышав сзади мои шаги, он быстро обернулся.

— А, — сказал он, — это ты, кавалер? Я только что думал о тебе — и знаешь, по какому поводу? А ну, иди, иди-ка сюда! Смотри, какое чистое небо. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, — торжественно разъяснил дядя, — что завтра будет замечательный день, ясный, тихий, теплый, и мы с тобой пойдем ловить птиц. — Он помолчал, вглядываясь в мои глаза. — А ну, — спросил он вдруг, — какого немецкого короля звали Птицеловом?.. Как же не знаешь? Ты в каком классе?.. И не проходили?.. Странно, очень странно!

Ну, конечно, знал я этого короля. Вот даже вспомнил, что его звали Генрихом, и про главные события его царства тоже помнил, но разве для каникул этот разговор? И я промямлил что-то невнятное.

— Да, — понял меня дядя именно так, как ему хотелось, — про неандертальца да пильтдаунского человека знаешь, а вот историю Германии... Ну ладно, не в этом дело. Будем думать, что все переменится к общему удовольствию. Так вот, говорю, погода будет ясная, и пойдем мы с тобой ловить птиц.

— С дудочкой? — быстро спросил я.

— То есть как это с дудочкой? — удивился и даже несколько стал в тупик дядя. — Как это ловить птиц с дудочкой? Нет, не с дудочкой! Ну-ка, иди сюда!

Он провел меня в свою комнату и усадил на стул. Я огляделся.

Комната была совершенно иной, чем она была до приезда дяди, хотя и не так легко было объяснить, что же такое в ней переменялось. Во всяком случае, не мебель, не кровать, не даже картины на стене, а что-то иное, тонкое и едва ли даже уловимое с первого взгляда. Попросту душа комнаты стала иной.

Вот на стене висел охотничий винчестер в сером холсте, а футляр для него, похожий на чемодан, лежал около кровати, тут же поместились два длинных и плоских чемодана из какой-то серебристой кожи, очень красивой и, наверное, очень маркой. На туалетном столике стояло квадратное походное зеркало, а около него лежали предметы, о назначении которых я мог только догадаться, — лежал, например, револьвер из черной вороненой стали, но, наверное, то был не револьвер, а зажигалка, ибо револьверу валяться здесь незачем; стояли белые строгие коробки из-под пудры без всякого рисунка и надписи, и вряд ли опять-таки это была пудра — зачем ее столько мужчине? А скорее всего какие-нибудь особые порошки, например, для бритья. Стояли хрустальные разноцветные флаконы, в каких обыкновенно держат одеколон или духи, но, конечно, и это все не было ни одеколоном, ни духами, а какие-то лекарственные составы или вытяжки, потому что дядя душился всегда одним одеколоном, а его-то как раз тут и не было.

Наконец лежала бритва, но это уж точно была бритва и очень дорогая притом, никаких сомнений тут не могло быть. В простенке между окнами висели стек, тропический пробковый шлем и охотничий нож в футляре. На отдельном столике лежал пленочный фотографический аппарат, несколько паке-

тов с фотобумагой "Рембрандт" и призматический бинокль.

Письменный стол и гардероб стояли в другой комнате, дверь в которую была открыта; там на стене висели боксерские перчатки. Да, еще одна вещь была в комнате — на стуле, около кровати, лежал раскрытый атлас птиц и на нем карандаш — дядя, очевидно, листал его перед сном.

Он повел меня в угол, к тем большим четырехугольным и, очевидно, совершенно пустым ящикам, которые господин Бенцинг привез из города, и спросил:

— Что это такое, знаешь?

Я молчал, неуверенно переступая с ноги на ногу.

— Ну-ка, смотри, — сказал дядя и отдернул покрывало.

Это был целый механизм, довольно сложный даже, с поднимающимися и захлопывающимися дверцами, с настороженными пружинами и катушками наверху, на которые был намотан целый моток тонкой серой бечевы. Наконец, с особым помещением внутри, как бы птичьей камерой-одиночкой.

— Вот сюда, — сказал дядя, показывая на эту одиночку, — сажается птица, она ручная и поет, то есть подманивает своих подруг, поэтому и птица называется манная, а ловить так называется "ловить с манком". Понял теперь?

Я сказал, что понял.

— Вот так подманивают птиц, а не на дудочку, как ты говоришь. Правда, — продолжал он, подумав, — француз Густав Брейль в своем труде об истории разведения и ловли певчих птиц пишет, что так некогда ловили птиц в некоторых славянских странах, даже во Фландрии и южных департаментах Франции, но это было именно когда-то...

Он вдруг с неожиданной, почти обезьяньей ловкостью присел около своего замысловатого механизма.

— Вот, смотри! — сказал он оживленно.

Взвел какую-то пружину, поднял палочку, что была на верху клетки, потом взял и поставил клетку на середину комнаты.

— Бенцинг! — крикнул он, и господин Бенцинг, уже хорошо зная, что от него требуется, вышел из соседней комнаты и вручил дяде длинную тонкую палочку, вроде тех, с помощью которых на уроке географии можно путешествовать по всем морям и странам, от полюса до экватора.

Вооруженный этой палочкой, дядя тоже стал напоминать чем-то моего учителя географии.

— Вот сюда, — сказал он, методично показывая то одно, то другое, — сыплют коноплю, канареечную смесь, муравьиное семя или соловьиный корм, смотря по тому, какую птицу желают поймать. Ну а мы вот, скажем, ловим твоих любимых щеглов. Значит, насыпаем репейное семя и отходим в сторону, — дядя действительно немного отступил от клетки. — Манок наш сидит, заливаается, и вот подлетает щегол. Сначала он, конечно, садится вот сюда, — Курцер дотронулся палочкой до порога клетки, — потом сюда, — он показал на середину ее, — потом сюда и вот сюда... А ну-ка, бери в руки палочку и ткни ею кормушку... Да нет, нет! Не через дверку, а суй ее через решетку... И вот он начинает клевать. Смотри!

Я ткнул кормушку, и дверка клетки захлопнулась.

— Ага! — сказал с наслаждением дядя. — Это уж тебе не дудочка!

Мы опять насторожили клетку, и опять она захлопнулась при легком прикосновении к кормушке.

— Это тебе не дудочка! — торжествующе повторил дядя. — Ну, а кто ж тебе сказал про дудочку? Неужели этот самый... как его там? Ян? Ван? Ну, как его? Не помню...

— Курт, — ответил я и рассмеялся.

— Да, да, Курт, — рассмеялся и дядя. — Так что же, вот этот Курт и ловит щеглов на дудочку?

— Да не щеглов, — поправил я, — не щеглов, а черного дрозда.

Глаза у дяди округлились.

— Что? Черного дрозда? — дядя с каким-то даже почтением произнес это слово. — Смотри-ка, пожалуйста, что за Тиль Уленшпигель нашелся, черного дрозда на дудочку! Легкая вещь — поймать черного дрозда! Немногого же он захотел, черного дрозда! — Он, ухмыляясь, покачал головой. — Ну, так скажи ему, этому Курту: во-первых, сейчас дроздов еще не ловят, рано — это раз; здесь черных дроздов нет вообще, дрозд — птица лесная, а мы живем в саду, — это два! На черного дрозда, как вообще и на всех дроздовых, нужна не дудочка и не та паршивая мышеловка, что я видел у него, а совсем особое птицеловное приспособление: или волосяная петля, или хотя бы вот это, — он солидно щелкнул по своему механизму, — а в-четвертых, вот я сегодня приду и посмотрю, что это за птицелов! Это что? Тот самый, с которым вы ловили щеглов?

— Тот самый! Только, дядечка, миленький, — прыгал я и засмеялся, — дрозды здесь живут, я сам видел!

— Стой, молчи! Дрозд здесь жить не может! Я уж не знаю, кого он тебе там показывал, скворца, наверное, но только не дрозда. Правда, Брем, а за ним кое-кто из французов пишут о перемене в образе жизни и гнездований, происшедшей с дроздовыми за последнее столетие. Дрозды будто бы перекочевали в небольшие рощицы и даже сады. Но это в корне неверно, я проверил это и нашел, что Брем ошибается! Можно бы говорить еще о залетных особях, случайно появившихся в садах во время осенних перелетов, но никак не о том, что дрозд перекочевал в сады. Это неверно.

— Дядечка!..

— Стой, молчи! И не твоему Курту с его поганой свистулькой поймать такую благородную птицу, как дрозд! Это все равно, что вашей кошке на

лету задушить фазана. Когда говоришь о дрозде, всегда помни, что сказал о нем древнеримский поэт Марцелл:

Был бы судьей я, из всех мне известных пернатых
Первую премию дрозд получил бы, конечно.

— Вот что значит дрозд! А с этим Куртом ты зря знаешься, совсем он тебе не компания. Впрочем, нужно думать, что все это на днях же устроится. Однако... что, он тебе нравится?

— Ой, дядюшка! — сказал я восторженно. — Он такой хороший! Он Марте платок вышил и столько историй знает! — Я подумал и добавил: — Он еще и стихи сам сочиняет.

— Стихи?! — нахмурился было дядя, но тут же и рассмеялся. — Ну-ну, и садовник! Щеглов ловит, платки вышивает, на дудочке свистит, стихи сочиняет, только цветы разводить не умеет — вон на всех клумбах крапива. Бенцинг, Бенцинг!

— Никчемный человек, сударь, вредный человек, сударь, — быстро ответили из соседней комнаты, — цыган! Я такого и одного дня держать не стал бы! Без-з-здель-ник!

— Вот, слышишь, что говорят про твоего Курта? — рассмеялся дядя. — Ну ладно, ладно, посмотрим, что за Курт. Ты его пришлешь ко мне. Хорошо?

— Хорошо, дядечка, — сказал я. — И мы все трое пойдем ловить дроздов. Ладно?

— Да что это ты сводишь меня со своим Куртом? — нахмурился было Курцер, но вдруг согласился: — Ладно, пойдем! Это действительно интересно: что это за...

Снова вошел Бенцинг.

— Там молодого господина ищут по всему дому, — сказал он, — господин профессор хочет его за чем-то видеть.

— Иди, иди, голубчик! — заторопился Курцер. — Мы еще с тобой поговорим и о дроздах, и о Курте, а

сейчас иди скорее. Отец-то со вчерашнего дня не выходил из комнаты... Иди!

Я поднялся наверх.

Дверь кабинета была заперта, и на ней висела бумажка: "Занят, работаю". Я прислушался — было тихо, потом вдруг закрипел стул и послышались тяжелые, мягкие шаги. Отец пошел по комнате, подошел к двери и остановился. Мы стояли друг перед другом, разделенные только двумя сантиметрами дерева.

— Папочка! — сказал я тихо.

За дверью молчали.

— Ганс? — спросил отец. — Иди, иди, мальчик, иди к маме. У меня что-то болит голова, я к обеду не выйду.

— Папочка! — повторил я робко.

— Иди, иди, мальчик, я работаю.

Он отошел от двери и снова зашагал по кабинету.

Это я помню так хорошо, потому что с этого дня и начался тот бурный разворот событий, о котором я буду рассказывать дальше.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч,
О, если бы ты был холоден или горяч, но
поелику ты не холоден и не горяч, а толь-
ко тепел, я извергну тебя из уст моих.

Апокалипсис

Г л а в а п е р в а я

У профессора разболелась голова.

Он ушел в свой кабинет и заперся на ключ.

Ланэ, печальный и потерянный, целый день бродил по дому, натыкался на мебель, рассеянно говорил: "Что за дьявол!" — и качал головой.

Наверх он, разумеется, подниматься не смел.

На другой день к вечеру — профессор все сидел в кабинете, и обед ему подавали туда же, — Ланэ неожиданно встретил Курта.

Курт стоял за углом веранды и обтесывал какой-то кол. Обтесывает, возьмет в руки, как копье, посмотрит и снова начнет тесать.

Ланэ вышел из-за угла и чуть не угодил ему под топор.

— Уф! — сказал он, отскакивая. — Это вы, Курт?

— Я, — ответил Курт, продолжая работу. — Ваше письмо я передал.

— Да, да, — подхватил Ланэ, радуясь предложению начать разговор с Куртом. — Да, да, письмо. И прямо в руки? Как я и просил?

— А как же, — ответил Курт и, выпрямившись, поднял кол на уровень глаза, как подзорную трубу, — в самые что ни на есть собственные руки.

— Ну и что же?

Курт посмотрел, покачал головой, снова взял топор, положил кол на землю и, крикнув, как заправский мясник, отмахнул заостренный конец.

— Ну и что же, Курт? — несмело повторил Ланэ.

— Ну и... отдал письмо, — рассеянно ответил Курт, думая о другом. — Что за черт? Не то дерево такое, не то топор... да нет, что топор! Топор как топор. Неужели же я?.. — Он остановился в тяжелом раздумье.

— Нет, что сказал профессор? — продолжал робко спрашивать Ланэ.

— Ах, что сказал-то? Сказал: "Спасибо, Курт!"

— А мадам?

— И мадам сказала: "Спасибо, Курт!" Вот, — он повернулся вдруг к Ланэ и посмотрел ему прямо в лицо, — вот полюбуйте, третий кол порчу! И чему приписать, не знаю! Не то дерево такое, не то топор. Да нет, что топор! Топор как топор.

— Вот видите, — уныло поник головой Ланэ.

Курт взял палку и злобно, как дротик, метнул ее в другой конец газона, так, что она воткнулась в клумбу.

— Ну а тот? — спросил Ланэ, и слегка кивнул головой в сторону дома.

— Кто? Курцер, что ли? — громко догадался Курт. — Не знаю, я его совсем не вижу.

Помолчали.

— Третий кол! — покачал головой Курт и вздохнул.

— Я, Курт, на вас надеюсь! — вдруг заговорил Ланэ, смотря в землю и роя гравий носком ботинка. — Вы сами понимаете, что мне было бы крайне неудобно, если бы...

— Ну еще бы! — даже слегка фыркнул Курт. — Что я, совсем без головы, что ли? Мое дело какое? Мое дело — молчать. "Каждому шампиньону — помнить свою персону, каждому ореху — знать свою застреху, а каждому змею — ползти в свою галерею", —

вот и вся моя мудрость! Вы мне, а я земле — и все!
Вот!

Они снова помолчали.

— Вы сюда надолго? — спросил Курт, видимо, успокоившись и забыв про испорченную палку.

— Нет, вот только письмо передать и обратно.

— О! Письмо? Это какое же письмо? То же самое? — удивился Курт.

— Нет, то другое, — улыбнулся Ланэ его непониманию. — Это письмо такого рода, что профессор...

— ...запляшет от него, как щука на сковородке? — догадался Курт и пристально посмотрел на Ланэ.

И Ланэ смутился и даже испугался его взгляда, быстрого, насмешливого и очень ясного.

Этот человек, которого мельком видел он много лет тому назад, потом потерял из виду и забыл так же, как ежедневно мы забываем тысячи лиц, на минуту мелькнувших перед глазами и сейчас же ушедших в другую сторону, теперь опять встал перед ним, и он почувствовал, что не может разгадать его настоящего значения. Почувствовал он это только сейчас, но зато сразу же решил, что Курт не просто Курт, а кто-то еще, а вот кто — он не знает и может только догадываться. Может быть, шпион Гарднера?

И все-таки письмо он отдал ему, а не кому другому. Почему? Этого он тоже не мог уяснить себе.

В первую минуту подействовали, конечно, растерянность и невозможность быстро сообразить все обстоятельства, что ему иногда было свойственно: уж слишком хотелось Ланэ в ту пору показать профессору, что он не подлец. То есть, может быть, он и подлец, но какой-то особый подлец, такой, который, несмотря на все, в самой глубине своего падения сохраняет благородство. Ведь и падения-то бывают разные: один падает в пропасть, а другой просто в полойную яму. Разве можно его, ученого хранителя музея предыстории, сравнить с каким-нибудь дезертиром, попавшим в плен и со страху выболтавшим

все, что он знал и не знал? Это он уяснил себе ясно и хотел, чтобы так же ясно это понял и профессор.

А так как Курт согласился передать это письмо профессору немедленно, то он, не подумав, и отдал его Курту.

Итак, в первую минуту подействовали растерянность, необдуманность и желание скорей, скорей во что бы то ни стало спихнуть с себя хоть часть этого страшного груза.

Во вторую, когда Курт уже ушел, Ланэ быстро и растерянно подумал:

”Господи, что ж я такое сделал? Ведь это значит передать письмо прямо в руки Гарднера”.

Он даже схватил было шляпу, чтобы бежать за Куртом, но только вздохнул и вяло подумал: ”Теперь уж все равно. Будь что будет”.

Но в третью минуту он уже почувствовал глубокую, спокойную и ясную уверенность: отдал — и отлично сделал, что отдал! Пусть Гарднер прочтет и узнает, что он, Ланэ, хотя и от убеждений своих не отказался, но и в их лагерь перешел с открытыми глазами и бежать обратно не собирается. Но в то же время он осознает глубину своего падения и ужасается ей.

”И профессора Мезонье призываю к тому же, вот что им особенно важно, — мелькнуло у него в мозгу быстро и воровато. — Ну а про обезьяну тогда зачем? — вспомнил он. — Эх, и висеть же мне за эту обезьяну на одной перекладине с Гагеном!”

Но и тут он нашел себе оправдание и почти успокоился на нем, а потом плюнул и сказал: ”А в общем, будь что будет”.

В тот же день он все-таки позвонил Гарднеру и попросил принять его и выслушать.

— А что? Что-нибудь очень спешное? — спросил Гарднер. — Если нет, то, может быть... Видите, я сейчас так загружен, что, право, даже и не знаю...

Но Ланэ сказал ему, что дело очень важное и ждать он никак не может. На него уже находило то

отчаяние трусости, которое иногда толкает людей на подлинно геройские поступки.

— Ладно! — ответил Гарднер, подумав. — Тогда приходите сегодня ночью. Я закажу пропуск.

В большом и гулком вестибюле, где перемешались все восточные стили — между крылатых быков с человеческими головами, черных фивейских сфинксов, высеченных из твердого и блестящего камня, базальта, наверное, толстых и трехгранных колонн, увенчанных распускающимся лотосом, и фресок, где все люди изображались с поднятыми руками и только в профиль, Ланэ заставили долго ждать.

То есть пропуск на него был уже заготовлен, но маленький, сухонький, аккуратный человек в пенсне, сидящий на их выписке, поглядел на него и спросил:

— Ланэ? Есть, есть пропуск! Одну минуточку! — и снял телефонную трубку.

— Придется подождать! — сказал он через минуту. — Вон на ту лавочку присядьте, пожалуйста.

Ланэ сел и огляделся.

Особняк раньше принадлежал акционерному обществу "Ориенталь", и в нем помещалось правление. Теперь его заняло гестапо.

Чистота везде была прежняя. Каменный пол из глазированных голубых плиток со стилизованным изображением озера, обсаженного пальмами, был чисто вымыт и блестел так, что местами даже испускал неяркое, матовое сияние. Но вот кое-где дорогие фрески были залеплены какой-то серой бумажной шелухой, на дорогом столе из белого, едва ли не каррарского, мрамора лежала грязная газета. На ней стоял черный от копоти чайник. Ланэ поглядел на фивейских сфинксов и увидел, что кончик носа у одного из них слегка отколот.

"Неужели они стреляли в него?" — подумал он и встал со скамейки.

На львином теле сфинкса в одном месте виднелась черная впадина, в другом — след от удара каким-то железным орудием, ломом, может быть. На серой колонне какой-то осел много раз подряд химическим карандашом написал свою фамилию и украсил ее огромным росчерком и закорючкой.

— «К чему же это?» — даже с некоторой оторопью подумал Ланэ. Он подошел к фрескам.

На одной из них фараон Рамзес Великий, поднявшись на боевой колеснице, стоя поражал своих врагов из лука. Но тело фараона выглядело обезглавленным. Верхнюю половину его закрывал плакат. Огромный черный паук с человеческой головой и мохнатыми лапами плел паутину вокруг земного шара. Лицо у паука этого было жирное, обрюзглое, с кривым орлиным носом, наглые глаза навывкате, двойной подбородок и черные же курчавые волосы. Внизу плаката помещался неуклюжий стишок в четыре строчки, с двумя восклицательными знаками на конце. Буквы были готические, и от этого убогий стишок выглядел еще более тяжелым и никчемным.

— «Господи, кого же они тут еще агитируют?» — горестно подумал Ланэ.

Потом пришли двое в глухой военной форме и синих фартуках поверх нее, принесли с собой лестницу и стали обмерять стену. Мерка проходила как раз через фигуру Рамзеса.

— Все мерите, строители? — насмешливо спросил человек, выписывающий пропуска. — Строить-то когда же будете?

Один из пришедших полез наверх, другой остался внизу и достал записную книжку.

— Восемь сорок три! — крикнул человек сверху. — Записал? Не плачь, сошьем тебе конурку, будешь сидеть да поплевывать...

— Вы сошьете! Вы уж сошьете! — не обижаясь, ухмыльнулся тот. — Ваше дело — курятники строить, да и то я бы...

— Да не плачь, сошьем! — крикнул тот, что стоял внизу.

”Ну, пропали фрески! — скорбно подумал Ланэ.— Настроят они тут курятников!”

В это время зазвонил телефон. Сухонький человек в пенсне взял трубку, послушал немного и крикнул:

— Господин Ланэ, идите сюда, сейчас вас проведут!

Его повели по длинным коридорам, залитым белым светом неоновых ламп.

Стены и двери были свежевыкрашены, и в коридоре пахло свежей замазкой. В конце, где коридор переходил в лестницу, стояли две лавки, и на них сидело несколько человек в военной форме. В другом месте и около другой лестницы Ланэ встретил человека, который шел между двумя солдатами. Поравнявшись с Ланэ, человек взглянул на него и остановился.

Остановился и Ланэ.

Человек выглядел очень грязным, растрепанным, давно не бритым. Сорочка у него была в ржавых пятнах, один рукав пиджака был мокрым и черным, на другом была дыра, и из дыры лезли какие-то тряпки. Ланэ с трудом узнал в этом оборванце журналиста Швейцера.

— Боже мой! — сказал он ошарашенно. — Это вы!

Швейцер вдруг оттолкнул солдата и рванулся к нему.

— Жене передайте! Улица Марикер, двадцать восемь, — несвязно заговорил он, хватая Ланэ за одежду. — К своей матушке... пусть едет к своей матушке... Господин Ланэ... Господин Ланэ... Вы понимаете, они хотят, чтобы я... — Он все цеплялся за его одежду.

— Стой! Куда? — крикнул, опомнившись, солдат и рывком за ворот отбросил Швейцера.

— Улица Марикер, двадцать восемь! — отчаянно крикнул Швейцер, падая.

— А вы чего тут слушаете? — набросился на Ланэ солдат с двумя нашивками, очевидно, ефрейтор. — Вам чего? Где ваш пропуск? Кто вас вызвал?

— Альфонс Коппе должен мне две тысячи пятьсот, — кричал Швейцер с пола. — Пусть жена возьмет их...

— Ты!.. — рывкнул на него солдат и занес руку для удара. — Будешь ты молчать или нет?!

— Идемте, идемте, — сказал Ланэ тот, который его вел, — идемте, не задерживайтесь.

Ланэ слепо посмотрел на Швейцера, приоткрыл рот, чтобы что-то спросить, но вдруг прыгнул в сторону и побежал по лестнице.

Но на лестнице его остановили опять.

Высокий офицер, который, очевидно, стоял тут с самого начала и все слышал, загородил ему дорогу и спросил:

— Вы к кому идете? Где ваш пропуск?

Ланэ растерянно сунул ему в руки бумажку.

— Ага! — кивнул головой офицер. — Отлично, идите! — и отдал пропуск обратно.

Он спустился с последней ступеньки и зашел в кабинет напротив.

Когда Ланэ добрался до Гарднера, тот только что положил трубку и что-то записывал на полоску бумаги.

Кивком головы он отпустил солдата и показал Ланэ на кресло перед собой.

— С кем это встретились в коридоре? — спросил он безразличным тоном.

— Со Швейцером, — ответил Ланэ и почувствовал, что бледнеет.

— Вы с ним были знакомы?

— Я был с ним знаком, — оцепенело сознался Ланэ (врать он уже не смог бы).

— Так вот! Можете выполнить все его поручения. Не полагается это — ну да уж что делать. Раз так вышло. Только вот что. — Гарднер значительно улыбнулся: — От передачи ваших собственных впечатле-

ний воздержитесь! Зачем расстраивать женщину? Ведь она и так страдает, незачем же причинять лишнюю боль там, где это не нужно? Не правда ли?

— Правда! — с восторгом согласился Ланэ. — Ах, это такая правда!

После того как он уверился, что ему ничего не угрожает, он почувствовал такое облегчение, такую бурную радость, такую легкую и даже восторженную готовность пойти на любую подлость, что даже в голове у него зашумело, как от легкого вина.

— Когда же вы сходите к госпоже Швейцер? — спросил Гарднер.

— Да нет, нет, — заторопился Ланэ. — Зачем я туда пойду? Вы не думайте, пожалуйста.

— Ну вот, почему же не пойдете? Сходите! Обязательно сходите! И скажите ей и про долг и про то, чтобы она уезжала. С какой стати женщина будет страдать за чужой грех? Она, может быть, о нем и не знала совсем! Нет, сходите, сходите! Обязательно даже сходите! Мы ничего не имеем против. И даже, наоборот, я прошу вас сходить! Пусть она не бежит к нам и не отнимает у нас понапрасну время. Ох, эти женщины! Беда, господин Ланэ, когда жизнь их выбрасывает за пределы грех Ка.

— Трех Ка?! — радостно взвизгнул Ланэ.

— Трех Ка, — улынулся Гарднер.

— Трех Ка! Трех Ка! — с почти истерическим восторгом повторял Ланэ. — Какая это глубокая правда! Это ведь немецкая народная мудрость? Народная мудрость, не правда ли?.. Три Ка! Я завтра же схожу к госпоже Швейцер!

— Сходите, сходите, — кивнул головой Гарднер и погладил себя по волосам. — Ну, а что за разговор у вас ко мне?

Ланэ довольно связно рассказал ему о письме, и рассказал, конечно, только то, что считал нужным сказать, и от этого понять можно было не все.

— Но вы писали ему, — перебил его Гарднер, — что вы окончательно и бесповоротно порываете со

своим прошлым, что иллюзий насчет реванша и реставрации быть не может и что он только тогда сохранит свое место и даже жизнь, если безоговорочно последует вашему примеру?

— Ну разумеется! — воскликнул Ланэ, обрадованный тем, что Гарднер не старается уточнять вопрос в нежелательном для него направлении. — По существу, только об этом я и писал!

— Так в чем же тогда дело? — удивился Гарднер, который уже очень ясно понимал, что и такое мог нагородить Ланэ. — Что ж вы еще волнуетесь?.. Профессор Мезонье — ваш учитель, и личные отношения с ним мы вам никак не можем запретить! "Хоть кривой, да свой!" — говорят в Чехии.

Ланэ потел и елозил по стулу.

— Да ну же, в чем дело? — мягко подстегнул его Гарднер.

— Дело в том, что некоторые выражения... Я ведь писал о себе... — выдавил наконец из себя Ланэ. — Видите ли, кто-то из наших публицистов сказал: "Никогда и никто не бывает побит так сильно, как раздавленный собственными доводами". (Разумеется, что эту цитату Ланэ выдумал только что, потому что надо же было на кого-то сослаться.) Так вот я...

"А что он так противно трясется? — неприязненно подумал Гарднер. — И кто это его царапнул по щеке? С женой он, что ли, подрался? — Он скользнул взглядом по фигуре Ланэ и dokonчил привычно ту же мысль: — Вот, наверное, сопит и потеет. И как она с ним живет?"

— Одним словом, — сказал он громко, — делайте и пишите что вам угодно, но если вы уж взялись за эту почетную задачу — сохранить вашего учителя, то и не забывайте основного: убедить профессора в том, что для игры в страусы он выбрал неподходящее время. А чтобы облегчить вам это, я думаю, будет не лишним, если мы отправим вас к профессору для личных переговоров.

— Что?! — в ужасе вскочил Ланэ, совершенно забыв о том, где он находится. — Мне лично?

— Ну да, вам! Лично! — твердо повторил за ним Гарднер. — Лично вам! А что вы так испугались? Ничего страшного тут нет! Приедете вы, разумеется, от себя, но только привезете от нас ему некий документ. То есть опять-таки не от нас, а от коллектива работников вашего института. Вот и поговорите тогда с ним лично обо всем. Кстати, вы и о письме своем потолкуете. Вы не смущайтесь, что в нем вы не пощадили себя, — это мы вам в вину никак не поставим. "Унижение паче гордости" — в данном случае это изречение как раз подходит... Впрочем, это еще не сейчас, а потом, через некоторое время... Да, — вспомнил он вдруг, — кстати! В прошлый раз вы показали, что Ганка назвал того человека, которого вы видели у него, Отто Грубером. Скажите, ну а профессор Мезонье этого Отто Грубера не видел и не знал?

— Нет, не знал! — быстро ответил Ланэ.

— А почему вы так уверены? — вцепился Гарднер.

— Ну, во-первых, он пробыл у Ганки всего один день, во-вторых, профессор никогда не мешался в политику!

— Как и вы? — улыбнулся Гарднер.

— Как и я!

— Как и Ганка!

— Как и Ганка! — ответил с разбегу Ланэ и спохватился: как же так, политикой не занимался, а арестован за политику. — Ну, о Ганке-то я, собственно, не знаю, — поправился он. — Ведь вот вы его...

— Политикой не занимался, — Гарднер выдвинул ящик стола и достал книгу в пестрой обложке. — Ну а вот эту статью в "Ежемесячном обозрении" как назвать иначе, как не самым наглым протаскиванием политических идей под видом чистой науки?

— Это верно, — уныло сознался Ланэ.

— А книга профессора Мезонье, где он пытается опровергнуть наше миропонимание в самых истоках

его возникновения и отнять наше историческое право на переустройство мира? Неужели это тоже не политическая, не четко политическая концепция? А? Как, по-вашему?

— Вы правы! Это политика! — опять согласился Ланэ.

— Отнимите у нас наше право, выработанное историей, нашу кровь и наш дух, сложившийся в течение тысячелетий, заставьте нас отречься от учения о нашей исключительности — и что тогда останется от нас? Слепая военная машина — и только? Не правда ли?

— Правда! — снова согласился Ланэ.

— То-то, что правда, и вот это вам и нужно объяснить профессору. Он либо не понимает этого действительно, либо делает вид, что не понимает. Не посылать же мне ему на дом брошюрки министерства пропаганды! Он, вероятно, и не представляет себе, насколько серьезно стоит вопрос о нем и о его институте, все думает отделаться шуточками этого, кого он там цитирует?.. Платона, что ли, или кого?

— Сенеку! — усмехнулся Ланэ.

— Отделаться шуточками да цитатками из Сенеки. Нет, это теперь не пройдет. Мы кровь проливаем, а он чернила льет, но право-то крови всегда выше права чернил. Передайте ему это. Он любит афоризмы.

— Скажу, все скажу, — заторопился Ланэ и подумал: "Боже мой, он ведь по-настоящему волнуется!"

Гарднер сидел и смотрел на Ланэ.

— Вот и ваше письмо тоже политика, — сказал он вдруг.

"Пропал! — ужаснулся про себя Ланэ. — Уже читал! Значит, Курт действительно предал меня".

— Только правильная политика, умная политика, такая, которая нам нужна, поэтому, — Гарднер встал и очень дружелюбно, совсем как равному, протянул Ланэ руку, — и поэтому до свидания, господин Ланэ!

Вот ваш пропуск! Идите и спите себе спокойно! Мой привет вашей супруге...

Ланэ откланялся и, пятась, пошел к двери. Но тут Гарднер снова окликнул его:

— Когда вы побываете у жены Швейцера с поручением от ее мужа, то... Вы когда у нее будете?

— Завтра утром! — смиренно ответил Ланэ.

— Так вот, после этого позвоните мне, только из собственной квартиры, разумеется. Хорошо?

— Хорошо! — ответил Ланэ.

— Так спокойной ночи! — кивнул головой Гарднер и раскрыл какую-то папку.

Снова коридор, запах масляной краски, неоновые лампочки, первая лестница, вторая лестница, фивейские сфинксы — один с отколотым носом, — обезглавленный Рамзес, поражающий врагов, паук с человеческим лицом, последняя дверь — и вот она, улица!

— Уф! — вздохнул с наслаждением Ланэ и потер переносицу. "Жив! Слава Богу, жив! Вот оно! Не так, как Ганка и Швейцер! Три Ка! Три Ка! Какие же это три Ка? Кюхе, киндер, а что третье? Клейдер или кирхе? А Гарднер совсем не страшный..."

Вдруг он вздрогнул.

"Сходите к госпоже Швейцер и после позвоните мне, но только из своей квартиры", — раздалось у него в ушах. — Зачем же ему звонить? Звонить после посещения?.. Значит..."

Он стоял, смотря в темноту. Ветерок налетел и погладил его по лицу. Он досадливо поморщился.

"Значит, я все-таки стал его агентом? — решил он вдруг с печальным, но спокойным убеждением. — Как же это так получилось? Этот Швейцер? Да и не Швейцер сначала, а Курт! Да и не Курт даже, а кто же? — Он вдруг усмехнулся и махнул рукой. — Ах, да что тут думать. Не все ли равно, кто! Важно, что я достучался!"

...Вот все это и вспомнил Ланэ, глядя на Курта. Теперь все это было позади, но как бы там ни было, видеть шпиона Гарднера было ему неприятно.

А Курт поднял с земли новый кол — четвертый, наверное, — и стал тесать его быстро и умело, сбрасывая на землю красивые белые стружки. И кол заблестел и становился все более похожим на клык.

— А вы Курцера не видели? — спросил Курт.

— Да ведь он, кажется, у себя в комнате. А что? — спросил Ланэ, смотря на Курта.

— Да так... Не хотелось бы мне ему на глаза попадаться.

Это неожиданное признание так озадачило Ланэ, что он даже стал на мгновение в тупик.

— Разве вы его... — начал он.

— Нет, — предупредительно пояснил Курт, — не знаю, то есть я знаю, но... да и нет, не знаю... Просто не хочу встречаться — и все.

И тогда, смотря на его сердитое и даже чуть расстроенное лицо, Ланэ вдруг мгновенно понял все.

Ну, конечно, так оно и есть, совсем не шпион Гарднера этот малый, и не служит он в гестапо, а просто несет тайную охрану Курцера. Ведь это так ясно. Во-первых, он прибыл одновременно или даже, может, немного раньше, чем немецкие войска вошли в город; во-вторых, когда не было Курцера в городе, не была на даче и Курта. Курцер появился в городе — Курт пришел на дачу. Все осмотрел, обнюхал и подготовил. В-третьих, теперь понятны слова Курта, что он не хочет показываться на глаза Курцеру. Охраняемые почти всегда не терпят своих охранителей: они обязательно напоминают о тех, от кого надлежит их охранять, — сколько раз Ланэ читал об этом в мемуарах. В-четвертых, понятно и то, почему около Курцера нет никакой охраны. Она есть, но тайная: один или двое — Курт и камердинер — несут службу в самом доме профессора, остальные ограничиваются внешней охраной. Оно и понятно. Кого можно опасаться в самом доме? Профессор, его жена, Ганс, служанка Марта — вот и все, кто есть внутри. А что сад хорошо охраняется снаружи, это он видел сам: прежде чем дойти до дома профессора, ему пришлось

встретиться с тремя пикетами, и один был у самой калитки. Сидел человек в белом костюме и курил папиросу, а когда Курт подошел к калитке вместе с камердинером, он спросил: "А кто это?" И тот ему что-то быстро и тихо ответил. Теперь и еще одно понятно: отчего Курт ловит птиц — занятие, кажется, не совсем подходящее для садовника и очень подходящее для человека, обслуживающего (пусть даже тайно) Курцера: единственно только этим Курт способен заслужить благоволение своего хозяина, а если он еще научит этому и племянника... Да, хитрая бестия, чертовски хитрая и продувная бестия этот Курт!

Они стояли, смотря друг на друга.

— Вы только, пожалуйста, профессору не проговоритесь, — вдруг сказал Курт, словно прочитав мысли Ланэ, и это окончательно утвердило Ланэ в его догадке.

— Ну вот, — обиженно сказал Ланэ, — действительно, стану я... — И сейчас подумал: "Обязательно надо предупредить профессора: ведь он все-таки пришел с письмом от меня, ему доверяют, а я..."

— До свидания, Курт, — сказал он печально и пошел по дорожке.

Глава вторая

Ланэ так и не нашел Курцера. Тот был в городе.

Их было трое в его просторном кабинете — сам он, полковник Гарднер и еще одна персона, очень, очень видная. Несколько странным казалось только то, что это был маленький черноволосый человек, с длинным черепом, крупными, резкими чертами лица, столь острыми и прямыми, словно кто-то взял топор да и вырубил его из камня. У него было желтое лицо и большие, светящиеся глаза. Очень страшные глаза были у этого могучего и чахлого уродца, такие глубокие и ясные, что тот, кто глядел в них, чаще всего вспоминал даже и не зверя, а какую-нибудь крупную

хищную птицу или гада, — например, бывают такие пристальные и синие глаза у сетчатого питона, которого можно видеть в любом порядочном зоопарке.

Курцер ходил и говорил.

Гарднер стоял, прислонясь к переплету большого венецианского окна, и слушал. Время от времени он скидывал руку и молча, медленно, плавно проводил по волосам — постоянный жест его, когда он к чему-нибудь прислушивался или ждал и думал.

Сейчас он радовался. Курцер сердится и, видимо, говорит невпопад, а по тому, как внимательно и даже почтительно слушает его этот уродик, по тому, как он неподвижно сидит, поддакивает ему и сочувственно улыбается, по всему этому Гарднер уже ясно видел — Курцер запоролся, потерял меру возможного и допустимого и, кажется, ломает себе шею. Эти уродцы куда как злопамятны!

А Курцер говорил зло, вежливо и спокойно.

— Поверьте, я отнюдь не заинтересован в уничтожении этого старого маньяка. Если ваше министерство находит, что он должен существовать, ну что же, — Курцер пожимает плечами и делает жест рукой, — я только очень рад. Да, да, я очень рад. Вот и все, что могу сказать. Ведь, как-никак, вопрос-то идет о моей семье, этого забывать все-таки не нужно.

— А кто вам сказал, что мы забываем? — ласково улыбнулся уродик и поглядел смеющимися глазами на Курцера сначала, на Гарднера потом.

”Эх, — довольно подумал Гарднер, опуская ресницы, — это, что называется, в самый глаз”.

Курцер наклонил голову, вынул из кармана зажигалку, подбросил ее на ладони, и губы у него дрогнули.

Карлик посмотрел на него снизу вверх, полез в карман, вынул двумя пальцами длинную, тонкую коробку с папиросами, открыл ее и протянул Курцеру.

— Турецкий табак особой выдержки, — сказал он. — Курю только по ночам, когда работаю. Замечателен по действию на нервную систему.

Курцер взял коробку, выбрал длинными и тонкими пальцами одну кремовую папиросу, но курить ее не стал, а так и продолжал держать в руке.

— Я надеюсь еще и на то, — сказал он, несколько даже резковато, — что ваше министерство учитывает и двусмысленность того положения, в котором я очутился. Как бы там ни было, враг или не враг Мезонье, но он мой родственник, и поэтому вся эта история дается мне далеко не легко. А вот нужна ли она кому-нибудь, право же, я в этом сомневаюсь.

— А вот не надо вам сомневаться, — мягко сказал уродец, закуривая. — Она очень нужна и очень своевременна. — Он поискал что-то в кармане. — Что же касается до двусмысленности положения, то, как я полагаю, вы уже довели все до логического и желательного конца. Долго задерживать мы вас тут теперь не будем... — Он улыбнулся. — Хорошо сказал Шиллер: "Я сделал свое дело, теперь черед за вами, кардинал". Кардинал-то я, конечно, — усмехнулся он совсем уж добродушно. — Как вы думаете, полковник?

— Ну, — сказал Гарднер, — сделали мы все-таки много. За месяц Германия приобрела единственный в мире институт с таким штатом сотрудников, что этим шавкам и думать нечего о том, чтобы начать лаять на нас за поверженную науку.

— Слышите? — сказал уродец. — Тут и я согласен с нашим коллегой. Он ведь действительно хорошо поработал. Да, результаты несомненны, — он откинулся на спинку кресла. — Теперь хозяева науки о расе — мы. Теперь наш взгляд — это взгляд всей передовой науки. Вот наше величайшее достижение. Ради этого стоило нам и вас потревожить, доктор Курцер. Стоило, стоило. Что же касается вашего двусмысленного положения — ну, чем же оно уж так двусмысленно? Ведь вы все-таки спаситель. Что бы было с семейством Мезонье, если бы не вы? Не правда ли, господин Гарднер?

— Правда, — сказал Гарднер. — С этим уж не поспоришь.

Курцер как будто мельком, но так поглядел на Гарднера, что у того сразу дрогнула челюсть.

— Мой коллега, — сказал Курцер, крепко растирая папиросу о стол, — конечно, неправ. Ему, работающему на столь малоинтеллектуальном участке, извинительно еще радоваться нашей победе, но он скоро увидит, как мало эта победа чистого интеллекта убавит у него черной, повседневной работы в его собственном ведомстве, и — пусть уже он извинит меня за резкость! — не об этом ему стоило бы сейчас думать.

— А о чем же? — спросил карлик, с удовольствием поглядывая на обоих. — Может быть, вы разъясите и это, доктор? Беседа-то у нас товарищеская, доверительная.

Курцер глубоко сел в кресло.

— А вот хотя бы об улучшении своего аппарата. За этими академическими диспутами об обезьянах он совершенно забросил свои текущие дела. Вот хотя бы ближайший пример: мы здесь все время говорим, что нам предстоит огромная и очень интенсивная работа по освоению страны, начиная с ее первой и обязательной стадии, то есть самой жестокой дезинфекции ее сорокапятимиллионного населения. Двадцать два миллиона из них, то есть почти половина, находятся в ведении полковника Гарднера. И вот как ни странно, но оказывается, что полковник Гарднер не учел специфики своей работы. Прежде всего от него требуется введение хорошо развитой системы заключения и уничтожения, соответствующей тем специальным целям, которые мы ставим. Если этого нет, то ничего нет, это же нам понятно. Но в том-то и беда, что понятно нам, а не полковнику Гарднеру. Что же он делает? Прежде всего оставляет нетронутым старый концентрационный лагерь, доставшийся нам по наследству от павшего правительства, но набивает его уже до отказа. Что ни делай, для ста тысяч чело-

век он мал. Больше трети туда не всунешь, даже при изобретательности Гарднера. Люди начинают вымирать в таких темпах, что полковник чешет затылок. Но только чешет, а не думает. Нет, моего коллегу не легко заставить думать. Он наскоро разбивает второй лагерь, численностью на восемьдесят тысяч человек. Я видел, что это такое. Колочая проволока в два ряда, какие-то купальни вместо бараков, два дачных коттеджа вместо управления. В общем, луна-парк, а не лагерь, — все построено из спичечных коробок. Но через неделю, конечно, и этот лагерь мал. Берлином дается распоряжение позаботиться о разгрузке. Где же это делается? А вот где. Здесь же, в лагере, за оградой, а то и еще того лучше, — во дворе гестапо. Средства? Пуля, петля, топор, то есть излюбленный ассортимент полковника. Минуточку, минуточку, Гарднер, не перебивайте меня! Я уж, с вашего разрешения, закончу свою мысль. Мой высокий коллега спросит: что из этого получается? Во-первых, конечно, огласка. Все время около зоны оцепления появляются какие-то женщины. Так вот изволь возись еще и с ними. Но полковника Гарднера смутить не скоро. Он приказывает: забирать и уничтожать. Хорошо. И забрали и уничтожили. А детей куда же? И детей уничтожать? Но, знаете, есть пределы даже для человеческого терпения. Волна недовольства нарастает. Начинают появляться листовки, трактующие все эти события в самом нежелательном для нас смысле. За границу просачиваются сведения — и даже довольно точные — о лагере смерти. Начинают трещать бульварные газеты. Какого-то ребенка ловят, вывозят за границу — и вот результат: в иностранной печати опять появляются сведения о лагерях уничтожения — и теперь уже в самых солидных и правительственных изданиях. Вот, не угодно ли полюбоваться? — Он встал, неслышными, рысьими шагами подошел к столу, вынул из него большой пергаментный конверт, открыл и положил на стол кипу вырезок. — Пожалуйста! "Таймс" — большой подвал. "Ге-

ральд ньюс” — два столбца в статье ”Комбинат смерти”, ”Нью-Йорк геральд” — тут еще скромно, сорок строк, на третьей странице ”Правды” очень хорошо ориентированная статья. И главное-то — теперь эти сведения настолько уже конкретны, что даже и фамилия Гарднера появляется полностью, с тем пышным набором эпитетов, которые ему сопутствуют повсюду. Приятно ему это? Думаю, нет. Но нам это еще менее приятно. И вот, наконец, в одной из крупнейших английских газет появляется и моя фотография. Оказывается, я коллега господина Гарднера. Он разбойничает, а я стою и благословляю его. Не так ли, Гарднер? Видите, вы молчите!

— Одну минуту, — сухо ответил Гарднер, — я сейчас отвечу вам.

Он подошел к столу и повернул выключатель. И сейчас же на столе затеплился большой, с человеческую голову, желтый шар. Он горел каким-то необычным, ровным, желтым, тусклым светом, и поэтому сразу же все, что было вокруг него — стопка бумаг, зеленое сукно стола, чернильная бронза и розовый фарфор — померкло, стало неподвижным, мертвенно желтым и странным.

— Ну-с? — спросил Гарднер. — Что вы теперь скажете? Эта лампа вам ничего не осветила?

— Но ведь это... — ответил карлик ошалело, — это похоже...

Это ни на что не было похоже, и поэтому фразу он не окончил.

Шар не был пустым. Со всех сторон он был разрисован тончайшим, точечным узором — голубым, зеленым, красным. И чего только не было на нем! И корабли с надутыми парусами, и черные якоря, и кресты, и цепи, и змеи, и какие-то надписи, и голые красавицы.

— Интересно? — спросил радостно Гарднер.

— Да что же это такое, наконец? — спросил карлик, поворачиваясь к Курцеру.

Курцер, усмехаясь, пожал одним плечом.

— Демонстрируется моя коллекция татуировок, — сказал он спокойно и иронически посмотрел на Гарднера. — Только я не знаю: почему полковнику полюбился именно этот абажур! Он сделан из второсортных дубликатов и ничего особенного не представляет. У меня есть и куда лучшие экземпляры.

Карлик с испугом поглядел на Курцера, встал, подошел к абажуру и тихонько потрогал его пальчиками.

— То есть это человеческая кожа, — сказал он осторожно. — Вы коллекционируете?.. Странная, право, коллекция! Если бы она попала за рубеж, была бы большая неприятность.

— Ну, — сказал Курцер, — если бы и полковник Гарднер попал за рубеж, то тоже была бы неприятность! Но разрешите, я продемонстрирую вам свои альбомы полностью? Полковник Гарднер, тогда уж будьте любезны, докончите вашу демонстрацию. Вон там, в нижнем отделении моего стола — он не заперт, — лежат альбомы. Дайте-ка их сюда!

Альбом, который подал Гарднер, был огромным, тяжелым, переплетенным в крокодиловую кожу. Большими латинскими литерами на переплете было вытиснено: "Татуировка как реликтная форма первобытных тотемов. Альбом I. Неисторические народы Европы".

— Эту коллекцию я собираю ровно десять лет, — сказал Курцер. — Здесь больше двух тысяч образцов, представляющих татуировочное искусство двадцати народов и шестидесяти трех профессий. История каждого образца подробно прослежена в моей монографии.

— Действительно, любопытно, — сказал карлик, потянул к себе один альбом и быстро перебрал несколько тяжелых серых листов картона с серебряным обрезом. Четырехугольные и круглые, смотря по характеру рисунка, образцы были глубоко врезаны в эти листы и сверху покрыты еще светлым, прозрачным лаком. Внизу стоял номер и этикетка, очень

короткая — только год, место и профессия того, с чьей груди, спины или руки был содран экспонат.

Карлик небрежно листал альбом.

”Иоганн Ранке, немец, рабочий завода Цейса, 1940 год”. Портрет красавицы. Старательная, тонкая работа, чувствуется рука профессионала.

Следующая страница.

”Тереза Лафортюн, Париж, проститутка, осуждена за укрывательство”. Две обнимающиеся обезьяны. Тщательная работа иглами в несколько цветов.

”Ван ден Гроот, профессия не выяснена”. Морская змея, поднимающаяся из запенившегося океана. Грубая матросская работа. ”Педерсен, Копенгаген”. Без всякого обозначения и статьи. Аккуратный, мелкий пунктир — герб Советского Союза.

”Неизвестный”. Женщина с заломленными руками. Очень хороший, точный рисунок, а под ним:

Пусть сердце биться перестанет.
Когда забуду я тебя.

”Джонс Старк. Английский моряк”. Скелет во фраке держит в руке свой улыбающийся череп. Крышка с черепа снята, видны румкорфовы катушки, спирали, какие-то валики.

”Фамилия неизвестна. Летчик, приземлившийся в Голландии”. ”Особое обращение”. Крупная зеленая татуировка — орел.

”Райкнопс — профессиональный бандит”. Бутылка вина, женщина, три карты. Надпись:

Вот что нас губит!

Неизвестно, с чьей груди содранный образец. Цветок розы, надпись:

Твое имя пребудет со мной вечно.

Грубый, циничный рисунок из двух фигур и надпись, от которой у карлика рот полез в стороны.

Солнце.

Дельфины.

Бутылка.

Чьи-то сплетенные инициалы.

Сердце, пронзенное стрелой.

И наконец: снова огромный — с носовой платок — государственный герб Советского Союза и какая-то надпись русскими буквами.

— Откуда этот экземпляр у вас? — спросил карлик и закрыл альбом.

На этот вопрос ответил Гарднер. Он был очень зол и поэтому шел ва-банк.

— Вот, — сказал он, — с этого вопроса и надо было бы начинать. Вы спрашиваете, откуда этот экземпляр? Я могу вам кое-что рассказать об этом. Хорошо. Я — зверь, хам, грубая скотина. Я не понимаю, не ценю тонкую душу моего коллеги и начальника. Но, осмелюсь доложить, я иным-то и быть не могу. Я — солдат. Мое рабочее орудие — рука, а не мозг или язык, как бы они быстро у меня ни вертелись.

— Они у вас вертятся достаточно быстро, — сказал Курцер, — но не всегда к месту.

— Извините, коллега, — сказал Гарднер, — но я слушал вас до конца, разрешите же и мне сказать кое-что. Так вот. Пусть наш высокий коллега скажет, кто я такой и что обслуживаю. При экспериментальной лаборатории доктора Курцера или при концентрационном лагере, доверенном мне приказом самого военного министра? Этот вопрос нуждается сейчас же в максимальном уточнении, ибо у моего высокого ученого коллеги на этот счет особое мнение. Ему думается, что я главный лаборант при его станции, где содержатся подопытные собаки, и его очень удивляет, если я возражаю против этого. Взять эти опыты с газами высокой концентрации. Вот получаю приказ, читайте. "Лицо, содержащееся по делу № 24581, должно быть немедленно казнено. Вещи, находящиеся в его пользовании, изъяты и уничтожены. Лагерное дело, равно как и все остальные документы, должно быть переслано в распоряжение следственного отдела министерства. Начальник след-

ственной части пятого особого отдела Фогт". Ясно? Ясно. Скажите, к чему же я поведу этот № 24581 в газовую камеру, буду собирать еще партию или ждать, когда она соберется, когда написано "немедленно"? Значит, вот и все! — Он щелкнул себя по виску. — Делаю соответствующее распоряжение, чтобы покончить с этим в семь часов утра на следующий день. Вдруг влетает ко мне господин Курцер и...

— Слушайте, — встал с места Курцер, — господин Гарднер, я бы вас все-таки попросил как-то выбирать выражения. Что это значит "влетает"? Даже я не говорю о вас так.

— Извините, извините, — кисло улыбнулся Гарднер. — Итак, говорю, вдруг входит мой высокий коллега и спрашивает меня: "Поступил к вам приказ о казни № 24581?" — "Поступил". — "Это тот самый субъект, которого я осматривал?" — "Тот самый". — "Так вот, будьте любезны, доставьте его труп моему препаратору". — "А вот этого, говорю, никак не могу. По точному смыслу документа все, что останется от осужденного, должно быть уничтожено. Тело я кремирую". — "Пожалуйста, кремируйте, но до этого я хочу иметь с груди осужденного лоскут кожи величиной с носовой платок". Я говорю, что не имею же права этого делать. Тогда обида и угроза. Приходится покориться. Но ведь этим же я совершаю преступление. Арестант был засекречен настолько, что его в лагере-то не держали, он все время в одиночке сидел. Ведь татуировка-то — опознавательный знак! Мой высокий коллега как-то не хочет с этим считаться. С его коллекцией вообще, — извините меня, господин Курцер, — происходят черт знает какие странности. Ведь прежде всего неизвестно, в чьи руки она попадет и какая судьба ее постигнет.

— Интересно, — сказал Курцер и встал. — Вот это очень интересная мысль. Ну а за судьбу национал-социалистической партии вы не побойтесь поручиться?

Губы у Гарднера вздрогнули. Он искоса поглядел на карлика. Тот сидел в кресле, положив руки на поручни, и улыбался.

— Если бы у руководства партии были бы такие вожди, как вы, господин Курцер... — начал Гарднер, помедлив, глухим и каким-то отдаленным голосом.

— Ну? — рывком нагнулся к креслу Курцер.

— То я бы, конечно...

— Вот что! Довольно! — сказал карлик и поднял руку. — Довольно, довольно! Разрешите сказать тогда мне.

Он заговорил медленно, убеждающе, часто останавливался в местах особенно значительных, как бы подчеркивая смысл и ожидая ответной реакции. Говоря, он то постукивал пальцем по крышке стола, то брал с него какой-нибудь предмет — нож для разрезания или пресс-папье — и вертел в руках. Вообще же речь его была чрезмерно легкой и непринужденной, даже чуть рассеянной, пожалуй.

— Видите ли, — начал карлик, — я понимаю вас обоих.

Он взял со стола пресс-папье, начал его раскручивать, но, раскручивая, смотрел не на свои маленькие, верткие, обезьяньи лапки, а на лица собеседников. Курцер сидел неподвижно, приоткрыв рот и показывая великолепные, рысьи, белые зубы. Гарднер по-прежнему неподвижно стоял около переплета окна и, наклонив красивое длинное лицо, осторожно поглаживал себя по волосам.

— Да, — продолжал карлик, взглянув на него, — страсти много, но, кроме нее, в ваших спорах, пожалуй, ничего и нет. Поэтому по существу вопроса только два слова. Господин Гарднер, сейчас я обращаюсь только к вам. Нет, вы неправы. То, чем занимается доктор Курцер, — это не просто наука, это не всякая наука с большой буквы, нет, это наша специальная наука. Не было бы у нас в руках этой нашей науки, по образцу и подобию их науки, не было бы у

нас в руках и автомата, чтобы добить их науку. Сначала слова, а потом меч, дорогой коллега. Но только потом меч! И не только меч, а и петля, тем, кто ее заслужил. Вот чего вы не должны забывать, господин Гарднер. Идея покорения мира родилась не на поле сражений, не в громе пушек, не в огне и дыму, а в тихих кабинетах физических, медицинских, антропологических и химических лабораторий. — Он кончил развинчивать пресс и положил его на стол. Потом встал и подошел к Гарднеру. — Да, дорогой, — сказал он ласково, — даже и антропологических! Потому что антропометрический кронциркуль доктора Курцера устранил не меньше наших врагов, чем его образцовая газкамера, несмотря на то, что вы возражаете против нее, — он укоризненно и мягко улыбнулся. — А я вот знаю, для того чтобы быстро отрубить голову преступнику, требуется, чтобы нож весил девять пудов, чтобы он был особого сечения и падал он с высоты не меньше чем полтора метра на горло осужденного. Чтобы тело не сорвалось с петли, требуется, чтобы на каждый килограмм веса приходился один сантиметр веревки и веревка эта должна быть тоже определенной толщины. Чтобы задушить пятьдесят человек, требуется на такую-то квадратную площадь столько-то кубометров газа такой-то концентрации, и подаваться он должен такими-то порциями в течение такого-то числа минут. Все! Наука! Не пренебрегайте же ею, пожалуйста, слушайте нашего крупнейшего теоретика господина Курцера. Это раз. Не так ли, господин Курцер?

— Так, — сказал глухо Курцер. Насмешка карлика доходила до него полностью, но он решил не принимать ее.

— Так точно, господин Курцер. Но это я лил воду на вашу мельницу, а теперь я хочу обратиться и к вам. Истина не бывает однолика. У нее два или три лица. Наука-то наукой, конечно, но уж очень плоха та наука, которая приносит нам излишние осложнения в политике. Тогда нам уже приходится выбирать,

а время-то такое, что если бы я сегодня спросил фюрера, что нам больше нужно, скальпель ученого или гильотина полковника Гарднера, как вы думаете, что бы ответил мне фюрер? Не знаете? А я вот знаю, господин Курцер, да и вы, по-моему, тоже знаете! Вот, значит, и не нужно давать повод для таких вопросов. А вы, к сожалению, дали... Ну вот и все. Больше я к этому возвращаться не буду. А теперь, господа мои высокие коллеги, обращаюсь к вам уже обоим. Я сказал как-то: "Огласка сейчас нежелательна". Это не простые слова. Сейчас мы находимся накануне таких событий, перед которыми померкнет все сделанное до сих пор! Вот! — Он подошел к стене и быстрым движением своей маленькой ручки сразу перечеркнул всю карту Европы с запада на восток. — Вопрос нашего жизненного пространства, — сказал он четко и раздельно, — великая восточная война!

И сразу же наступило молчание. Карлик стоял около карты с протянутой рукой. Неподвижно и молча, каждый со своего места, Курцер и Гарднер смотрели на него. Наконец карлик туго улыбнулся, спрятал обе руки в карман и пошел к ним.

— Великая восточная война, — повторил он. — Она разрубит все узлы, в том числе и ваш, полковник Гарднер.

— Когда же она начнется? — спросил Гарднер и провел кончиком языка по губам.

— Гм, — усмехнулся карлик и посмотрел ему прямо в глаза. — Она начнется в год, месяц и число, назначенные нашим фюрером. Когда календарно, я не знаю, но сколько бы ни ждали этого приказа, он будет.

— Он будет? — спросил жадно Гарднер.

— Он будет. Логика вещей такова, что до тех пор, пока на востоке существует советский колосс, мир, объявленный нами вне закона, не будет считать себя побежденным. Море нечистых рас на востоке отрицает нас уже одним фактом своего существования. А когда мы пойдем на восток, обещаю, мы уже не бу-

дем смущать вас мелкими придирками. Вот где зарабатывают на полном ходу все формы "Б-214". — Он усмехнулся.

Опять помолчали.

— Тогда я прошу разрешения задать и другой вопрос, — сказал осторожно и вкрадчиво Гарднер. — Это будет длительная война?

Карлик с улыбкой повернулся к Курцеру.

— Вы слышите, что он спрашивает? Разъясните же вы ему, пожалуйста, в какой войне придется участвовать нашему коллеге.

— Особенно разгуляться вам, господин Гарднер, не придется, — зло улыбнулся Курцер. — Хотя с теорией о двух-трех неделях я не согласен, но я не допускаю, чтобы война затянулась на зиму. Глиняный колосс рухнет от германского меча, хотя для этого придется ему нанести порядочное количество ударов. Да, это будет все-таки серьезная война. Россия — страна с твердым укладом, с плотно налаженным государственным бытием, с большой, хорошо обученной армией и невыразимо огромным человеческим потенциалом.

Карлик нахмурился.

— С вашего позволения, и я принадлежу к партии двух-трех недель, — сказал он. — Если война будет затянута на зиму, конец ее вообще неясен. Долгую войну с двухсотмиллионным населением мы не выдержим. Но долгой она не будет. Наше спасение в том, что многорасовое государство не может быть прочным. Нечистый всегда ненавидит чистого. При первых же наших победах это огромное одеяло из разноцветных кусочков распадется на лоскутки. Начнется резня, сведение расовых счетов, которые накопились за двадцать пять лет, и в конце концов все перегрызутся так, что еще и нам будут рады. Вот тогда нам и потребуется ваша рука, коллега Гарднер. Мы строго-настрого запретим кому-либо мешать вам в исполнении вашего солдатского долга. Мы вам поручим очищение и расовое освоение всего этого почти

космического пространства в двадцать два миллиона квадратных километров, а сейчас, уж ничего не поделаешь, надо вам несколько потесниться. Вы вот часто любите повторять: "Я солдат". Да, вы солдат, это хорошо, но здесь нужно быть не только солдатом, здесь нужно быть немного и ученым, и политиком, и даже дипломатом. А вот этих-то качеств у вас и нет. Хорошо, что мы заговорили обо всем этом. Коллега Курцер, я вас прошу лично заняться делом Войцика. Я знаю, вы мастер на интеллектуальные разговоры. Так вот, поговорите с Войциком отдельно, а полковник Гарднер уже не будет вам мешать. Не правда ли?

— Правда, — сказал Гарднер и опустил голову.

Г л а в а т р е т ь я

Расхаживая по комнате, Курцер диктовал:

— "Таким образом, эти сведения приобрели большую долю вероятия. Не желая, однако, показывать свой страх или, того более, явиться в смешном виде, я ограничился только расстрелом заложников и облавой в рабочих кварталах города. Но, конечно, как я и ожидал, никаких результатов это не дало. Правда, военный трибунал вынес несколько сотен смертных приговоров на основании чрезвычайных законов об охране нации, но ни суд, ни прокурор, ни тем более я, к которому приговор пошел на утверждение, не могли скрыть, что он не может считаться обоснованным. Тем не менее..."

Он запнулся и замолчал.

— Тем не менее, — сказал секретарь, не поднимая глаз от листа бумаги, — вы их все-таки расстреляли?

Курцер подошел к дивану, сел на него и скинул подушки на пол.

— Память у вас хорошая, это я знаю, — сказал он устало. — Да, мы все-таки "обслужили", как выражается Гарднер, этих бедных каналов, что, кстати, никакого удовольствия мне не доставило, я ведь не

мой гестаповский коллега. Так на чем мы остановились?

— "...не может считаться обоснованным. Тем не менее..."

— Хорошо. Переделайте фразу так: "Несмотря на то, что описательная и результативная часть приговоров, несомненно, справедлива в свете наших общих задач в деле замирения страны, самые приговоры, однако, не могли считаться достаточно обоснованными. Так, например, не выполняется ряд процессуальных норм, которыми суд по самому своему характеру чрезвычайного трибунала заниматься не мог". Написали?

— Написал, — сказал Бенцинг. — Так действительно выходит приличнее. Вот тут и можно начать: "Тем не менее..."

— "Тем не менее, — заговорил размеренно Курцер, — все эти меры были бессильными и, конечно, не могли сколько-нибудь упрочить наше положение. Земля каждый день взрывалась и горела под нашими ногами. И что могли изменить в этом усиление внутренней охраны, облавы, чуть ли не поголовные расстрелы жителей того дома и даже той деревни, около которых произошла диверсия или покушение? Опасность, однако, пришла с той стороны, с которой я ее никак не ожидал. Слишком нелепа была та ловушка, в которую я попался". Та ловушка, в которую я попался, — повторил он медленно, вдумываясь не в свои слова, а в то, что скрывается за ними.

— Я уже это написал, — сказал Бенцинг и положил перо, демонстративно показывая тем, что продолжения он и не ожидает.

С минуту еще Курцер молча ходил по комнате, потом подошел к стене, снял английский винчестер, осмотрел его, взвел курок и стал целиться в свое отражение в зеркале. Положив перо, секретарь сидел неподвижно, опустив глаза на желтоватый лист бумаги. Курцер прищурился и щелкнул курком. Бенцинг глубоко вздохнул и повернул голову.

— Все? — коротко спросил он, медленно и сонно поднимая и опуская веки.

— Все, — сказал Курцер. Вынул зажигалку и подбросил ее на ладони. — Спокойной ночи, Иоахим.

Бенцинг молча встал, бесшумно выдвинул ящик стола, сунул туда рукопись, потом подошел к окну, опустил шторы, погасил настольную лампу и, не прощаясь, пошел из кабинета.

— Иоахим! — окликнул его Курцер, когда тот был на пороге.

Бенцинг остановился и с улыбкой поглядел на него. Улыбка была открытая, понимающая, совсем не такая, которая пристала секретарю.

— Все на том же месте? — сказал Курцер с кривой улыбкой.

— Я так и знал, что мы здесь кончим, — ответил Бенцинг, и тогда Курцер опять молча зашагал по комнате.

Секретарь затворил дверь. Курцер походил, походил, потом подошел к туалетному столику, снял флакон с одеколоном, налил себе на ладонь немного зеленой жидкости, обеими ноздрями с наслаждением втянул ее запах — он больше всего любил ангорских кошек, хорошие духи и шоколадные конфеты — и крепко провел рукой по волосам. Потом бодро кашлянул, подошел к письменному столу, сел за него, достал голубую тетрадку и начал быстро писать.

”Все это очень плохо отражено в протоколах следствия и судебных материалах, хотя поплатилось за это более десяти тысяч человек. Я знаю, пожалуй, ненамного больше, чем следователи этого дела, тем не менее то, что я знаю, больше не знает никто. Вот если бы я был писателем...”

Не отрывая пера от бумаги и не перечитывая, он зачеркнул написанное косым крестом и продолжал уже не останавливаясь.

”Я писал про ловушку: ”идиотская и нелепая”. Так оно и было. Однажды секретарь доложил мне, что с личным письмом от ”Медведя” ко мне пришла

женщина. Было три часа ночи, и я приказал уже вызвать автомобиль. Тем не менее я задержался и письмо прочел. Оно, несомненно, было написано "Медведем" и имело номера схожие с теми, которые стояли на его переписке. Внизу был оттиск его печати. Я прочел его до конца и увидел, что ничего существенного в нем нет, речь шла о каком-то заложнике, — тем не менее я принял посетительницу. Меня поразило, что она была одета очень провинциально с изысканностью мещанки, так, как полагается одеваться всем просительницам. Даже черная вуаль и та была на ней. Потом я подумал, что у "Медведя" вообще вкус неважный, и больше думать об этом не стал. Утверждаю с полной ответственностью: я уже понимал, что ввязываюсь в скучную и, по-видимому, совершенно бесполезную историю. Тем не менее я предложил ей сесть и изложить существо дела. Она воскликнула: "О, спасибо!" — и продолжала стоять. Тогда я сказал ей довольно резко, что мне неудобно так смотреть на нее снизу вверх, она села, и я мог разглядеть ее как следует. Ей было лет около двадцати двух, никак не больше, у нее была великолепная матовая кожа, очень гладкая и мягкая, черные и несколько косо, по-кошачьему, расставленные глаза. Вот это я сразу заметил, а потом забыл, — а забывать-то, оказывается, и не следовало. У нее было жесткое выражение лица, а когда она заговорила со мной, то меня так и резанул ее голос, ясный и резкий. Ах, зачем я не обратил на это внимания тогда!"

Рука Курцера безостановочно бегала по бумаге. Он покусывал побелевшие губы, а замазки во рту набиралось все больше и больше, в голове начинало звенеть, но он все-таки был доволен. Наконец-то он нашел в себе мужество написать ясно и прямо о том, что давило его почти физически. С этой женщиной он прожил два дня. Он не был трусом. Даже в секретных бумагах министерства внутренних дел и государственной тайной полиции, когда речь заходила о ней, всегда отмечалось особо, что только мужество и са-

мообладание наместника сохранило ему жизнь и дало возможность задержать преступницу. Впрочем, это была дешевая победа. Она сумела как-то отравиться до прихода охраны. Итак, Мужество и Самообладание. Он чувствовал его в себе все меньше и меньше. И серьезно думал, что вряд ли теперь заслужит похвалы гестапо. Главное, если бы хотя опасность была открытая, ясная, любовая, а то ведь все скрывалось в тумане. Теперь он писал о том, что письмо оказалось поддельным, а сама она успела отравиться и умерла около него, на ковре. Нити оборвались. Враг показал на минуту свое страшное лицо, свое почти сверхъестественное всемогущество и ушел в воздух, стал уэллсовским невидимкой, дал ему еще какой-то срок, — а какой? Кто же это знает?

”Мне до сих пор непонятно, почему она не воспользовалась револьвером, — писал Курцер. — Полицейская ссылка на то, что выстрел привлек бы внимание служащих и охраны, явно несостоятельна. Она отлично знала, что в вилле никого не было, кроме старых слуг, не смевших подниматься наверх без особого на то сигнала. Кроме того, в кабинете за стеной находился сообщник, личность которого так и осталась невыясненной. В эту ночь, как выяснилось впоследствии, были пересняты все главнейшие документы, находящиеся в моем сейфе, в том числе... — Эти слова и следующие за ними четыре строчки были тщательно зачеркнуты. — Вообще же я думаю — разгадка в том, что она была очень жестокой. Однажды ночью я проснулся от того, что около меня никого нет. Я поднял голову и увидел — на столе горит настольная лампа, лежит ее раскрытый портсигар, а ее в комнате нет. Через открытую дверь я увидел — она стоит на балконе и, заложив за затылок обе руки, смотрит на луну, и только что я хотел ее окликнуть, как вдруг она быстро обернулась, посмотрела на меня и пошла. Походка ее была бесшумной, кошачьей, такой, какой она никогда не ходила днем.

Она дошла до края каменного балкона и остановилась. "Как оборотень", — подумал я. С секунду она простояла неподвижно, словно к чему-то прислушиваясь или выжидая чего-то, потом быстро, как змея, перегнулась, вытянулась и протянула пальцы по направлению к соседнему окну. Это было окно моего кабинета. "Вот оно что, — мгновенно понял я все, — "план Кримгильды". И сейчас же в ответ из темноты раздался тихий, сухой и отдельный стук. Один раз, потом другой и третий — стук пальцем по стеклу. Она облегченно вздохнула, даже слегка кивнула головой, выпрямилась, своей обычной походкой вошла в комнату, закрыла дверь, подошла к столу, выбрала из портсигара папиросу, простояла так немного, держа ее в зубах, потом погасила лампу и пошла к кровати. Я схватил ее, когда она легла со мной рядом и сонно повернулась на бок. Мне хотелось ее взять живьем, и поэтому я приказал: "Лежи смирно. Я все знаю!" И тут произошло что-то такое, чего я не могу объяснить до сих пор. Я схватил ее за горло, а под моими пальцами, руками оказалось что-то сильное, мускулистое, пружинистое, такое, как будто я хватал не женщину, а огромную змею или рыбу. Она мгновенно ушла из моих рук, и прямо над собой я увидел со странной, навек запомнившейся мне отчетливостью ее занесенную руку и лицо — вот эти проклятые, косо прорезанные, кошачьи глаза, прямую, короткую, тигриную складку на лбу, — и сейчас же меня всего залила такая жгучая боль и тошнота, что я закричал. Потом уже я понял — она метила в сонную артерию и промахнулась. Как-то я сумел изловчиться и ударить ее головой в нижнюю челюсть, а когда она рухнула — страшнее этого удара нет ничего, — соскочить на пол к звонку. Она задохнулась, упала, потом села на кровать и с минуту так просидела неподвижно. В это время колени у меня тоже дрогнули, и я опустился у ее ног на пол. "Кто ты?" — спросил я ее. Она не ответила и отвернулась... Тогда...

Тут на столе зазвонил телефон, и Курцер осторожно положил ручку и снял трубку.

— Да, да, — сказал Курцер и перевел взгляд на секретаря, который вошел в комнату и остановился у двери.

— Здравствуйте, коллега, — сказала Курцеру телефонная трубка. — Напоминаю вам, что вы мне обещали поговорить с господином Войциком. Мне нужно уезжать, и я хотел бы присутствовать при разговоре. Я ему придаю серьезное значение.

— Когда вы уезжаете? — спросил Курцер, и лицо его перекошилось.

— Я за вами прислал автомобиль, — сказала телефонная трубка. — Я хочу, чтобы вы испытали его. Это новая машина фирмы "Опель", пятый пробный экземпляр, вышедший из сборочного цеха всего три дня тому назад.

— Хорошо, — сказал Курцер и обернулся к Бенцингу. — Что, машина уже прибыла? Я сейчас еду. Только позовите мне Курта. Он спит, но его все равно надо разбудить.

Курт пришел и остановился около двери. Курцер сидел за столом и что-то быстро писал карандашом в блокноте.

— Да, да, Курт, — сказал он, мельком взглянув на садовника. — Да, да, голубчик. Давно, давно мы не виделись с вами. Очень давно. Я вот сейчас кончу и... Вы курите, Курт?

— Только трубку, — тихо ответил Курт, не сводя с Курцера больших горящих глаз. — От папирос у меня болит грудь.

— Ага, только трубку! Хорошо, хорошо, если трубку. Бенцинг! — крикнул он, и Бенцинг вошел. — Вот, — сказал Курцер, — возьмите и прочтите. Это на тот случай, если я почему-либо задержусь.

— Так, сударь, слушаюсь, — сказал Бенцинг, бегом прочитав листки, исписанные закорючками и крючками. — Понятно.

— Это только тогда, разумеется, действительно, если я задержусь в городе, но я не задержусь там.

— Все понятно, сударь, — ответил Бенцинг и слегка поклонился.

— Да, да, Курт, — сказал Курцер, отворачиваясь от Бенцинга. — Вас ведь Куртом зовут? Так? Слушайте, мы ведь где-то виделись?

— Так точно, — ответил Курт тихо и почтительно и вытянул руки по швам. — Так точно! Виделись. При вашей лаборатории служил. Там еще баллон тогда взорвался, помните?

— А как же мы с вами расстались? — вдруг слегка нахмурил брови Курцер, словно не то что припоминая, а просто что-то ставя на вид Курту и прося от него объяснения. — Вы ведь, кажется... — он остановился, глядя на него.

Глядел он так, точно хотел проверить что-то, на самом же деле он действительно ничего не помнил. Странные вещи происходили у него за последнее время с памятью (он упорно приписывал это ранению, но вряд ли это было в действительности так). Внезапно стали обнаруживаться провалы, и все, что попадало в них, он не помнил совершенно. Вот события смежные и последующие припоминались до мельчайших подробностей, но то, что попадало в зону этого черного слепого пятна, растворялось совершенно. Иногда даже приходилось гадать: да полно, было ли это в действительности, может быть, вообще ничего не существовало? Он тщательно скрывал этот недостаток, прятал его от всех и делал это с такой легкостью и умением, что, пожалуй, только кое-кто из его личного секретариата кое-что подозревал. И происходило это не потому, что он стыдился или слишком больно переживал воспоминания о том страшном и темном куске его жизни, когда он, обливаясь кровью, лежал на ковре... Нет, все эти соображения не могли быть особенно весомыми в его глазах. Наоборот, он гордился этим приключением. Ведь как-никак он остался жив. И получил даже Железный

крест. И за дело, конечно, его получил. Попробуй-ка кто другой уйти живым из этой ловушки! Кто посмеет сказать, что она плохо была задумана! Нет, совсем иные соображения заставляли его скрывать свой недостаток. Сознаться в нем — не значило ли это прежде всего показать свою неполноценность, зависимость от памяти и доброй воли кого-то другого? А ведь дело-то обстоит так: он не помнит, он не знает — значит, должен помнить и знать другой. А это в свою очередь значит, что нужно этому другому верить. А где гарантия, что тот, другой, с хорошей памятью, удержится от какой-нибудь авантюры, где страдательным лицом будет Курцер, — и опять-таки ввиду этого своего недостатка? В том волчьем мире, в котором он живет, нельзя показывать своей раны, какой бы незначительной она ни была. В его же положении... Ну, одним словом, он отлично понимал, почему, зачем и от кого надо скрывать этот недостаток. В истории с Куртом ему все портило настроение: и то, что он помнил только самое начало и самый конец этой истории, и то, что Курт Вагнер ловит за чем-то птиц, и даже то, что он знал когда-то его отца. Но вот он наконец перед ним. Бывший не то лаборант, не то старший служащий при лаборатории № 5. Потом что-то такое случилось (что же, что именно, черт возьми?), и Курт Вагнер исчез. И исчез не потому, что умер. Значит, сбежал. Наверное! Так вот: при каких обстоятельствах, а главное — от чего он сбежал?

— Так где же вы были после? — спросил Курцер. Курт вздохнул.

— С тех пор много воды утекло, — ответил он задумчиво. — Где был? Да везде был. На родине был, потом уехал на юг Франции.

— Куда же именно? — спросил Курцер.

— Сперва на курорте заведовал теплицами. Каждое утро должен был выставить на столики, в бокалы, полсотни черных, желтых и алых роз. — Он остановился, выжидая ответа. — Вы думаете, это легко?

— Ну, потом? — спросил Курцер, постукивая пальцами по столу.

— Ну, потом был в Берлине. Поставлял цветочной фирме "Гаубсберг и сын" минеральные удобрения для комнатных растений "Тропики" — две марки пакет. "Пальмовые рощи расцветают в вашей комнате. Около вашего камина наливаются и созревают золотые плоды ваших любимых цитрусовых". Ну и так далее. На двадцать строк мелкой печати, в середине рисунок — целующаяся парочка под апельсиновым деревом в золотых плодах. Очень хорошо шел этот товар.

— Так. Что дальше? — спросил Курцер.

— Так продолжалось год. Потом...

— Вот что, Курт, — сказал Курцер увесисто и спокойно. — Я свободный человек, у меня хватит времени выслушать ваши арабские сказки, но лучше было бы, если бы мы договорились с вами без них. Понимаете, для нас лучше.

— Как, вы мне не верите? — ошалело спросил Курт. — Так вот, пожалуйста, я вам покажу рекламу. — Он полез в карман и вынул оттуда многокрасочную этикетку, такую, какой обыкновенно оклеивают дешевые консервы: "Минеральные удобрения "Тропики".

— Ах, вы даже и пакетик с собой захватили? — засмеялся Курцер. — Ну, Курт, давайте без дураков. Вы видите, здесь это не пройдет. Говорите прямо: куда вы убежали из лаборатории?

— Я? Убежал? — очень изумился Курт.

— Да. Вы убежали. Лопнул баллон, и вы убежали, — спокойно подтвердил Курцер. — Так вот: куда и почему?

С минуту оба молчали. В дверях показался секретарь, но увидел Курта и исчез.

— Почему и куда? — повторил Курцер.

— Я ушел из лаборатории потому, что у меня слабые легкие.

— Ага, — сказал Курцер.

— И работать с собаками я уже не мог. Да еще с этим газом, будь он проклят.

— Ага, — принял к сведению Курцер.

— После этого я стал кашлять кровью. У меня болела грудь, и я...

— Ага, — подытожил Курцер.

— Ну и ушел, — с неожиданным раздражением закончил Курт. — Что мне, в самом деле, издыхать, что ли, из-за этих собак?

— Так, — сказал Курцер, потому что он понял все окончательно. — Значит, вам не понравилось и вы сбежали?

— Да не сбежал я, — протестующе ответил Курт, — не сбежал. Я просто...

— Ну да, у вас болела грудь. Не издыхать же вам из-за этих собак. Знаю, знаю! Так вот, послушайте теперь меня. Вы сбежали, и сбежали из военной лаборатории в самое горячее время, не потрудившись даже сдать ключи. Если бы я вас тогда поймал, я бы вас расстрелял через двадцать четыре часа как дезертира.

— Воля ваша, — тускло ответил Курт.

— Моя воля! Я расстрелял бы вас через двадцать четыре часа. Но я вас не расстрелял и не расстреляю. Наоборот, я дам вам возможность хорошо заработать. В каких отношениях вы с моим племянником и профессором?

— Ваш племянник хороший мальчик, — ответил Курт.

— Да? Но это оставим, — слегка поморщился Курцер. — Что у вас за отношения с его отцом?

— Господин профессор безумный человек, — быстро и убежденно ответил Курт.

— Безумный? — немного удивился и даже поднял брови Курцер. — Отчего же вы так думаете?

— А вы посмотрите на сад, — ответил горячо Курт. — Разве это сад? Это куст крапивы. Бурьян. Скотный двор. Это... это, извините, черт знает что такое.

— Да?

— Да, господин полковник. Я ведь помню этот сад при вашем батюшке, двадцать пять лет тому назад. Ну разве есть что-нибудь похожее? Тогда если это клумба, так она была клумба. Пруд так пруд. Аллея — так она аллея. Ну а сейчас?

— Значит, в саде все и дело? — спросил Курцер.

— Аллеи. Ну, по совести, что это за аллеи?

— Курт, — вдруг встал с места Курцер, — не надо! Не надо со мной валять дурака! Понимаете, я вам не Ганс.

— Господи, да я... — взмахнул рукой Курт.

— Да! Вы, вы! Вот вам и не надо обманывать меня. Понимаете, ни к чему это. Давайте поговорим честно и открыто. Я согласен вас использовать, но для этого вам нужно бросить со мной эту нехорошую, совершенно бесцельную манеру играть какого-то дурачка. Дело, конечно, не в саде.

— Ну, дело и в саде, — горячо ответил Курт. — Я ваших мыслей в отношении меня не понимаю, но уж если вы со мной говорите, то разрешите вам заметить, что дело и в саде. Порядочный хозяин так сада не запустит. Это же твое жилище. Сад-то! Если живешь свинья свиньей, то и в голове у тебя не может быть ничего порядочного. Вот как я считаю.

— Ладно, — вдруг рассмеялся Курцер. — Пусть дело будет в саде. Я забыл, что вы работали еще с моим отцом. Так вот, мое первое поручение вам: вы завтра берете мальчика и ведете его к оранжерее. Понимаете?

— Понимаю, — сказал Курт.

— Вы его уводите ловить дрозда, и что бы там, в доме, ни случилось, вы его домой не пускаете.

— И это понимаю, — ответил Курт и даже не позволил себе улыбнуться.

— Ну вот и отлично. Повторяю: какими угодно средствами, но чтобы завтра мальчика там не было. Понимаете? — Он ткнул пальцем в потолок комнаты, где помещался кабинет профессора.

— Понятно, — ответил Курт и глубоко вздохнул.

— Ну вот, значит, и договорились, — сказал Курцер и поднялся из-за стола.

Впереди что-то крикнули. Автомобиль резко остановился. Несколько человек стояло впереди на дороге. Белые и красные пятна фонарей приблизились и скакали по земле. При красном свете было видно несколько больших черных шпал, положенных одна на другую поперек дороги. "Настоящая баррикада, — подумал Курцер. — Быстро работают!" Несколько поодаль, накрываясь на правый бок, стоял автомобиль охраны. Белый фонарь подошел совсем вплотную и стал скользить по колесам — кто-то осматривал их со всех сторон.

— Вот, — сказал Курцер Бенцингу, — опять что-то неладно.

— Я выйду узнаю, — и Бенцинг взялся за ручку дверцы.

— Сидите, сидите, — приказал Курцер, — сейчас опять поедем.

Они проехали несколько шагов и опять остановились.

— Черт! — выругался Курцер.

Сзади с визгом накатил и остановился последний автомобиль охраны.

— Что еще за история? — сказал Курцер.

Охранник подошел к шоферу и сказал ему что-то, потом осторожно отворил дверцы пассажирской кабины.

Через мутные сумерки — было видно, что наступает уже утро. — Курцер узнал подошедшего и встал, нащупывая в кармане ручку браунинга.

— В чем дело, лейтенант? — спросил он недовольно. — Лопнула шина или что?

Он хорошо понимал, что это не шина лопнула, это случилось что-то на дороге — и, может быть, весьма серьезное...

— А? — переспросил он, раздраженно морщась, так, словно не расслышал ответа, хотя лейтенант еще не успел ему ничего ответить.

Лейтенант стоял навытяжку, держа руку под козырек. Он быстро и звучно дышал и казался очень помятым, но рука около козырька не дрожала.

— Господин полковник, — сказал он, — дорога оказалась заваленной. Кроме того, впереди еще натянут стальной трос, у переднего мотоциклиста снесло голову.

— Недурно, — сказал Курцер тем спокойным, беспощадным и равнодушным тоном, который он всегда принимал в таких случаях. — Значит, одного уже нет? Ну-ка, я выйду.

— Когда автомобиль остановился, — быстро продолжал лейтенант, стараясь опередить его движения, — из кустов стали стрелять. У меня прострелена фуражка.

— Еще того лучше, — усмехнулся Курцер. — Да вы же герой, лейтенант!

— Когда я вышел из автомобиля, на меня из-за кустов выскочил мужчина, но я...

— Где он? — коротко спросил Курцер.

Происшествие было много серьезнее, чем он даже думал.

— Впереди лежит.

— Идемте, — сказал Курцер.

Он легко выскочил из автомобиля и широким, мягким шагом, похожий на быстро крадущуюся белую рысь, пошел по дороге.

Были только первые минуты рассвета. В неподвижном белом воздухе четко и ясно рисовались немногие предметы — круглые черные кусты по бокам дороги, черная же, тускло блестящая в канавке вода и в перспективе несколько высоких, прямых деревьев. Деревья стояли совершенно неподвижно, как будто выхваченные одним взмахом ножа из целого куска фанеры или жести. Еще дальше, как за толстым, мутным стеклом, виднелось поле, кусты и

тусклые красные крыши, вытянутые в одну нитку. Видимо, там находилась деревня. В ту секунду, когда Курцер выпрыгнул из машины, вдалеке пронзительно закричал петух. И в тончайшем, ломком, как ледок, от утреннего холода воздухе его крик прозвучал особенно гулко.

”И пропел петел в третий раз”, — вспомнилась почему-то Курцеру евангельская цитата.

Убитый лежал на дороге, полуоткрыв рот и показывая крепкие желтые, как каленые орехи, зубы. Около его головы уже напозла небольшая черная маслянистая лужица.

— Куда вы его? — спросил Курцер и опустился на корточки.

— В лоб, — поспешно сказал лейтенант. — Вам надо отойти с дороги, охрана обшаривает кусты.

— Вы уже связались с городом? — спросил Курцер, неотрывно смотря на убитого.

— Пока не удалось включиться в телефонную сеть. На большом расстоянии перерезаны провода.

— Здорово! — похвалил кого-то Курцер. — Молодцы! — и повернул ладонями кверху руки трупа.

При фонаре были видны желтые мозоли, толстая, продубленная кожа. Курцер даже слегка пощелкал по ней пальцем. Потом провел рукой по бокам брюк, где находились карманы.

— Ничего нет, — сказал стоящий над ним солдат. — Вот только, — он протянул маленькое круглое зеркальце в черепаховой оправе.

Курцер посмотрел на него, но в руки не взял.

Около накренившегося автомобиля стояла группа военных, человек восемь — десять. Из них двое в ординарной военной форме, забрызганные грязью, с винтовками старого образца, с примкнутыми неуклюжими австрийскими штыками. Серый отблеск утра блестел в широких лезвиях штыков. ”Откуда эти чучела?” — смутно, не удивляясь, подумал Курцер. Он снова поглядел в лицо трупа. Оно было ничем не примечательно. Ординарнейшее широкое лицо с зеле-

новатой, неживой кожей городского жителя, все в мелких желтых веснушках. Нос широкий, расплывчатый. Небольшие висячие усы.

Курцер поднялся и резким движением отряхнул руки.

— Альфред! — позвал он лейтенанта и показал на солдат с примкнутыми штыками: — Это кто такие?

— С ближайшего полицейского поста, — ответил лейтенант. — Оказались поблизости и выскочили на выстрел. Пьяные. Видно, что шли к бабам. У одного новая женская рубаха под мышкой. Живут тут две недели и вот ничего не знают.

— Как это всегда и полагается регулярной охране, — спокойно констатировал Курцер. — Гарднеровская система работы. Недаром при нем уже убили одного заместника. Нет, все-таки придется смелить этого идиота.

Он подошел к солдату.

— Где ваш пост? — спросил он миролюбиво.

— За два километра отсюда, — ответил один солдат, робко глядя на него.

— А сколько вас всего? — спросил Курцер.

— Сорок пять человек рядовых и один лейтенант, — ответил тот же солдат.

— Сорок пять человек! Ну как же вы сегодня очутились тут?

— Мы были посланы в обход. И, кроме того...

— Вот что, братцы, — миролюбиво сказал Курцер. — Вы мне не врите, я не ваш комендант. Что там за обход? Два человека за две версты от поста? Что вы мне морочите голову, как глупенькому? И бабья рубаха у вас зачем-то?..

— Господин начальник может это проверить, — ответил бойко до сих пор молчавший солдат. — Так точно, посланы в обход старшим лейтенантом Родэ.

— Запишите, Альфред, Родэ — старший лейтенант, — сказал спокойно Курцер. — Бабья рубаха, бабья рубаха как сюда попала? — закричал он вдруг. —

Что это вам — штык, ружье, револьвер? За каким чертом она вам?

— Мы по дороге должны были зайти... — робко сказал второй солдат.

— Ну? — крикнул Курцер. — Должны были зайти...

— К моей невесте, — наконец выдавил из себя первый. — Я вот и...

— Вот! — облегченно вздохнул Курцер. — С этого и следовало было начать. Значит, так: вы ушли с поста к бабам? Где же они живут?

Солдаты молчали, переминаясь.

— Черт вас возьми, ослов! — заревел Курцер во все горло и не топнул, а пнул ногой в землю. — Если вы будете молчать, я расстреляю вас на месте!

Он в самом деле был взбешен до крайности. Вся эта идиотская история с выстрелами из-за кустов, остановленным автомобилем, застреленным террористом, двумя перепуганными болванами в солдатской форме, бабьей ночной рубахой — ее, распустив, держал перед ним Альфред, так что он досыта мог налюбоваться на все ее банты и кружевные оборки, — окончательно вывела его из себя. Он чувствовал, что может заорать во все горло, кинуться с кулаками, затопать ногами, вообще проделать что-то ужасное и смешное.

Он глубоко вздохнул, вытащил из кармана портсигар, подержал его и спрятал: это не годилось показывать — пальцы у него дрожали мелко и противно, и он сам не знал, от злости или от страха.

— Ну, я вас, голубчики, кажется, научу служить, — сказал он тихо, злобно и спокойно. — Вы у меня, кажется, узнаете, что такое война.

— Эти женщины живут тут, за бугром, — быстро и тонко сказал вдруг бойкий солдат. — Если герру оберсту угодно, мы покажем.

— Нет, это герр оберст сейчас вам кое-что покажет, — сухо улыбнулся Курцер. — Альфред, посадите к себе этих героев, пусть ведут.

В это время за кустами что-то произошло, быстро и прямо блеснул зеленый фонарь, и вот на дорогу вывели высокую девушку в наручниках. На ней было модное, но разорванное платье — рукав висел — и городские туфли. Сзади нее шел охранник, держа парабеллум.

— Вот с ним и говорите, — сказал он тихо, кивая головой на Курцера, — а мы что!

Старший из группы подошел к Курцеру.

— В кустах ничего не обнаружено, — сказал он громко. — В одном месте трава примята, и там лежат две консервные банки, но они после дождя до половины полны водой и, видимо... — он задохнулся, потому что слишком торопился и трусил.

Этот анекдотический рапорт совершенно взорвал Курцера. Он повернулся и пошел к автомобилю. Руки у него слегка тряслись. Он тяжело дышал. Дымчатый, синеватый рассвет почти совсем растворил темноту, но Курцер не видел этого. Желая дать простыть гневу, он наклонился и сорвал лоснящийся широкий лист ландыша. Полная, круглая капля, непрозрачная, как комочек ртути, скатилась по его руке. Он приложил к разгоряченному лицу жесткий лист и простоял так с минуту неподвижно. Потом молча подошел к автомобилю, сильно рванул дверцу и залез в него. И сейчас же около него появились с разных сторон начальник охраны и секретарь.

Курцер сидел, прикрыв лицо одной перчаткой, и около нижней губы его, как часы, пульсировала какая-то жилка.

— Альфред? — спросил он после небольшой паузы.

— Да? — наклонился к нему начальник охраны.

— Откуда они взяли эту ундину?

— Она сидела в кустах и когда увидела нас, то прыгнула в овраг и бросилась бежать. Говорит — шла в город на работу и остановилась, чтобы отдохнуть.

— Что же, может быть и так, — согласился Курцер. — Увидела вас и испугалась.

— Но она из здешней деревни, — сказал секретарь.

— Что же, и это вполне вероятно, — сказал Курцер, закрывая глаза. Ему на секунду все стало противно и безразлично. Огромная, безликая усталость находила на него. Но он знал, что это сейчас же пройдет.

— Но странно, — сказал секретарь, — она должна была видеть этого убитого. Не может быть, чтобы он не прошел мимо нее.

Курцер молчал.

— И то еще странно, — пожал плечами лейтенант, — что она села отдыхать, находясь за версту от деревни.

— В деревню! — вдруг приказал Курцер и вскинул голову. — Едем в деревню! И бабью рубаху тоже захватите! — продолжал он яростно, так что даже пена показалась у него на губах. — Там мы отдадим ее по назначению. Хочу я посмотреть, что это за гнездо. Едем!

Женщины, к которым шли солдаты, жили за бугром. Но Курцер вдруг опомнился: "Еще чего не доставало! Ехать в такое время к бабам! Проверять комендантскую охрану! Я в самом деле схожу с ума".

— Альфред! — крикнул он. — Поворачивайте к самому крайнему дому и машину остановите шагов за десять. В дом я войду один.

— Но, полковник, — пробормотал лейтенант, с испугом глядя на него, — ведь только что...

— Я войду один! — зло повторил Курцер. — Идите вы к дьяволу, лейтенант! Поняли?..

...Дверь отворилась не сразу. Сначала кто-то долго кашлял, потом заскрипела деревянная расходившаяся кровать, кто-то прошлепал в туфлях и вслед за тем зазвенело что-то металлическое — видимо, он задел ведро. Потом уж кто-то подошел к двери и остановился, прислушиваясь. Закусив губу, Курцер толкнул дверь.

— Кто там? — быстро спросил тогда хриплый старческий голос.

— Отворите! — приказал Курцер. — Продовольственный комиссар вашего округа.

С минуту за дверью молчали.

— Ну, — сказал лейтенант и ловко локтем оттер Курцера и сам встал на его место, — мы же ждем вас! Скорее!

Звякнул крючок, но дверь не отворилась. Тогда лейтенант ударил кулаком по двери, она распахнулась.

Высокий старик с длинной желтой бородой, лиловыми мешками около тяжелых, красных, вывороченных век стоял перед ним. Он выглядел как человек, с которого содрали одежду, — такой он был растерянный и сбитый с толку. В его склерозной, жилистой руке, покрытой лиловыми узлами, была зажата уже не нужная ему свеча. На нем была кремовая длинная рубаша, и на ней неуклюже сидела красная суконная жилетка (когда же и кто носил такие костюмы?). Старик молча, по-детски вздохнул и отшатнулся от входа, и тогда, чуть не сшибая его с ног, в дом прошел сначала лейтенант, потом Курцер и четверо человек охраны.

— Надо открыть окна, — сказал лейтенант, стоя среди комнаты. — Быстро, ну!

Сзади Курцера что-то завозилось и быстро перебежало комнату. Он мельком посмотрел — ставни были уже открыты, — и Курцер увидел, что это старуха, желтая, морщинистая, в длинной белой рубаше и в ужасном кружевном чепце.

Он огляделся. Комната чистая, даже беленая, но не особенно большая. В углу стояла крупная фигура богоматери со сложенными руками, похожая на кормилицу, с двумя венками из пыльных, серых бессмертников. В простенках висело несколько швейцарских видов, и на одном из них низвергался с отвесной острой горы водопад, выложенный перламутром, а под ним, и совсем не к месту, висело распятие, опять-таки в венке из бессмертников. На специальных полках стояли две большие узорные

пивные кружки, украшенные белыми слепыми барельефами.

Курцер отодвинул сломанный стул и сел.

— Вы и есть хозяин? — спросил он старика. Вынул из кармана портсигар и положил его на стол.

— Так точно, ваша милость, — ответил старик, глядя на Курцера.

— Вас только двое? — спросил Курцер; быстро оглядывая комнату прозрачными, рысьими глазами. — Вот я вижу богоматерь, вы католики?

— Так точно, ваша светлость, — повторил старик, кланяясь, — католики, и я и старуха.

Курцер не сводил с него глаз. Лицо у старика было встревоженное, но не видно было, чтобы он особенно трусил.

— И больше с вами никого нет? — Курцер все оглядывал стены, стараясь выхватить какой-нибудь характерный предмет, который бы говорил о присутствии третьего лица, и не мог. Швейцарские виды, статуя мадонны, распятие да две немецкие пивные кружки — вот и все, что было в комнате. — Сына у вас нет?

— Не видим его пятый год, — ответила старуха, — даже где он, и то не знаем. Говорят, что живет где-то в городе Париже, а правда, нет — так и не знаем. Прислал года два тому назад карточку — он в автомобиле за шофера, — и больше от него ничего нет. Вот, не угодно ли взглянуть, ваша светлость?

Она выдвинула ящик комода и вытащила оттуда кипу разноцветных конвертов, перевязанных зеленой ленточкой. Руки у нее тряслись. Приговаривая что-то, она стала их распутывать.

— Не надо, не надо! — брезгливо поморщился Курцер. — Что там! А вот скажите мне...

— Еще живет со мной внучка, да сегодня ушла к подруге.

— Да, — вдруг вспомнил Курцер, — давайте сюда эту Лорелею.

Он стал успокаиваться, но ему, выдавшему всякие виды, неприятно было уже и то, что он хотя на минуту потерял самообладание, — и все оттого, что заболел. И верно, он болел — во рту становилось все слаще, все сильнее пахло замазкой.

Он наклонился и сплюнул прямо на пол.

Ну зачем он заехал сюда? Что ему здесь было нужно? Разве это его дело? На то есть гестапо и Гарднер, а вот теперь распутывайся с этими стариками и дезертирами. Рьжая девка еще приплелась к чему-то, с ней возись еще...

Ее привели, и она стала, заложив руки назад. Он украдкой посмотрел на старуху. Пригорбившись, стояла она и качала головой. Нет, это не ее внучка. Черт знает, кто она такая вообще!

Он окинул девушку молниеносным изучающим взглядом с головы до ног. Она выглядела очень помятой. Платье было все в рьжих пятнах, рукава кофточки порваны в клочья, выше левой коленки багровел изрядный синяк, потому она и припадала на одну ногу.

— Что у вас с ногой? — спросил Курцер, скользнув взглядом по ее сильным плечам, нежному лицу, смуглому, с каким-то непередаваемым, чуть лиловатым оттенком, особенно около глаз и губ, растрепанным волосам, очень нежным и пушистым, наверное, похожим на морскую траву, и прищурился, соображая.

”Здесьняя женщина! — подумал он. — Вот ведь они какие! Нет, не похожа на крестьянку!”

Девушка стояла, неприятно и прямо смотря ему в лицо, и от этого ему стало особенно не по себе.

— Так что же у вас с ногой? — спросил он.

— Набросились ваши солдаты, — она сделала подчеркнуто резкий жест в сторону окна, — повалили меня лицом на землю, и один сапогом начал бить меня по ногам.

— Зря! — осуждающе и солидно покачал головой Курцер, продолжая рассматривать ее красивую, точ-

но вылитую из воска голову, чем-то напоминающую головку змеи. — Очень зря, этого уж никак не одобришь.

— Скажите это вашим молодцам, — резко сказала девушка и перенесла тяжесть тела на здоровую ногу.

— Нет, нет, это я вам говорю, а не солдатам, — мягко улыбнулся Курцер. — Если бы вы, когда их увидели, не побежали, а остались на месте и по-человечески объяснили, кто вы, куда идете и зачем, то, во-первых, были бы избавлены от побоев, а потом, возможно, я и вообще не имел бы чести разговаривать с вами. Ну, ладно. Кто же вы такая?

— Я шла в город, — ответила девушка.

— Так. Отлично. Откуда же вы шли? — спросил Курцер и вынул зажигалку.

— Я была у своей тетки, за пять верст отсюда, и торопилась на фабрику.

— Вы работаете на фабрике? — спросил Курцер и вздрогнул.

Кого же, в самом деле, она ему напоминала? А она кого-то напоминала, и сходство это было почти пугающее.

— Я работаю укладчицей на шоколадной фабрике, — коротко ответила девушка.

”Пожалуй, что и так, — подумал Курцер. — Что ж, девушка чистая, опрятная и миловидная. Такие особенно уживаются на кондитерских фабриках”.

— Но у вас есть, конечно, документ о праве беспрепятственного передвижения в этой зоне?

— Я живу в городе, — ответила девушка, чуть помедлив, — и поэтому...

— Ай-ай-ай! — солидно покачал головой Курцер. — Как же так, как же так, дорогая? Вы же отлично знаете, где вы и в какое время живете. И вот вдруг пускаетесь в такую длинную дорогу даже без документа... Ну что сейчас мне с вами делать? Вы подлежите военному закону о подозрительных, захваченных в зоне военных действий с оружием в руках.

Как подняла она на него брови!

— Потому что мимо вас, — твердо и спокойно сказал Курцер, — пробежал человек, который стрелял в мой автомобиль и был убит на месте, возможно, что и другие пробежали тоже мимо вас и скрылись. Вот об этом обстоятельстве мне и хотелось бы поговорить с вами. Вы сидели в кустах, отдыхали, говорите вы, — значит, вы не могли не видеть, что происходит. Что же именно происходило? Кто стрелял? Сколько их было? Это я и просил бы вас мне прояснить.

Девушка молчала. Курцер подбросил зажигалку, поймал ее и снова спрятал в карман.

— Это и расскажите мне, — повторил он упорно и ласково.

Он смотрел на девушку, не отрываясь, ясным, пристальным и точным взглядом. Он улыбался, и от этой улыбки и еще больше от этого пристального, ласкового взгляда девушку вдруг передернуло быстрой дрожью. Она вздохнула и на секунду опустила веки. Это была именно та секунда, когда Курцер твердо и ясно понял, что она все видела и все знает. Он тоже опустил веки и целую минуту просидел неподвижно, соображая. "Знает, безусловно, знает все, а если не все, то, во всяком случае, очень многое".

— Ну? — спросил он, улыбаясь.

Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, быстро вздохнула, но только встряхнула головой и ничего не сказала.

— Значит, так, — спокойно и загадочно протянул Курцер, встал с места, и вдруг его затрясло. — Альфред! Забрать эту потаскуху! Немедленно! — заорал он вдруг неожиданно для себя и ударил кулаком по столу. — А если она не будет ничего рассказывать...

Он рванулся к ней, все это происходило как-то помимо его воли и участия, но уже не мог сдержаться, даже если бы хотел, и для чего-то рванул ее за ворот. Девушка пошатнулась и схватилась за стену,

Курцер рванул еще... — сверкнуло голое плечо и ниже матово-голубая припухлость кожи. Тут он только опомнился. Отшатнулся, встряхнул руку, как будто отбрасывая что-то липкое, и отошел в сторону. И тут неожиданно кто-то в кулак схватил его сердце и сдавил несколько раз. Он сразу же сел. Стало тоскливо, одиноко и скучно. Комната выцвела и потухла. Он взглянул на старика и старуху, в ужасе теснящихся около постели. Увидел желтые лица, каменное распятие и веночки бессмертников, пивную кружку и чуть не закричал от боли и тоски. "Да, я не Гарднер, — подумал он с завистью. — Как все-таки легко живется этим болванам на свете!"

Он поднял голову и посмотрел на девушку. Около нее уже суетилось несколько солдат, которые плохо понимали, чего хочет Курцер и что им надлежит делать с арестованной.

Курцер вернулся к столу, сел и положил на него руки. Пальцы его заметно, четко дрожали.

— Так вот, милая моя, — сказал он с сухой, сдержанной злобой, — значит, так мы с вами и договоримся...

Девушка смотрела на него молча, изучающе, неподвижно. И, глядя на ее презрительно прищуренные и, как теперь он понял, косо прорезанные, кошачьи глаза, он вдруг сразу понял, отчего он волнуется и кого она ему напоминала. Это пришло к нему сразу, как озарение, как понимание всего случившегося и как оценка своей роли и предстоящего конца, и это было так страшно, что он дрогнул и побледнел.

— Стерва! — сказал он ошалело и тупо, чувствуя, как от этого у него холодеют концы пальцев и начинает ломить под ногтями, будто он заглянул в глубокий овраг. — Взять ее, да и...

Шофер его быстро зашел в комнату. Он повернулся к нему всем телом, радуясь предложению закончить допрос и отдать гестапо новую жертву — пусть и это расхлебывает Гарднер.

— Ну что? — спросил он отрывисто. — Опять стряслось что-нибудь?

— Автомобиль исправлен, — ответил солдат, — телефонная же линия...

— Едем, — сказал Курцер и встал из-за стола. — Посмотрим, каких зверей наловил нам Гарднер.

И он продолжал говорить, улыбаться, махать руками, обращаться то к одному, то к другому, пока его не посадили в машину и автомобиль не тронулся с места. Тогда он глубоко вздохнул, провел ладонью по лицу, как бы стирая с него все, закрыл глаза и глубоко задумался.

Глава четвертая

Камера, куда посадили Ганку, пахла какао, корицей, ванилью и еще каким-то редким и пахучим товаром, и Ганка понимал, откуда этот запах. Еще неделю тому назад здесь помещался склад колониальных товаров, а теперь товар куда-то спешно вывезли, а склад превратили в военную тюрьму. Чтобы попасть в камеру, надо было сначала пройти по длинному, узкому коридору, в котором кое-где еще попадались пустые фанерные ящики с многокрасочными наклейками, потом пересечь огромное и почти совершенно пустое помещение, где стоял только деревянный некрашенный стол, а за ним трое солдат постоянно резались в карты, и, наконец, опять очутиться в коридоре, еще более темном и узком. Здесь надзиратель, ведший Ганку, вынул ключ, отпер ему камеру, сказал что-то такое: "Вот, пожалуйста, сюда", — и ушел.

Ганка огляделся и осторожно сел на край грубо, наспех сколоченных нар. Они сейчас же заскрипели, как-то особенно противно и тягуче, и он сразу же почувствовал, что у него болит голова. Он робко дотронулся до затылка и зашипел от страшной, жгучей боли — кожа с затылка была ободрана. Он понял, что его где-то били, и били, очевидно, долго и упорно.

”Это чтобы я встал на ноги”, — почему-то догадался он и сразу же почувствовал, что да, так оно и было. Он лежал на полу или на земле, а его пинали сапогами и покрикивали: ”А ну, вставай! Вставай, тебе говорят, скотина! Ишь дурака-то ломает! Вытянулся, как мертвый, и не дышит... Вставай, падаль!”

”Надо бы перевязать, — смутно подумал он, — а то может быть сепсис. Или нет, не сепсис, а как его там... сотрясение мозга”.

Он было даже встал с нар, чтобы подойти к двери, но только быстро, глубоко вздохнул и остался на месте. Зато как только он сделал движение, опять протяжно и сладко заскрипели, как будто заблеяли, нары. Он поморщился от боли и сжал себе виски. Это было его давнишнее, испытанное средство от мигрени. Сжать себе голову эдак покрепче — и боль постепенно начнет таять, таять, уходить куда-то под кожу, а под конец исчезнет совершенно. Но сейчас как он ни жал, ничего не получалось. Тогда он взглянул на свои худые, тонкие пальцы и увидел, что они дрожат.

”Значит, боюсь”, — понял он, но страха у него не было. Он подошел к стене и провел по ней ладонью. Стена была неровная, вся в каких-то желваках и впадинах.

Он прошелся еще раза два по камере — три шага туда, три обратно, — потом подошел к двери и уперся в нее кулаком.

Дверь не подавалась.

Он налег на нее плечом, а потом и всем телом — все равно не подавалась, а стояла неподвижная и непоколебимая, как стена.

”Боюсь,” — подумал он снова и сам испугался этого страха.

Заметил в двери узкую трещину, опустил на корточки и попытался заглянуть в нее, но ничего не увидел, кроме надоедливой мелькания желтого рассеянного света — и то только тогда, когда быстро поводил головой взад и вперед. Он поднялся и снова сел на нары.

Опять они заблеяли — противно, тягуче и приторно.

Он посидел в камере не больше десяти минут, а ему уже и не верилось, что на свете существует что-нибудь, кроме этих шершавых стен, так некстати пропахших южными пряностями, желтой лампочки и скрипучих нар. Разрыв между тем, что было наверху, там, где светило солнце, ходили люди, текла звонкая вода, дул свежий, пахнувший водою и горькими тополевыми почками ветер, и этой застоявшейся, вялой тишиною был так резок, что он не сразу даже почувствовал горечь утраты.

В его теле стояла такая же сонная, неподвижная тишина, что и в его камере.

Но он отчетливо знал почему-то, что эта душевная анестезия у него ненадолго, и со страхом ждал следующего утра.

Так оно и вышло.

Он внезапно проснулся и не сразу понял, где находится.

Дома он мог спать только при спущенных штопах, и обязательно около него на стуле горел фарфоровый ночник, стоял стакан с водой, лежали круглые, плоские часы и коробка с мятными лепешечками. Просыпаясь, он всегда перегибался с кровати, брал стакан с водой, жадно выпивал его, потом клал в рот мятную лепешечку и долго держал ее на языке.

Вот такое же неосознанное, слепое движение — перегнуться через край кровати — он сделал и сейчас и сразу же отшатнулся и ударился затылком о стену.

Ничего не было, кроме серых стен, желтой прозрачной пустоты и круглого столика в углу.

По-прежнему горела тусклая лампочка, и противный свет ее лежал на всех предметах.

”Вот где я!” — вспомнил он и вдруг почувствовал такую тяжелую тоску, такую боль и такое отчаяние, так твердо и ясно поверил, что он никогда уже не выйдет отсюда, что будь у него с собой револьвер, и

не револьвер даже, а попросту петля и крючок на стене, он, наверное, сразу бы покончил с собой.

Это была острая тоска, такая, что сразу заполнила его всего. Он никогда не поверил бы, что тоска может достигать степени почти физической боли. Но вот сейчас он был готов кричать, биться о стену головой, валяться по полу, делать черт знает что, только чтобы не сидеть, не думать, не слышать это противное бляение нар.

Он вскочил и побежал по камере.

Ничего.

Тишина.

Даже не слышно почему-то шума собственных шагов.

Он остановился перед стеной и быстро несколько раз потер переносицу.

"Здесь должно быть эхо, — подумал он. — Где это я читал об этом? Кажется... У Пеллико, что ли? Или нет, в "Шильонском узнике".— В "Шильонском узнике", — сказал он громко и прислушался.

Нет, ничего. Голос как голос, даже не похоже на то, что он в тюрьме.

"Вот так же, — подумал он, — чувствует себя человек в водяном колоколе, если вдруг оборвется веревка".

— Оборвется веревка, — сказал он стене и пошел по камере.

Прошелся раз, потом еще раз — побыстрее, а потом еще раз — бегом, еще раз — бегом! Еще раз — бегом! И еще раз — бегом! И забегал, забегал, забегал! Потом внезапно остановился, опустил руки и вдруг почувствовал, что плачет.

Да, да, он стоял под желтой лампочкой, нелепый, растерзанный, со следом подушки поперек лица, из-под пиджака у него вылезала сиреневая сорочка, — стоял и плакал. И вдруг ему захотелось как-то сорвать свое отчаяние, сбросить его! Вот сейчас подбежать к двери, застучать в нее кулаком, крикнуть, разбить лампочку, повалить, разломать нары. Пусть

будет шум, прибегут люди, будут на него кричать, грозить ему, пусть его повалят на пол и начнут выламывать руки, он тоже будет их бить, кричать и кусаться. Одним словом, пусть сейчас, сию минуту, что-нибудь произойдет — неожиданное, острое, болезненное, но непременно такое, чтобы избавить его от этого неподвижного отчаяния и тишины.

Но он почему-то не закричал, не побежал, не разбил лампочки. Он только подошел к двери и забарабанил в нее кулаком. Ему не ответили на это.

В коридоре было по-прежнему тихо.

Он отступил, закусил губу и с размаху пнул дверь ногой. Тогда она быстро отворилась, так быстро, что он чуть не упал, и солдат, пожилой, равнодушный, лет сорока, — так и думалось, что до войны он работал где-нибудь конторщиком, — равнодушно предложил собраться и следовать за ним.

— Куда? — спросил Ганка.

— На допрос, — ответил солдат.

И они пошли.

Гарднер разговаривал по телефону.

Комната была светлая, чистая, огромные окна, выходящие во двор, стояли открытыми, и в них лезли ветки какого-то большого дерева с нежной, блестящей корой. Стояло ясное, солнечное утро, где-то далеко-далеко, точно на краю земли, надрывался паровозный гудок, и чуть погодя ему отвечали два или три с разных сторон, еще более отдаленные и тонкие.

Солнце прозрачными полосами лежало на столе, на бумагах, стекало с края стола на пол, и на полу тоже стояли прозрачные, чистые лужицы света. Липовая сережка с выгнутой спинкой, чем-то неуловимо похожая на бабочку-однодневку, плавала в этой луже, и Ганка неожиданно сделал шаг, чтобы поднять ее.

Гарднер что-то кричал в трубку. Когда Ганка вошел в кабинет, он только слегка скосил на него глаза и кивком головы отпустил солдата.

И вдруг здесь, на свету, в приличной и хорошо обставленной комнате, где не было ни цементных стен, ни желтой лампочки, ни этого запаха корицы, Ганка осмелел. Сережку, правда, он не поднял, но выдвинул стул, сел на него, независимо заложил ногу за ногу и стал демонстративно отряхивать солому с брюк.

Гарднер говорил о каких-то грузовиках, его плохо слышали, он морщился и кричал, прикрывая трубку ладонью. Потом вдруг резко оборвал разговор, положил трубку на рычаг и стал что-то записывать на длинной полоске бумаги. В это время в дверь сильно постучали.

— Да! — сказал Гарднер густым, приятным голосом.

Вошел военный, круглолицый, большеглазый, с пушком на лице, видимо, еще очень молодой и спросил:

— Слушай, у тебя есть охотничье ружье?

— Ружье? — повторил Гарднер и улыбнулся. — Нет, конечно, ты же знаешь, какой я охотник. А что?..

— Да вот, понимаешь... — Тут молодой офицер облокотился на стол и стал рассказывать Гарднеру, какая здесь прекрасная охота, сколько уток, как он вчера случайно проезжал мимо озера и вспугнул целую стаю каких-то крупных птиц — лебедей, наверное.

— Наверное! — засмеялся Гарднер. — Хороший охотник! Не знаешь даже, на какую птицу хочешь охотиться!

— Не важно, — улыбнулся молодой офицер, — было бы ружье.

— Нет, у меня нет, ты же знаешь, я не охотник. Правда, — сказал он, подумав, — убил я раз зайца...

— Да и то жестяного, в тире, — окончил молодой офицер, и оба опять засмеялись.

— Да! — сказал вдруг Гарднер и полез в ящик стола. — Ведь Кирстен живет с тобой в одной квартире?

— В одной-то в одной, — сказал офицер, — только я его никогда не вижу. А что?

— А вот! — Гарднер протянул ему пакет. — Читай: "Передать лично, в собственные руки".

— Даже так? — смешливо удивился офицер. — Ну, давай, передам и лично и в собственные руки. — Он взял письмо, прочитал обратный адрес на конверте и засмеялся. — Ну, так я знаю, от кого это, честное слово, знаю.

— Знаешь? — спросил Гарднер и что-то отметил на том же длинном, узком листе бумаги.

Молодой офицер стал рассказывать об особе, которая написала это письмо.

— И вот, понимаешь, раз я встречаю их в театре. Честное слово, после того, что я знал о нем и о ней, я глазам не поверил. Но факт — та же самая девушка.

— Девушка! — засмеялся Гарднер. — Брюнетка, говоришь? Не люблю брюнеток: они мне почему-то напоминают....

Зазвонил телефон.

Гарднер снял трубку.

— ...напоминают мелких муравьев, — докончил он быстро.

— Ну! — сказал круглолицый офицер и засмеялся.

— Такие же черные, сухие, кусачие, — договорил Гарднер и крикнул в трубку: — Да!

Офицер спрятал письмо и, продолжая улыбаться, вышел из кабинета.

С минуту Гарднер слушал неподвижно и внимательно, а потом закричал:

— Голову, голову надо иметь на плечах, а не пустую тыкву! Вам не автомобили нужно, а... Одним словом, это меня не касается!.. А, да идите вы все к черту!.. А что вы раньше думали? — Его не расслышали, он слишком кричал. — Что ж вы раньше, говорю, думали?.. А сейчас, когда понадобилось, так вы забегали!.. Да идите вы с вашим транспортом!

"Транспортом"! При чем тут транспорт? — подумал Ганка. — Ведь Гарднер начальник гестапо, а

не...” Но это он подумал только вскользь, мимоходом, какой-то ничтожнейшей клеточкой сознания. Он весь был заполнен совершенно иным, простым и ясным чувством: он казался себе таким маленьким, жалким и гадким, вот в этой смятой сорочке, без галстука (и галстук даже сняли — боялись, что он повесится!), смятой, нечистой сорочке, смятом же пиджаке — рядом со здоровыми, чистыми, красивыми людьми, которые говорят об охоте, театре и женщинах, смеются и острят и не замечают его потому, что он уже не живой человек, а вещь, мебель, часть обстановки, до существования которой им нет никакого дела. И вот опять, как тогда, в камере, в этой большой, светлой комнате, широко залитой солнцем и пронизанной терпким зеленым ароматом, ему подумалось опять, что то, что произошло, уже ничем не поправимо. Он поглядел на свои грязные руки, смятую, как будто изжеванную одежду, вспомнил, что он уже третий день на брился, и опять почувствовал глубочайшее неуважение к себе.

Гарднер со звоном обрушил трубку и тускло, не издеваясь, не сердясь, не любопытствуя, поглядел на Ганку.

— А я ведь вас не приглашал садиться, — сказал он каким-то безразличным, но, во всяком случае, не угрожающим тоном. — Вам нужно запомнить, господин Ганка, что здесь ничего не делают самовольно, а только исполняют приказ... Впрочем, сидите!

Он выдвинул ящик стола, вытащил оттуда толстый том и открыл его на заложенной странице.

— Вот, — сказал он, — слушайте. ”И вот теперь, опубликовав эту фальшивку, Кениг требует, чтобы в награду за искусство его выбрали в члены академии. Что ж, вполне возможно, что эта просьба и будет уважена Геббельсом. Калигула приказал же посадить в сенат своего коня, и на этом основании мы не смеем утверждать, что Кениг уже вовсе недостоин места в Прусской академии, давно превратившейся в самый разношерстный зверинец. Но смеем поставить на вид

Кенигу, что в данном случае его претензия звучит просто смешно. Его фальсификация черепов обнаруживает торопливую и топорную работу. Деформировать череп — еще не значит что-то доказать. Надо знать, как и в каком направлении должна быть проделана эта работа. Кенигу прежде всего следовало бы придумать объяснения тому ничем и никем не опровержимому факту, что в разных концах мира — в Европе, в Африке, в Азии — находят черепа с одними и теми же характерными чертами строения, дающие при реставрации одну и ту же четкую картину. Эти черепа первобытного антропоида открыты и около Пекина, и в Западной Европе, и в Индонезии. Только самая незначительная часть их прошла через руки профессора Мезонье или подвергалась исследованиям в его лаборатории. Вообще же деформация препарированного черепа — дело технически трудное и вряд ли даже исполнимое. Автор этой статьи, конечно, помнит, что когда кто-то впервые встал на путь подлога, то и он, этот ныне прожженный авантюрист и шулер в области науки и политики, занялся отнюдь не деформацией черепов, а простой подтасовкой разрозненных костных фрагментов человекообразной обезьяны и так называемого курганного человека. Что из этого получилось, конечно, автору тоже отлично известно. Нужно только прибавить, что разоблачен этот кто-то был все тем же профессором Мезонье, которого ныне Кениг обвиняет в таком же, только несравненно более искусном подлоге. Впрочем, дело отнюдь не в этом..." Вот это было напечатано в "Ежемесячном обозрении наук и искусств". Автор этой статьи — вы.

"Значит, они арестовали редактора, — быстро подумал Ганка. — Или нет, конечно... Редактор уехал в Англию и не вернулся... Но тогда кто же?"

Он посмотрел на Гарднера. Тот сидел, постукивая корешком журнала по столу. Лицо его было по-прежнему спокойно.

”Что же ему теперь сказать? — подумал Ганка. — Хотя ведь он все равно не поверит”.

Гарднер бросил журнал на стол и встал.

— Вот что, — сказал он негромко, — когда я вас о чем-нибудь спрашиваю, надо мне отвечать сейчас же. Автор этой статьи — вы! Что же значат все эти туманные намеки: ”Автор этой статьи, конечно, помнит, что когда кто-то впервые встал на путь подлога...” — ну и так далее? Кто же этот ”кто-то”? И далее: ”этот ныне прожженный авантюрист и шулер”. Кого вы так называете? Кто это шулер, на кого вы намекаете?

Ганка молчал. Мысль его работала быстро и неустанно.

”Что сказать? Что сказать? Господи, что же сказать?” — думал он и ничего не мог решить, мысль его толкалась на одном месте.

— Так! — Гарднер не сводил глаз с его лица. — Теперь вон что! У меня есть полная возможность заставить вас говорить, и я, безусловно, прибегну к ней, но по такому пустяку... — Он слегка пожал плечами. — Впрочем, если вам это желательно... — Он снова вернулся на свое место и посмотрел оттуда на Ганку спокойно и жестоко.

Ганка почему-то не испытывал страха. Уверенное и спокойное чувство безнадежности было настолько полным и заглушающим все, что на жесткую улыбку Гарднера он ответил улыбкой же, оцепенелой и почти спокойной. И все-таки тогда же он почувствовал, что говорить ему следует. ”Там, где можно обойтись без этого, — подумал он, избегая мысли ”об этом”, то есть о том страшном и неизбежном, что ему придется перенести, — там нужно попытаться это сделать”.

— Мне было известно, что автором статьи является брат жены профессора Мезонье.

— Да? — Гарднер смотрел на него ясно, выжидающе, в упор, но опять-таки без всякой угрозы. — Ну а сам профессор, он знает это?

— Нет, не думаю, — Ганка покачал головой, — во всяком случае, он мне сказал бы.

— А вы ему?

— Я тоже ничего не говорил.

— Значит, профессор не знает? — подытожил Гарднер. — Хорошо! Ну а вы что знаете? Вот конкретно: что значит фраза о том, что Кениг знает о каком-то фальсификаторе, который... вот тут "разрозненных костных фрагментов", обломков костей, что ли? Так в чем тут дело? Объясните.

"Зачем ему это? — подумал Ганка. — Ведь я признался. Чего он хочет еще?"

И коротко он сказал, что ему было известно о крупной ссоре профессора Мезонье с его шурином, случившейся пятнадцать лет тому назад.

— А подробнее, подробнее! — подстегнул его Гарднер. — Вы же близкий человек в доме профессора, вы должны знать все это.

"Ну, уж если так тебе хочется..." — подумал Ганка и рассказал, что пятнадцать лет тому назад господин Курцер работал у профессора в качестве младшего научного сотрудника.

— Младшего! — даже крякнул от удовольствия Гарднер.

— Да, младшего. На его обязанности лежало препарирование материала и описание некоторых второстепенных коллекций.

— Так, так, — Гарднер не сводил глаз с лица Ганки, — второстепенных! Дальше!

— А дальше произошло вот что. Однажды пришлось произвести кое-какие небольшие раскопки разведывательного порядка, профессор был очень занят по подготовке Международного антропологического съезда по вопросам предыстории, который должен был произойти в здании института. Его сотрудники были заняты тоже. И вот послали Курцера.

— Потому что старших научных сотрудников профессор от работы отрывать не пожелал? — спросил понимающе и даже сочувственно Гарднер.

”Но почему это так его интересует? — подумал Ганка. — Неужели он не знал этого раньше от самого Курцера?” И вдруг понял, что именно от самого-то Курцера Гарднер никогда этого не узнает. Не такая это история, чтобы о ней можно было рассказывать всем, а тем более Гарднеру: ведь он именно и радуется потому, что поймал Курцера на какой-то лжи. Наверное, тот выдавал себя за главного сотрудника института, чуть ли не руководителя, родственника, друга и правую руку знаменитого профессора Мезонье, а на проверку оказывается, что он был младшим сотрудником, — может быть, самым младшим из всех! Что он употреблялся для каких-то разведывательных работ и только тогда, когда все остальные были в разгоне, а то, возможно, его не послали бы и на эти... как их там?.. разведывательные раскопки.

”Подбирает материал”, — подумал Ганка и уже совсем иным тоном — даже некоторая легкая фамильярность звучала в нем — продолжал:

— Раскопки надо было сделать небольшие и недалеко, пятьсот — шестьсот километров от института. Господин Курцер поехал и провел там десять дней. Это, знаете, очень мало — десять дней, тут требуется совсем особая техника раскопок, с учетом всех геологических слоев и мест находок. Профессору он сказал, что ничего им не обнаружено, так, есть какие-то кости, но совсем не на той глубине и не такие, как предполагалось вначале. Профессор не стал их и смотреть. Потом прошло недели две, Курцер уехал куда-то на летние каникулы и оттуда прислал свою статью в газету ”Вечерний обозреватель” о том, что им найдены останки человека новой ископаемой расы, жившей в третичную эпоху, обнаруженные в таких-то слоях, при таких-то и таких-то обстоятельствах, — подробности я даже, право, и не помню.

— Неважно, — сказал Гарднер. Он слушал с большим вниманием и временами отмечал что-то на полоске бумаги. — Что произошло потом?

— А потом произошло вот что. Профессор немедленно написал Курцеру письмо, требуя, чтобы он приехал, привез ему останки этого, как он его называл, зоантропа. В газете был помещен снимок — челюсть, часть черепной коробки и четыре зуба. Курцер приехал, привез ему кости, и тут оказалось...

Ганка остановился и посмотрел на Гарднера. Тот сидел неподвижно, положив обе руки на стол, и смотрел на Ганку. Глаза у него поблескивали.

— Да! И что же оказалось?

— Оказалось, что эта находка сделана в стенах института.

— В стенах института? — спросил Гарднер. — Как же это так?

— Оказывается, Курцер нашел в одном из шкафов челюсть шимпанзе, которая пролежала в земле много времени, в другом шкафу отыскал древний череп из курганного погребения, то есть тоже ископаемый, но принадлежащий современному человеку, отделил от него часть черепного свода и составил их вместе.

— Так, — сказал Гарднер и дотронулся до карандаша. — Дальше!

— А дальше — профессор просто-напросто выбросил Курцера вместе с его костями. Кажется, даже замахнулся на него палкой.

— О! Палкой? — с уважением переспросил Гарднер. — Вот как!

— Да, кажется, мне так именно рассказывала мадам Мезонье. Впрочем, не знаю... Но, во всяком случае, скандал был большой. Курцер много лет скитался по свету, работал в каких-то бульварных газетах, пока он наконец... — Он вовремя остановился: совершенно незачем было обострять отношения.

— Да! — Гарднер записал на полоске бумаги несколько строк, обвел их рамкой и положил карандаш. — Значит, на эту историю вы и намекали в своей статье? — сказал он тем же тоном, что и начал, показывая этим, что разговор окончен и начался допрос.

”Пока все идет хорошо”, — подумал Ганка и почувствовал какое-то смутное томление, как будто после спокойной и строгой безнадежности промелькнула какая-то надежда, и он на миг поверил в нее.

Гарднер перегнул бумажную полоску вдвое и положил на нее карандаш.

— Теперь поговорим о вас, — сказал он. — Предупреждаю, что я хотел бы обойтись без третьей степени. Вы ведь знаете, что такое третья степень?

”Вот оно! — подумал Ганка. — Вот оно самое!”

— Я думаю, мы с вами договоримся быстро. Вы человек культурный и не заставите меня... Ну, одним словом, я хотел бы знать, кто из друзей Гагена сотрудничал в листке ”Закованная Европа”.

Ганка ошалело смотрел на Гарднера. Он не представлялся, он действительно ничего не мог понять и даже переспросил:

— ”Закованная Европа”? Листок ”Закованная Европа”?

— Да, да, — повторил Гарднер. — Именно листок ”Закованная Европа”. А почему это вас так удивляет?

— Во-первых, в листке ”Закованная Европа” все статьи были подписаны, а во-вторых... я ведь не пишу в газетах, у меня и слога такого нет... вы, наверное, путаете меня с кем-то другим.

— Ни с кем я вас не путаю, — сказал Гарднер.

Он подошел к шкафу, отпер его, вынул оттуда толстую папку, полистал и вынул из нее конверт.

— Это ваш почерк? — спросил он. — Узнаете? Оно написано месяц тому назад к Гагену.

— Да, это мое письмо, — ответил Ганка, тщетно стараясь вспомнить, что же в нем было написано, хотя в то же время твердо был уверен, что ничего особенно важного в нем не было, — их отношения с Гагеном никогда не носили характера тесной дружбы.

— Так, — сказал Гарднер. — Для меня понятно ваше молчание. Вы имели связь с редакцией и достав-

ляли ей сведения о зверствах на территории протектората.

— Я? — изумился Ганка совершенно искренне. Он и понятия не имел, откуда и как редакция собирает материал, хотя и читал иногда эти страшные короткие письма на последней странице газеты, под рубрикой "В застенках средней Европы". — Откуда я мог бы...

— Значит, — посмотрел на него Гарднер, — помочь вы нам не хотите?

— В чем помочь?! — крикнул Ганка и вскочил.

— Садитесь! Спокойно! — приказал Гарднер. — Помочь в том, чтобы вы очутились на воле.

— Какой же ценой? — спросил Ганка убито.

— Ну, о цене договоримся, — успокоил его Гарднер. — Да сидите, сидите! Слушайте, доктор, говорю серьезно, не устраивайте мне больше истерик. Больше одного раза я этого не выношу. Итак, вот. Назовите мне друзей Гагена, немного, ну, двух-трех человек, и... идите к своим обезьянам. Кстати, передайте привет господину профессору. Ланэ говорит, что я осквернил какой-то его череп... Как его там? Ну? Что у него стоял на столе? Какой-то антропос, кажется?

— Питекантроп! — свирепо сказал Ганка.

— Ага, питекантропос. Ланэ говорил мне...

— Ничего вам не говорил Ланэ, — не выдержал Ганка.

Гарднер, прищурившись, посмотрел ему в лицо.

— Не говорил? Ну а если все-таки говорил? Конечно, не исключено и то, что я вам и вру. Ганке говорю про Ланэ, а Ланэ — про Ганку. Даже наверное это так. Ну а если на этот раз я все-таки сказал вам правду? Что тогда? "Какой крах! Какое падение! Какая беда!" — продекламировал он.

Ганка пыхтел, молчал и смотрел на пол.

— Ладно. Оставим пока это. Так вот: назовите две-три фамилии друзей Гагена, но, конечно, живых, не повешенных, — и пожалуйста, я раскрываю двери

темницы... Нет ли у Сенеки какой-нибудь подходящей цитаты на этот счет?

— Господи, как все это глупо! — вдруг воплем вырвалось у Ганки.

— Что именно? — быстро и учтиво осведомился Гарднер. — Что я вас хочу выпустить на свободу или... что еще?

Голова Ганки разламывалась на части. Он был готов ко всему, прежде всего к ответу за свои статьи, направленные против Кенига, — тут бы он мужественно боролся до конца. Но вот его допрашивали о статьях и людях, о которых он не имел никакого представления, и это оказывалось страшнее всего. "Что за идиотизм? — подумал он оцепенело. — Что же я скажу? Ведь я действительно ничего не знаю о Гагене... Ну а если бы знал, — вдруг пронеслось у него в голове, — тогда что?" И он похолодел оттого, что эта мысль пришла ему в голову.

— Ну? — спросил Гарднер. — В чем же дело? Я жду...

И вдруг Ганка быстро, неразборчиво залепетал:

— Господи, как все это глупо! Вы же поймите... поймите, я же думал, я же думал, что вы меня будете спрашивать о нашем институте, а вот вы... Но ведь я тут ничего, ровно ничего не знаю... Вот вы говорите: Гаген. Говорите, мой друг! Гаген — мой друг? Какой же он мне друг?.. Совсем он мне не друг. И он никогда не разговаривал о своих делах. Вы его не знаете... какой он замкнутый и молчаливый... Он очень, очень молчаливый...

— Ну, как не знаю! — добродушно улыбнулся Гарднер. — И что молчаливый, тоже знаю. Сообщников своих он не назвал, очевидно, именно по причине этой замкнутости... Вот я вас и прошу дополнить эти показания.

Ганка молчал.

Гарднер посмотрел на Ганку.

— Ну и еще одно, чтобы вы ясно понимали свое положение. Я мог бы немедленно отправить вас в сад

пыткок вашего благожелателя Коха. Ну, того самого, с которым у вас произошел некий инцидент. Но есть ряд причин, по которым я желал бы вас оставить живым. Я думаю, что в этом отношении наши желания совпадают. Не правда ли? — тут Гарднер опять улыбнулся.

Ганка был в страшном волнении.

Во-первых, в словах Гарднера почувствовалось ему что-то похожее на правду. Да и в самом деле — не похож был этот допрос на те, которые в гестапо устраиваются смертникам. Вот того же Гагена допрашивали, конечно, не так. Он, Ганка, запирается, а его не бьют. По всему видно, что Гарднер задумал какую-то ловкую комбинацию. Так вот, надо узнать, какую именно, и тогда почему не обдурить этого молодца... Кстати, он и не выглядит особенно умным. Во-вторых, он, Ганка, думал, что его сразу же станут спрашивать о работе института, а тут, как видно, этим вовсе и не интересуются. Вот, например, его статья только и выплыла в связи с тем, что Гарднеру потребовалось узнать кое-что из биографии Курцера. Самый же смысл ее остался для него совершенно неясным или он не обратил на него особенного внимания. И в самом деле — научная статья по очень, очень частному и специальному вопросу. Разве тут так легко разобраться, в чем дело? Он вдруг вспомнил, что и при аресте тоже не забрали его рукописи, а между тем один из обыскивающих листал ее, видел снимки и диаграммы и все-таки ничего толком не понял. Значит, может быть, верно, есть надежда вырваться. Но вместе с тем он видел — и это было третье, — что его не то принимают за совсем другого, близко связанного с редакцией человека, не то действительно что-то вычитали такое в его письме, что дает им основание причислять его к эмигрантским кругам, занимающимся политической деятельностью. Вот из всего этого следовало немедленно, сейчас же, сделать какой-то вывод, а соответственно с ним и повести себя.

Но как? Как?

Голова шумела.

Он снова заметил, что дрожит.

Это нелепое и позорное предложение путало все его карты. Ведь еще час тому назад все было ясно, и ясно до такой степени, что и думать ни о чем не приходилось. Он знал твердо, что погиб, и ему оставалось только одно — умереть как следует. Но, кроме того, он знал, что так просто ему умереть не дадут. Что перед этим его станут бить, выламывать ему руки, лить в уши и нос воду, может быть, приставлять к телу обнаженный провод, — вот все это и нужно вынести. Он догадывался, как и кем все это продельвается, и именно к этому и готовил себя. Но то, что потребовал от него сейчас Гарднер — и потребовал отнюдь не крича и не угрожая, — совершенно сбило его с толку. Потом эти шуточки насчет Ланэ. Конечно, Гарднер врет и издевается... он и сам не скрывает этого... но, Господи, Господи, как все это неприятно! Все это не то, совсем не то, чего он ждал, чего боялся и к чему готовился. Он растерянно и глуповато смотрел на Гарднера, и даже рот у него был полуоткрыт.

А Гарднер тоже смотрел и тоже ждал.

— Ну что, — спросил он, — подумали?

— Но я... — начал Ганка и махнул рукой: о чем он мог говорить?

— Хорошо. — Гарднер взял телефонную трубку и назвал какой-то номер.

— Это вы, Бранд? — спросил он. — Этот еще у вас? — Несколько секунд он слушал молча. — Так вот что! Быстро кончайте и ведите его сюда... Уже? У меня в кабинете!.. Хорошо! Хорошо! Хорошо, Бранд! Так я жду!

Он положил трубку, взял карандаш и что-то быстро записал на бумажной ленте.

— Положение-то вот какое, — сказал он миролюбиво. — Дела вашего института меня не особенно интересуют. — Он усмехнулся. — Конечно, вы, так же

как и ваш руководитель, заслужили двадцать раз петлю, но пока это не мое дело. Тут действует иное ведомство, и, надо думать, оно доведет это дело до счастливого конца. Если вы будете полезны нам кое в чем еще другом, вот вам моя рука — я согласен поставить крест на всем вашем прошлом. Видите, я открываю перед вами все карты. Но для этого необходимо, чтобы вы помогли нам в другом отношении.

Дверь отворилась и вошли — сначала офицер, за ним два солдата, а между ними...

Глава пятая

...Между ними шел высокий черный человек с короткими жесткими волосами, тяжелым, четырехугольным лицом.

Одет он был в глухое черное осеннее пальто с оборванными и болтающимися пуговицами, очень длинное, из-под которого высывались только красные, некогда модные туфли с острыми концами.

Не дойдя шага до стола, он остановился и стал спокойно ждать.

— Так, — сказал Гарднер, с удовольствием всматриваясь в него. — Отлично. Очень хорошо. Господин Ганка, встаньте и подойдите ко мне.

Ганка подошел.

— Скажите, не знаете ли вы вот этого человека?

— Вовсе он меня не знает, — быстро сказал вошедший.

— Да! — выпалил вдруг Ганка и осекся: все, что угодно, все, что угодно, но именно этого не следовало ему говорить.

— Да, да, — ухватился Гарднер, — знаете, и звать его... ну... ну?..

— Да не знает он меня, не знает, — сказал длинный и обернул к Ганке свое страшное, зеленое лицо. — Я же никогда и не был в этом городе. Я...

Гарднер встал, кряхтя перегнулся через стол и с наслаждением тюкнул его тяжелым пресс-папье по макушке.

— Ты, грязная свинья! — крикнул он, но не особенно зло. — Все равно ничего не выйдет. Придется рассказать все по порядку. Уж я из тебя все по ниточке повывою!

Он бросил пресс-папье на стол и сломал им карандаш.

Высокий покачнулся, но так же спокойно и окончил:

— ...я же австриец, меня зовут Отто Грубер. Я мастер по динамоустановкам. — Он как бы машинально провел рукой по волосам и стряхнул с пальцев тяжелые капли крови. — Я Отто Грубер! — повторил он.

— Заткните ему глотку! — приказал Гарднер.

Солдаты подскочили к высокому и схватили его за руки. Ганка же смотрел ему в лицо и вспоминал: где он его видел?

Вспомнить же было очень просто.

Год тому назад этого человека действительно привел к нему Гаген, но кто он такой, не объяснил. Просто сказал: "Вот этого вашего соотечественника нужно спрятать на две, на три ночи" (он именно сказал "ночи", а не "дня", и Ганка сейчас же обратил на это внимание). Был тогда этот человек в цветном драповом пальто, дорогом и хорошо сшитом, очевидно, по специальному заказу. В руке у него была тросточка с ручкой из слоновой кости, и, войдя, он сейчас же прислонил ее к стене. И этот жест, почти машинальный, спокойный, очевидно, очень привычный, сразу же запомнился Ганке. В то время прошел небольшой быстрый дождь, насквозь пронизанный солнцем и ветром, и на драповом пальто и серебрястой шляпе гостя лежали черные капли дождя. Гость снял шляпу и отряхнул ее. Потом он снял пальто; под ним оказался почему-то очень приличный, но все-таки никак не костюм, а просто комбинезон си-

него цвета. Он отряхнул и его и прошел вслед за Ганкой в комнату. Вечером пришел Ланэ и утащил Ганку в театр, а гость остался.

— Кто это у вас? — спросил Ланэ, и Ганка, застигнутый врасплох, назвал ему фамилию гостя.

— Он нехороший человек! — сказал Ланэ, подумав. — Я ему не доверил бы дом. Вы его хорошо знаете?

— Ну как хорошо! Нет, конечно, — ответил Ганка. — А почему вы так говорите, что нехороший? Разве вы...

— А вы взгляните на его лицо: оно тупое, четырехугольное и какое-то тяжелое. Впрочем, австрийцы в большинстве такие... Лафатер, например, пишет...

— Лафатер! — засмеялся Ганка. — Вот откуда подуло! Подождите, подождите, я скажу профессору, что вы читаете, он вам задаст Лафатера...

— Нет, нехороший человек, — вздохнул Ланэ. — Даже и без Лафатера нехороший: такое тяжелое лицо... Вот увидите.

Когда Ганка пришел домой, гость сидел перед шахматным столиком, курил и смотрел на фигуры.

— О! — сказал Ганка. — Так вы шахматист? Гость встал.

— Ну, какой там шахматист... Так просто, балуюсь.

Он был, очевидно, недоволен тем, что его застали за этим занятием, и даже слегка покраснел.

— А вот мы сейчас сыграем, — сказал Ганка и весело потер руки. — Ну-ка, ваши какие? Белые?

— Да нет, не буду, — засмеялся гость. И опять смущенно: — Я же так, для себя... Кто это приходил к вам?

— Разве я вам не представил его?

— Только фамилию сказали.

— А! Так! Это мой товарищ по институту, ученый хранитель музея предыстории Иоганн Ланэ. Он вам понравился?

— А что? — спросил гость и, подойдя к столу, смеялся шахматы. — Я же его не знаю, но, кажется, добродушный, хороший человек.

— Почему? — удивился Ганка.

— А что, разве я не прав?

— Нет, правы, конечно, если это только опять не по Лафатеру.

— По чему? — спросил гость и сдвинул брови. — По Лафатеру? Это ведь, кажется, что-то из области физиономистики? — нерешительно вспомнил он. — Нет, я этим не занимаюсь. Но он такой толстый, одышливый...

— "Толстый — значит добрый человек", — пишет где-то Сервантес, — заметил Ганка. — Вы правы, конечно: и хороший, и добрый. Только...

— Только немного трусливый? — угадал гость.

— А откуда вы знаете про Лафатера? — нахмурился Ганка.

— Так! — неохотно ответил гость и стал складывать шахматы в ящик. — Когда я еще бегал в школу, у нас на рынке сидел старик и гадал, и над ним была большая вывеска: "Определение характера и способностей по Лафатеру", — вот я и запомнил.

На другой день они сыграли в шахматы, и гость легко побил Ганку.

— Что за черт! — сказал ошалело Ганка. — Нет, это случайность! Давайте-ка еще!

Сыграли еще раз, и Ганка опять был побит.

— Чудеса! — сказал Ганка. — Ничего не понимаю!

Он встал, походил по комнате, пофыркал, потом вернулся к шахматному столику.

— Нет, не могу! — сказал он. — Что ж, вы меня два раза обыграли, как мальчишку... Я ведь считался... А ну, давайте-ка еще...

И третий раз Ганка проиграл.

Он сначала нахмурился, засопел, зафыркал, потом подошел к гостю и хлопнул его по плечу.

— Ничего не поделаешь, — сказал он, с явной симпатией рассматривая его неподвижное четырехуголь-

ное лицо, — не гожусь! Вот тебе и Лафатер! — Он довольно потер руки и захохотал. — Вот тебе и Лафатер! — повторил он весело.

...Все это вспомнил Ганка, смотря на Отто Грубера, но целая пропасть была между тем молчаливым, замкнутым, но очень сильным и живым человеком и этим страшным, костлявым призраком, с которым двое солдат, очевидно, неопытных и молодых, делали что-то непонятное. Словно какой-то ветер прошел по его лицу и стер все, чем отличается живой человек от мертвеца. Именно от трупа, тронутого не тлением, а грязной желтизной медленного увядания, была окаменелая неподвижность лица: и цвет кожи, и даже то неживое спокойствие и прямота взгляда, которым он смотрел перед собой.

”Лафатер?” — почему-то вспомнил Ганка, и вдруг ему показалось, что он сходит с ума...

А кровь текла и текла.

Теперь на полу уже была изрядная лужица, и волосы на голове Грубера были липкие и красные.

Солдаты повалили его зачем-то на пол, вернее — не повалили, а как-то пригнули, и остановились, растерянно пыхтя и не зная, что же им делать дальше.

Гарднер встал из-за стола.

— Господин Ганка, — сказал он громко, — так как же звать этого человека?

— Я не знаю, — ответил Ганка.

— Но вы же сказали ”да”? — нахмурился Гарднер.

— Я ответил: ”Да, я не знаю”.

— Позвольте, позвольте! Я спросил вас: ”Вы знаете этого человека?” И вы мне на это ответили: ”Да, я знаю”.

— Вы сказали, — поправил Ганка: — ”Вы не знаете этого человека?” — И я вам сказал: ”Да, я не знаю”.

— Ловко! — присвистнул Гарднер. — Выходит, что я вам и подсказал, что вы не знаете? Вот она, школа Курцера! — обратился он к офицеру. — Узнаете? Как я сказал, Ганс?

— Вы спросили подследственного, — методически ответил офицер, — не знает ли он этого человека, и на это подследственный вам ответил: ”Да”.

— Понятно! — Гарднер посмотрел на солдат — те все пыхтели и прижимали Грубера к полу. — Отпустите вы его, — с отвращением сказал Гарднер.

Солдаты отошли и встали поодаль, опустив красные руки по швам.

Грубер шумно вздохнул, поднял голову, оперся рукой о пол и стал подниматься.

Кровь лилась.

— А ну! — сказал офицер и рывком поднял его с пола.

— Уведите его! — махнул рукой Гарднер.

Грубер повернулся к Ганке.

— Я не знаю, что вы хотели сказать, — проговорил он спокойно, — но если вы...

— Да что же это?! — рявкнул Гарднер. — Что вы стоите, как истуканы! Выкиньте его!.. Ну!..

Грубера опять схватили за руки.

Офицер подошел, развернулся и ударил его.

Все они вышли из комнаты.

Гарднер подошел к двери и посмотрел им вслед.

— Ганс, опять в рубашку его! — крикнул он. — На целые сутки в рубашку. Я потом приду, посмотрю сам...

Он повернулся в Ганке.

— Вот этого человека видели у вас на квартире, — сказал он своим обычным тоном. — А чтобы вы не сомневались больше, я даже скажу и кто именно его видел. Видел его у вас доктор Ланэ. Он еще предупредил, что этот человек ему весьма подозрителен, вы же засмеялись и пригрозили ему профессором Мезонье. Кто же он такой?

Он снова сел за стол, поднял пресс-папье, погладил его и оставил. Потом взял обломок карандаша, посмотрел на него и бросил в корзину.

Ганка весь дрожал. Лицо Гарднера в ржавых пятнах прыгало у него перед глазами.

В такие минуты он понимал, что значит увидеть все в красном свете.

Его передергивало от лютой ненависти и страха перед тем, что сейчас, сию секунду, должно произойти.

”Боже мой, Боже мой, — заклинал он сам себя, — что я сейчас сделаю!” Он почувствовал легкую дурноту и оперся головой о стену.

Гарднер сидел и гладил пресс-папье.

И вдруг, вместо того чтобы броситься на Гарднера и вцепиться ему в горло — в кадык, в кадык, в самый кадык, что так омерзительно выглядывал из-под галстука! — Ганка пошатнулся, ноги у него подогнулись, и он плюхнулся на пол.

Необычайная, туманная слабость охватила его. Он снова ощутил противный запах ванили, отныне неразрывный для него с подвалом, тюрьмой и желтой лампочкой. Потом вспомнил, что Грубер безмолвно стоял, стирая кровь с волос, и она пачкала ему пальцы и капала на пол.

Он почувствовал такую тоску и такое отвращение ко всему, что ему показалось — сейчас у него лопнет сердце.

”Лафатер! — подумал он. — Боже мой, Боже мой, ведь это я схожу с ума!”

— В смирительную рубашу, — сказал тогда кто-то над ним, и глаза и щеки у него сразу стали горячими.

Потом он сидел почему-то на полу, — почему? почему? — смотрел на Гарднера и плакал.

Слезы текли у него по лицу, — это было очень неприятно, он не стыдился и не стирал их.

Гарднер наклонился, крепко обхватил его под мышки и легко оторвал от пола.

— Опля! — сказал он весело.

Потом Ганка увидел себя на стуле, и около него на столе лежали та же полоска бумаги и остаток карандаша.

— А вы закурите, закурите, это очень помогает, — суетливо советовал Гарднер и все совал ему папиросу.

Потом он зажег спичку, дал закурить и смотрел, как Ганка, посапывая, всей грудью вдыхал дым.

— Что, хорошие папиросы? — спросил Гарднер.

— Очень! — ответил Ганка.

— Так как звать этого человека? — Ганка молчал. — Молчите? Тогда я вам скажу: Войчик, Войчик. Карл Иоганн Мария Войчик, вот как его зовут. И вы отлично знаете это. Ну что, угадал я?

— Нет, — ответил Ганка и отвернулся. — Не угадали. Ничего я не знаю про этого человека.

Глава шестая

Сколько времени прошло с этих пор? Шли часы, может быть, дни, а может быть, и недели. Он просыпался, тупо смотрел на потолок, на противную желтую лампочку, большой, видимо, цинковый сосуд, обмазанный чем-то черным и пахучим, — дегтем ли, смолой ли, сам черт не разберет чем, — на вторую постель, что стояла напротив, и его сейчас же снова поглощало без остатка мутное, расплывчатое пятно без образа и звуков. Он так-таки ничего и не осознал из происходящего.

Впрочем, нет, он каким-то верхним чутьем не принимал, а знал, что камера эта не та и положение его уже не то, другое какое-то, и сам он уже не тот, что раньше. Как это произошло и что он сделал — этот вопрос никак не приходил ему в голову. ЭРаз, очнувшись, он увидел, что его сосед поднялся с койки. Но ему даже не пришло в голову поинтересоваться, кто он такой и откуда взялся. Потом он видел, как сосед стоит под лампочкой, держит рубашку и что-то делает с ее воротом — зашивает, наверное, — а потом, сколько он ни приходил в себя, камера опять была пуста — сосед спал, свер-

нувшись калачиком и прикрывшись с головой одеялом. Значит, была уже ночь.

Так чередовался и сосуществовал этот ясный, простой и страшный в своей простоте кошмар с глубоким и мутным забвением. Желтая лампочка, серые, шершавые стены, вторая кровать напротив и на ней его сосед — вот и все, что он помнил.

В первый раз, когда он пришел в себя окончательно, сосед сидел на кровати и смотрел на него. Ганка поднял голову и улыбнулся.

— Ну, как? — спросил сосед, и только сейчас Ганка узнал его: это был Карл Войцик. — Вам лучше?

Ганка помолчал, соображая, потом вдруг в ужасе вскочил с койки, сделал движение бежать, но сейчас же сел опять. Глаза его были широко открыты, он часто дышал.

— Что это с вами? — спросил Карл Войцик.

Ганка молчал.

— Воды хотите?

— Разве вас не расстреляли? — спросил наконец Ганка совсем тихо.

— А что, вы дали такие показания? — без особого возбуждения, но с интересом осведомился Карл Войцик.

— Ничего я не давал, — сказал Ганка.

— Ну, а почему же...

— В самом деле — почему? Во сне, что ли, приснилось?"

— Мне показалось, — с трудом выговаривая слова, ответил Ганка, — что вас расстреляли еще вчера, но теперь я вижу, что вы и тот совсем не похожи.

Войцик смотрел на него, не сводя глаз, с какой-то трудно уловимой иронией или насмешкой.

— Так вас водили смотреть расстрел? — спросил он.

Ганка опять задумался: что-то все время всплывало и сейчас же снова исчезало из его памяти.

— На расстрел? — спросил он, морщась от усилия вспомнить все. — Водили? Нет, никуда меня не

водили, я и вообще не выходил из кабинета... но вот из окна...

— Ага! — сейчас же понял все Войцик. — Они подвели вас к окну и сказали: "Смотри! Вот что будет с тобой, если ты будешь упрямяться и не слушать добрых советов". Так?

— Так! — ответил Ганка. Но сейчас же закричал:— Нет, нет, совсем не так! То есть так, но...

— Все так! — Войцик очень твердо сказал это, показывая, что разговор на эту тему он считает оконченным. — Ну и тогда вы сделали все, что от вас требовали? Не так ли?

Ганка схватился за голову и заходил по камере.

— Я что-то подписывал, — сказал он жалобно. — Я, верно, что-то подписывал... бумагу какую-то, потом письмо, потом декларацию: "Коммунизм является только нашим первым противником, за ним пойдет и борьба со всякой демократией! Мы расисты!.." Что-то в этом роде!

— Очень хорошо, — усмехнулся Войцик, — достойнейший документ! И после того, как вы его подписали, вас послали ко мне и приказали: "А теперь запоминай все, что тебе будет говорить твой сосед, — в этом твой последний шанс". Так?

Ганка молчал.

— Видите? Опять так. Я не хочу притворяться и поэтому играю с вами в открытую. Так вот, давайте договоримся наперед: из этого...

— Боже мой, боже мой! — сказал Ганка в ужасе. — Этого не было... Но ведь можно и так подумать! Как же я не сообразил всего этого!

— Ну вот, — кивнул головой Войцик, — а раз сейчас вы все соображаете, давайте договоримся наперед: ничего у вас не получится. Конечно, от такого поручения вы отказаться не можете... Скажите, они сильно вас били?

Ганка с величайшим напряжением смотрел на него и молчал. Что-то смутно припоминалось ему, но все время ускользало, и он никак не мог уловить то

основное и единственно важное, что следовало поймать и вырвать из этой путаницы.

— Я писал, я, верно, что-то много писал! — повторил он уже почти бессмысленно.

— Ну, понятно! — Войцик грубо расхохотался. — Иначе разве вы были бы тут? — Он отвернулся и лег на кровать, спиной к Ганке.

Потом Ганка снова спал, вернее — не спал, а впал в тяжелое полузабытье, во время которого он помнил, однако, что он находится в тюрьме, в новой камере, что рядом с ним лежит Карл Войцик, считающий его предателем, и это, пожалуй, верно, потому что не зря, вовсе не зря его посадили в эту камеру.

Сколько времени это продолжалось, он опять-таки не помнил, но его разбудила чья-то грубая рука, которая трясла его за ворот. Он приподнялся, сильным движением плеча сбросил эту руку и сел на кровати. Перед ним стоял солдат и держал в руке какую-то бумажку.

— На допрос! — сказал он, а так как Ганка продолжал сидеть неподвижно, нетерпеливо добавил: — Давай, давай пошевеливайся! Ты не один у меня!

... Когда Ганка возвратился, на столе стояла довольно большая оловянная миска, по дну которой было разлито немного мутной жидкости. Рядом лежал кусок серого хлеба.

— Ваша порция, — сказал Войцик, не глядя на него.

Он сидел на кровати, а перед ним на табуретке стояли какие-то фигурки, слепленные из хлебной мякоти. — Ганка не сразу даже понял, что это шахматы.

— Что, хоть покормили они вас там? — небрежно спросил Войцик, передвигая какую-то фигурку.

Ганка стоял, молча смотря на него, но Войцик сейчас же и забыл о своем вопросе. Он сосредоточенно смотрел на шахматную доску, начерченную на табуретке, и думал.

— Да! — сказал он наконец громко сам себе и усмехнулся. — И так не выходит, и так не выходит...

— Войчик! — робко позвал его Ганка.

— Да? — он все смотрел на шахматы. — Да, говорите, я вас слушаю.

— Вы знаете, что они мне сказали?

Войчик двинул было какую-то фигурку, но сейчас же покачал головой и поставил ее обратно.

— Да, что же они вам сказали? — спросил он равнодушно.

Ганка глубоко вздохнул и ничего не ответил.

— Что за черт! — выругался Войчик, не сводя глаз с шахматной фигуры. — А если... Нет, так тоже нельзя... Ну, ну, что же они вам сказали?.. Это Гарднер, что ли, сказал? — поднял он глаза на Ганку.

— Да, Гарднер. Он мне сказал: "Раз вы подписали декларацию от имени работников института против псевдоучения профессора Мезонье, значит вы наш". А если бы вы знали, какая это гнусность!

Войчик молчал.

— Мне осталось только одно! — сказал Ганка и облизал пересохшие губы.

— Именно? — поинтересовался Войчик.

Ганка нерешительно посмотрел на него.

— Но вы... — заикнулся он.

Войчик молчал.

— Я выйду и убью Гарднера! — вдруг выпалил Ганка.

Войчик поднял голову — до сих пор он все переставлял шахматы — и посмотрел ему в лицо, быстро, внимательно и злобно, и снова стал смотреть на табуретку.

— Ну конечно, вы мне не верите! — жалобно сказал Ганка, и слезы у него потекли по лицу.

— Не покупайте, не покупайте меня, Ганка, так дешево! — вдруг раздраженно заговорил Войчик и повернул к нему свое ненавидящее лицо. — Вы в этих делах еще новичок. И они вас очень... понимаете, просто очень нехорошо проинструктировали. Вы спешите и путаетесь. Это же грубая и топорная работа, как вы этого сами не понимаете! Скажите им, что

они от меня ничего не получают! Сегодня или завтра они меня выведут и расстреляют, только этим дело и кончится, — и он злобно смешал шахматы.

— Гарднер сказал, что я должен предложить вам передать на волю записку. Сказать, что меня скоро выпустят, и если вы желаете что-нибудь передать...

— Господи! — вдруг взмолился Войцик. — И это Гарднер! Но вы-то, вы-то, Ганка... Ведь вы же умный человек, вы же должны понимать...

— Гарднер мне сказал, — продолжал Ганка: — "Конечно, он вам сначала не поверит, но внушите ему, что вас скоро выпустят, — серьезных обвинений против вас нет, и декларацию вы уже подписали, а дело вел ваш университетский товарищ Людовик Дофинэ".

— Как? — очень удивился и даже испугался Войцик. — Вы и про декларацию должны были сказать мне?

— Да, да, и про нее, и даже именно про нее. Он несколько раз повторил мне и про декларацию и про то, что Людовик Дофинэ, мой университетский товарищ, был моим следователем: "Так вот Войцику и скажите".

Войцик покачал головой.

— Ах, какая сволочь этот Гарднер! — сказал он задумчиво. — Ах, какая сволочь! Вы знаете, Ганка, он только кажется ограниченным, а на самом деле он очень умный, он умнее всего гестапо. Он знает, что врать и как врать, и вот на этом, именно вот на этом, они действительно могли бы поймать какого-нибудь юнца.

— А вас? — спросил Ганка.

Он спросил потому, что последние слова Войцика для него прозвучали так: "Но меня, сударь, вы и на этом не поймали бы".

— А меня... — в раздумье повторил Войцик и остановился. — Нет, то есть, может быть, да... То есть, конечно, нет. Но это не потому, что я не поверил бы

вам, — возможно, поверил бы, и даже конечно поверил бы, но записку и адреса не дал бы.

Он еще подумал.

— А когда вас должны выпустить?

— Да я ведь не знаю, выпустят ли, — сказал тускло Ганка. У него опять начала болеть голова и становилось душно и мутно. — Он сказал мне: "Сегодня или завтра отпустим".

— Понятно! Выпустят, Ганка, обязательно выпустят! Вы им теперь нужны... — Он криво усмехнулся. — А вот Людовика-то Дофинэ, очевидно, уже... — он не договорил и щелкнул себя по затылку.

Ганс посмотрел на него с удивлением.

— Вы меня не так поняли, — сказал он. — Какой Людовик Дофинэ? Никто со мной, кроме Гарднера, не говорил. А Дофинэ и на свете-то не существует.

— Не существует? — переспросил Войчик. — Да, теперь, конечно, уже не существует. Раз Гарднер вам назвал его фамилию, значит, больше его не существует.

— А разве?.. — начал Ганка испуганно.

— "Разве он был?" — хотите вы спросить. В том-то и дело, что был... И университет окончил, и сторонником народного фронта был, и работал следователем в гестапо по нашему поручению. Видите, все это Гарднер учел вполне трезво. И если ошибся, то только в одном.

— В чем же? — спросил Ганка.

— В том, что ни адреса, ни письма я вам все-таки не дам.

— Вы не доверяете мне по-прежнему? — спросил Ганка после некоторого молчания.

— Нет, не по-прежнему! — ласково улыбнулся Войчик и дотронулся до его руки. — Теперь я не доверяю вам больше прежнего, потому что знаю, что вы непременно попадете опять в руки Гарднера.

Войчик откинулся на стену и закрыл глаза. Вид у него был очень утомленный. Так прошло много вре-

мени. Потом он провел рукой по лицу, посмотрел на Ганку и улыбнулся.

— Да, — сказал он. — Это уже все. Кто-то выдает, и умело выдает. Что, вам велели с моей запиской сейчас же прийти к ним?

Ганка покачал головой.

— Нет, просто сказали, чтоб я выполнил как можно лучше ваше поручение и больше ни о чем не думал.

— Умно! — усмехнулся Войцик. — И умно, и дальновидно! Чем дальше знакомлюсь с Гарднером, тем больше отдаю ему должное. Ясно, что он серьезно рассчитывает на вас, и какое счастье, что он ошибается. В этом и есть залог его гибели, Ганка!

— Господи! — крикнул Ганка и бросился к Войцику. — Если бы вы только знали... Если бы вы только знали, что я сделал, подписав эту подлость... Я же... я же погубил профессора! Он не выдержит, когда увидит мою подпись рядом с подписью Ланэ, и если бы вы знали еще...

— Знаю, все знаю, голубчик, — ласково сказал Войцик. — И не рассказывайте мне ничего больше, не надо, я и так все понимаю.

Ганка встал, провел рукой по лицу и тяжело сел опять на табуретку.

— Что же мне делать? — спросил он тихо и как-то исступленно.

— Теперь я вас спрошу: как вы считаете, они вас действительно выпустят? — спросил Войцик, что-то соображая.

— Да, если соглашусь и дальше поддерживать декларацию, которую я подписал.

— Отлично! — Войцик дотронулся до плеча Ганки. — Обещайте все, что угодно, подпишите еще десять деклараций. Если подписали одну, остальные уже не имеют значения, но выходите обязательно — вы будете нужны. Вы очень будете нужны, и если меня не расстреляют сегодня же...

— Как? — вскочил Ганка. — Но Гарднер мне говорил совсем другое. Я даже так мог понять, что они вас не считают даже особенно опасным преступником.

— Конечно, они хотели вам это внушить, — опять улыбнулся Войцик. — Нет, Ганка, они отлично понимают, сколько я стою, и если я не передал вам записку, значит делать им со мной нечего. Понимаете?

— Да, — сказал Ганка. Что-то давило грудь и не давало свободно говорить. Снова начинала болеть голова. — Да, — повторил он и сам услышал свой голос со стороны, как будто бы говорил не он, а кто-то третий, находящийся с ним рядом. — Я понимаю вас, и раз вы...

— А раз со мной больше нечего делать, значит, надо меня как можно скорее... ликвидировать! И как можно скорее! А то я, пожалуй, сумею найти способ предупредить товарищей как-нибудь иначе. Каждый прожитый мною день повышает на это шансы. Понятно?

Ганка кивнул головой.

— А через вас я все-таки ничего передавать не буду и никакого адреса не назову... Но вот что, Ганка! Если вы можете выбраться, то выбирайтесь, — вот и все. И обязательно запомните про Людовика Дофинэ. Это очень важно.

— Вы железный человек, — сказал Ганка, — и, знаете, я это понял почему-то еще тогда, когда мы играли с вами в шахматы. Такие только и нужны в наше время. А я...

— А вы? — спросил Войцик. — Вы какой?

— Я? — Он беспомощно развел руками. — Видите, какой? — сказал он с жалкой усмешкой. — Очень нехороший.

— Из мяса, нервов и костей? — серьезно спросил Войцик.

— Еще хуже. Только из нервов!

— Да! — Войцик что-то долго смотрел в лицо Ганки. — А вы знаете, перед самым арестом как-то слу-

чайно мне попала в руки книга о Кампанелле, и я стал думать о нем.

— О Кампанелле? — все больше и больше удивлялся Ганка. — Но... почему же именно о Кампанелле?

— Да, о Кампанелле, — твердо сказал Войцик. — О человеке, всю жизнь мечтавшем о городе солнца. Он ведь тоже много перенес, он больше двадцати лет просидел в подземной тюрьме и писал там сонеты. Писал, может быть, между двумя допросами, которые всегда кончались дыбой или "испанским сапогом". Помните это: "Я двенадцать часов провисел на дыбе и потерял за это время шестую часть своего мяса". Но пять шестых этого страшного, истерзанного мяса продолжали жить, страдать, бороться и мечтать! Вот что главное, Ганка: мечтать! О городе солнца, который будет построен после того, как его, Кампанеллу, снимут с веревки и бросят в яму. И он верил, он пламенно верил, что такой час придет и город солнца будет создан! А какая нечеловеческая сила веры в будущее была у него, Ганка! Я когда-то переводил его сонеты. Помню, он писал в тюрьме:

Заклеймено проклятьем без предела
То сено, что нескошенным истлело.
Вот так же будет поздно или рано
И с царством многолетнего тирана.

Он помолчал.

— И вот, я так же сижу в тюрьме, как и он, я так же борюсь за освобождение своей родины, но только я счастливее его: я знаю, и твердо знаю, что город солнца непременно будет построен, а он мог только мечтать об этом.

— Да, — сказал Ганка, — я теперь тоже верю в это. Но я еще не заслужил того, чтобы вступить в этот город. Я не сделал ничего, чтобы миру было светлее.

— Но вы знаете, что нужно делать? — спросил Войцик.

Ганка посмотрел на него.

— Кажется, знаю, — сказал он коротко.

Они оба помолчали.

— И вот сегодня, — сказал вдруг Войцик, — я умираю за него, хотя у меня в нем нет ни одного знакомого. Вы знаете, — спросил он неожиданно и совершенно вразрез разговору, — что такое смирительная рубашка?

Ганка посмотрел на него удивленно.

— При чем же... — заикнулся было он, но сейчас же ответил: — У Джека Лондона есть целый роман о ней. Он, кажется, так и называется — "Смирительная рубаха".

— Это что-то о переселении душ и странствии по временам и пространствам? — поморщился Войцик. — Знаю, читал! Нет, это что! Я говорю про настоящую смирительную рубаху. Вас затягивают в нее так, что тело начинает сразу болеть и пульсировать так, как одна сплошная рана... Ах, какая это боль! У вас сразу же отмирает тело, отмирает, но продолжает чувствовать, как будто вас положили на швейную машинку и прострочили несколько раз. Потом вам загибают руки и пропускают через ноги. Одним словом, затягивают узлом... И кровь заливает глаза, вы лежите и только одной полоской живота касаетесь пола, все остальное находится в воздухе. Через пять — десять минут вы теряете сознание. Я в ней пролежал свыше суток и знаю, что это такое. Это было еще два года тому назад. Так вот, лежа в ней, я вспомнил Кампанеллу и подумал...

Он не успел закончить. Отворилось маленькое круглое окошечко на двери и сейчас же захлопнулось. Потом загремели ключи.

— Это за вами! — быстро сказал Войцик. — Скажите, что я засмеялся и плюнул вам в лицо. Про Дофинэ вы мне не сказали: забыли фамилию.

Он обернулся на дверь — ее все отпирали — и быстро сунул Ганке руку.

— Когда вы возвратитесь, меня уже тут не будет. Но вспоминайте иногда обо мне, если вам все-таки удастся увидеть, как строят город солнца...

Внезапно он отскочил от Ганки.

Дверь приоткрылась. На пороге стоял солдат с бумагой в руках.

— Ганка, — вызвал он, — собирайтесь!

— До свидания, Войцик, — сказал Ганка.

Войцик ничего не ответил.

Когда дверь закрылась и звонко щелкнул замок, он опять выдвинул на середину камеры табуретку и расставил шахматные фигуры в том порядке, как они стояли до прихода Ганки. Он сделал несколько ходов, покачал головой и смешал фигуры.

Потом встал и заходил по камере.

— Так-то, Ганка! — сказал он, останавливаясь перед дверью. — Так-то, дорогой! Может быть, вы и не убьете Гарднера, но все-таки, все-таки...

Глава седьмая

Миссия, которую Курцеру пришлось взять на себя, была ему явно не по сердцу.

Не то чтоб этому хорошо выдрессированному, цепкому, умному и совершенно беспринципному человеку претили воспоминания о пережитом им некогда унижении. Этот дикий крик, ругань на двух языках сразу, летящие кости, бесноватая фигурка профессора — все это теперь, за давностью лет и огромностью событий, происшедших за этот промежуток, совершенно выветрилось из памяти и теряло свой обидный смысл, и не родственные чувства говорили в нем и уж конечно не совесть, в существование которой он не верил и в свои лучшие годы. Никак не все это заставляло его отказываться от поручения, навязанного ему ведомством, с которым он не был связан уже пять лет. Он отказывался потому, что считал совершенно бесполезным, смешным, а для себя так и просто унижительным действовать так, как ему предлагали.

— Этакая мерзость! — говорил он, и даже его красивые губы кривились при этом, как от сильного от-

вращения. — Боже мой, что за мерзость и идиотизм задумали эти мартышки!

И когда в министерстве речь дошла до этого, он тоже (хотя, конечно, далеко не с такой энергией и ясностью) высказал примерно те же мысли.

— К чему эта актерская игра? — сказал он недоуменно, разводя руками. — Эти хитросплетения и интриги? Что это за смесь великого инквизитора с чиновником гестапо, когда для разрешения всех этих вопросов требуется — вот! — и он слегка хлопнул себя по карману.

Но маленький черноволосый человек с длинным черепом, большими, лунатическими, как у ночных птиц, глазами в ответ на это честное и туповатое — нарочно туповатое — недоумение только улыбнулся и покачал головой.

— Мы должны группировать вокруг себя лучшие умы Европы, — сказал он. — Выиграть войну физически на поле сражения, — это, разумеется, очень много, — он поднял кверху палец, — очень много! Но еще далеко не все. После этого ее надо еще выиграть и морально, в умах людей. Помните, что самые великие события совершаются в мозгу. Вот чего не понимают бравые молодцы из военного ведомства.

— Извините, — сказал Курцер хмуро, — но и я этого не понимаю. Принципиально не понимаю. Для меня это все слишком тонко. По-моему, так: если я придавил врага ногой к земле, то он подавлен физически и морально, победителем он себя уже никак не почувствует. Кулак хорош уже тем одним, что он одинаково формирует и тело и душу. А все эти хитросплетения, уговоры, актерство... — Он махнул рукой. — Нет, все это мне никак не по душе.

— И, однако, — сказал черноволосый уродец, — вы в свое время отлично справились с серией статей, написанных по нашему заказу. То, что мы предлагаем вам сейчас, по существу, только продолжение этой же работы. Мы не выдумываем вам ничего нового.

— Видите ли, — хмуро сказал Курцер, — тут есть принципиальная разница! Я журналист и могу написать все, что вам угодно, но между тем временем и нынешним — целая пропасть. Тогда наши танки еще не ползли по улицам столиц Европы. Профессор Мезонье был для нас недосыгаем. Сейчас же все, что нужно, вы можете получить прямо через Гарднера. Это будет и скорее и крепче.

— Вот что, господин Курцер, — сказал уродец после некоторого молчания. — Может быть, у вас тут, — он пошевелил пальчиками, — замешано что-нибудь сугубо личное?.. Вы ведь понимаете, о чем я говорю?.. Может быть, мы и в самом деле плохо разбираемся в ваших семейных отношениях? Тогда скажите прямо, и если это так, то...

— Это совсем не так, — сказал Курцер. — Я поеду и буду делать то, что вам угодно. Но, — он хмуро улыбнулся, — я, как Наполеон, никогда не люблю делать бесполезные вещи. Где достаточно физической силы, там не надо этих обезьяньих кривляний. Впрочем... — он встал с места. — Да будет так. Я человек ясных и прямых линий. Приказано — и я делаю. — Он помолчал и, подумав, добавил: — Вот вы говорите: "моральная победа в мозгу людей". А я хорошо знаю, что такое эти самые моралеобразующие силы в их чистом виде. Я видел и знаю, как изменяется и психика и нравственность под дулом браунинга. Повторяю: я глубоко убежден, что враг, сбитый с ног ударом моего кулака, быстро переходит в мою веру.

Черноволосый засунул руки в карманы пиджака и от этого сразу сделался еще меньше и тщедушнее.

— А если нет? — спросил он, с любопытством смотря на Курцера.

— Значит, я его недостаточно побил, и надо ударить в другой раз, и покрепче.

— И все? — спросил уродец.

Курцер слегка пожал одним плечом. Этот разговор начинал серьезно раздражать его. Он вынул за-

жигалку, повертел ее в руках, подбросил и снова спрятал в карман.

— Конечно, — сказал он медленно, — есть такие злобные и упорные гадины, которых никакие побои ничему не научат, но таких меньшинство. Я понимаю, как можно бить для того, чтобы убить, но как сначала бить, а потом убедить... Нет, это никак не укладывается в моей голове.

Черноволосый уродец стоял по-прежнему неподвижно.

— Конечно, — сказал он, — вы будете действовать в тесном контакте с Гарднером, и если ничего не выйдет, то...

— Это-то я понимаю, — сказал Курцер. — Но если бы с профессором Мезонье говорил один Гарднер, то результат был бы такой же.

Уродец посмотрел на Курцера прямо, открыто и пристально. В его больших черных глазах что-то на мгновение зажглось и сейчас же потухло, он даже как будто слегка зевнул.

— То, что я знаю о профессоре Мезонье, — сказал он вяло, — заставляет меня не согласиться с вами. Успех императивных мер, по-моему, здесь больше чем сомнителен.

— А вы думаете, я сколько-нибудь надеюсь на успех? — сказал вдруг Курцер зло и раздраженно. — Гарднеру все равно придется вступить рано или поздно, но лучше бы сразу было начать с него... — И он взялся было за шляпу.

Уродец глубоко вздохнул, вынул руки из карманов и прошел к столу.

— Одну минуточку! — сказал он. — Я вам кое-что дам на дорогу.

Он выдвинул ящик стола и выкинул несколько книг в разноцветных бумажных обложках.

— Вот, посмотрите, — сказал он, — в особенности этот том "Ежемесячного обозрения наук и искусства". Здесь есть интересная статья доктора Ганки.

Курцер быстро взглянул на него, но он не улыбался, и птичьи глаза смотрели по-прежнему прямо и тускло.

— Я знаю эту статью, — сказал Курцер и взял журнал.

— Ну и отлично, — облегченно вздохнул черноволосый уродец. — А как ваше самочувствие вообще?

— Благодарю вас, — хмуро сказал Курцер. — Оно таково, что я полностью выполняю все, что вы мне поручили.

Придя домой, он долго ходил по кабинету, навистывая какую-то идиотскую арийку, что-то думал, соображал и наконец сел за стол и начал писать.

Так его и застал Гарднер, которому он вручил письмо.

— Заверьте его, — сказал Курцер, — что я немного болен, лежу в кровати, но через несколько дней буду в городе.

Гарднер посмотрел на него в недоумении.

— Значит, вы не войдете в город вместе с нами? — спросил он.

Ему под секретом рассказали, что Курцер назначается имперским наместником этой новой провинции, или протектората, и вступает в свои обязанности немедленно. Про миссию же специального порядка он знал смутно и не все, ему только специальным отношением из министерства запретили касаться профессора Мезонье без ведома или санкции Курцера. О родстве же Мезонье и Курцера он знал до сих пор только то, что сообщали ему в министерстве, то есть, по существу, ничего, кроме голого факта, который мог быть расценен по-разному. Даже настоящие намерения Курцера ему были не вполне известны.

“Во всяком случае, профессор не особенно обрадуется этому письму, — быстро решил Гарднер, смотря, как Курцер вертит в руках зажигалку. — Да, если такой начнет чего-нибудь добиваться...”

А Курцер спрятал зажигалку, подошел к столу, отпер нижний ящик и вынул оттуда продолговатую и желтую, как спелый южный плод, бутылку. Взял ее в руку, подошел к окну и посмотрел в стекло, как в грань какого-то гигантского кристалла.

— Тысяча восемьсот восьмого года! — сказал он с гордостью и поставил ее на стол. — Войти вместе с вами в город? Нет, зачем же?! — Он усмехнулся так, что даже Гарднеру стало неприятно. — Нет, я запоздаю недели на две. Пусть там посмотрят на вас и подумают. На это тоже надо дать время. Если я приду сразу, многие из них и не почувствуют вашей руки, а они, — он снова усмехнулся, — должны хорошенько войти во вкус всего, что творится.

”Вот сволочь! — оцепенело подумал Гарднер. — Он даже и не скрывает, что я ему нужен как черный фон. Видите ли, мы должны быть плохи потому, что он хочет быть хорошим. Да что я ему — негр, что ли?”

— Скажите, — спросил он официальным тоном, сдвигая брови, — что ж я-то, собственно, тогда должен делать? Сотрудников института мне, значит, нельзя трогать ни под каким видом? Так, что ли?

Тут сзади него что-то хрипло и пронзительно закричали. Он быстро повернулся.

Сердитый синий попугай с длинным хвостом сидел на жердочке и что-то злобно выкрикивал, хватаясь клювом на решетку.

— Арра! Аррра! Арррра!! — надрывался попугай, и сейчас же из другого угла на этот крик кто-то ответил тонким лесным стрекотаньем.

— Тцит, тцит, туит, трр...

Потом помолчал немного и опять:

— Плень, плень, плень, сссс!

Гарднер посмотрел туда и только сейчас увидел, что между двумя книжными шкапами, в углу кабинета, стоит большая клетка с косой плетеной решеткой, которую он сначала тоже принял за шкаф. Вглядываясь в нее, он рассмотрел смутный силуэт срубленного дерева, целиком внесенного в клетку, а на гру-

бых суках его — разноцветные комочки пуха: это все сидели мелкие лесные птички, устроившиеся на ночной отдых.

— Черт! — подумал ошалело Гарднер. — Что это у него за Ноев ковчег? И доволен, сволочь! Стоит улыбается... Да полно, не сумасшедший ли он? Вон глаза у него какие!”

— Арра! Арра! Арра! — надрывался попугай и вдруг забил крыльями и заговорил: — Герр Кррцер, сахарру, сахарру, герр Кррцер!

Курцер сиял.

— Мой зверинец! — сказал он гордо. — Знаете, с мальчишеских лет я занимаюсь птицеводством. Это вот гиацинтовый ара, очень редкий вид, уже почти совершенно вымерший. Этому экземпляру лет пятьдесят. Вы знаете, попугаи очень долго живут. Гумбольдт, например, рассказывает такое...

— “В зверинец бы тебе поступить зазывалой”, — злобно подумал Гарднер, почему-то ожесточаясь все больше и больше, и в это время сердитый попугай как будто что-то надумал и радостно закричал:

— Гарррднер, герр Гарррднер!

Это было так неожиданно, что Гарднер чуть не сел на пол. Он вопросительно посмотрел на Курцера.

Тот стоял неподвижно, но все лицо его светилось от тихого восторга.

— Он знает имена всех моих знакомых, — сказал он с гордым умилением. — Подойдите, Гарднер, дайте ему кусочек сахару. Смотрите, какая память! Я ему вчера только раза три сказал вашу фамилию.

Он подбежал к столу, выдвинул ящик и достал оттуда несколько кусочков сахара.

— Дайте, дайте ему кусочек из собственных рук! — шептал он в умилении. — Вот вы увидите, какая это чудесная птица...

— “Да что он, в самом деле сумасшедший?” — думал Гарднер уже почти со страхом, а тот все совал и совал ему в руки сахар.

Наконец Гарднер взял его и подошел к клетке.

Увидев его, гиацинтовый ара задвигался, перебирая жердочку черными жесткими ногами в крупных чешуйках, высунув нос и как-то боком, с привычной деликатностью только тронул сахар.

Гарднер положил ему в клюв кусок сахара, и тогда попугай, так же быстро скользя по жердочке, отодвинулся на середину и сочно разгрыз его.

— А! А! — закричал он и забил крыльями.

И сейчас же Курцер пояснил с материнской гордостью.

— Видите, какой умный: съел и благодарит!

— Ттик, ттик, ттик, тсс, — раздалось сзади.

Курцер подошел к шкафу и нажал кнопку.

Вошел слуга.

Курцер вынул часы.

— Восемь часов! — сказал он значительно. — Пора зажигать огонь. Почему клетка не покрыта? Видите, птицы беспокоятся оттого, что не могут заснуть.

— Теньк, теньк, теньк, — снова сказала клетка.

— Слышите? — нахмурился Курцер.

”Сумасшедший! — подумал Гарднер уже с глубокой уверенностью. — Несомненно, сумасшедший! Вот и у Геринга звери и птицы по всему замку”.

Слуга принес большое белое покрывало и набросил на клетку. В ней сразу все затихло.

Курцер зажег электричество, взял со стола бутылку и поднес ее к настольной лампе. Она вспыхнула и засветилась, как огромный прозрачно-золотой кристалл.

— Нет, почему же не арестовывать, — сказал Курцер. — Ни в коем случае вам никого из них не следует щадить! Наоборот! Сразу же арестуйте двух или трех сотрудников института! Даже прошу — сделайте это как можно грубее. Хорошо, если вы сумеете проделать все это в присутствии самого профессора, так, чтобы он видел.

Он вдруг улыбнулся злобно и криво.

— Я же должен явиться спасителем! Так, понимаете, нужно же мне кого-то спасти и от кого-то спастись. Вот вы и должны мне в этом помочь! Ну а в общем-то, — он махнул рукой, — конечно, это ничтожное и вполне, кажется, бесполезное дело! Впрочем, посмотрим!

”Нет, не сумасшедший, — подумал Гарднер, смотря на его ясные, рысьи глаза, — а просто скотина!”

И от этой мысли ему сразу стало легче.

Уходя, он уносил с собой том ”Ежемесячного обозрения” и довольно твердо знал, что ему нужно делать, кого арестовывать и даже с чего начинать первый допрос. И вот неожиданный просчет у обоих. В дело вмешался Карл Войцик.

Глава восьмая

Никогда так быстро не менялись у Карла Войцика следователи, как в этот последний допрос.

Их было двое. И первым начал с ним разговаривать Гарднер, сейчас же после того, как отпустили Ганку.

В коридоре Войцика остановили, посадили на скамейку и надели ему наручники. Потом подняли за локти и повели дальше.

Шли долго. Лифт не работал. Прежде чем добраться до кабинета Гарднера, им пришлось миновать несколько коридоров и лестниц. На каждой площадке Войцик непременно останавливался, как будто для того, чтобы отдохнуть, и осматривался по сторонам.

То, что здание сразу же заняло гестапо, спасло его от разгрома. Большая часть обстановки сохранилась. Кое-где на площадках стояли даже пальмы, а под ними, на лавках, явно принесенных со стороны, кучками сидели солдаты.

Личный кабинет Гарднера помещался так высоко, что в выходящем во двор огромном венецианском окне не было даже решетки. Проходя по кабинету, Карл Войцик по привычке заглянул в него — он увидел далеко-далеко внизу угол двора, а на нем несколько лоснящихся, новеньких автомобилей, похожих на жужелиц.

”Да, отсюда уже не выпрыгнешь”, — подумал он.

Быстро оглядел кабинет и сразу же понял, что Гарднер в нем устроил склад награбленного. Пол застилал дорогой гобелен, на котором в пестром беспорядке мешались безбородые мужчины, нагие женщины, развалины какого-то многоколонного храма, а между ними — горящие треножники, жезл с воробьиными крылышками, лавры, доспехи, мечи и белые лошади.

”Краденый”, — подумал Войцик.

Он отыскал глазами в углу кресло, наискосок от стола, пошел и сел в него, и тогда над ним с темно-оливкового полотна наклонилась Венера, только что вышедшая из породившего ее океана, и посмотрела на него с тихой и мудрой улыбкой. С ее тела спадала на сиреневый песок побережья самая легкая вещь в мире — морская пена — тот единственный материал, из которого она могла быть создана даже богами.

”А вот Еву синайские евреи просто вылепили из куска сирийской глины”, — почему-то смутно подумал Войцик. Он поднял глаза и увидел Гарднера.

Гарднер сидел за столом, поглаживая бронзовую чернильницу в виде лотоса, и лиловатые губы его уже вздрагивали.

”И лотос этот тоже украл”, — пронеслось в голове Войцика.

— Вам никто не предлагал садиться, — вдруг с раздражением сказал Гарднер и приподнялся со стула. — А ну, встать сейчас же!

Войцик только хмыкнул и заложил ногу за ногу.

— Зачем вы так кричите? — спросил он спокойно. — Вы же знаете, стоя я разговаривать не буду.

— Не будете? — спросил Гарднер мурлыкающим голосом. — А не много ли берете на себя? Будете! Заставлю!

— Имейте в виду еще вот что, — продолжал Войцик так же спокойно, — я ведь отлично понимаю, для чего вы меня сегодня вызвали.

— Понимаете? — ласково спросил Гарднер, и тонкие губы его опять вздрогнули.

— Ну, разумеется, — спокойно и даже небрежно ответил Войцик.

— А что же вы такое знаете? — спросил Гарднер с той же сладкой ненавидящей улыбкой, рассматривая его четырехугольное лицо, все в темных пятнах и подтеках.

Войцик быстро вздохнул, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

— Что, не выспались? — снова спросил Гарднер. — Камера плохая?

— Нет, почему же, камера как камера, — мирно ответил Войцик. — В других, наверное, набито по сто человек, но с тех пор как вы посадили ко мне эту сумасшедшую мартышку, я еще не сомкнул глаз.

Гарднер улыбнулся одной щекой и пожал плечами.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Мартышка — это Ганка, конечно. Но отчего же вдруг "мартышка"? Я же думал, наоборот: вот старые друзья, есть о чем поговорить, — а он мне вдруг "мартышка". — Он снова повернулся к Войцику. — Вы что, может быть, думаете, что он вас выдал? Нет, не беспокойтесь, я знал ваше настоящее имя еще до ареста. Да, так чем же плох Ганка?

— Свел его с ума, да еще и спрашивает.

— Кто? Я? — удивился Гарднер и даже руку приложил к груди.

— Да, вы. Уж не знаю, чем только, но теперь он совсем невменяемый. Тем не менее, — добавил он вдумчиво, — я вам очень благодарен за это соседство.

— Тронут, донельзя тронут, Карл Войцик, — слегка поклонился Гарднер. — Постараюсь и в дальнейшем заслужить вашу благодарность. — Он помолчал, побарабанил пальцами по столу и спросил: — Ну а почему же вы все-таки благодарны-то? Вот заснуть не можете, а за что-то благодарите.

— Видите ли, — ответил Войцик, — история с Ганкой показала мне совершенно ясно, что вы превращаетесь в старого идиота.

Лицо Гарднера вздрогнуло, но он только глубоко и медленно вздохнул, откинув назад голову.

— Вы меня интригуете, — сказал он, чуть помедлив, тем же вздрагивающим, чуть мурлыкающим голосом. — Из чего же вы это вывели?

Войцик очень долго, что-то с минуту, сидел молча.

Прислонясь к стрельчатому окну, черный на светлом фоне, Гарднер смотрел на него неподвижно и тоже молчал.

— Что за идиотскую историю вы с Ганкой выдумали? — спросил Войцик. — Что я ему должен был передать? Для чего это все?

— Разве он сказал, что я подослал его к вам? — спросил Гарднер после некоторого молчания и отошел от окна.

— Ну вот, сказал! Непременно нужно, чтобы он сказал! Он и вообще-то не мог связать двух слов — так его перепугали. Даже имя следователя и то забыл. Ну, скажите, скажите по совести: кто же подсаживает таких дурней? Посмотрел я на него — дрожит, трясется, плачет... Тьфу! И жалко, и противно. И вы могли поверить, что я полезу в такую петлю? Ах, какая грубая, шаблонная работа. Ведь вот дураком я вас не назову, а ведете себя совершенно по-идиотски. Да, да, по-идиотски.

Гарднер быстро подошел к столу, наклонился над ним, выдвинул ящик и начал шарить в нем — все это так, чтобы лица его не было видно. Когда он повернулся вполоборота, Войцик с удовольствием заметил, что губы его стали подрагивать.

— Я же знаю, — продолжал он беззаботно, — раньше вы работали и лучше и чище, сознаюсь, мы вас боялись, ну а теперь, посудите, чего вас бояться? Кулака, что ли? Ну да ведь у любого ефрейтора он больше вашего, и бьет он куда лучше, — он с сожалением покачал головой. — Ведь вы же все-таки интеллигент, Гарднер, как там ни крутись, — сказал он проникновенно, — вы и бьете-то с каким-то завыванием и восторгом. А тот просто — молотит и молотит, пока не забьет в гроб. Нет, нет, вы определенно стареете, вам пора ехать на кислые воды. Вы же в самом генеральском возрасте. Геморроя-то еще нет?

— Я-то поеду, я-то поеду на курорт, — резко повернул к нему лицо Гарднер, — а вот вам-то не увидеть своего города солнца. Через полчаса я вас отправлю в яму! В яму! Вот что, в яму!

— Ну а долго ты без меня прогуляешь? — спросил Войцик и так сладко потянулся, что у него даже кости хрустнули.

— Я, — начал было Гарднер спокойно и вдруг заорал: — Встань, сволочь! Встань, падаль! Встань! — Он стукнул кулаком по столу так, что чернила, вылетев из бронзового лотоса, залили его бумаги. — Встань, когда с тобой говорит немецкий офицер!

Он слепо ринулся из-за стола и ухватил Войцика за ворот.

— Ты думаешь, — прохрипел он, задыхаясь и брызгая слюной, — что я тебя просто расстреляю? Нет, дорогой, я тебя...

Он тряс его так, что голова Войцика барабанила о стену. Но Войцик смотрел ему в лицо и улыбался по-прежнему.

— Так вот в чем дело! — сказал он понимающе, и этот ясный, насмешливый голос сразу отрезвил Гарднера. Он с отвращением оттолкнул Войцика и зашагал по кабинету. — Так вот в чем дело! Вы же пьяны. Я сперва даже и не заметил. Значит, вы уже с утра того... — он щелкнул себя по горлу. — Ух, как же это хорошо! Это же просто прекрасно, Гарднер!

Ну, теперь уж вас ненадолго хватит. Все вы кончаете так.

Отворилась дверь, и в кабинет без стука вошел человек. Гибкий, белокурый, средних лет, похожий на спортсмена. У него было бледное и красивое актерское лицо, большие светлые глаза. Мягким, кошачьим шагом он прошел к письменному столу и остановился, серьезно и внимательно смотря на Войцика.

— Вы хвалились, — сказал тихо Войцик, — построить новую жизнь, а что у вас было в руках, кроме смерти? Но ведь смертью-то, смертью жизнь не построишь? Неужели вы все так глупы, что не поняли даже этого? Смерть, страх, ненависть — ведь все это величины отрицающие, негативные. Они хороши для разрушения, а не для стройки. Чтобы строить жизнь, самую убогую, нужно прежде всего любить ее, а вы ведь ее только боитесь. Вот поэтому-то и выходит так там, где действует ваш кулак в лайковой перчатке. И еще вот это: оглушить, ударить, разрушить, забить, убить, уничтожить! Там вы сильны, могучи, изобретательны и даже прозорливы. Вы гениальны в отношении всего, что касается боли и страдания, но там, где в свои права вступает настоящая жизнь, а не ее голое отрицание, там вы неразумны, как людоеды с Сандвичевых островов. Везде, где из тьмы пробуждается и вырастает светлый человеческий разум, он убивает вас, как солнечный свет плесень. Ваш собственный разум!

Гарднер слушал и морщился.

— Нет, Курцер, — сказал он, обращаясь к высокому, гибкому человеку, похожему на спортсмена, — так говорить я не могу. Я говорю, а он митингует. Это истерика. Это же полная истерика. У меня самого плохие нервы. Вы мастер на интеллектуальные разговоры, так что... И, в конце концов, почему я должен...

Он встал из-за стола и вышел. Курцер осторожно взял за спинку тяжелый стул, легко поднял его, ото-

двинул и сел. Посидел, посмотрел на Войщика, переставил зачем-то чернильницу.

— Воды хотите? — спросил он вдруг.

— Нет, — сказал Войщик.

— Все-таки я вам налью, — сказал Курцер. — Вы так волновались...

Налил полный бокал, взял его двумя пальцами, бесшумно, мягко встал из-за стола и подошел к нему.

— Пейте, пейте! — сказал он деловито. — Я понимаю, я сам такой же горячий. Разговор-то был, видно, не из приятных. Гарднер так поставил дело, что хоть кого доведет до истерики. Да пейте же, что от этого изменится?

Когда бокал коснулся губ Войщика, он жадно прильнул губами к красноватому стеклу и выпил воду.

— Ну вот, — сказал сочувственно Курцер. — Разрешите-ка, я вам еще налью. Не бойтесь, я не подкупаю. У нас с вами тоже будет разговор, но чисто теоретического плана, без этих криков.

Войщик и второй бокал выпил.

— Ну вот, — сказал Курцер, — отлично. Папироску не хотите? Черт, руки-то у вас закованы. И совершенно зря, конечно. Я сейчас пошлю за ключом. — Неотрывно и прямо он смотрел в его лицо. — Я слышал ваш разговор с моим коллегой. Вы молодец, конечно. Они в вас многое теряют, но только я должен сказать: я с вами все-таки никак не согласен.

— Ну и на здоровье, — грубо оборвал Войщик.

— А вы не волнуйтесь, не нервничайте, — улыбнулся Курцер. — Ваши нервы — это же вода на мою мельницу. А я играю в открытую. Лежачего бить я не буду. Вот вы кричали: "Светлый человеческий разум!" Что говорить, аргумент серьезный. Но ведь положение-то вот какое: минут через тридцать вас выведут, поставят лицом к стене и расстреляют. Впустят в продолговатый мозг свинцовую облатку, и ваш светлый человеческий разум, во имя которого завязалась вся эта канитель, погаснет навсегда. А

твари-то, ради которых вы умираете, будут жить. Их мне незачем ни бояться, ни уважать, а следовательно, и расстреливать не за что. Но с ними-то я говорить не буду, а вот видите, специально приехал поговорить с вами, ибо, во-первых, мы с вами одинакового психического склада, а это располагает к откровенности, во-вторых, я давно понял, что единственный человек, с которым мне можно быть откровенным, это тот, которого я сам застрелю после конца разговора. Правильно я рассуждаю? — спросил он вдруг.

— Вполне, — охотно согласился Войцик.

— Так вот. Но мне бы этого все-таки не хотелось. Давайте пощупаем друг друга. Может быть, мы уж не так далеко стоим друг от друга? — Он слегка пожал плечами. — Ведь и мне-то вы нужны во имя того же самого разума, только разум-то мой не тот, о котором вы думаете. Разум нашей эпохи находится совсем в иных руках. Он — понятие отрицательное, а не позитивное. Вот вы в начале разговора сказали, что мой разум убил бы меня, если бы... ну, и так далее в том же духе. Да нет, не убил бы и никогда не убьет. Мы, Войцик, узнали самое страшное и прочное в мире — пустоту. У одного из наших поэтов есть стихотворение, как называется оно, сейчас не помню, а коротко дело-то вот в чем. В одном языческом храме, в нише, стоит статуя — истины ли, разума ли, какого-нибудь высшего существа, не помню, да в данном случае это не играет роли. Важно только вот что: статуя эта завешена, и видеть ее могут только жрецы, и то в день посвящения, и вот если они выдержат лицезрение бога, то они и сами станут как боги. Так по крайней мере им обещают. Но тут есть загвоздка: во-первых, это последний искус, и к нему нужно подготавливаться целыми годами, постом, воздержанием, непрерывным самоусовершенствованием, ну и так далее в том же духе, во-вторых, — и вот это самое главное! — и после этого только весьма немногие могут посмотреть в лицо бога. А дальше сюжет раз-

ворачивается так: перед героем стихотворения в день его посвящения скинули покрывало с ниши, где находилась статуя, и он сошел с ума. Отчего? Вся штука-то в том, что и автор этого не разъясняет. Просто посмотрел, сошел с ума — и только. Спрашивается: что же он увидел, таящееся под этим покрывалом? Никто этого не знает. Но сказать вам, Войцик, сейчас — что? Ничего под ним не было! Голая и пустая ниша — паутина, мокрицы и мышиный помет. Неплохо задумано? Отдерни и любуйся этой черной дырой. Она и есть истина. Ясно, что те встревоженные дурачки, что готовятся увидеть что-то, не выдерживают этого чистого н и ч т о. Но я-то, освобожденный от жалости и чувства добра и совести, я-то выдержу! Я смело смотрю в лицо этой черной дыре и благодарю, что в ней нет ничего, кроме мышинового помета! Знаете, единственное, что мне нравится в евангелии, — это то, что Христос не ответил Пилату на его вопрос, что есть истина. Но вот я бы ответил, и правильно ответил. Была Германия монархией, стала Германия республикой, была Германия республикой, снова стала Германия монархией, а потом не будет ни Германии, ни монархии, ни республики, а будет все та же черная дыра. Вот и все. Ну, посудите сами: из-за чего тут кричать, страдать, истекать чернилами, слюной или кровью, сходить с ума и закончить чем же? Той же дыркой. А не лучше ли прямо...

— Ладно, — сказал Войцик. — Я ведь знаю, к чему вы говорите о яме. Сейчас вы мне предложите жизнь в обмен на какую-нибудь пакость.

Курцер отставил бронзовый лотос, встал из-за стола, подошел и положил ему руку на плечо.

— Вы правы. Вот я предлагаю ее вам, эту чудесную пакостную жизнь. И неужели вы будете так глупы, что не возьмете ее из моих рук, хотя бы ради...

— Ради чего? — спросил Войцик. — Ради той черной дыры, дальше которой вы ничего не видите? Нет, не воспользуюсь, да притом и разговор-то этот пустой, все равно вы меня обманете.

Курцер посмотрел ему в глаза пристально, ласково, открыто и все не спускал руку с его плеча.

— Но вы же сами понимаете — тогда мне вас будет незачем обманывать! Мне очень хотелось бы пощадить вас. Смотрите — четверть часа я потратил на то, чтобы убедить, что передо мной нечего поднимать хвост трубой и выгибать спину, но неужели это все-таки не удастся, неужели вас так заела фраза, что вы в самом деле видите...

Войчик резким движением плеча попытался сбросить его руку.

— Вижу что-нибудь дальше вашей дырки? А представьте себе, вижу, вижу город солнца!

— Ну и скоро вы его думаете построить в Германии? — усмехнулся Курцер.

Войчик задумчиво покачал головой.

— Нет, до этого еще далеко, Курцер. Это — когда вас не будет. Но разве вы не видите, что вы настолько обречены, что вам и бежать-то некуда, что, заключая в концлагерь целые страны и народы, вы блокировали ими сами себя и сидите сейчас, как скорпионы, в огненном кольце? Вы сами построили себе тюрьму, сами сели в нее и сами создали своих тюремщиков, поэтому за вашу участь я спокоен. После того как вы меня расстреляете...

Курцер резко оторвал руку от его плеча, весь переменялся: лицо отвердело, глаза прищурились; он стоял, выпрямившись во весь рост, твердо и свободно, сверху вниз смотря в лицо Войчика.

— Расстреляем? — спросил он дрожащим голосом, в котором слышалась бесконечная ненависть. — Вот в этом-то вы как раз и ошиблись! Нет, мы не так просты, как вы думаете. Мы вам такой сюрприз приготовили, что у вас глаза на лоб ползут! Не расстреляем, а просто кинем живым в яму. Выведем двух арестованных, заставим их копать могилу, а потом положим вас, крикнем: "Засыпайте!" И они засыпят вас, Карл Войчик! Ага! Побледнели? Не нравится? Вы что же, думали и правда отделаться пулей в

затылок, безболезненной и легкой смертью? Обмануть и тут? Нет, не рассчитали, мы не такие, Карл Войцик! И если вы сами же...

— Вот вы мне сейчас опять предложите жизнь.

— Вы правы! — твердо ответил Курцер. — Последний раз я вам предлагаю ее. Если вы согласитесь, сейчас же из этого кабинета я отпускаю вас на свободу. Вдумайтесь в эти слова. У меня есть власть на это. Отпускаю на свободу! Понимаете? Сам довожу вас до двери, открываю ее, говорю "до свидания" и навсегда ухожу. Идите куда угодно, служите кому хотите, хоть опять тому же человеческому разуму, ну, словом, делайте все, что хотите, мы навсегда отступаем от вас.

— Ну а взамен? — спросил Войцик обычным тоном, но хорошо натренированный глаз Курцера заметил, как весь он осел и обмяк.

— Взамен? — забеспокоился Курцер. — Да, Боже мой, ничего нового, то же самое, о чем мы уже однажды так бесплодно договаривались. Ну, прежде всего вы, конечно, точно назовете... Да ладно, для этого уж мы позовем Гарднера. Он расскажет все по порядку, а потом я вам дам денег, новый паспорт. Как раз все лежит здесь, в столе. Возьму с вас расписку...

Войцик не отвечал. Сидел, безвольно склонив голову, и о чем-то думал.

— Вы слышите меня? — повысил голос Курцер. — Беру с вас расписку.

— Ладно, — сказал Войцик вдруг, — я согласен. Снимайте наручники.

Курцер вздрогнул и с минуту молча рассматривал его лицо.

— Развяжите мне руки, — повторил Войцик.

— Нет, вы согласны? — начал Курцер голосом, в котором он не смог скрыть ни удивления, ни недоверчивости. — Но по стойте, вы понимаете ли...

— Будьте спокойны, понимаю, — криво усмехнулся Войцик. — Снимите наручники.

Наступило долгое мочание. Курцер сидел, положив на стол обе руки, и смотрел на Войщика.

— Вы опять играете, — сказал он убежденно.

— Господи, как все это скучно! — сказал с раздражением Войщик. — Ну, чего же вы хотите, зачем тогда весь этот разговор? Зовите своих солдат, и давайте покончим с этим делом.

— Так вы верно согласны? — все еще колеблясь в решении, спросил Курцер.

— Сволочь! — вдруг заорал Войщик и резко соскочил с кресла. — Ну чего, чего ты хочешь? Да, да, я согласился, я боюсь этой ямы, я знаю, сколько живут погребенные заживо, и не могу, не могу этого вынести! Я знаю, что и тут ты меня обманешь, не отпустишь, а пристрелишь попусту. Ну, пускай, пускай! — Он, как в бреду, метался по стулу. — Я поддался, ослаб, испугался. Предал, предал! Яма, яма, яма! Вот чего я не могу вынести. Если бы ты меня выпустил действительно, я сам повесился бы, но эта яма... Ох, до чего же подл человек, до чего же подл! Петли не испугался, топора не испугался, пули не испугался, а ямы... — Он вдруг слепо рванулся на Курцера. — Ну, закапывай же, закапывай меня, сволочь!..

Голос у него оборвался, и он задохся, сотрясаясь и хрипя.

Тогда Курцер подошел к нему, вынул из кармана ключ, быстро снял наручники и швырнул их на пол. Падая, они так противно звякнули, что он даже вздрогнул и лицо его перекосилось.

— Черт! Нервы...

Войщик покачнулся, накренился на бок и упал бы, если бы Курцер не удержал его за плечи.

Держа его так крепко и бережно, он почувствовал, что в его руках висит уже наполовину неживое тело, с вялой, бессильной мускулатурой.

И это никак не удивило его. Он теоретически знал и верил в это, как в общее правило, что такой момент бывает у каждого, попавшего в его руки. Надо только знать, когда это наступит. Он верил далее,

что такое состояние наступает совершенно неожиданно, как раз тогда, когда его и ожидать-то невозможно, длится иногда очень недолго — меньше часа порой, — и вот тут-то и нужно воспользоваться. Смутно он понимал, в чем тут дело: человек падает, как червяк, раздавленный собственной силой, и потому чем дольше и упорнее он сопротивлялся до этого, тем глубже и полнее может быть его падение. Но в том-то и дело, что он не мог ни вызвать такое состояние сам, ни даже угадать, когда оно наступит.

С Войщиком ему повезло. И так неожиданно, что он сам растерялся. Подумать только, какой нос он натянет Гарднеру и всем бравым молодцам из его ведомства! Но надо спешить.

И он стал спешить — снял его со стула, подвел к столу, усадил и сам нагнулся над ним.

Войщик расползлся по креслу, безвольный и мягкий, как медуза, выброшенная на песок.

Курцер положил перед ним лист бумаги, сунул ручку, — пальцы все время разжимались, и ручка выскальзывала из них, — и сказал:

— Пишите!..

Войщик поднял голову и тускло, даже не узнавая, может быть, взглянул на него; в больших черных глазах, обыкновенно насмешливых, ярких и очень живых, а теперь словно подернутых матовой пленкой, блеснул, как огонь под слоем золы, неясный луч разумения, но именно только блеснул и сейчас же погас.

— Пишите! — повторил Курцер и начал диктовать: — "Дано начальнику второго отдела государственной тайной полиции, — далее шло точное наименование, — полковнику Иоганну Гарднеру в том, что мной, — здесь было оставлено пустое место для внесения после точной даты, — агентом того же отдела..."

Войщик автоматически водил ручкой, а когда чернила кончились, все-таки продолжал царапать бумагу уже сухим пером.

Курцер вынул у него ручку и наклонился над бронзовым лотосом.

Последнее, что он увидел, и был этот тусклый, тяжелый цветок с темной сердцевинкой. Что произошло вслед за этим, он так и не понял, но вдруг этот цветок косо метнулся по столу и пропал из глаз.

Тонкая, крепкая рука схватила его, подняла, и Курцер почувствовал почти одновременно страшное сотрясение. Слепляюще белое, как вспышка магния, горячее сияние вспыхнуло перед самым его лицом и погасло. Он попятился, ноги его дрогнули в коленях, он сел, роняя по пути бронзовые безделушки и успев испустить что-то похожее на крик.

И вторично, на какую-то терцию секунды, вспыхнуло то же белое горячее сияние, постояло перед глазами и исчезло с грохотом, оставляя его в совершенной темноте.

Боли он так и не почувствовал, разве только сотрясение от удара; последнее, что он осознал, — это то, что его подняли вверх и он летит, летит, расплываясь и тая в воздухе.

И он действительно полетел.

Вбежавший на крик солдат, дежурящий в коридоре, остановился, увидев на низком подоконнике двух человек, из которых один, с тяжелым, четырехугольным лицом, прыгающей челюстью, держал, прижимал к груди, другого, который, как чехол, висел у него на руках. Человек этот взглянул на перепуганного солдата, усмехнулся ему и, прежде чем тот сумел что-нибудь сообразить, подбежать к нему, крикнуть на помощь, даже попросту испугаться, наклонился, посмотрел вниз, толкнул за окно тело, которое держал, и сам с профессиональной ловкостью хорошо натренированного пловца ухнул, как в глубокую воду, в пятиэтажную пропасть.

Тогда солдат ринулся в кабинет, но подбежал сперва к тому месту, где на полу валялся бронзовый лотос, а кругом него плыла и растекалась темная лужа крови. Он ошалело сунул в нее руку, и паль-

цы его стали фиолетовыми. Это была не кровь, а чернила.

”Этим он и ударил его”, — подумал солдат, рассматривая бронзовый лотос и не смея до него дотронуться.

А в кабинет уже со всех этажей сбегались люди.

За час до этого из подъезда дома, принадлежавшего раньше акционерному обществу ”Ориенталь”, а теперь занятого гестапо, вышел маленький, худенький, почти совсем лысый человечек, в сером плаще, новом, но уже сильно помятом.

Остановился, поглядел направо, поглядел налево, поднял маленькую, тонкую ручку с костлявыми пальцами, провел ею по голове и быстро пошел по улице.

Одет он был небрежно. Галстука, например, не было вовсе. Человечек остановился, нащупал свой воротничок — движения его были быстры и порывисты, — оторвал и, даже не поглядев, бросил тут же, на улице. Потом пошел дальше.

И около здания Института предьистории, куда он уже хотел зайти, его остановила какая-то женщина.

Была она молода и очень красива, с натурально тонкими и правильно вычерченными бровями, с тяжелыми черными ресницами, которые делали ее веки похожими на двух больших пугливых бабочек, готовых вот-вот вспорхнуть.

— Боже мой! — сказала эта женщина, всплеснув руками, и жест был, несомненно, искренний. — Вы ли это, Ганка? Я просто не верю своим глазам.

Ганка остановился и серьезно посмотрел на ее радостное, изумленное лицо.

— Я, госпожа Ланэ, — ответил он негромко, — я самый, от пяток до кончика носа.

— Боже мой, Боже мой! — повторила женщина и вдруг тихо и быстро спросила: — Это все из-за того бронзового лотоса, который госпожа Мезонье подарила Гарднеру? Вы еще на него наскочили с кулака-

ми: "Бандит, мародер!" — и когда мне Иоганн рассказал об этом, я так и решила: "Его обязательно арестуют". — Они уже шли по двору института. — Но вы так переменились, так ужасно переменились! Воображаю, что вы только пережили. Но вы все — понимаете, все — обязаны мне рассказать. Ах, как досадно, что Иоганна нет в городе!

— А где он? — даже остановился Ганка.

— Он поехал к профессору Мезонье... Ах, если бы вы только знали, что тут происходит! Да ведь вы, положим, ничего не знаете. У нас тут куча новостей. Во-первых, Курцер сказал... Да! Вы ведь не знаете, кто такой Курцер, вам надо все сначала... Но как вы переменились, как переменились, Ганка! — Она уже поднималась по лестнице. — Значит, все получилось из-за этой проклятой чернильницы? Я была права?

— Правы, сударыня, правы, — ответил, снимая шляпу, Ганка, — все исключительно заварилось из-за этой чернильницы. Только из-за нее одной!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Следит внимательный незримый соглядатай
За теми, в чьих очах нет ярости заклётой,
Мушиный слух повсюду стережет —
Не выдаст ли души неосторожный рот.

Агриппа д'Обинье

Глава первая

— Дорогой мой, я не учу вас, но я хочу, чтобы вы учили одно: все, что вы теперь мне скажете, меня интересует сравнительно очень мало. Я знаю одно — вы допустили грандиознейшую ошибку: Войцик убил Курцера. Вот это факт, что бы вы мне теперь ни говорили.

Но Гарднер, к слову сказать, и не говорил ничего.

Он сидел в кресле и курил. Округляя губы и ровными, сильными толчками выталкивал синие аккумуляторные кольца. Лицо его было невозмутимо и замкнуто. Видимо, он чувствовал, что его позиции достаточно тверды. И, наверное, оно так и было.

Карлик посмотрел на него.

Гарднер мягко, гибко наклонился и аккуратно положил окурок в пепельницу. Потом опять устало откинулся на спинку кресла.

— Мне сейчас, мой высокий коллега, говорить вам уже нечего, — ответил он жестко и вежливо. — Все, что я мог сказать, я уже сказал. Помните наш разговор втроем на квартире господина Курцера? Не правда ли, мои позиции тогда были очень определены? Но они вам показались почему-то недостаточно принципиальными, не соответствующими тем высоким задачам, которые поставила история перед господином Курцером. Ну и что же, я человек малень-

кий, я остерегал вас, вы меня не слушали. Ну вот и случилось. Теперь мне остается повторять за вами по Шиллеру: "Я сделал свое дело".

Помолчали. Покурили. Посмотрели друг на друга.

— Вы мужественный человек, господин Гарднер, — похвалил карлик.

— Я, кроме того, еще и справедливый человек, — напомнил Гарднер.

И тут карлик уже ничего не ответил, только подвинул к себе лист рапорта.

— Дурацкий слог, — сказал он недовольно. — Кто же это так пишет? Вот слушайте: "Это обстоятельство (то есть, очевидно, то, что Курцера оглушили, — пояснил он от себя) благоприятствовало тому, что смерть последовала моментально". Да, неплохая благоприятность. Не дай Бог нам с вами такую. Как вы думаете, коллега?

— Во всяком случае, это все, что мы узнали, — ответил Гарднер холодно. — Подробнее спросить не у кого. Из обоих получились лепешки.

— Значит, так, — подытожил карлик, — Курцер не кричал, из кабинета не выходил, но вдруг что-то случается — и вот он лежит на мостовой с разможенным черепом. Что же такое случилось?

Гарднер с едва заметной, но недоброй улыбочкой пожал плечами.

— Допрос, — ответил он очень коротко, явно показывая, что мог бы сказать по этому поводу и больше.

— Хорошо, допрос. Но вот руки Войцика были в наручниках, как же он в таком случае сумел их сбросить?

Гарднер не отвечал. Он улыбался все шире, все безмятежнее. Вот попробуй-ка придержи к нему, когда он все предусмотрел, даже наручники и те не забыл надеть...

— Я ведь вас спрашиваю? — повысил голос карлик.

— Ну а что я вам могу ответить? Они же остались вдвоем — Курцер за столом и Войцик на другом кон-

це комнаты, в наручниках. Теперь прошу заметить, у Курцера был в кармане парабеллум. Так вот, этот парабеллум оказался незаряженным. И не то что он использовал патроны, нет, с таким он и приехал из дома. Ну, впрочем, кто мне ответит за это, я знаю... Теперь наручники. Они валялись на ковре, под стулом. Значит, снял их с Войцика сам наш высокий коллега. Зачем? На полу же валялась и моя чернильница в виде лотоса. Приходится думать, что ею Войцик, как только у него освободились руки, оглушил моего высокого начальника. Но ведь, повторяю, расстояние между ними равнялось доброму десятку метров, и при этом условии, кажется, должна была быть борьба. Борьбы не было. Невольно приходится, стало быть, допустить, что начальник сам посадил Войцика за стол, сам снял с него наручники. Зачем? Ну, чтобы Войцик написал ему что-то. Это все понятно?

Карлик кивнул головой.

— Конечно, это бред, — продолжал Гарднер, — ничего Войцик писать ему не собирался. Коллега Курцер оказался грубо обманутым. Нельзя было снимать наручники с преступника, нельзя было его подпускать к столу, ни в коем случае нельзя было его подпускать к чернильнице, если она весит с добрый килограмм и служит отличным ударным оружием. Приступая к допросу, надо было осмотреть и зарядить револьвер и вообще уяснить себе, с кем ты имеешь дело. Что же, за такие ошибки только и платятся жизнью. Мы, например, профессионалы, такую роскошь допустить себе не можем. А попал начальник в эту ловушку потому... — он не закончил.

— Ну, ну? — подстегнул его карлик. — Я слушаю!

Он отлично знал психическую конституцию этого простого, энергичного, совершенно законченного беспринципного человека. Никаких рецептов спасения человечества он, Гарднер, не выдумывал. Самым коротким путем всегда считал прямой путь. А прямой путь был у него символом убийства. Он прихо-

дил, когда его звали, убивал, жег, смешивал с землей, а приказали бы ему — он и место это еще перепал бы. Но производил все это с той потрясающей бесчувственностью, которая сделала его имя почти символическим. Он и был символом усмирителя. В нем отсутствовали не только жалость, страх за содеянное, чувство ответственности перед своей совестью, но даже элементарный здравый смысл, а его-то Курцер всегда чувствовал очень чутко и ясно. И в то же время карлик понимал, почему Гарднер считает для себя возможным презирать Курцера. Вот он уж не вылетел бы из окна собственного кабинета, он не валялся бы перед солдатами караульного батальона с разможенным черепом. Мертв-то не он.

Карлик подошел и положил ему руку на плечо.

— Ну, ну, господин Гарднер, говорите, голубчик, говорите! Вас мне особенно интересно послушать. Я знаю, у вас есть свое мнение.

Гарднер глубоко вздохнул.

— Да нет, — ответил он тускло, — что же я тут могу сказать? Во-первых, по моему мнению, следует всегда самому чистить и заряжать револьвер, а не доверять это каждому старому идиоту. Уж что-что, а свое оружие должен держать в порядке ты сам. Как-нибудь наступит такой час, когда только от этого и будет зависеть твоя жизнь. Это раз. Второе: наш высокий коллега слишком уж перемудрил, уж так он тонко хотел подойти к Войцику, что тот и оценить это не сумел. Уж слишком, видимо, не терпелось Курцеру утереть нос нам, практическим работникам, тем маленьким людям, которые, как псы, охраняют жизнь и благополучие как его, так и...

Тут он что-то замешкался.

“Так и твою”, — прочел карлик неоконченную часть фразы. Он посмотрел на него. Гарднер сидел корректный, хорошо сложенный, в ладном штатском костюме. Карлик только сейчас и обратил внимание на то, что костюм этот был легкомысленного светло-сиреневого цвета, что, кроме того, сегодня на

Гарднере были и хрустящая, ломкая кремовая сорочка и пышный, яркий галстук. Он скользнул взглядом по широким плечам его, задержался немного на кистях рук и даже не особенно как-то удивился, когда заметил, что пальцы у Гарднера длинные и тонкие, с овальными розовыми ногтями и серебристыми лунками у корней, что называется музыкальные пальцы. Неужели он еще играет? А ведь интересно было бы в свободное время поговорить с ним о музыке! "Бойся не любящей музыки твари", — сказал кто-то, Шекспир или Гейне. Эта-то тварь, кажется, музыку любит...

И вдруг что-то большое и страшное, хотя и очень туманное, прошло перед карликом. Он смутно подумал, во-первых, о черных индийских кобрах, что вылезают на свист дудочки из плетеной корзины факира, затем, вглядываясь в свежее, розовое лицо Гарднера, вспомнил читанное где-то о том, как музыкальны большие ядовитые пауки. И акулы, кажется, тоже долго плывут за кораблем, если на нем играют на рояле. "Что ж, и этот, верно, тоже играет на рояле. А может быть, и на скрипке? Может быть, и на скрипке".

Гарднер сказал:

— Видите ли, я смотрю так. Вот передо мной такая крупная политическая фигура, как Войцик. Он попался глупо и случайно, как уличная торговка во время облавы. Что же, это иногда случается и у них. Человек этот очень много знает. Значит, надо приложить все усилия, чтобы расколоть его.

— Как? — наклонился с кресла карлик. Он знал это слово из аргю берлинских воров и бандитов, но сейчас оно прозвучало совершенно дико. — Что, вы говорите, надо сделать?.. Я не понял вас... повторите.

— Расколоть, расколоть! — спокойно и не объясняя, как что-то известное, повторил Гарднер. — Я говорю, надо его расколоть. Вот Войцика берут и раскалывают. Над ним работают умелые руки, мои руки, — сказал он с благодушной и чуть конфузливой улыбкой, и карлик опять быстро взглянул на его

длинные, овальные, сияющие ногти с серебристыми лунками. — Но ничего не выходит. Значит, что ж? — он пожал плечами. — Конец! О чем же еще тут говорить! Вывести его во двор, да и... — он махнул рукой.

— И только? — наивно спросил карлик, поднимая брови. Ему вспомнилось, что они с Курцером еще недавно говорили об этом почти таким же языком.

Гарднер пожал плечами и ничего не ответил.

Несколько мгновений карлик, сохраняя ту же благодушную, но и презрительную улыбку, продолжал молча смотреть ему в лицо.

”Лакированные ногти, — подумал он и вздохнул. — Что же делать? В конце концов, сейчас-то прав он”.

— Так вот, Гарднер, — сказал уродец, — этот разговор мы отложим. Но теперь у меня к вам просьба. Раз Курцера нет, в имение придется выехать вам. Это недалеко, километров сорок. — Он помолчал. — Я даю вам, конечно, кое-какие инструкции, но через два дня и я там буду. Вы сами понимаете, что надо что-то делать. Ведь самое главное — не оставлять дом пустым. О смерти Курцера говорить им пока не надо. — Он подошел к окну. — И погода хорошая, — сказал он умиленно. — Вон, слышите, птички поют.

— Хорошо, — любезно и легко согласился Гарднер, но так, как будто бы он мог и отказаться. — Я и сам думал поехать туда. Курцер мне сказал, что там, по дороге, на него было покушение. Надо поехать и посмотреть, что и как. Я сказал, что деревню эту, пожалуй, придется ликвидировать в показательном порядке. И Курцер не возражал. Я уже заказал автомобиль.

— Пойдемте ко мне, — сказал карлик и вздохнул. — Я вам покажу кое-какие докладные Курцера. И, кстати, я не понял: что вы там говорили насчет этого незаряженного револьвера? Кто виноват?

— Я говорил только, что учту особо, — уклончиво ответил Гарднер. — Дело слишком мелкое, чтобы вы в него вмешивались, мой высокий коллега.

”Ах, сволочь, сволочь! — подумал карлик. — Как он ловко показывает мне, что я уже работаю по его ведомству! Ну, подожди...”

И тут он любезно кивнул головой и улыбнулся одной из самых своих благосклонных и очаровательных улыбок, совсем как для фотообъектива.

Как только Гарднер приехал, он сразу же поставил себя на хозяйскую ногу. Он им покажет, как нужно работать. Подумать — возиться чуть не месяц и так ничего и не получить! Ланэ и Ганка были ему неинтересны, зато Бенцинг... Гарднер встретил его в саду, снял шляпу и раскланялся преувеличенно вежливо, потом прошел в комнату Курцера, в ту самую, что служила ему приемной, и вызвал Ланэ.

Ланэ пришел и встал на пороге.

— Слушайте, дорогой, — сказал Гарднер любезно, оглядывая его с ног до головы, — что, собственно говоря, у вас тут делается? Ничего не поймешь. Вот хочу пройти к профессору — засвидетельствовать свое почтение, спросить, не нужно ли чего. Ткнулся — дверь заперта. Стучу. Вдруг откуда-то снизу появляется мадам Мезонье с ужасным лицом и делает мне какие-то спиритические знаки — не то ”иди сюда”, не то ”уйди”. Пришлось бежать. В чем дело, наконец?

Ланэ стоял перед ним помятый, осунувшийся, с нехорошим, землистым лицом.

— Профессору очень плохо, — сказал он тихо и беспомощно улыбнулся. — Он не только вас не пускает, к семье он из кабинета не выходит уже третий день.

— Ого! — словно похвалил кого-то Гарднер. — Стойкий старик? А? Ну а еду, что же, ему туда носят?

— Туда и кушать носят, — оцепенело ответил Ланэ. — Только Курта да Марту он к себе и пускает.

— Это какой Курт-то? — прищурился Гарднер. — Слуга господина Курцера, что ли?

Ланэ поднял голову и удивленно взглянул на Гарднера.

— Ну, — сказал он, — разве же... — и осекся.

— Разве он пустит к себе Курцера? Ах, Ланэ, Ланэ, — засмеялся Гарднер, — да что вы стоите? Садитесь, голубчик! Я вам не профессор, передо мной тянуться не надо. Тут мы на равных правах, и даже так еще — я в гостях у вас. Так кто ж такой Курт?

— Старый слуга семейства Курцеров, — сказал Ланэ. — С господином полковником он встречался еще в Чехии. Они там вместе в какой-то лаборатории работали.

— Ага, так? — принял к сведению Гарднер. — Курите?

— Курю! — уныло сознался Ланэ и совсем повесил голову.

Гарднер протянул ему портсигар.

— Незаменимо по действию на нервную систему, — сказал он машинально. — О, да у вас слезы на глазах! Не расстраивайтесь. Дело-то чепуховое. Подумаешь, профессор нервничает, капризничает, запирается. Конечно, с его характером и в его лета тяжело ломать себя, но... — он пощупал карман. — Вот спичек-то у меня, оказывается, и нет. Эх, господин Курцер, где-то теперь все ваши зажигалки? Вот сейчас попробуем-ка... Бенцинг, Бенцинг! Кажется, Бенцингом зовут?

— Бенцинг! — заорал во все горло Ланэ и осекся.

Бенцинг вышел из-за портъеры и остановился перед ними. Он был одет в строгий черный костюм.

Гарднер целую минуту, улыбаясь, смотрел на него.

— Господин Бенцинг, — сказал он даже заискивающе, — я здесь у вас гость и ничего еще не знаю. Вот курить хочу. Где хранится коллекция зажигалок вашего хозяина? Уж будьте любезны...

Господин Бенцинг исчез за портъерой, пришел он через десяток секунд и молча выложил на стол коробку спичек.

— Э, Бенцинг! — Гарднер взял спички в руки и засмеялся. — Вон какой вы, оказывается... дрессированный! Нехорошо так скупиться! Я же знаю, у вашего патрона целая коллекция зажигалок, а он мне приносит какие-то паршивые бельгийские спички.

— Господин Курцер не дает своих зажигалок никому.

— Ага, — принял к сведению Гарднер.

— Он держится того мнения, — продолжал Бенцинг, — что у кого нет порядочной зажигалки, тот обходится спичками, если их ему дают, и благодарит за них.

— Бенцинг, слуге, у которого нет хозяина, — ответил с той же доброй, открытой улыбкой Гарднер, — не следует слишком храбриться. Господин Ланэ, извините, я хочу кое-что объяснить коллеге. Вы не оставите нас на секунду?

Ланэ облегченно вздохнул, поклонился и вышел.

Наступила тишина. Оставшиеся смотрели друг на друга.

— Больше приказаний не будет? — официально спросил Бенцинг.

— Будет, будет, Бенцинг, — добродушно сказал Гарднер. — Во-первых, бросьте вы этот идиотский тон, спрячьте эту пошлую улыбочку французского альфонса, с которой вам придется расстаться, быть может, вместе с вашей головой.

— Что? — спросил ошалело Бенцинг и даже отступил немного.

Гарднер зажег спичку и поднес ее к папиросе.

— С головой, с головой, Бенцинг, — ответил он, закуривая. — Вместе с вашей глупой старой головой, — затягиваясь, ласково подтвердил Гарднер. — С этим пробормом, с идиотскими усами под Чаплина, баками, со всей вашей красотой, которой теперь, господин Бенцинг, грош цена.

Наступило короткое тревожное молчание.

— Вам, кажется, не нравится? — спросил Гарднер, сияя.

— Вы, господин хороший, вот что... — начал Бенцинг яростно, неудержимо, даже угрожающе и вдруг осекся. Его маленькие, сонные глазки сразу потухли, черты лица распустились, обвисли. Он с ужасом, уже догадываясь о чем-то, поглядел на Гарднера.

Но Гарднер молчал и курил.

— Ага, Бенцинг, — сказал он, — пасуете? Я ведь многое знаю о вас. Смотрите!

И он шутя погрозил ему одним пальцем.

Снова наступило молчание.

— Я... — начал Бенцинг.

— Да, да, — сейчас же охотно поддержал его Гарднер. — Что же вы? — И снял трубку телефона. — Начальника внешней охраны.

— Я думаю, что... — Бенцинг остановился.

— Вот вы про меня только думаете, а я про вас все уже продумал до конца, как сюда ехал, так и продумал, — сообщил Гарднер. — Что, — думаю, — мне теперь делать с господином Бенцингом из города Профцгейма? Сдать в музей имени господина Курцера? Вот стоит же в Марбурге чучело лошади Фридриха Великого... Или, может, лучше поставить тюремным надзирателем в женском отделении? У него душа женственная, нежная, как у хозяина.

Бенцинг сделал шаг к нему.

— Вы все шутите, — сказал он растерянно.

— Шучу, шучу! — успокоил Гарднер. — Конечно, шучу. Зачем вы мне? Идите в продовольственный отдел, давить на воротники кошек, или отправляйтесь срезать пуговицы с подштанников убитых, или расстреливать за укрытие медного ночного сосуда. Мне-то вы не нужны.

— Что случилось с моим господином? — тихо и сипло спросил Бенцинг.

Дверь отворилась, вошел начальник охраны.

— С вашим-то покойным господином что случилось? — благодушно спросил Гарднер и повернулся к начальнику охраны: — Слышите, чем он интересуется?

— Что? — крикнул Бенцинг. — Мой покойный...

— Ой, не кричите, — поморщился Гарднер. — То есть не кричите сейчас. Потом можете кричать сколько угодно. Вот я вас сейчас отправлю отсюда. — Он встал, подошел к нему вплотную. — Я не верю вам и боюсь вас оставлять тут. Понятно? Кто мне поручит-ся за вас после смерти вашего патрона?

— В чем? — ошалело спросил Бенцинг.

— Во всем, Бенцинг, — уже совсем холодно и жестко сказал Гарднер. — Не так как-то все у вас получается. Очень сомнительно и путано получается. Вот револьвер у покойного оказался незаряженным. Почему не заряжен? Ведь это ваша обязанность — осматривать оружие хозяина. Что случилось? Придется вам на это ответить. Потом — покойный вообще жаловался на вас перед смертью, говорил, что не может вам доверять по-прежнему, — а ведь это тоже наводит на всякие мысли.

— Кому это он говорил? — спросил Бенцинг, бледнея.

— Да мне, мне и говорил, — ласково улыбнулся Гарднер. — Был у меня с ним такой один разговор. Вот вы все это и должны будете объяснить моему следователю. Вообще вам о многом придется поговорить с моими ребятами. Мне-то с вами больше делать нечего. Хозяина вашего нет, а для меня вы человек конченный.

Он взглянул на начальника охраны и, кивая головой на оцепеневшего Бенцинга, приказал:

— Ведите!

Глава вторая

Профессор сидел за столом.

Очевидно, он уже очень давно сидел за столом и очень много курил, — целая гора окурков лежала на столе. Он и вообще-то был очень неряшлив, всегда приходилось завязывать ему галстук — не то он но-

ровил затянуть его мертвым узлом, — менять ему воротнички, прибирать, мыть, а если он курил или писал, то и скрести место, где он сидел, — везде были кляксы, окурки и прочий мусор. Но сейчас он выглядел просто-напросто грязным, и все вокруг было тоже грязным, и пол, и бумага, а главное — одежда, конечно: она была в пепле, там и тут виднелись прожоги от папирос.

На профессоре был бурый просторный халат, — не халат даже, а целая мантия, в которой он раньше работал с бормашиной, — на голове черная шапочка, на ногах туфли без чулок.

На столе, среди книг, крупных атласных лепестков какого-то пышного цветка, что стоял здесь в хрустальной вазе, серого табачного пепла и другого, от сожженных бумаг, — он лежал черной, почти блестящей горкой в большой пепельнице из лакированного щитка черепахи, — среди всего этого мусора стояла низенькая, пузатая, матовая склянка из-под спирта с притертой пробкой, валялась похожая на обломок черепного свода круглая корка хлеба с загнутыми краями, а в ней несколько конфет, стояла грубая эмалированная кружка.

Несмотря на то, что окна в сад были завешены, горело электричество и в комнате было очень светло, пожалуй, даже светлее, чем в ясный, солнечный день, — после приезда Курцера освещение работало бесперебойно, — и около круглого шара с белым огнем очумело носилась темная ночная бабочка. Ее лиловая тень, величиной с летучую мышь, как на экране, с угнетающим постоянством взлетала и падала на стене.

Профессор сидел, подперев голову ладонями, и курил, курил, курил.

Услышав шаги Ганса, он глубоко и быстро вздохнул, резко тряхнул головой, как будто сбрасывая что-то, и посмотрел на дверь. Лицо у него было очень неподвижное и очень спокойное, даже как будто заспанное немного.

— А, Ганс! — сказал он громко, но без всякого выражения. — Проходи сюда, садись. Вот на этот стул садись.

Ганс боком прошел, смел со стула бумажный мусор и сел, глядя на отца.

Профессор что-то долго молчал и смотрел на него.

— Милый, — сказал он наконец, — я вот для чего позвал тебя. Оставаться с вами мне больше нельзя, вот и собрался я в дорогу — сегодня ночью уйду. Мал ты еще и неразумен, и нет около тебя никого, ну, да что ж поделаешь... — Он все время старался улыбаться. — Да, уж ничего тут не поделаешь. Я уже думал, думал и вижу — нет выхода. Адрес-то я оставлю у Курта. Он тебе отдаст его после, а пока не спрашивай ничего. Ладно?

Профессор говорил медленно и спокойно, очевидно, заранее продумав каждую фразу, но говорить ему было трудно, он останавливался, часто дышал и время от времени гладил себя по лбу и щекам, — вот это движение, по-видимому, спокойное, медленное и в то же время неровное, обрывистое, почему-то особенно пугало Ганса. Он смотрел на отца, прикусив губу, и чувствовал, что если он откроет рот, то обязательно закричит.

— А мама ничего не знает, папочка? — спросил он, чувствуя, как что-то страшное и непонятное надвигается на него.

Профессор не ответил, только голову опустил ниже.

— Так ты не сердись, не сердись на меня, — сказал он через полминуты. — Видишь, что получается. Вот ведь все как. — Он слегка развел руками, как бы очерчивая всю обстановку комнаты, весь пепел ее, все книги с перегнувшимися корочками, весь сор на полу.

— Мне ведь тоже плохо, — пожаловался он тихо, — очень мне плохо.

— Ты сердисься на маму, папочка? — спросил Ганс и закусил губу, чтобы не расплакаться.

В комнате было тихо, и только большие, похожие на детский гробик часы невозмутимо стрекотали в углу да тень бабочки взлетала и падала на стене.

— Плохо мне, мальчик, плохо. Очень мне плохо и очень одиноко, — сказал профессор, помолчав. — Вот сижу и думаю. Конечно, ничто не пропадет в вечности, знаю это. Но вечность-то досталась мне уж больно бедная. Когда-нибудь, лет через сто, какой-нибудь студент напишет в дипломной работе: "Жил да был на свете такой ученый, специалист по обезьяньим черепакам, писал он книги, учил, грызся с теми, кто был ему не угоден. Были у него жена, ученики, дача, любимая работа, сын, хотя он и не обращал на него внимания, и думал этот старый осел, что это уж навсегда останется с ним. И вот вдруг пришел такой час, когда он увидел, что ничего-то у него за душой и нет — ни учеников, ни науки его, ни семьи. Было это ночью, но все равно не стал он ждать дальше. Надел дорожное пальто, взял палку и вышел из дома до света. И такая, — напишет студент, — была глухая ночь, так было всем не до него, что на дворе никто ему и рукой не помахал..." Дай-ка, голубчик, воды, вон кружка стоит.

Ганс подал ему эту кружку — грубую, зеленую, с отбитой эмалью. Руки у профессора дрожали, когда он брал ее, и так жадно, в три глотка, он осушил кружку до дна, да еще и губы после облизал, что Гансу опять стало страшно. Он тихонько, боком отступил к стене и сел на другой стул, подальше. Профессор вдруг спросил:

— А Ланэ-то внизу?

— Папочка, я позову его к тебе? Ладно? — обрадовался Ганс и двинулся к двери.

Но профессор только посмотрел на него и звонко, твердо поставил на стол кружку.

— Да, Ланэ-то здесь, а вот Ганка так и не пришел, — сказал он, медленно вздохнув. — И молодец, что не пришел. Он честнее. Он, вероятно, и совсем не при-

дет. Вот только потом как-нибудь, когда все это кончится, лет через пять, прикажет он вычистить под вечер черный костюм, купит большой букет и придет тихонько ко мне на свидание. Оглянется, нет ли кого поблизости, сядет на плиту, оскалит зубы — он ведь злой, Ганка, совсем не такой, как Ланэ, — упрется кулачками о камень и скажет сквозь зубы: "Ах, учитель, учитель, как же оно так получилось, кто бы мог подумать?" Ну-ка, иди сюда!

Ганс подошел, он начал гладить его по голове:

— Дай-ка хоть разглядеть тебя как следует... Вон ведь какой большой стал! Вытянулся, загорел, обцарапался, волосы такие, что сразу видно — сто лет не мылся, наверно. — Он тихонько перебирал его волосы. — Все, наверно, со своими западнями бегаешь да гнезда разоряешь? Щеглов-то тогда наловил, что ли?

— Наловил, папочка, — ответил Ганс.

— Ну и хорошо, если наловил. Очень хорошо. Щегол — птица веселая. Она...

И опять он не закончил мысли и наклонил голову так, как будто заснул. Но он не спал. Дышал он тяжело и хрипло, и грудь его вздрагивала. По-прежнему на стене стрекотали часы, и казалось, будто бы в заброшенном детском гробике поселилось целое семейство кузнечиков, да лиловая тень, похожая на летучую мышь, однотонно взлетала и падала на стене. И вдруг за окном возник длинный гортанный звук, похожий одновременно и на птичий и на человеческий голос и все-таки, наверно, не принадлежавший ни птице, ни человеку; такие часто возникают ночью на болотах.

Профессор услышал его, вздрогнул, быстро провел рукой по лбу и стал подниматься с кресла — он вставал, вставал, высокий, неподвижный, худой, — поднялся все-таки и так встал перед Гансом. Он был страшен в буром халате, из-под которого выбивалось серое от пепла и прожженное во многих местах белье, в сдвинувшейся набок шапочке и с опущенными кис-

тями больших, грязных жилистых рук. Есть какая-то незримая и только чувствуемая каждым грань, которая отделяет живого от трупа, и вот профессор сейчас переступил через нее. Живой и непохожий на живого, он стоял перед Гансом и смотрел на него.

— Помни одно: Сенека... — сказал он тихо и даже торжественно, — Сенека писал где-то: "Мы боимся смерти потому, что считаем, что она вся в грядущем, но посмотри: то, что позади, — тоже ее владения". Нет, я не боюсь ее, — сказал он опять, так же негромко, но с какой-то страшной силой, — но то, что позади, тоже мое... тоже мое... только мое, только мое... мое...

Он яростно сжал кулаки и изо всех сил стукнул по столу. Лицо его вдруг исказилось от гнева.

Никогда Ганс не видел его таким страшным.

И вдруг его лицо померкло, не стало того бешеного внутреннего напряжения, которое так испугало Ганса.

Профессор снова сел в кресло и робко улыбнулся.

— Я совсем уже с ума сошел, — сказал он, махая рукой, чтоб разогнать дым. — Вот сижу и тебя пугаю... Ну, иди, иди, мальчик. Я еще позову тебя, мы еще поговорим.

Ганс сам не помнил, как очутился за дверью. И только что она закрылась за ним, профессор встал из-за стола. Неслышными шагами подошел он к шкафу, открыл его, минуту постоял, присматриваясь к полкам, сплошь заставленным разноцветными пузырьками, колбочками и банками. Потом вдруг протянул руку и сразу нашел то, что ему было нужно. Это был небольшой длинный флакончик из тонкого химического стекла, с длинным горлышком, запаянным сверху. Он деловито взял и поднял его высоко над головой, к белому огню, рассматривая. Серая, очумелая от света бабочка взлетела и ударила его по лицу. Он только досадливо, как от человека, отмахнулся от нее и несколько раз встряхнул

флакон. Тогда от стенок оторвалось несколько быстрых, мелких пузырьков и исчезло. Это ничего не доказывало, но он сразу понял: нет, это то самое. Пожевал губами и тряхнул флакон еще раз. Опять забурлили и поднялись мелкие пузырьки. Он смотрел на них широко раскрытыми, испуганными глазами. "Ах ты Господи!" — сказал он наконец подавленно и пошел к столу. Глубоко сел в кресло, деловито подвинул к себе эмалированную кружку и налил ее до половины. Посмотрел, хватит ли, взял флакон и, прихватив платком, сломал горлышко. Сначала капнул только десять капель, потом выпил все. Кружку взболтнул и поставил на стол.

Руки у него дрожали, и он невольно поглядел на них. Бедные руки его! Все-то они в золе, все-то худые, грязные, в морщинах, ожогах и порезах. "Вымыть бы их надо, — подумал он тяжело. — Что уж с такими руками-то..." Но додумать до конца он не смог, испугался, схватил кружку и поднес ее ко рту. Но сила жизни была еще непоборима, словно кто-то схватил и стиснул ему горло, не давая глотать. Он поставил кружку и просидел с минуту неподвижно.

И впервые за эту ночь почувствовал тишину.

Тихо и безлюдно было так, как будто вымер весь дом. Да так оно и было, пожалуй. Он подошел к окну и, осторожно отдернув занавески, посмотрел вниз.

Над садом плыла безлюдная, неподвижная ночь. И только очень напрягая зрение, можно было различить серые дорожки и серые же пятна среди кустов — скамейки. На одной из них, прямо перед окном, сидела неясно очерченная белая фигура. Он постоял еще немного и опустил жалюзи. Они стукнули сухо и четко, как спущенный курок.

"Пора! Пора!"

Он вернулся к столу и поднял кружку.

Но в это время кто-то спросил:

— Можно?

"Дверь-то не заперта!" — пронеслось в голове профессора, но ответить он ничего не успел.

В комнату вошел Гарднер. Конечно же это он сидел на лавочке и смотрел в окно. Профессор грозно обернулся к нему, но тот излучал такое тепло и свет, так был ясен и безмятежен, что Мезонье и сказать ему ничего не сумел.

— Вы извините, профессор, — сказал Гарднер и быстро прошел к столу, — но я увидел, что у вас горит свет, и вот решил навестить! У меня ведь тоже бессонница! Все нервы, нервы!

— Да, да, — ответил профессор сурово, — но я вот работаю, и мне очень некогда.

— А я сейчас уйду, — успокоил его Гарднер. — Я так и шел: на одну только минуточку.

Он осторожно поднял со стола пустую ампулу.

— Бром, наверное?

— Да! — отрезал профессор.

Секунду Гарднер смотрел на него, потом вдруг поспешно опустил глаза, положил ампулу, поднял кружку, понюхал.

— Ну, — сказал он спокойно, — работайте, мешать не буду. Спокойной ночи. — Тон у него был такой, словно он пришел к профессору с каким-то сомнением, а ушел, исчерпав его до конца. — Спокойной ночи, — повторил он, затворяя дверь.

Профессор ничего не ответил, только злобно два раза повернул ключ в замке, подошел к столу — ампулы уже не было, Гарднер захватил ее с собой. "Ну и пусть, — подумал он со злобным удовольствием. — Попробуй достань меня теперь!"

Он сел за стол опять, взял кружку и залпом выпил все. Жидкость была безвкусная и бесцветная и только чуть пахла миндалем — что-то вроде недозрелого компота из чернослива. "Вот и все. Обратно уже не уйдешь". Он посидел немного, потом подумал: "Боже мой, какая тишина!" Быстро, опережая возникающий страх, подошел к этажерке и включил радиоприемник. Что-то зашипело, заклокотало в лакированном чреве, но он еще передвинул винт, нащупывая подходящую волну. Пока он делал это, в нем

вдруг стукнуло и явственно заворчалось где-то около кишок то злое и инородное, что он только что впустил в себя. Он резко повернул винт, и тогда трескучий и отчетливый, как ремингтон, голос вошел в комнату. Он стоял и слушал.

”Тогда вы кладете на это жирное пятно лист промокательной бумаги и проводите по ней горячим утюгом. Повторив эту манипуляцию несколько раз, вы достигнете того...”

У него уже сводило скулы, становилось все жарче, все неудобнее и вот торопливо, словно уходя от дурноты, он повернул винт еще, на следующее деление.

Тогда мужской, грубый, обветренный голос стал ругаться и кричать на него по-немецки:

”И тут мы скажем им: ни револьвер террориста, ни бомба политического убийцы, ни яд заговорщика — ничто из всего того, что вы мобилизовали и двинули на нас из недр своей черной кухни, не помешает нам довести до конца великое дело оздоровления и дезинфекции мира. И каждый раз, склоняя наши траурные черные орлы перед ранними могилами, мы будем клясться этой новой кровью...”

Он улыбнулся. Мир жил своими заботами, печалью и радостями. Что ему до того, что в какой-то запертой комнате умирает сумасшедший старик! Вот опять, видно, где-то хлопнули какого-то прохвоста. Как ни говори, а все-таки это хорошо. Вот уже их бьют, как мышей, по всем закоулкам...

И вдруг его пальцы дрогнули.

Звонкоголосая девочка выкрикивала бесстыдно и наивно из-под его руки:

Шофер мой милый,
Как ты хорош!
Мотор включаешь —
Бросаешь в дрожь.
Ты умеешь так поставить,
Ты умеешь так направить
И ведешь, ведешь,
Ведешь, ведешь...

Девочка пела, а он слушал и слегка кивал ей головой.

— Пой, пой, милая! Вот я слышу твой тонкий, девичий голосок. И совсем даже не важно, кто тебя научил этакому. Хорошо, что ты такая сильная, ладная, молодая и что столько тебе еще осталось жить.

Он уже весь дрожал, у него звенела и как бы испарялась куда-то голова, но он все-таки весь повернулся к черному ящику, мучительно и напряженно вслушиваясь в заключенный в нем молодой, почти птичий голосок.

Ведь она пришла к нему на помощь в эту самую важную в его жизни ночь.

Но тут раздались аплодисменты, ржание, смех, топот ног, и сразу же вошел в его узкую смертную камеру большой, гулкий и спокойный зал, наполненный до отказа белым туманом молочных ламп, дамами в вечерних туалетах, господами в накрахмаленном белье. Пока девочка молчала, он, закрыв глаза, прислушивался к тому чужеродному и злому существу, что выпрямлялось и росло в его теле, перерастая его самого. Вдруг сразу сделалось душно, тесно, некуда стало девать свое тело — так оно сразу обмякло, распухло и отяжелело. У него закололо в бок, стали жать ботинки, воротник сделался узок и перехватил горло, кресло врезалось в тело, пот покрыл лицо, — он наклонился, ища таз.

Но девушка опять уже пела над ним, пела еще что-то такое бессмысленное, звонкое и бесстыдное, а он улыбался, сползая с неудобного кресла, все кивал ей головой и уж ничего не видел около себя, ни ее, ни даже того черного ящика, в который ее заключили, — такой уж в ту пору стоял в комнате тонкий, звенящий, скользкий туман.

...Когда он снова открыл глаза, то увидел несколько розовых смазанных пятен и не сразу понял их значение. Он вытянулся, выгибая спину, и спросил:

— Где Ганс?

Одно из пятен подплыло к нему, остальные заколебались и подались назад; он почувствовал на своих руках живое, проникающее внутрь тепло и понял, что кто-то плачет.

Тогда он поднял тяжелую, плохо повинующуюся руку и положил на голову тому, кто стоял перед ним на коленях.

Около самого его лица зарыдали бурно, открыто, неистово, и чья-то рука ухватила его за шею и прижала к себе.

— Милый, милый, милый! — говорила Берта, содрогаясь от истерической жалости и нежности к этому большому беспомощному телу, которое через несколько мгновений должно стать мертвым. — Милый, милый, простишь ли ты? Можешь ли ты...

— Где Ганс? — спросил профессор и закрыл глаза, потому что перед ним замелькали радужные дуги, и тут же прибавил: — Нет, нет, не зовите его, пусть спит... А Гарднер где?

И сейчас же над ним появилась нежная, противная, розовато-белая морда, похожая на крысиную.

— А, крыса! — сказал профессор громко и спокойно, чувствуя, что его сейчас и на этот раз навсегда захлестнет этот бред. — Здравствуй, крыса!

Крысиная морда оскалилась и показала острые, блестящие зубы.

— Не радуйся, ничего не выйдет, ты еще не победила. Подожди.

Он стал медленно, с усилием подниматься с кровати.

— Подожди, подожди, — повторил он злобно, чувствуя, как несколько рук поддерживают его под спину.

— Нет, нет, — услышал он вдруг голос Гарднера, — не надо, не надо! Что вы?

Прямо перед ним стояла та же отвратительная нежно-розовая крысиная морда, и, чувствуя, что вот это вообще последнее, что он может сделать, он с нас-

лаждением, болью и злостью плюнул ей прямо в открытую пасть.

Потом упал, закрыл глаза, и тут над ним сомкнулось мутно-зеленое колеблющееся бесконечное море.

Г л а в а т р е т ь я

Курт не присутствовал при смерти профессора, но узнал о ней раньше всех. Через час после ночного отъезда Курцера вдруг в сторожку пришла Марта и сердито сказала:

— Иди наверх, опять что-то приключилось.

У нее были красные глаза, и она так ткнула стоящую на дороге табуретку, что Курт даже не спросил ее, что же именно там случилось.

Дверь кабинета была полуоткрыта, и только что Курт переступил порог, как профессор встал с кресла и пошел к нему. В руках его был сверток — большой, плоский, в пергаментной бумаге, эдак килограмма на два.

— Вот, Курт, — сказал профессор строго и тихо, — последний том моего труда. Итог сорокалетия. Дома я его хранить не могу. Надо отвезти в город.

— Хорошо, — ответил Курт. — Давайте.

— Стойте, Курт, — сказал профессор, слегка отстраняясь. — Отвезти мало, надо еще спрятать.

— Ну! — фыркнул Курт. — Будьте спокойны. Давайте, давайте!

Не двигаясь, профессор смотрел на него.

— Плод всей моей жизни, — повторил он тихо и отдельно.

— И знать никто не будет, — серьезно заверил его Курт. — Давайте! Я еду в город за стеклом и горшками. Мне господин Курцер еще два дня назад приказал.

Профессор отошел и тяжело сел в кресло.

Курт мельком взглянул на него и удивился тому, что он не так уж и плох, только вот желт больно, да и

одежда вся в пепле и пыли. Наверное, всю ночь курил.

Он улыбнулся и сказал:

— Не беспокойтесь, все будет в порядке.

Профессор смотрел на него, постукивая пальцем по столу.

— Пойдите, — сказал он. — В конверте есть указание, как поступить с рукописью.

— Ага, — принял к сведению Курт.

Профессор поднял кверху палец.

— Я завещаю ее Институту мозга в Ленинграде. Значит, нужно туда ее и представить, а вот как это сделать, я уж и не знаю.

— Люди знают, как, — ответил Курт, — не беспокойтесь.

— Люди-то знают, — качнул головой профессор, — да я-то не знаю этих людей. Ну ладно, что тут гадать. Что уж будет... Но вот что, Курт. Здесь в предисловии рукопись моя завещается Ганке. Имя-то я его, конечно, зачеркнул, но всего предисловия уничтожить нельзя, потому что некогда писать новое. Но с тех пор, как Ганка стал предателем, доверить ему я ничего не могу. Поэтому смотрите, что бы ни случилось, — он особенно подчеркнул эти слова, — но он не должен знать, что рукопись ушла из этого дома. Понятно?

— Ну еще бы! — ответил Курт.

Профессор все не отводил от него глаз.

— В специальном пакете, что вложен в рукопись, я пишу об этом, но мне могут не поверить. Вот уж и сейчас говорят, что я свихнулся, и недаром, конечно, они так говорят. Так вот, если не поверят моей воле, вы свидетель — я был в здравом уме. Понимаете?

— Понимаю, — тихо ответил Курт и взглянул на профессора прямо и строго.

”Все! — понял Курт. — Он больше не жилец, не выдержал”.

Профессор слегка пожал плечами и чуть улыбнулся. Улыбка была беспомощная и жалкая.

— Будет сделано, — ответил Курт твердо, по-солдатски.

Профессор кивнул ему головой.

Курт подошел к профессору, взял его опущенную руку и осторожно пожал.

— Не бойтесь, — сказал он тихо, но твердо, не голосом садовника Курта, а своим голосом, голосом человека, который остается жить и бороться. — Все будет сделано. Ваша книга будет в Ленинграде.

И когда они пожали так друг другу руки, было это безмолвное рукопожатие коротким, крепким и все объясняющим. Никаких тайн уже не осталось после него.

— За Гансом смотрите, — сказал профессор, отпуская его руку. — Понимаете?

— Понимаю, — ответил Курт.

— Ну вот, кажется, и все, — сказал профессор. — Прощайте.

Курт пошел и возвратился.

— Вы не бойтесь только, — сказал он, — все будет сделано, как вы хотите. Видите, их сейчас уже бьет истерика.

— Да их-то я уж и не боюсь, — ответил профессор, — видите, даже и не запираюсь. Ну, — он слегка дотронулся до его плеча, — прощайте. У меня еще много дел. Вот отдохну немного и начну опять работать. Счастливого пути.

Когда Курт вышел на улицу, было уже почти светло. И здания, и кусты, и тусклые дорожки в саду и быстро светлеющее небо — все было окрашено в серый цвет рассвета.

Крепко закусывая губу, Курт подошел к навесу, точными, злыми движениями отпер замок, вывел свой мотоцикл и стал его рассматривать.

Подошла Марта и молча остановилась возле. Он мельком взглянул на нее и сказал:

— В город за стеклом и горшками.

— За стеклом? — спросила Марта.

— За стеклом, за стеклом, — и он головой показал себе на грудь, где лежал пергаментный пакет.

Она поняла и кивнула ему головой.

В десять часов утра Курт уже входил в здание фирмы "Ориенталь" с конвертом на имя Гарднера.

Гарднер записку взял, прочел, отметил что-то на длинном листке бумаги, что лежал перед ним, и спросил:

— Так. И стекла и цветочные горшки... Что, разве хозяин цветочки любит?

— Так точно, любит, — ответил Курт и, видя, что Гарднер улыбается, улыбнулся и сам.

Гарднер скомкал записку, бросил ее в пепельницу, взял со стола блокнот, вырвал листок из него, стал что-то быстро писать.

Курт следил за его руками.

— Видите ли, — сказал он, обдумав все, — хозяин мой, собственно говоря, к цветам склонности не питает. Он человек научный, ему что тюльпаны там или розы, на это понятия у него нету. Он все больше по костям да по камушкам.

— Не про того хозяина говорите! — усмехнулся Гарднер. — Так вот, любезнейший, с этим, значит, листком обратитесь к начальнику отдела репараций и материальных ресурсов, нижний этаж, третья дверь направо, сто сорок пятая комната, майор Кох. Если есть у него, он все устроит. Какое стекло вам нужно?

— Видите ли, — сказал Курт, подумав, — для оранжереи лучше всего стекло тонкое, но крепкое, потому что, скажем, снежная зима, заносы — ведь все на стекле. Или ребятишки придут с рогатками.

Гарднер сидел и смотрел на него.

— Из рогаток! Из рогаток! — пояснил Курт и поднял два пальца. — Раз — и нет стекла.

— Милый, мне ведь некогда, — сказал вдруг Гарднер. — Это ведь у вас дело — дроздов ловить да кустики подрезать. Меня люди ждут. Какое стекло вам нужно — бемское, двойное, химическое, небьющееся?.. Ну, скорей, скорей!

— Я бы хотел, конечно, бемское, но...

— Бемское! — кивнул головой Гарднер и записал это слово над строчкой. — Ну вот, значит, и все, идите к Коху. Что он может, то он...

Курт был уже у двери, когда Гарднер окликнул его снова:

— Вы что, садовником поступили, что ли?

Курт сейчас же повернулся.

— Поступил? Я, ваша милость, вот таким еще был, — Курт присел и показал рукой, каким он был, — как уже служил там.

— Ну, идите, — сказал Гарднер, улыбаясь, — идите. Я все там написал.

Курт пошел к Коху.

Кох, сухой, желтый, колкий, уса́тый человек с недобрыми серыми глазами, взял записку, прочел и отрывисто сказал:

— Еще тебе и бемского. А где я его возьму?

Курт слегка пожал плечами.

— Не знаю.

— Не знаешь, а просишь, — вскинул на него злые серые глаза Кох, и его лицо цвета лежалого масла чуть дрогнуло от произнесенного в мыслях ругательства. — Нет бемского во всем городе. Обыкновенное получишь.

— Так в соборе бемское есть, — сообщил Курт.

— Да ну? — удивился Кох.

— Там все двери застеклены им.

— Так вот я тебе двери и дам! — рассердился Кох. — Может, ты еще алтарь у меня попросишь — горшки расставлять?

— Лишнего мне не надо. Алтарь нам для горшков не требуется, — угрюмо и твердо сказал Курт. — Мне бы хоть горшки у вас достать.

— Господи, Боже мой! — горестно удивился Кох, рассматривая лицо Курта. — Ты что, садовником, что ли, работаешь?

— Я двадцать лет садовник, — с угрюмым достоинством сказал Курт.

— А дурак! — крикнул Кох. — Двадцать лет работаешь в садовниках, а дурак! Ишь ты! "Алтарь нам не требуется"... С кем ты разговариваешь, деревня? Карцера не нюхал?

Курт посмотрел на него, повернулся и твердо пошел к двери.

— Стой! — крикнул Кох ему в спину. — Стой, дьявол! Слушай, ты что, дурак, что ли, совсем? Ты куда пришел-то? Ты что, дура, деревня, у меня в кабинете вытворяешь? В солдатах служил?

— Ни в каких я ваших солдатах... — пробурчал Курт.

— Ну и дурак! Вот от этого и дурак, пришел и выламывается, идиотика строит! — уже во все горло заорал Кох. — Времени у меня нет, а то бы я тебя поучил... Да стой ты, черт! Куда пошел опять? Пойдем вместе, сейчас выпишу ордер.

Отсюда Курт пошел в музей восковых фигур.

В городе, на площади Принцессы Вильгельмины, уже около ста лет красовалось желтое двухэтажное приземистое здание. Его осенял круглый стеклянный купол, увенчанный зеленым флагом. На фронтоне горела всеми цветами желтая вывеска со змеями, огнедышащим драконом на цепи и отрубленной человеческой головой на блюде. Блюдо это держала в руке черноволосая, жгучая красавица, вся в тонких косичках, ожерельях, бусах и развевающихся покрывалах. Внизу золотым по черному блестела надпись: "*Паноптикум госпожи Птифуа*" и еще ниже: "Дети до 16 лет не допускаются. Солдаты платят половину".

Госпожа Птифуа уже скоро тридцать лет как лежит на городском кладбище, под безносым мраморным ангелом. От нее остались только восковой бюст в вестибюле музея да бронзовая дощечка, на которой четко обозначено: "1840—1912".

Теперь музеем владел сын ее дочери — магистр философии господин Иоганн Келлер. Его часто можно было видеть в залах музея: ходит этакий

небольшой господин с животиком, золотыми зубами и круглым румянцем на полных щеках, постоянно доволен всем, тих и уравновешен. В кругу своих знакомых, кроме несоответствия занятий — в самом деле, магистр философии и паноптикум! — он был еще известен тем, что уже десятый год сидел над работой о Венерах: о Венере Милосской, Венере Медицейской, Микенской, Таврической. И добро бы он горел на этой работе, считал ее делом своей жизни, а то ведь ничего подобного, — он, кажется, сам не понимал толком, для чего и кому нужна его диссертация и чем он ее кончит, писал — и все!

— Так ведь про этих Венер-то и материалов столько не наберешь, — горевали его знакомые. — Чем же вы занимаетесь десять-то лет?

Господин Келлер смотрел в лицо собеседника ореховыми улыбающимися глазами, и лицо его светилось от тихого удовольствия.

— Ну да, ну да! — возражал он с каким-то даже подобием оживления. — И я так думал вначале: "Какая там литература?! Две брошюрки, одна монография — вот и все, пожалуй". А как поднял книжные пласты, так знаете, что на меня полезло... Ну! Набогатейший материал, на восьми языках! Даже на венгерском и то отыскался какой-то специальный альбом. А поначалу так действительно казалось, что нет ничего. Хотя, — говорил он, подумав, — ведь важен-то не сам материал, а мысли по поводу него. Вот написал же Лессинг книгу только об одной статуе, и книжка стала классической, ее перевели на все языки мира. Вот и подумайте! — и в глазах его было столько тепла и иронии, столько добродушного издевательства и над Венерами, сколько бы их там ни было, и над всеми восемью языками, на которых о них написано столько перечитанной им ерунды, и над своей работой, которую он, видимо, ни в грош не ставил, что обыкновенно собеседник больше не спрашивал и разговор на этом кончался. И о паноптикуме, хозяином которого он состоял вот уже

двадцать лет, Келлер говорил с тем же мягким, добродушным презрением и задумчивостью.

— Конечно, говоря между нами, джентльменами, — задумчиво цедил он сквозь зубы, — все это похабщина, — он кивал на свои манекены, — всем этим Ледам да обнаженным Цецилиям со стрелами в груди только и стоять бы в вестибюле дома терпимости, но есть публика, которой это нравится, она валом валит.

Он задумывался и продолжал:

— И вся беда, очевидно, в том, что людям без зверства никак не прожить. Самому убивать даже на войне, конечно, противно, — цивилизация мешает, — но посмотреть на это хотя бы одним глазком, со стороны, положительно необходимо. Есть такая классическая английская монография прошлого века — не читали? — "Убийство как изящное искусство". Вы понимаете, в чем пакость? Оказывается, установлено научно, что убийство, во-первых, искусство, а во-вторых, еще и изящное искусство. Вот тут-то, наверное, и собака зарыта.

Слушатели, которые были поумнее, после этих объяснений переводили разговор на погоду, а дурачки восклицали:

— Позвольте, но вы же проповедуете безнравственность!

И тогда Келлер, тоже с видимым удовольствием и даже без своей обычной флегмы, подхватывал:

— Возможно, возможно! Вполне, вполне возможно! Я же вообще по натуре, очевидно, совершенно аморален. Вот влюблен во всякую красоту, в любую форму ее — от тропической змеи до женщины. А ведь красота-то — она от дьвола! Это еще богомилы, а до них Плотин очень убедительно доказывал, — почитайте-ка!

Он говорил о своей аморальности, а жил монахом, у него не было ни жены, ни детей, ни даже как будто любовницы. Вот этот человек, как только в город вошли немцы, первый из всего города нарушил приказ командования о том, что все предприятия, в

том числе зрелищные и увеселительные, должны работать по прежнему распорядку, и повесил на двери паноптикума блестящий пружинный замок.

— А что же могу теперь показать интересного? — спрашивал он. — У меня ведь ужасы восковые, раскрашенные — так кого я чем напугаю? Вон у моих мучениц и щечки розовенькие, ресницы насурьмлены, даже проволока кое-где торчит, а тут, в десяти минутах ходьбы от моего музея, раскачиваются на проводе самые настоящие висельники с вывалившимися языками, и над ними вороны дерутся. Ну, совсем пятнадцатый век. Так кто же после них пойдет смотреть моих кукол? Ведь это же профанация! Я так и скажу немцам: "Ничего не поделаешь, музей не выдержал конкуренции".

— А что они вам ответят? — спрашивали его:

Он разводил руками и тоже спрашивал:

— А зачем им отвечать? Что им, своих убитых не хватает, что ли? К чему еще мои Клеопатры да Нероны?

Но дней через десять он вдруг сам снял замок и объяснил друзьям это так:

— Решил открыть! Моя аморальность протестует. Все-таки у меня эстетика: "Убийство как изящное искусство". В том-то и дело, что и убийство должно быть искусством. Вы посмотрите, как мои Клеопатры учат умирать — легко, играя, самоотверженно! Зрители стоят возле них, и едят мороженое, и кокетничают с дамами, а там... Я пошел посмотреть. Брр! Гадость! — Он закрывал глаза и крутил головой. — Искусство всегда прекрасно, господа, вот в чем дело! Нет, моя бабушка отлично понимала это, когда так роскошно сервировала восковые ужасы. Не зря она была десять лет любимой шансонеткой баварского короля, и не зря, не зря потом этот король сошел с ума!

И вот снова в открытых залах появились посетители, только теперь это большей частью были немецкие солдаты в черных, зеленых и синеватых шине-

лях. Остро запахло карболкой и еще чем-то столь же резким, а в музее вдруг прибавилась особая витрина — череп Шарлотты Корде и над ним свидетельство о подлинности со многими печатями. Этот раритет продал какой-то солдат, вывезший его из Франции.

Вот в этот-то музей неизвестно с чего и почему пришел Курт с сумкой в руках. Он ходил по залам, таранил глаза и удивлялся, постоял возле группы "Леда и лебедь" (надо было опустить бронзовый жетон в стоящую рядом копилку, и вся панорама ожила бы и задвигалась; но он почему-то этого не сделал), потом пошел в большой зал и вдруг внезапно очутился среди христиан в белых тогах на арене цирка. Курт внимательно осмотрел их и сказал стоящему рядом с ним черному и худому немцу:

— А лев-то какой... вся морда отбилась, и глаз нет! Показывают невесть что! Знал бы, так и деньги не платил, — и пошел к выходу.

На контроле возле кассы сидела старушка и вязала красную фуфайку. Около нее на отдельном столике лежала толстая черная книга с надписью "Отзывы" и автоматическая ручка на цепочке.

Курт посмотрел на книгу, на ручку и широко улыбнулся.

— Это чтобы не унесли с собой! — сказал он понятиливо. — Я уж отлично вижу, что к чему. Ведь народ сейчас такой — пишет, пишет, да и в карман. Лови его потом!

Старушка оторвалась от фуфайки и подняла на него печальные, недоумевающие глаза.

— Я говорю, вон как бережет хозяин ручку, — пояснил Курт. — Это я насчет цепочки. — Старушка смотрела на него, не понимая. — Цепочка-то, цепочка-то, говорю, для того, чтобы ручку не утащили, — объяснил он уже досадливо. — Конечно, я сочувствую — всякие люди тут ходят, на совесть сейчас доверять никак нельзя. Это что ж, всякому можно тут расписаться?

— Пожалуйста, — равнодушно пожала плечами старушка, рассматривая его лицо. — Записывайте ваши отзывы, впечатления, предложения, замечания в адрес дирекции. Все, что вас удивило в нашем музее, что оставило недоумение или недовольство, что особенно понравилось. Подпись, фамилия и адрес не обязательны.

— Да нет, почему же, — великодушно махнул рукой Курт. — Я и адрес запишу. Писать — так уж писать. Ну-ка, разрешите. — И он сел за столик.

Писал он долго, пыхтел, останавливался, думал и снова писал. А когда старушка посмотрела на него опять, он даже с некоторой робостью спросил ее:

— А что вот тут написано? "Ваши предложения". Так могу я письменно одну вещь предложить или нет? Есть у меня такая удивительная штука — красивый череп. Купят его у меня или нет?

— Ой, нет, нет! — испугалась старушка. — Тут ничего подобного писать нельзя. Это вы к хозяинуйдите и предложите ему. А писать тут только надо дело...

— Да я уж написал, — успокоил ее Курт. — Вы не беспокойтесь, матушка, хозяин будет только рад. Он как увидит, так и уцепится. Вот я и адрес приложил. Все как положено.

— Как? — вскопчила старушка. — Да что же вы тут такое написали?

— А все как есть, то я и описал, — успокоил ее Курт. — Ну, как, что, где нашел. Только вот насчет цены не знаю, так что ничего не обозначил. Хозяин, наверное, не обидит, я ему на совесть верю.

— Ой, Боже мой! — старушка выхватила у него книгу и так и замерла.

Весь лист был исписан какими-то цифрами, через каждые два слова шла запятая или восклицательный знак. Внизу красовалась подпись на полстраницы.

”Господину президенту музея. Сегодня я на остановке, поджидая 17-й номер, услышал, как 2 человека разговаривали промеж собой, что вы скоро ваш уважаемый музей закроете на 3 месяца!! А когда откроете во 2-й раз, он будет в 5 раз больше, чем был! И для этого вам нужны всякие редкости, кто какие только принесет. А вот есть у меня редкость — 1 красный череп 2-го сорта! Он бы был и 1-го, да у него выбито 12 зубов, в голове 5 трещин и одна челюсть расколота на 13 частей, а 2-я цела. От этого я его готов продать в 4 раза дешевле, чем он стоит. Если нужно, напишите до 20-го, а живу я в 36 сеттльменте...”

Ну, и так далее, до конца страницы, до огромной, министерской подписи с крюками и петлей.

— Господи, да что он тут такое нагородил? — крикнула старушка, чуть не плача. — Нет, я сейчас же вызову хозяина, пусть он придет и посмотрит сам. Вот еще беда! — И, прихватив фуфайку и книгу, она бросилась по коридору.

Курт, очень довольный всем, смешливо оглянувшись по сторонам, ища сочувствия, увидел стоящего сзади солдата и подмигнул ему одним глазом.

— Видишь, как распалилась, чуть не заплакала... А за что? Разве я что непотребное написал? У меня же ни одного ругательства нет. Я только предложил: купит — так купит, а нет — так и до свидания, я другого найду.

Солдат покачал головой и посоветовал:

— А ты бы, милый, верно, шел, пока хозяина нет, а то придет, раскричится, да еще, пожалуй, в полицию стащит. Ты, смотри же, ему всю книгу запакостил.

— Я не запакостил, я дело предложил, — холодно ответил Курт и отвернулся от солдата.

Но тут пришел улыбающийся хозяин, очень вежливо поздоровался с Куртом и почтительно спросил:

— Это, очевидно, вы продаете красный череп?

Курт торжествующе повернулся к старушке:

— Ну что, мать? Видишь, что значит культурный человек! У него все по-деликатному, без шума, без крика. Ну, как с таким дорожиться? Есть, есть у меня череп, — успокоил он хозяина. — Как я обозначил, так все у меня и есть. Постоите-ка, — и он положил сумку на стол и стал ее расстегивать.

— Так, может, пройдем ко мне? — любезно и серьезно предложил хозяин и сунул книжку с записями себе под мышку. — Там вы мне все и покажете. Он у вас с собой?

Они прошли через длинную стеклянную галерею, зловеще освещенную красными лампами и факелами — зал инквизиции, — и поднялись по винтовой лестнице в комнату, заставленную стеклянными шкафами, из которых глядели на посетителя головы знаменитых преступников двух столетий, и зашли в служебный кабинет хозяина. Тут Келлер запер дверь и повернулся к Курту. Наступила короткая пауза. Каждый разглядывал друг друга.

— У льва одного глаза нет, — сказал Курт, улыбаясь. — Это может не понравиться военной комендантуре.

— Я всегда стою на страже ее интересов, — быстро, в один вздох, выпалил Келлер. — Ах, я даже не предложил вам сесть! — Он дотронулся до спинки огромного кожаного кресла. — Будьте любезны, пожалуйста. Курите? Курите, пожалуйста, вот папиросы.

— Спасибо, — ответил Курт и сел. — Вот пришел посмотреть, как вы живете. — Он обвел комнату взглядом. — Ну что ж, мне кажется, все в порядке.

— Да? — Келлер резко пожал плечами. — По-вашему, это порядок? Плохо, если вы на это смотрите так, только и могу сказать. Вы мое письмо получили?

— Еще неделю тому назад, — ответил Курт ласково и положил ему ладонь на руку. — Слушайте, и вы тоже сядьте и перестаньте волноваться! Вот так! Ва-

ше письмо мне кое в чем не понравилось. Волнуетесь много. Больше, чем надо.

Лицо Келлера сразу стало возбужденным и замкнутым.

— Больше? — сказал он, сдерживаясь. Встал, подошел к пальме, стоящей в кадочке посередине кабинета, и начал поправлять ее ветви. — Вот вчера, например, у меня в кабинете был немец, военный комендант города, — сказал он вдруг, оборачиваясь к Курту. — Сидел он в том же кресле, что и вы, и курил сигареты, а в ящике стола...

— А со мной немцы в одном доме живут, — добродушно ответил Курт и весело ударил слегка рукой по подлокотнику. — Понимаете, коллега, очень правильно живут — спят, едят, пьют шнапс, гуляют, по прямому проводу связываются с Берлином. А у меня тоже в столе планы и документы. Так что будем делать? Отказываться от работы? А? — Он так прямо и неотступно глядел в лицо магистру философии, что тот наконец отвел глаза и опять повернулся к пальме. — Или я менее осторожен, чем вы?

— Я этого не говорю, но... — ответил Келлер, взясь с веткой.

— Ну, тогда, может быть, менее опытен? Ах, тоже нет? Тогда менее труслив, может быть?

— О! — взорвался наконец Келлер и бросил пальму. — Вы мне говорите о трусости! Вы! Вы же отлично видите, на каком вулкане я обречен танцевать!

— Вижу, вижу, — успокоил его Курт. — Все отлично вижу. Вот я и пришел поблагодарить вас и сказать, что вы по-настоящему молодец. Но только не надо нервничать! Поверьте, я много трусливее вас и поэтому если на что-нибудь иду, то потому, что считаю: вот это-то и есть самое безопасное, все остальное еще хуже, а чаще всего и много хуже.

Он помолчал.

— Вам в гестапо приходилось когда-нибудь сидеть? — спросил он вдруг.

— Странный вопрос! — хмуро улыбнулся Келлер. — Я же разговариваю с вами — значит, не сидел.

— А я вот сидел, — резко ответил Курт и посмотрел ему в глаза. — Меня даже травили в газовой камере, а вот я тоже разговариваю с вами. Значит, я больше вас знаю, с чем вы имеете дело, и больше вас боюсь провалить его. Вы улавливаете разницу? "Я боюсь провалить дело", — это совсем не то, что "я боюсь".

— Вполне, — кивнул головой Келлер. — Я тоже боюсь провалить дело.

— Но это же совсем другой разговор, — отозвался Курт. — Так, значит, и будем разговаривать о деле, которое мы оба боимся провалить, а поэтому и не провалим. Вот вы сказали: "Был военный комендант и курил сигареты". Ну, а ваших-то людей у вас за это время было много?

Келлер слегка усмехнулся и кивнул головой на книгу.

— Да вот же книга перед вами же, смотрите сами. Но экстренное сообщение было только одно. —И, перевернув страницу, Келлер ткнул ногтем в подпись, сделанную анилиновыми чернилами: "Ваш покорный слуга, старый учитель католической школы".

Курт только скользнул глазами по записи и перевернул лист. Были еще две записи о том, что материальная подготовка операции "Леди" проходит успешно и в склад доставлена новая партия оружия, в том числе браунингов ("смею ли выразить свое восхищение") двести штук (город Демье, улица Капуцинов, 200). Есть и пулеметы ("тяжелое впечатление оставляет ваш музей"), немного, но все-таки 50 штук ("Иоганн Граббе, 50 лет"). Но Курт и на пулеметы почти не обратил внимания. Не так давно в его распоряжение поступил целый склад оружия, оставшийся после бежавшего правительства, поэтому все эти мелкие поступления, очень существенные и важные с моральной стороны (значит, люди работают вовсю!), материально почти ничего не значили. А ра-

ботали люди действительно хорошо. Взять хотя бы этого толстяка. В его верности и готовности никак сомневаться не приходится. Он и раньше оказывал партии разные мелкие услуги, хотя к ряду пунктов ее программы относился просто отрицательно, а к другим — недоуменно. А вообще он господин с большими странностями и загибами. Однажды он, первый католик, опубликовал такую статью, после которой часть знакомых перестала с ним даже раскланиваться. Это было в дни, когда в парламенте дебатировался законопроект о запрещении проституции. Коммунисты, все левые и даже часть правых голосовали за проект. Вот тогда Келлер и выступил со статьей, озаглавленной "Божеское и человеческое". "С этим злом, — писал он, — нельзя бороться ни законами, ни запретами. Публичные дома — одно из звеньев той цепи мировой греховности и несовершенства, которая опутала первого человека после его грехопадения". Вспомнив об этой фразе, Курт улыбнулся и сказал:

— Одно из звеньев нашего несовершенства, дорогой мой министр, заключается, между прочим, и в том, что нам, борцам против нацизма, приходится прибегать не к словам, а к динамиту. Это чертовски неприятно, но такова уж природа борьбы.

— Не мир, но меч, — ответил Келлер сейчас же. — Не сомневайтесь, я следую за моим Спасителем и в этом.

И он просто и ласково посмотрел на Курта сразу потеплевшими близорукими глазами.

Все, что происходило в этой комнате, страшно волновало магистра философских наук. Он давно уже слышал о руководителе Сопrotивления, но никогда не думал, что ему придется увидеть его вот так. Собственно говоря, он, Келлер, нарушил все правила и инструкции и конспирации. Запись начальника одним из пунктов обязывала его немедленно прийти на место явки, и только. Но ему показалось, что начальник и сам хочет его увидеть. Глупая стару-

ха так возмущалась, так совала ему в лицо эту записку, что, увидев гриф руководителя группы и приказ явиться, он решил выйти на всякий случай в вестибюль. Ведь если начальник не захочет с ним встретиться, он всегда может уйти до его прихода. Но начальник не ушел, а подождал его и поднялся с ним в кабинет, чтобы дать ему нужные разъяснения. Полно! Для того ли, чтобы дать разъяснения? Келлеру вдруг пришло в голову, что руководитель просто хочет его прощупать — ведь они все безбожники.

— Бич и меч в руках Спасителя для меня так же святы, как терновый венец на его голове, — сказал Келлер, — и с этой стороны ни у меня, ни у церкви расхождений с вами нет. Как верный католик, я сейчас солдат Сопrotивления — и только. Пришли враги, и я говорю им слова Евангелия: "Не мир вам, но меч!"

— Так, так, — Курт посмотрел на него, встал и прошелся по комнате. — Не мир, но меч, в этом вы правы. Но меч-то этот во имя мира, а не во имя войны. Во имя этого мы и работаем вместе и верим друг другу. — Он говорил негромко и страстно, его смуглое обветренное лицо даже слегка порозовело. — А вот они подняли меч во имя войны, поэтому их перебьют, как бешеных псов. Вот именно для этого мне и нужна ваша жизнь, за которую я, кстати, отвечаю собственной головой. Поэтому сидите смиренно и будьте спокойны.

Он полез в сумку и вынул оттуда толстый четырехугольный пакет, завернутый в пергамент и накрепко перевязанный бечевкой.

— А теперь вот что: это — итог всей жизни одного старого профессора, вещь нам очень нужная, — сказал он, взвешивая его на ладони. — Передаю ее вам. Надежнее квартиры у нас не имеется. Могу ли я надеяться, что все будет благополучно?

— Разумеется, — ответил Келлер. — Надеюсь, вы не подумали, что я...

— Ну, ну! — улыбнулся Курт и положил ему руку на плечо. — Что же вы думаете, я совсем без глаз, не вижу, с кем имею дело? Берите вот и прячьте. Стойте! Куда вы это положите? Положите это в папку со своими Венерами, в них никто не будет копать-ся! Ну, до свидания!

Он приоткрыл дверь, снова ее быстро захлопнул и сказал:

— И вот еще что: эту ведьму обязательно смените. Уж очень она у вас любопытная, а за порядком не смотрит. А во всех углах сор. У Леды лебедь серый, как ворона. Недаром у вас и пароль такой: я посмотрел — и верно, лев-то без глаза.

...И второй разговор был у Курта по поводу музея, его хозяина и всего с ним связанного. В тот же день в зоопарке, куда он пошел гулять под вечер, в темной аллее к нему подошел вдруг молодой, красивый эсэсовец со стеклом в руках. До этого он сидел на скамейке около обезьянника и улыбался девушкам. Но когда Курт поравнялся с ним, он вдруг лениво потянулся, встал и пошел рядом.

— Музей вполне надежен, — сказал Курт, не поворачивая к нему головы. — Не валяйте дурака и не порите горячку попусту.

Эсэсовец вынул портсигар.

— Хозяин трусоват, — сказал он неопределенно.

— Хозяин не трусоват, — ответил Курт резко, — далеко даже не трусоват, а просто неясно понимает, что нам от него надо. С людьми такого рода, как Келлер, нужно разговаривать, а не просто давать им задания. Если он неясно понял, что ему поручено, то мне с него спрашивать нечего. Так что явка остается прежней. А что нового у вас, Фридрих?

Собеседник не спеша открыл портсигар, нащупал папиросу, помял ее конец и взял в зубы.

— Они собираются предпринять карательную экспедицию. Мы предупредили через бургомистра всех жителей деревни Монтивер.

Несколько шагов они прошли молча.

— А с той арестованной как? — спросил Курт.

Фридрих вздохнул и слегка развел руками.

— Вы же знаете, как трудно стало нам работать после расстрела Дофинэ. Но записку я ей передал. — Он помолчал. — И можете быть уверены, — сказал он с горечью, — она выдержит все. Я был на ее допросе.

— Я в этом и не сомневался, — сухо отрезал Курт. — Итак, до свидания. Не запаздывайте с сообщениями. — И он пошел.

Но Фридрих вдруг воскликнул скорбно вслед ему:

— Каких людей мы теряем попусту, начальник!

— Да? Вы думаете — попусту? — вскинул голову Курт, и в голосе его пробилося настоящее бешенство. — По-вашему, мы только и делаем, что теряем? А людей, которых мы приобретаем каждый день, каждый час, тех вы не видите? Ну да, ведь Келлер трус и обыватель, по-вашему? А я вот говорил с ним и думал: случись что — этот мирный профессор археологии будет отстреливаться из музейного пистолета до последней щепотки пороха, а захватят его живым — старик вспомнит какого-нибудь героя древности и откусит себе язык. Это вы хоть сейчас поняли или нет?

— Простите, — сказал Фридрих, — но я ведь говорил не об этом.

— А надо говорить только об этом. Только об этом и ни о чем больше. — Курт остановился. — Ладно, здесь расстанемся. Завтра я уезжаю. Все дальнейшие распоряжения получите через паноптикум.

На другой день, в полдень, Курт выехал на мотоцикле из города. Стекло и горшки были тщательно упакованы и отосланы с грузовой машиной. Курт ехал медленно, потому что ему хотелось посмотреть окрестности.

Асфальтированное шоссе шло голыми холмами. В одном месте его пересекало железнодорожное полотно, и Курта здесь минут десять не пропускала ограда. В другом месте его остановили на виадуке. Здесь вообще был затор: стояли грузовики, легко-

вые машины, мотоциклы — и, наверное, давно уже стояли, потому что несколько шоферов поодаль от машин расположилось на траве. Они играли в карты. На виадуке стояло несколько военных в форме железнодорожной охраны и два эсэсовца с автоматами. Они никаких документов не требовали, но и пропускать не пропускали.

Курт слез с мотоцикла и пошел вперед.

Эсэсовец, здоровый, широкоплечий, молодой, посмотрел на него и равнодушно крикнул:

— А ну, в сторону!

Курт мигом стащил шляпу.

— Я смотрю, вы мою машину пропустили, а меня — нет, — сказал он, ласково улыбаясь. — А мне ведь ее принимать надо.

— Отойди, нельзя! — крикнул военный и повернулся к нему спиной.

Но он все не отходил, стоял, улыбался, мямля в руках шляпу и повторял:

— Два ящика бемского стекла. Ведь их распаковать нужно. Если неумеючи, так и перебить недолго.

— Ох, и будет же тебе сейчас бемское стекло! — сказал один из шоферов, приглядевшись к нему. — Куда ты лезешь? Сказано — нельзя, значит, надо ждать.

— Да ждать-то я не могу, у меня там хозяйство.

Эсэсовец вдруг повернулся, шагнул к нему и схватил его за лацкан пиджака.

— Иди сюда, — сказал он негромко. — Ты откуда? Губерт, посмотри-ка его!

Маленький кривоногий человечек с жгучими черными глазами и маленькими острыми зубами подхватил его и потащил за плечо в сторожку, что стояла по ту сторону виадука. Около нее теснилось еще несколько легковых машин, все, однако, не слишком дорогих марок. Громко переговариваясь, стояли военные. Эсэсовец стукнул в дверь, и оттуда вышел человек.

— Вот, — сказал маленький кривоногий. — Кто такой? Зачем? Откуда он? Ему говорят, а он не слушает.

— Из Монтивер? — спросил военный.

— Чего это? — не понял Курт. — Я от самого Курцера, вот вам все документы.

Курт полез в сапог и вытащил красную книжечку с вытисненной золотой надписью: "Проезд на мотоцикле всюду". Военный внимательно поглядел на нее и спросил:

— А подписывал кто?

— Сам Курцер, — гордо ответил Курт.

— Курцер? — военный удивленно поднял брови. — Но как же... А ну, сюда! — он взял его за плечо и толкнул в сторожку.

Курту бросились в глаза цветочные горшки на подоконнике, большая хромолитография, — девушка кормит из рук лань, — стол, покрытый газетой, и человек, который, наклонив голову, что-то писал. Когда дверь отворилась, человек повернулся и посмотрел на входящих. Это был Кох.

— А, садовник! — сказал он довольно. — Опять за стеклами пришел?

— Да вот, ваша милость, — пожаловался Курт, — я показываю пропуск, а меня за плечо и прямо сюда.

— "За плечо и сюда"? — улыбаясь, передразнил Кох. — Сам, наверное, и наскандалил. В чем дело, ефрейтор?

— Задержан как подозрительная личность, — сказал ефрейтор. — Прет на мост с мотоциклом и знать ничего не хочет.

— Да у меня там горшки, — заволновался Курт, — как же так? Я им объясняю человеческим языком: "Пустите меня, мне там горшки принимать да стекло сгружать".

— Значит, достал стекло? — спросил Кох.

— А как же! Раз вы записку мне такую дали, — гордо ответил Курт.

Кох засмеялся.

— Вот пристал ко мне, — объяснил он ефрейтору: — “Давай я пойду в собор, двери выламывать, там, я доглядел, в дверях стекло хорошее. А мне его под огурцы нужно”. Ну, ладно. А сейчас ты, садовник, что же, домой едешь?

— Домой, — сказал Курт. — Да вот не пускают. Остановили, да и...

Дверь быстро отворилась и вошел военный. Едва переступив порог комнаты, он быстро рванул пуговицы на сером форменном плаще, сбросил его на табуретку и стал осматривать.

— Сволочи, прожгли-таки! Как ни берегся, а зацепило.

— Как же так? — спросил Кох. — Ты что, в самый пожар, что ли, совался?

— Да черт его знает, как. Нет, я и близко не подходил. — Он сунул в дыру палец. — И ничего не поделаешь — резина, не зашьешь. Слушайте, я десять человек отправил в город.

— Это зачем? — спросил Кох.

— Да рассказывают интересные вещи. Оказывается... — Он посмотрел на Курта и осекся.

Кох снова посмотрел на Курта.

— Говори, говори! — сказал он.

— Эта рыжая девка...

— А-а, про рыжую... Ну ладно, это потом. — Он подошел к двери, приотворил ее и крикнул: — Курта Вагнера в усадьбу с мотоциклом пропустить! — Он закрыл дверь. — А то он у меня все стекла из рам потаскает.

— Эй, Курт! — вдруг окликнул военный в прожженном плаще. — Ну, как тебя? Псст! Ну, стой, раз тебе говорят. — Он крикнул в дверь: — Фердинанд, отдайте ему, чтобы больше с ней не возиться! Повесишь на стену у себя, деревня!

Курт ничего не сказал и даже не поблагодарил. Он молча сел, молча включил мотор и только на дороге развернул сверток, что ему положили на заднее сидение.

”Что за черт?!” Это была картина на стекле: небо, деревья, отвесная скала, и с нее падал бугристый, пенистый водопад. Там, где должна быть вода, картину выложили перламутром — она переливалась и поблескивала. То был один из местных сувениров, дешёвизна и низкопробность которых вошли чуть ли не в поговорку. Курт посмотрел, пожал плечами и хотел выбросить ее вон. Но потом о чем-то подумал и положил обратно. ”Откуда они ее взяли?” Он посмотрел по сторонам.

Тихий, мирный пейзаж — все холмы да кустарники, черные, низкие, — пролетали мимо него. Когда они делались ниже или пропадали вовсе, как на ладони становились видными огороды, зеленые квадраты полей и среди них домики, похожие на конфетные коробки. Но чем дальше, тем садов и огородов становилось меньше, появилась река, и домики ушли куда-то в сторону. Зато опять начали разрастаться круглые, колючие, сердитые кусты. Чем дальше, тем все больше было их и пышнее они становились. Иногда попадались большие кирпичные строения — не то склады, не то какие-то небольшие заводики, — но, собственно говоря, все это еще шли пригороды и дачные места.

Когда Курт выезжал из города, день был туманный, серый, небо покрывали сочные тучи, и казалось, что вот-вот соберется и хлынет дождь. Но вдруг подул ветер, тучи разошлись, и тогда почти вспыхнули на солнце влажные, круглые, густые кусты с красными осенними ягодами. Курт увидел и розовые крыши, и деревенские строения, и небольшой католический собор, похожий на крупный, серый кристалл.

Из-за поворота почти прямо на мотоцикл выдвинулась толпа — арестованные и их конвой. Курт остановился, разглядывая их. Арестованных было человек пятьдесят. Они шли посередине дороги, по три человека в ряд, заложив назад руки. У одного, первого, были надеты наручники. То был здоровенный мо-

лодец с длинным загорелым лицом. От виска у него, через глаз и до губ шла синяя полоса, — наверное, ударили кнутом. Рукав рубахи оторвался и висел на одной ниточке. Вместо ворота моталась бахрома. Парень шел медленно, с трудом переводя хрипкое дыхание, и, видимо, его уже лихорадило. Проходя мимо Курта, он мельком, быстро поглядел на него, но такой это был взгляд, что Курту стоило физическое усилие не опустить голову. Он скорее перевел глаза на другого. То был еще мальчишка, лет восемнадцати, очень испуганный, бледный, с какой-то почти бессмысленной улыбочкой на губах. Видимо, все не мог примириться с тем, что его уводят, все поворачивался к товарищам и старался им что-то объяснить:

— Я ведь только посмотреть, только посмотреть и хотел...

За ним шли две женщины, молодые, плотные, с широкими лицами, в блузках, изодранных настолько, что только клочки их торчали из-под широких брезентовых курток, наброшенных на плечи их, видимо, чьей-то сострадательной рукой. У одной заплыл глаз. Она высоко и неподвижно несла красивую голову и с каким-то трудом повернула ее, чтобы взглянуть на Курта... Солдаты прошли мимо Курта и даже не посмотрели на него. Зато все подконвойные, кроме парня в наручниках, так и впились в него глазами. И Курт, привстав на мотоцикле, тоже смотрел на них. Это было, конечно, крайне неблагоприятно, к нему опять могли привязаться, а то, чего доброго, и увести, но он все-таки стоял и, глуповато полуоткрыв рот, смотрел на них.

Солдаты шли молча, быстро, — видимо, они не были особенно озлоблены на заключенных, а просто торопились поскорее отделаться от них, — но тем страшнее показалась Курту эта кучка людей, почти добродушно гонимых на убой.

Как только колонна миновала Курта, он сейчас же поехал дальше.

И вот местность резко изменилась. Замелькали пожарища, помятые кусты, черные, еще дымящиеся развалины.

В крохотную придорожную часовню, очевидно, бросали гранаты. В образовавшийся провал панически высовывалась статуя богородицы — грубое, старинное изделие из крашеного дерева. На траве валялись груды каких-то сожженных и затоптанных бумаг, книжные переплеты с золотыми крестами, вытасченный наружу и разбитый о камни шкаф.

Курт остановился, соображая. У него был наметанный глаз солдата, и он сразу почувствовал, что главный очаг пожарища должен быть, очевидно, версты за две отсюда, там, где находилась деревня Монтивер. Это все по дороге к ней снесли на всякий случай, зато уж там, должно быть, не оставили кирпича на кирпиче.

Очевидно, здесь карателям оказывали сопротивление. Где раньше стояли аккуратные дачные коттеджи, теперь валялись листовое железо и доски с черными гвоздями, стояли обгорелые, осыпающиеся стены. Трава была утоптана, земля убита, все засыпано золой и штукатуркой. Остро пахло углем и смолистой гарью. А людей не было видно.

”Неужели всех их угнали?” — подумал Курт.

Нет, не всех. Люди встретились ему версты через две от заградительного отряда. Он слез с мотоцикла и подошел. Около телеграфного столба теснилась толпа. На столбе висела женщина. Чтобы не нарушать телеграфную связь, к столбу прибили длинную планку, эдак метра на полтора. У девушки было чугунное, набухшее кровью лицо, две шпильки тускло поблескивали в рыжих волосах — они были аккуратно заплетены в какую-то несложную, но высокую прическу.

Когда Курт подошел, на него даже не посмотрели. Люди стояли молча, полностью уйдя в ужас созерцания. Да и в самом деле было почему-то невозможно оторваться от этого чугунного лица и

двух стертых, тусклых шпилек в высокой прическе.

Курт смотрел на вытянувшееся, длинное тело, на блузку, порванную в рукавах, на длинные ноги в шелковых, блестящих, очень дешевеньких чулках (туфли у нее свалились, и было видно все то, что тщательно скрывалось, — бурые подошвы и рваная пятка на одной ноге). Руки у девушки было плотно перехвачены спереди тонким, острым, как бритва, шпагатом. Курт опустил голову и закрыл глаза. Ему становилось все жарче, все неудобнее, все тяжелее стоять. Он отвернулся.

— Ее давно повесили? — спросил он какого-то старика в жилетке, с котелком на голове.

Старик не ответил, словно и не слышал, но рядом со стариком стоял франтоватый, неприятный господин, маленького роста, лысый, с очень нервным и подвижным лицом. Вот он и взглянул на Курта. А затем случилось вот что.

Около самого столба стояла старуха, высокая, костлявая, но с румяным лицом и черными жесткими волосами. То ли сказала она что, то ли глянула не так, как нужно, но вдруг один из солдат перехватил тяжелый автомат, что очень оттягивал его шею и стеснял все движения, и подошел к ней вплотную.

— А ну, уйди! — сказал он негромко.

— Я... — начала старуха.

— Уйди! — повторил солдат, не повышая голоса, и взял ее за руку. Он сердился. Солнце пекло всю, и стоять на посту, под ногами повешенной, тоже было не сладко.

— Убийца! — вдруг громко и отчетливо сказал около Курта лысый франт.

Курт взглянул на него. Тот поймал этот взгляд, поднял руку и дрожащей рукой провел по груди.

— Убийца! — повторил он еще раз.

Солдат вздрогнул и глухо сказал:

— Вот вы как? А ну, посмотрю, кто это ко мне просится! — и пошел в толпу.

Курт зло плюнул, — надо было спешно уходить, чтобы не ввязаться в дурацкую историю. Он отошел, завел мотоцикл и тут только почувствовал, как мелко и противно дрожат у него руки.

И тут он снова увидел лысого. Тот уже вышел из толпы и поспешно шел по дороге. "Значит, заварил кашу и скрылся", — подумал Курт, обогнал его и заглянул ему в лицо. Одет человек этот был щегольски. На нем был черный костюм, легкие и блестящие туфли, на руках длинные перчатки. А ручки были у него маленькие, плечи узкие, и на цыплячьей шейке сидела безволосая большая голова. Он поглядел на Курта красными воспаленными глазами и, не увидев его, прошел дальше.

И Курт тоже проехал мимо и сейчас же забыл о нем.

Этот человек и был Ганка.

Глава четвертая

Наутро Ганса разбудила Марта. Она стояла над ним и трясла его за плечо.

— Вставай, — сказала она тихо, — отец умер.

Ганс вскочил на ноги и, еще ничего не понимая толком, сразу же заплакал. Только сейчас он почувствовал: то страшное, непередаваемое, что он заметил в комнате отца и никак не мог понять, и была смерть.

Она была не только в несвязных словах отца, в его зеленом лице, растерянных и неловких движениях, но и в пепле, рассыпанном по полу, разбитом, закопченном стекле в углу комнаты, даже в ослепительном свете лампы и ночной бабочке, монотонно бьющейся о ее холодный огонь. Он вдруг припомнил мерзкий белый пузырек с притертой пробкой по соседству с обглоданной коркой хлеба и еще раз понял: то, что он видел вчера, и была смерть.

Марта взяла его за руку и повела наверх.

Дверь кабинета стояла открытой, и в нем царил такой же беспорядок, как и вчера.

По-прежнему пол засыпала зола, на столе валялись рассыпанные брошюры, а в углу, все на том же месте, лежало расколотое надвое черное, обгорелое стекло.

Отец лежал на диване, закрытый с головой чем-то белым.

Около на коленях стояла мать.

Плечи ее были так неподвижны и прямы, что даже не было видно, что она плакала; впрочем, она, кажется, не плакала.

Из-под простыни высовывалась только одна ладонь, непомерно большая и желтая.

Ланэ стоял около окна и водил пальцем по стеклу.

Ганс вырвался от Марты и бросился к матери.

Мать подняла голову и посмотрела на него. Глаза у нее были жаркие и сухие.

— Что он вчера говорил тебе? — спросила она.

Но Ганс уже не смог ей ответить: все то, что он с необычайной остротой только что почувствовал, рассказать было невозможно, а страшный, несвязный бред отца передавать просто не стоило.

— Мама, — сказал он тихо и вдруг закричал от тошного, противного ужаса: на столе на том же месте лежала обглоданная корка хлеба и рядом с ней мерзкий пузырек с притертой пробкой.

— Господи, — услышал он страдающий голос Ланэ, — и кто знал, кто знал только... Если бы я вчера поднялся наверх...

— Что я, кстати сказать, вам и советовал, — раздался сзади голос Гарднера. — Госпоже Мезонье идти было незачем, конечно, она женщина, но вас профессор хотел видеть, это я вам передал сейчас же, однако вы почему-то предпочли играть со мной в шахматы.

Голос у Гарднера был скорбный, тихий, вполне подходящий к обстановке. А обстановка была та-

кая — он оставался здесь за хозяина и отвечал за все, что произойдет. И скорбь госпожи Берты он тоже разделял вполне.

Он подошел и положил ей руку на плечо.

— Ну что же, что же, госпожа Мезонье, — сказал он, — видно, такая судьба! Видите, как все это скверно повернулось! Но теперь надо помнить, что вы не одна, что у вас на руках сын, его будущее — дело ваших рук, и если вам дорог ваш муж, то сумеете вырастить его интеллект, ум, характер в вашем ребенке. Отец заблуждался, но он шел до конца по своему пути — пусть и сын его будет так же тверд и идет до конца по тому пути, по которому... — Он не закончил, потому что не подумал, по какому же...

— Мама! — повторил Ганс тихо.

Госпожа Мезонье вдруг подняла голову и взглянула на него.

— О чем он вчера с тобой говорил? — повторила она так же тихо, не замечая Гарднера.

Гарднер взял Ганса за плечо.

— Нет, это решительно не дело, — сказал он. — На все это есть другое время, и чем меньше Ганс будет сейчас здесь, тем будет лучше для него. Не приходит это вам в голову? Разрешите мне...

Он оторвал Ганса от пола и поднял его на руки.

— Идем, Ганс, идем, дорогой, и не надо плакать. Не надо. Подумай — ты теперь единственный мужчина в доме.

Он отнес Ганса в столовую и посадил его в кресло.

— А где же Марта? — спросил он, оглядываясь. — Ведь я ей!.. Вот противная баба! Марта! Да куда же она исчезла?

Вошла Марта.

Лицо у нее было красное, словно целый день она простояла у печи.

— Я кричу, кричу! — сказал Гарднер недовольно. — В такое время...

— У меня было дело, сударь, — сказала Марта сурово, глядя на него.

— А! Ваше дело! Смотрите за ним, — приказал Гарднер, — пусть он не бегаёт наверх и... Вы на кухне сейчас что-нибудь делаете?

— У меня выкипает суп, сударь! — злобно ответила Марта, и слезы побежали у нее по щекам.

— А, она думает о супе! — ударил себя по бедру Гарднер. — Бросьте его! Слышите? Сейчас же бросьте! Вот, действительно, нашли время для супа! Безумный дом! Черт знает, что в нем творится!

— В этом доме, сударь, — твердо ответила Марта, — только что умер его хозяин. Он был хороший человек и с большим характером, но он не выдержал, когда чужие люди начали хозяйничать у него. Он позвал меня в ту ночь и сказал: "Марта, берегите мой дом от крыс", — он называл их крысами, сударь.

Гарднер уже смотрел на Марту прямо и неподвижно.

— Так что он вам сказал? — спросил он.

— Только то, что я вам говорю, сударь, — ответила Марта. — Только, к сожалению, это, больше ничего.

— Но, значит, вы разговаривали с ним? — настойчиво спросил Гарднер.

— Я принесла ему обед, сударь, и тогда он мне сказал: "Марта, в наш дом заползли крысы, — ты ведь знаешь, кого я так называю?"

— А, чепуха! — вдруг рассердился Гарднер и оглянулся на Ганса. — Крысы, крысы! Выпил пол-литра чистого спирта — и вот появились крысы! Как он не увидел еще голубых слонов!.. Ладно, обо всем этом поговорим потом. Вот вам мальчик, берите его и смотрите за тем, чтобы он не бегал наверх.

Он пошел было из комнаты, но вдруг воротился.

— Слушайте, Марта, — сказал он выразительно, — для вас, и для памяти профессора, и для всего его се-

мейства будет лучше, если вы об этом последнем разговоре помолчите. Понимаете меня? Помолчите! Потому что сейчас же возникнет вопрос: кто же такие эти крысы? От кого хозяин просил вас беречь его дом? Почему именно вас, а не господина Курцера, брата его жены, можете вы мне ответить на это? Нет ведь?

— Нет, сударь, — твердо ответила Марта, глядя на Гарднера.

— Ну вот, и я полагаю, что нет, поэтому лучше и не возбуждать такие вопросы. Понятно? Вот и хорошо, что понятно! Берите Ганса и не пускайте его наверх.

Он ушел.

Марта переждала, пока затихли шаги, и осторожно отворила дверь в коридор.

— Идите сюда, Ганка, — позвала она, — кроме Ганса, здесь никого нет.

Ганка ворвался в комнату. Он именно ворвался, так, что даже сшиб с дороги стул.

Ганс посмотрел на него. Не было видно даже, что он с дороги. Одет он был аккуратно и тщательно, как всегда. Костюм у него был чистый и новый; сорочка даже казалась синеватой и ломкой — так она была накрахмалена; большой, темный галстук, завязанный причудливым узлом, при повороте блеснул, как мертвая змея, испуская неясное лиловое сияние. Он даже был не особенно бледен и худ, — словом, с первого взгляда не так-то было легко найти следы, которые оставила тюрьма. Но когда он взял Ганса за руку, тот почувствовал глубокую внутреннюю дрожь, которая струилась через пальцы Ганки.

А присмотревшись ближе, он заметил и то, как резки и обрывисты его движения, как все они носят печать какой-то незаконченности, той самой, что он на минуту вчера заметил у отца, во время его последнего разговора.

Это заметила и Марта.

— Вы весь дрожите, господин Ганка, — сказала она. — Пойдите-ка, я принесу вам что-нибудь из комнаты.

— Нет, нет, ничего, — быстро ответил Ганка, — это совсем не от этого. Не обращайтесь, пожалуйста, на это внимания. Ганс, дорогой мой, — голос его дрогнул, — если бы я пришел раньше на сутки, ничего бы не случилось, но я задержался в городе.

— Ничего, значит, не попишешь, сударь, — твердо ответила Марта, — значит, на то была воля Всевышнего. Да и то сказать — как бы господин профессор жил в доме, если бы в нем хозяйничали эти крысы?

— Да, да, крысы, — вспомнил Ганка. — Ну, так что он вам сказал еще?

— Да ничего, сударь, ничего, кроме того, что я вам передала.

— И про меня, значит, тоже?.. — несмело посмотрел на нее Ганка.

— Нет, ничего, — твердо ответила Марта, — мне ничего. Разве вот Курту только... Тот был у него, так вот, может быть, он ему что-нибудь сказал.

— А кто это такой Курт? — быстро спросил Ганка.

— Да наш садовник, — ответила Марта. — Разве вы его... Ах, ну да, конечно! Это было уже без вас. Это наш новый садовник, господин Ганка. Он когда-то служил у старика Курцера.

— Ну, ну! — нетерпеливо сказал Ганка.

— Так вот, Курт заходил к нему днем, и они о чем-то говорили.

— С садовником? — пожал плечами Ганка, смотря на Марту. — Очень странно.

— Да, сударь, — не то вспомнила, не то решила Марта, — они про вас, наверное, говорили.

— Про меня? — вскрикнул Ганка и схватил Марту за руку. — Он вам сказал, что про меня?

— Нет, но когда Курт сошел вниз, он меня спросил: "А кто такой Ганка?"

— Где он? — решительно спросил Ганка и направился к двери. — Говорите, садовник?

— Да, наверное, здесь где-нибудь. Посидите минутку, я его вам...

— Нет, нет, я сам его найду! — крикнул Ганка и выскочил из комнаты.

Курт сидел на корточках перед клеткой и кормил птиц.

В клетке у него сидел один скворец с поклеванной головой — он не остерегся и пустил его вместе с певчим дроздом, — но такой бедовый, что уже начал свистеть.

Когда Курт ставил в клетку фарфоровую чашечку с соловьиным кормом, этот проворный молодец слетал с жердочки, несколькими быстрыми ударами клюва разгонял мелюзгу — тихих соловьев, бедовых мухоловок и задумчивых варакушек — и один съедал все. Жаден он был страшно, ел много и во время еды так свирепо щелкал клювом, так бесцеремонно рылся в кормушке, что добрую половину корма разбрасывал по песку. Когда к нему боком подходила какая-нибудь птичка, он распускал крыло, загораживая кормушку, и, наметившись, щелкал ее по голове — и, наверное, больно, даже очень больно, потому что птица с криком отлетала прочь. Приходилось мелкую птицу кормить еще раз, когда нажрется этот жадный дьявол, но Курт смотрел на него с одобрением: из этой птицы, несомненно, мог выйти толк.

Вот за этим занятием и застал его Ганка. Он вошел и увидел клетку, горящую спиртовку, на которой только что варился соловьиный корм, Курта на корточках, ничего не понял и ошалело сказал:

— Извините.

Курт поднял голову и посмотрел на него.

— Извиняю, — сказал он недовольно.

Ему очень не нравился этот черный, щупленький и, наверное, очень юркий человечек в отутюженном костюме, хрустящей от свежести голубоватой рубашке и щегольском галстукке. Курт никогда не любил

таких. Он верил: если с первого же взгляда внимание останавливалось не на самом человеке, а на том, что на нем наверхено, значит и человек был нехороший. Поэтому он очень вежливо спросил его:

— Я чем-нибудь могу быть вам полезен?

— Мне бы надо было видеть садовника Курта, — сказал юркий человечек, невольно вглядываясь в клетку, где уже шла настоящая драка, такая, что даже перья летели.

— Сейчас, — Курт встал с колен, поднял клетку и закрыл ее простыней, потом дунул на спиртовку и отряхнул руки. — Вот я, к вашим услугам, — сказал он очень любезным тоном и даже слегка поклонился. — Чем могу служить?

Ганка быстро посмотрел на него: выпуклый, но низкий лоб, черные, жесткие, цыганские волосы, беспокойно бегающие глаза, неприятная развязность и нагловатая вежливость, — нет, от этого человека не приходилось ждать ничего хорошего! О чем с ним вообще мог говорить профессор?

— Я ученик профессора, — нетерпеливо отрекомендовался он.

— Да? — выжидающе спросил Курт. — Ну и...

— Я узнал, что вчера он разговаривал с вами.

— Разговаривал! — не то подтвердил, не то спросил Курт, изучая его галстук. — Ну а почему это вас так интересует?

— Моя фамилия Ганка. Доктор Ганка.

— Да? — повторил Курт и неприятно улыбнулся. — Ну и что же?

— Что такое он велел вам передать мне?

— Вы очень беспокоитесь, доктор, — сказал Курт, не сводя с него глаз. — Откуда вы, например, взяли, что он велел что-то передать вам? Верно, профессор звал меня, но совершенно по другим делам: он мне отдал кое-какие хозяйственные распоряжения, о вас не было сказано ни слова. Мы говорили только о саде.

Ганка опустил на стул, тупо переспросил:

— О саде?

— Да, о саде, — Курт позволил себе улыбнуться и даже слегка пожал плечами. — Мы говорили о восставлении оранжереи.

— Господин Курт, — вдруг взмолился Ганка, — какая тут, к черту, оранжерея. Зачем вы мне лжете? Станет профессор за несколько часов до смерти звать вас к себе, чтобы толковать с вами об оранжерее? Кого вы дурачите? Курт, Курт, прошу вас, — он схватил его за руку, — скажите мне правду, скажите правду! Если бы вы знали, как это мне важно!

— Ну, даю вам честное слово, — пробормотал Курт, отодвигаясь, — что я ровно ничего не знаю.

Но Ганка уже не слушал его. Он снова рухнул на стул и, зажимая руками виски, заговорил:

— Господи, как все это дико! Как это дико! Профессор умирает один, как медведь в своей берлоге, когда весь дом полон людьми, и перед смертью вызывает вас, совершенно незнакомого человека, когда.. Нет, я сойду с ума! — Он закрыл руками лицо, и по щекам его потекли слезы.

Курт молча внимательно рассматривал его лицо и почти безволосую голову.

— Так что тогда? — спросил он с той же издевательской вежливостью. — Вот вы говорите: "вызывает вас, совершенно незнакомого человека". Хорошо! Незнакомого! Ну а где же знакомые тогда были? Вот возьмем, например, вас! Вы, очевидно, считаете себя очень близким человеком к профессору? Так где же вы были все эти дни? Не мое, конечно, дело, но разрешите заметить, ваше присутствие было бы крайне желательно.

— Я был в тюрьме, — ответил Ганка и вдруг быстро вскинул голову. — Курт, Курт, вы же все знаете, зачем вы притворяетесь? Он же назвал мою фамилию!

Курт смотрел на него с усмешечкой.

— Вот теперь и подумайте, господин Ганка, что за чушь вы говорите! Я незнакомый человек, вы са-

ми же так выразились, садовник, вообще черт знает что такое, ведь так?

— Ну, ну?

— Ну, так? И он меня вызывает затем, чтобы о чем-то поговорить со мной наедине, да еще о чем-то таком, что касается вас. Ну, скажите, похоже это на правду? Вот вы на его месте поступили бы так?

— Да,— сказал Ганка и опустил голову. — Но что же мне теперь делать, что делать?

— А за что вы были в тюрьме? — спросил Курт, подходя к клетке и дотрагиваясь до покрывала. — Вы давно здесь?

Ганка опять смотрел на его улыбающееся лицо, на вздернутый нос, лоб, очень выпуклый, такого, как он считал, — не по Лафатеру ли? — никогда не бывает у умных людей, на маленькие, острые зубы, быстро переводил взгляд на тщательно расчесанные, сверкающие от какого-то масла волосы, и ему становилось все яснее и яснее, что ровно ничего существенного этот человек знать не может.

”Но зачем же все-таки вызывал его профессор?”

Курт смотрел теперь на Ганку серьезно, неподвижно, прямо и как будто что-то соображая.

— Сколько я тут? Да вот около двух недель, сударь. — Он еще немного подумал. — Да, да, около двух недель. — Он вдруг вздохнул. — Нехорошие тут дела творятся, очень нехорошие!

Ганка посмотрел на него, спросил: ”Да, нехорошие?” — и вдруг почувствовал испарину и приступ тошноты. Он взглянул в лицо Курта, но только и увидел перед собой это курносое, глуповатое лицо, с выпуклым лбом и жирными волосами — все остальное бежало мимо него сплошным красочным потоком.

”Упаду, — понял он, хотел опять сесть и сейчас же подумал: — Только бы не на клетку”. Потом у него закрипело на зубах от противной кислоты, пол стал как-то боком, ноги вдруг подсеклись, и он тяжело сел на пол.

Он пришел в себя оттого, что ему прикладывали ко лбу тряпки с холодной водой, — он кашлянул, слепо провел рукой по голове и сбросил тряпку. Она, как дохлая лягушка, сочно шмякнулась на пол, и это привело его в себя окончательно. Он сел и бодро сказал Курту:

— У меня немного кружится голова, нет ли у вас воды?

Но Курта около него не было, он искал его глазами и не нашел. За пестрой ширмой звенела посуда и лилась какая-то жидкость.

“Что он там делает?” — подумал Ганка и хотел было встать на ноги, но все предметы опять заструились перед ним, как вода, к горлу подкатывал круглый, скользкий шар, он сплюнул и повалился головой на подушку.

Курт вышел из-за ширмы, осторожно неся в руках большую кружку с дымящейся жидкостью, и поставил ее на стул.

— Голову поднять можете? — спросил он коротко.

— Ничего, ничего, — забормотал Ганка, — ничего, я сейчас...

Курт обхватил его руками за плечи, приподнял немного и поднес кружку к его губам.

Ганка хлебнул, обжег язык и замотал головой. Питье пахло мятой и какой-то распаренной травой, а через все это пробивался противный запах спирта. Когда он сделал первый глоток, то ему показалось, что он проглотил кусок динамита и вот-вот ему оторвет голову, но Курт держал кружку около его губ, и он невольно еще сделал глоток, а потом и еще один. Приятная теплота поползла по его телу, и сразу перестало тошнить.

— Ну, вот, — сказал Курт откуда-то издалека, — теперь хоть опять вы на себя стали похожи. Лежите только смиренно и не двигайтесь, а то вас опять начнет тошнить. Долго вы там просидели, в тюрьме-то?

— Я? В тюрьме? — спросил Ганка. — Да нет, недолго, что-то очень недолго. Около двух недель. А

вот видите, в это время... Да что ж я около вас, — снова всполошился он вдруг. — Мне надо же... — он завозился на подушке.

— Ну, вставайте, вставайте, — сказал Курт добродушно, — посмотрю я, как это у вас получится. Ну?!

Но Ганка лежал уже опять, закрыв глаза и тяжело дыша открытым ртом.

— Ну, так что же вы не встаете?.. То-то! Никуда вы и не встанете, никуда не пойдете, да и незачем вам, по правде сказать, ходить. Разве вы не понимаете, что в доме не до вас? А вот что мы лучше сделаем. Я сейчас лучше призову к нам Ланэ...

— Да, да, — забеспокоился Ганка, — Обязательно Ланэ! Мне самому нужно было бы сходить за ним, ведь это так неудобно, что вы пойдете от моего имени.

— Да лежите, лежите, — твердо сказал Курт, — сейчас он будет у вас.

Ланэ сидел около Ганки и плакал.

Платок его был уже мокрый, и он комочком положил его на колени.

Несколько раз он начинал было говорить, но, сказав два слова, махал рукой и шептал: "Нет, не могу, никак не могу", — и снова плакал. Наконец Ганке это надоело, и он сильно и грубо дернул его за рукав.

— Ладно, — сказал он, — будет!

Ланэ всхлипывал.

— Ну, слышите? Я же вам сказал — будет! Расскажите мне, как это произошло.

Ланэ поднял на него красные воспаленные глаза.

— Это несчастное письмо, которое заставили нас подписать.

— Ну, это я все знаю, — сказал Ганка. — Вы прочли его профессору?

— Там была и ваша подпись, — сказал Ланэ, бессознательно защищаясь от Ганки. — Когда я показал его профессору, ему стало совсем плохо, он... — Ла-

нэ оглянулся и, увидев, что Курта в комнате нет, воровато спросил: — Вас били?

— Да! То есть нет! То есть да! Да! А, черт! — разозлился Ганка. Врать ему не хотелось, а правду рассказать он не мог, да и не понял бы ее этот чувствительный, трусливый и малодушный добряк. — Ладно, обо всем этом после. Ну, потом, что было потом? Вот вы ему показали мою подпись, что было дальше?

— Да ничего потом не было, — растерянно ответил Ланэ и остановился, словно сам удивляясь своим словам, — совершенно ничего. Профессор заперся в своем кабинете, никого не впускал, даже госпожу Мезонье, а потом и умер.

— То есть как умер? То есть как это умер? — зарычал на него Ганка. — Вы подумайте только, что вы говорите!

Он вскочил с кровати, и это оказалось неожиданно легко и просто, голова у него больше не кружилась, он чувствовал себя очень здоровым и помолодевшим на добрый десяток лет, вся прежняя сила вернулась к нему внезапно. Толстяк этот был совсем не виноват, но, честное слово, он мог бы разорвать его на куски.

— Отчего это умер? Как это так: совершенно здоровый человек...

— Он не был здоровым, — устало сказал Ланэ. — Только не кричите на меня, пожалуйста, Ганка, у меня и так в голове все перемешалось. Ох, и зачем я написал ему это письмо?

— Какое еще письмо? — свирепо спросил Ганка.

Ланэ помолчал, потом сказал:

— О крысах. Маленькая сумчатая крыса хочет жить и приспособливается, а вот атлантозавры вымирают. Зачем я ему написал это?

— Черт знает что такое! — сказал ошалело Ганка. — Сумчатые крысы, атлантозавры... Отчего умер профессор? — закричал он вдруг. — Умер, умер отчего? Вот о чем я вас спрашиваю! Ну?

— От паралича сердца, — мертво ответил Ланэ, глядя в угол.

— Кто это сказал? — ошалело спросил Ганка.

— Гарднер вызывает доктора, — уклончиво ответил Ланэ, и нижняя челюсть его опять дрогнула.

— Гарднер? — гневно спросил Ганка. — Я сегодня же его...

Он не окончил, сел на кровать и стал щипать одеяло. Его уже трясло, он знал: поговори он еще пять минут с Ланэ — и тогда он черт знает что может ему сказать, а именно этого и не следовало делать. "И, в конце концов, — подумал он, — как бы ни умер, но умер. Теперь это уже не важно. Надо говорить о чем-нибудь другом".

— А как ваше здоровье, Ганка? — уныло спросил Ланэ.

Его чувства были очень сложными. Он, конечно, тоже не верил, что смерть произошла от паралича сердца, но и ярость Ганки показалась ему необоснованной и необъяснимой, а тон, которым тот разговаривал с ним, уже совершенно неподходящим к обстоятельствам дела. В самом деле — как он смеет кричать? Разве он сам не подписал эту проклятую декларацию? Ого! Как еще подписал! Чуть не первым. Чего же он теперь выходит из себя, нервничает, требует отчета и ответа, интересуется подробностями, ну, словом, ведет себя так, как будто он совсем не причастен ни к чему? Но вместе с тем в вопросах Ганки, в его гневе, в его негодующих криках и понукании была какая-то необъяснимая сила, право спрашивать, и это удерживало Ланэ от того, чтобы задать ему прямо эти же самые вопросы. А продолжать разговор дальше в том же тоне было просто невозможно. К тому же его мучило воспоминание о письме к профессору, которое, оказывается, ни в коем случае не следовало посылать. Фраза же о крысах положительно не вылезала у него из головы. Его даже передегивало от жгучего стыда, когда он вспоминал о ней.

— Сумчатая крыса! — вдруг, забывшись, выпалил он. Сейчас же, опомнившись, замахал руками, мелко закачал головой и забормотал: — Ничего подобного, ничего подобного!

Ганка удивленно посмотрел на него, но ничего не сказал.

Ланэ сидел потный, красный от стыда и ежился.

— Идем на улицу, — сказал вдруг Ганка, — здесь не совсем удобно. Я все-таки хочу знать поподробнее, как все случилось! И как вы могли допустить, Ланэ, где были ваши глаза? — закричал он снова, охваченный новым порывом горя. — Боже мой, Боже мой, вы виноваты не меньше меня.

— Вот как? — удивился про себя Ланэ. — Оказывается, я на тебя имею право кричать? — и смиренно ответил:

— Ах, разве я знаю что-нибудь! Какие там подробности! — Он скорбно махнул рукой. — Но вот что меня удивляет: как вы сумели?..

— Как я сумел пройти сюда? — догадался Ганка. Он нахмурился. Да, да, на этот вопрос следовало ответить, ведь Ланэ имел право задать и другой подобный же: зачем он пришел сюда? И на это ему тоже пришлось бы ответить. — Да очень просто. У меня письмо к Курцеру от Гарднера. Я должен был явиться к нему, но раньше хотел выяснить обстановку и поговорить с вами.

— Идите, идите! — сказал быстро Ланэ с каким-то суеверным даже ужасом. — Курцер-то еще не приехал, а Гарднер тут. С этим же человеком шутить не следует.

— Вы думаете, что у меня тоже слабое сердце? — усмехнулся Ганка.

— Если бы у вас было слабое сердце, — хмуро сказал Ланэ и в первый раз посмотрел Ганке прямо в глаза, — вы не вышли бы от полковника Гарднера. Видимо, все оказалось в надлежащем порядке.

— Да? — зло ощетинился Ганка.

— Я так полагаю, что да, — хмуро сказал Ланэ.—
А в смерти профессора...

— Ну? — крикнул Ганка.

— Курцер ни при чем, — докончил Ланэ. — Профессор оказался слишком последовательным учеником Сенеки.

Ганка посмотрел на Ланэ. Толстяк грустно и даже виновато усмеялся, но глаз с Ганки не спускал. Его лицо изображало страдание, но было спокойно и даже светло.

— Идите к Гарднеру, — повторил он настойчиво и дотронулся до его плеча. — Тот знает больше, чем я. Сегодня приедет доктор, и тогда все разъяснится.

Г л а в а п я т я

— А, летучий голландец, пришел! — приветствовал Гарднер Ганку. — Ну, вовремя, вовремя, ничего не скажу, вовремя! А ну-ка, идемте. — Он провел его в кабинет и широко распахнул двери. — Вот, любуйтесь, черт знает что такое! — сказал он недовольно, входя в комнату. — Свиной хлев. Меня интересует, жена что же смотрела? — Он быстро прошел к столу, поднял засохшую корку, недоуменно поднес ее к лицу, положил обратно, щелкнул пальцами, отряхивая их, и повторил: — Черт знает что! Ужей развел, старый осел! И жил ведь в таком болоте! Я бы, кажется, и часа не выдержал. Ганка, ну-ка...

Ганка в кабинет не прошел. Он стоял на пороге, смотрел на Гарднера и улыбался.

— Ну, так что же? — обернулся к нему Гарднер.— Попробуем все-таки разобраться в этом хламе. Вон первых, где у него тут бумаги?

Улыбка Ганки стала шире, определеннее; он прошел в глубину комнаты, открыл деревянный шкафчик и вытащил тугую кипу бумажных листов.

— Ага, — сказал деловито Гарднер. — Вот оно самое. А ну, давайте, давайте сюда!

Он быстро стал перелистывать рукописи и даже фотографические снимки.

— Но это что-то старое, помеченное тридцать девятым годом, — черепа да кости. На иное он был и неспособен. — Он перевернул еще несколько листов. — О, вот это другая материя! — сказал он.

Вынул акварельный портрет и прищурился, приглядываясь.

С пестрого листка ватманской бумаги улыбалась красавица. У нее было круглое лицо, большой лоб и сильно подчеркнутые линии скул. Взгляд у красавицы этой был прямой, простой и дикий. Художнику очень хорошо удалось выражение этой неподвижной и спокойной отчужденности. Сразу можно было догадаться, что вот этим взглядом, устремленным в пространство, и еще какими-то приемами, тонкими, неуловимыми, но создающими сразу же особое настроение, художник подчеркивал особую задачу этой своей работы. Вероятнее всего то, что красавица эта не была списана с натуры, что не портрет это даже, а именно только рисунок. И в то же время тонкость линий, твердость карандаша, а потом и акварель придавали этой картине вид, силу и достоверность портрета. И еще одно бросалось в глаза — красный цвет. Красавица была красная, как пион. Он не был особенно интенсивен, этот цвет, и человеческое лицо не делалось от него страшным или смешным.

— Красотка! — повторял Гарднер. — Глаза-то, глаза-то какие! Так и съел бы! А что это он ее словно красными чернилами облил?

— А это красная леди, — пояснил Ганка и тоже наклонился над рисунком.

— Хм! — усмехнулся Гарднер. — Что красная, то верно, а вот что леди, то... — Он стоял, присматриваясь. — Папуаска какая-то! Но глаза, глаза... черт!

— Видите ли, — любезно сказал Ганка и наклонился над Гарднером, — это последняя находка профессора. Он все собирался опубликовать ее и откладывал. Ее откопали в Северной Англии.

— То есть как? Такую и откопали? Да кто же зарывает таких красавиц? — Он нарочно не понимал Ганку.

— Да нет, нет, — мягко сказал Ганка, — не ее, конечно, а ее череп и кости.

— Ах, кости! — разочарованно протянул Гарднер. — Ну, кости меня интересуют только служебно. И вот по костям он эту красавицу и составил? Красная-то, красная почему? — захохотал он вдруг. — Так, для большей дикости, что ли?

— Нет, — сказал Ганка, по-прежнему не замечая тона Гарднера, — у нее были красные кости. В могилу, понимаете, горстями насыпали какую-то минеральную краску, особую глину, кажется. При жизни эти люди красили тело в багровый цвет. После смерти этой женщины они этой же краской наполнили ее могилу. Мягкие части разложились, ну а кости впитали этот порошок и окрасились в него. Профессор назвал этот склеп "Красная леди".

— Ага, — сказал Гарднер, все еще присматриваясь к рисунку, — ну а для чего же понадобилась профессору эта "красная леди"? Он собирался что-нибудь доказать ею?

— Видите ли, — сказал Ганка, — в этом случае был обнаружен полный скелет. Антропометрические измерения дали совершенно новую картину. — Он на минуточку остановился, но Гарднер внимательно и неподвижно посмотрел ему в лицо, прошел за стол, отодвинул кресло и сел.

— Да, да, — сказал он, — новую картину. Какую же именно?

— Оказалось, — сказал Ганка, — что этот скелет более родствен по своему строению одной из индийских народностей, недавно обнаруженных на отрогах северных Гималаев, чем любой из европейских.

— Ага, — заинтересованно подхватил Гарднер, — вот оно что? Ближе к индусам? А в это время на территории Германии жил... — он щелкнул пальцами, припоминая, — ну, какой черт жил там в это время? Все забываю его фамилию...

— Гейдельбержец, — подсказал Ганка.

— Ага, тот страшный, с обезьяньей мордой, что стоит в институте. Значит, в Европе, в частности в Германии, жили вот такие уроды, а в Индии... — Он помолчал, наклонив голову, и о чем-то подумал. — Здорово, — сказал он, наконец, удовлетворенно. — Каждому по заслугам. Умный старик... Ну хорошо, будем смотреть дальше.

Опять они раскрывали шкафы, вынимали и клали на стол кипы фотографий, исписанных тетрадок, каких-то вырезок, выписок и протоколов.

Вытащил Ганка и несколько папок из благородной черной кожи, с золотым тиснением на ней, дипломы и грамоты зарубежных университетов, академий и обществ. Гарднер и смотреть их не стал, бего полистал и бросил.

Затем вытащил длинный пергаментный пакет, очень толстый, запечатанный черным сургучом. Он был зачем-то крес-накрест обвязан зеленой атласной ленточкой, и Гарднер сильным движением оборвал ее и бросил. Потом распечатал конверт и потрянул его. На стол посыпались голубоватые, желтые, фиолетовые и просто белые листки. Все они были исписаны мельчайшим игольчатым почерком. Ганка поднял с полу упавшую обложку, в которую они были уложены внутри конверта. "Письма моей невесты" — прочитал он вслух.

В глазах Гарднера вспыхнул веселый огонек. Он поднял один сиреневый листок и понюхал его.

— Духи! — сказал он. — Ай да старик! Ну ладно, это все в ту же кучу.

А Ганка между тем стоял и вглядывался в другой листок, где буквы стояли так тесно, а строчки так близко друг к другу, что и прочесть-то его можно было не сразу.

Письмо было датировано самыми первыми годами нового века, и город, который стоял около даты, Ганка знал хорошо. Это был большой славян-

ский город, около которого профессор обнаружил своего на шумевшего моравского эоантропа.

Вглядываясь в микроскопические буквы этого неизвестного ему девичьего почерка, в текст, написанный по-немецки, он ясно почувствовал, что это писала какая-то его соотечественница. Было много ошибок, в строении фразы чувствовался недостаток слов. А некоторые слова — "милый, дорогой" — и вовсе были написаны по-чешски. Он перевернул листок и в конце прочел короткое чешское имя. Почти машинально он подошел к углу стола, локтем бесцеремонно отодвинул Гарднера, который бегло просматривал и бросал с размаху в угол старые записные книжки, бормоча под нос что-то такое: "В огонь, в огонь, это в огонь!" — и взял в руки всю эту кипу.

Он перелистал ее немного и скоро нашел то, что искал.

Это была фотография девушки, высокой, русой, с длинными косами, в темном простом костюме, который обыкновенно носили курсистки того времени.

Она неподвижно и строго смотрела с фотографии, видимо, пораженная и этим костюмом и важностью момента. Но так ясно угадывалась еще почти детская припухлость ее нижней губы, ее ямочки на подбородке, полнота и розовость щек — все то, что не вышло на портрете, снятом у дрянного фотографа. Внизу карточки были наляпаны золотые медали и короны и размашистая, золотая же подпись. Ганка повернул фотографию и задержался, читая надпись на обороте.

Профессора Мезонье эта девушка звала не "Леон", а "Лев", и последние три строчки она написала по-чешски. "И он молчал об этом всю жизнь! — подумал Ганка. — А в доме его жила, ходила и рожала ему детей другая женщина. Всю свою жизнь он никогда не произносил имя этой девушки... Господи, Боже мой, как же это так?"

Гарднер повернул голову, увидел, что Ганка держит в руках фотографию, взял у него ее, мельком взглянул и отбросил в сторону.

— Не люблю толстых, — сказал он машинально. — Что за булочница! Лицо как у мопса. И одета под мужика... Ну, бросайте, бросайте ее, Ганка! У нас с вами еще дел до черта. А я к вечеру хочу кончить хоть эту комнату. — Он оглядел кабинет. — Да, а скажите, пожалуйста, коллекции-то свои он хранил здесь?

— Невеста? — спросил Ганка. Он стоял, качал головой, улыбался. — Бедная невеста! Никогда он не говорил нам о ней.

— Ну, и то сказать, невеста не стоит доброго слова, — ответил Гарднер и начал скидывать сюртук. — Таковую пыль развел этот мухомор, что и не продонешь. И хоть бы держал в порядке свои окаянные бумаги, а то ведь черт ногу сломит...

Он с сердцем бросил в угол пакет с газетными вырезками.

— Ганка, но что же вы стоите? Вот тут что-то написано по-латыни, я не разберу. Давайте-ка прочтем заглавие.

Ганка прочел, и Гарднер бросил и этот отпечаток в общую кучу, затем подошел к большому застекленному ящику, где теснились пробирки и склянки с химикатами, резко распахнул его и вытащил с нижней полки большой черный ящик. Он поднял его и осторожно поставил на стол. Крышка на ящике была закрыта, и он просто сорвал хрупкий замок.

Вверху лежал слой нежнейшей белой ваты, и он был еще прикрыт листком желтой пергаментной бумаги; под ней лежал второй ящик, из сверкающего японского дерева. Он не был заперт, Гарднер распахнул его и засунул в него руку.

— Ну, вот она, — сказал он, обращаясь к Ганке, и высоко поднял круглый красный череп. — Здравствуйте, красная леди!

Ганка обомлел. Даже и он не знал, что этот череп хранится у профессора на дому, ибо были у профессора, очевидно, какие-то свои причины прятать его даже от учеников. Впрочем, он вообще любил, чтобы

результаты изысканий его появлялись неожиданно и были ошеломительны даже для самых близких людей. Вот поэтому последний раз этот череп года два тому назад демонстрировался на археологическом съезде, а потом пропал где-то в шкафах института. За эти два года профессор успел изрядно поработать над ним. Во-первых, череп был покрыт тонким слоем прозрачного лака, во-вторых, основательно расчищен от минеральных солей, а кое-где по линии трещин скреплен металлическими скобочками — так он напоминал бильярдный шар.

— Да, — сказал Гарднер, — а на портрете-то куда лучше.

Он повертел его во все стороны и зачем-то дунул в глазницу. Потом положил на стол, сел в кресло, сложил руки и с минуту просидел неподвижно, думая. Потом повернулся к Ганке:

— Ну вот, скажите о той работе, что мы с вами смотрели сначала. Так-таки ничего из нее и не было напечатано?

— Ничего, — ответил Ганка.

— Ничего? — спросил Гарднер с каким-то особым выражением, значения которого Ганка не понимал.

Тут в дверь постучали.

Гарднер быстро взял газету, накрыл ею череп и только потом сказал:

— Войдите.

Но это был только Ланэ. Он держал какой-то сверток и сейчас же протянул его Гарднеру:

— Вот, — сказал он.

Ганка посмотрел на него. Ланэ казался сильно взволнованным, но, может быть, он просто бежал и запыхался. Шляпы на Ланэ не было, галстук сбился в сторону, черное дегтярное пятно ползло по рукаву. "Опять куда-то зачем-то посылали этого дурака. Что он такое принес?"

— Нашли? — спросил Гарднер.

— Вот, — повторил Ланэ.

— Отлично! — похвалил Гарднер. — А почему у вас такой вид? Где были?

Ланэ покосился на Ганку и что-то замялся. Гарднер посмотрел на них обоих и вдруг засмеялся.

— Ох, Ганка, он ведь вас боится! Смотрите, даже говорить не хочет... Честное слово, боится. Ну же, ну же, Ланэ!

Он уже быстро срывал бумажные листы один за другим со свертка и наконец бросил на стол черный, обугленный предмет — не то камень, не то хлебную корку, неправильно-сферической формы. Затем снял газету с "красной леди" и положил на нее и эту обуглившуюся, покоробленную временем кость. Так они лежали вместе — большой розовый череп и черный круглый костяной обломок.

— Ну вот и гейдельбержец тут, — сказал он ублаготворенно, — вся компания, значит, альфа и омега. Низшие и высшие. Все тут, у меня на столе. Теперь пусть разбираются, кто от кого.

Он снова обернулся к Ланэ.

— А что у вас плечо в чем-то черном? Ездили куда-нибудь? Куда же?

— Нет, — сказал Ланэ и опять покосился на Ганку.

— Ага, нет, — качнул головой Гарднер.

— Он лежал на чердаке, — вдруг воровато сказал Ланэ. — Только я и знал, где. Мне мадам Мезонье сказала.

— Ага, — опять кивнул головой Гарднер. — Ну, спасибо, спасибо! Ценю. Идите отдыхайте.

Ланэ ушел, и Гарднер сам притворил за ним дверь.

Потом вернулся к столу и, словно встряхивая что-то, ударил ладонью об ладонь.

— Мерзавец! — сказал он крепко и искренне. — Труп господина еще не успел остыть, а слуга уже растаскивает его ночные рубахи... Теперь слушайте, Ганка. — Он огляделся по сторонам. — Слушайте и молчите. Вот все это, — он сделал короткий энергичный жест одним пальцем, — мы с вами уничтожим.

— Все? — спросил Ганка, не удивляясь.

— Все, все, — подтвердил Гарднер тем же чуть пониженным голосом. — Все, что есть в этом доме: мебель, склянки, вилки, бутылки, бумаги. Бумаги-то в первую очередь, конечно. Все в огонь!

— Я думал, в первую очередь черепа, — негромко сказал Ганка.

Гарднер быстро и остро посмотрел на него.

— Зачем же черепа? — сказал он недовольно. — Черепа я возьму с собой. По всей вероятности, их сдадут на хранение в какой-нибудь имперский музей.

— А госпожа профессорша что же? — вдруг совершенно не к месту спросил Ганка.

Гарднер удивленно посмотрел на него.

— А что госпожа профессорша? Вот ей дадут автомобиль, она сядет и уедет. Но вот вы меня о Ланэ ничего не спросили. Он-то что будет делать? Или вы так на него сердиты, что и знать о нем ничего не желаете? Кстати, как вы считаете, негодяй он или нет?

— Почему же негодяй? — тупо спросил Ганка.

От этого разговора, полного недоговоренности, от мысли, которая не давала ему покоя с утра, от быстрой перемены ситуации у него шумело в голове и такое было ощущение, словно вертится в мозгу, треща, огромный жестяной вентилятор. Он посмотрел на Гарднера. На Ганку начинало находить то состояние расслабленности и безразличия, которое он испытал уже однажды. Он стоял перед Гарднером, глаза у него были широко открыты, но рука не тянулася к карману.

Не тянулася! Не тянулася! Не тянулася! Вот в чем дело: не тя-ну-лась...

Гарднер смотрел на него, улыбаясь, и на ответе отнюдь не настаивал.

— Негодяй, негодяй он, Ганка, — сказал он наконец, — негодяй, это он отравил профессора, а сейчас бегаёт и ищет, куда бы плеснуть бензину. Понимаете?

— Нет, — ответил Ганка.

Гарднер встал и положил на его маленькую, худую ручку свою широкую, мягкую ладонь.

— Понимайте скорее, Ганка. Еще с вами-то возиться. Ланэ — никчемная тварь, и она никому не нужна. Ну, понятно? Теперь-то понятно, спрашиваю?

— Теперь все понятно, — сказал Ганка.

— Ну и отлично.

Гарднер подошел к окну и резко дернул звонок.

Вошел начальник охраны.

— Ну как, — спросил Гарднер, — отвезли?

— Да, отвезли, — ответил начальник.

— Ага, отлично. Теперь вот какое дело. Познакомьтесь. Господин Ганка. Начальник охраны. Я ужо, а он остается в этой комнате и займется разборкой и сортировкой бумаг. Понятно?

— Да, — ответил начальник охраны.

— Так, — протянул Гарднер и повернулся к Ганке. — Значит, он занимается разборкой бумаг? Ну, разбирает он их или нет, это уже его дело. Понимаете?

— Понимаю, — сказал начальник охраны.

— Но из окна он пусть слишком далеко не высывается и уходить не уходит. Это уж ваше дело. Тоже понятно?

Начальник слегка наклонил голову.

— Если он будет пытаться спуститься с лестницы... Но лучше ему не спускаться с лестницы. Ну вот и все. Понятно?

— Понятно, — сказал начальник охраны. — С лестницы ему спускаться не рекомендуется.

— И вам, Ганка, тоже понятно?

Ганка молча кивнул головой.

— Ну вот. До свидания, друзья мои. Я уж пойду.

Он вышел, захватив с собой оба черепа.

Гарднер освободил его утром следующего дня.

— Мне сейчас очень некогда, потом уж мы с вами поговорим, — сказал он. — Только я вас сам вызову. — И он обдал его холодным, настороженным и в то же время равнодушным взглядом. — Сейчас не до

этого, вы видите, что делается. — И он ушел, только слегка кивнув головой.

Тогда Ганка пошел к Марте.

Она на корточках сидела над сундуком. Сундук был большой, ярко-красный, облепленный изнутри разноцветными бумажками и фотографическими карточками. Когда зашел Ганка, Марта на секунду повернулась к нему и сейчас же снова опустила голову. Ганка постоял над ней, помолчал, а потом спросил:

— А что это вы, Марта, делаете?

Ее морщинистые, большие руки с толстыми, круглыми пальцами продолжали копать в хламе, когда она ответила спокойно и ровно:

— Собираюсь.

Больше она ничего не прибавила, но он ничего и не спросил. Только стоял, смотрел на ее морщинистые, почти чешуйчатые руки с круглыми, мутными ногтями и думал, что вот, пожалуй, единственный человек в этом обреченном доме, который твердо знает, что же ему надлежит делать. Движения Марты были ровны, неторопливы, но никак не автоматичны. Она выбрасывала уже совершенно износившиеся тряпки и оставляла все, что хотела взять с собой. Лицо ее было твердо, неподвижно, почти жестко в своей крайней, каменной сосредоточенности. Хлам этот накапливался всю ее жизнь. Он лежал напластованиями, такими историческими слоями. Мелькали блузки с большими, яркими золотыми пуговицами, детские платочки, пегая трехногая лошадка из папьемаше, большой плюшевый медведь с голубым бантом, потом фигурная бутылка из-под какого-то ликера, жестяная коробка из-под леденцов с великолепным и ярким рисунком, галстуки... Ганка постоял еще немного и тихонько вышел вон. Он спустился в сад.

День стоял солнечный, ясный, высокий, прозрачный насквозь. Так был сух и звонок воздух, что даже было слышно, как где-то далеко, за оградой, пых-

тит автомобиль. Кончалось бабье лето. Ганка остановился, привлеченный далеким звоном журавлиной стаи. Она летела так высоко, что не было даже видно отдельных птиц. Быстро перемещался по небу ажурный, врезанный в синеву косой треугольник. Но Ганка долго стоял, слушал журавлиный крик, в нем пробуждались какое-то печальное умиротворение и тишина, а этого он боялся больше всего. Поэтому он вдруг зло плюнул, подбросил концом модной, острой красной туфли песок и быстро пошел, побежал по саду. В кармане у него лежал маленький браунинг из вороненой стали с благородным, матовым отливом. Он ходил по дорожкам и все нащупывал и нащупывал его. И еще он думал о Курте.

Было у него какое-то неясное чувство (хотя и не произошло ничего нового), что Курт играет какую-то непонятную роль в этом проклятом и обреченном доме. Какую же? Курцеровского шпиона или же... И вдруг, совершенно непонятно почему, он вспомнил о Войцике. Он даже остановился. "Что за черт!" Но Войчик предстал перед ним весь, со своим четырехугольным лицом в ржавых пятнах, резкой, раздражающей чеканной речью, с тяжелым взглядом, которого вынести он не мог, и, наконец, с тем ужасным спокойствием, от которого сразу Ганке становилось нечем дышать. И вот он снова ходил по саду, сжимая в кармане небольшой вороненый браунинг бельгийского образца, и мучительно старался угадать: что же будет, что же будет? Господи, что же будет дальше?

Когда стемнело, он не выдержал и пошел к Курту.

Наружная дверь была открыта. Болталась красная занавеска, исписанная могучими, роскошными розами, а за ней слышался непрерывный тихий гомон — пели птицы. Ганка подождал и постучал пальцем о косяк.

— Да, да, — ответили ему из комнаты.

— Можно? — спросил Ганка, осторожно отдергивая полог.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответили ему.

Он вошел.

Курт сидел около скверного, зеленоватого зеркала и брился. Лезвие так и порхало в его больших пальцах. Через каждую минуту он наклонялся, смотрел в зеркало и осторожно сбрасывал пену. На Ганку Курт и не посмотрел. Тогда Ганка взял табурет и сел. Маленький столик около него весь сверкал парфюмерным стеклом. Во-первых, здесь зеленели флаконы с какими-то духами, и особенно выделялась одна толстая, узорная пробка с петухом на вершине; во-вторых, тускло лоснилась плоская банка из массивного, граненого, грубого стекла под хрусталь; в-третьих, сверкал стаканчик с какой-то ярко-красной массой, с бриллиантином, наверное.

— Ну? — спросил Курт, щурясь перед зеркалом. — Были вы у господина Гарднера?

— Был, — ответил Ганка и вдруг спросил: — Долго вы работали у Курцера?

Курт сбросил в тазик бурую пену.

— А я и сейчас работаю у него, — ответил он спокойно. — Ведь это, — он сделал круглый жест, очерчивая им всю комнату, — считай, уже все его. Я-то ведь вижу, куда дело клонится.

В клетке тонко и пронзительно крикнула какая-то птичка.

— Он, кажется, любит птиц? — спросил Ганка.

— Что любит? — зачем-то переспросил Курт. — Ах, да, птиц-то? Любит, любит! Птиц-то он, точно, любит. Вот заказал дрозда принести. Сейчас я ходил западную ставить.

— Какого дрозда? — спросил Ганка.

— А черного дрозда, — мирно объяснил Курт, смотря в зеркало. — Мы сегодня пойдем с Гансом к оранжерее, там сейчас самый лов.

— К оранжерее? С Гансом? — донельзя удивился Ганка. — Это после того, как профессор...

Курт несколько насупился и вздохнул.

— Да, да, — сказал он прочувствованно. — Бедная госпожа Мезонье! Профессора я уже не жалею. Раз его нет, так и жалеть некого. А госпожу Мезонье...

И так помрачнел, что казалось, вот-вот всхлипнет.

— Очень жалеете? — иронически спросил Ганка.

— Очень! — печально кивнул головой Курт. — Уж так жалею, уж так я ее жалею...

— Курт, что вы валяете дурака! — крикнул Ганка. — Вы думаете, я не вижу этого? Благодетель! Жену он жалеет! Он пойдет с Гансом черт знает кому ловить дрозда! Это тогда, когда еще теплый труп профессора лежит в доме...

— Извините, не черт знает кому, — поправил солидно Курт, — а самому господину полковнику. И потом, дорогой, ну зачем вы кричите? В доме умершего говорят шепотом.

Ганка приложил руку ко лбу. Голова у него гудела.

— Вы нарочно издеваетесь надо мной, — сказал он глухо. — Бог знает, зачем это вам нужно? Отчего ни на один мой вопрос вы не хотите ответить прямо?

Курт положил бритву и обернулся к Ганке.

— Ну, вы мне ответите на один мой вопрос? — спросил он, улыбаясь.

— Пожалуйста! — гневно фыркнул Ганка.

— Так вот: какого дьявола вам от меня нужно?

— Мне? — опешил Ганка.

— Да, вам! От меня? Какого черта? Скажите!

Ганка растерянно молчал.

— Что вы пристааете ко мне? С каких пор я знаком с профессором? Как я знаком? Что мне говорил профессор? Почему говорил? С какого времени я знаком с Курцером? Почему знаком? Любит ли Курцер птиц? Почему любит? Какую птицу я ему пойду ловить? С кем пойду? Когда пойду? Зачем вам это все нужно? Какая причина вашей... ну, любознательности, что ли, я уж так скажу из деликатности?

Ганка растерянно молчал.

— Ну вот, видите, — сказал Курт, как бы подводя итог.

— Да, вы правы, правы, — сказал наконец Ганка. — Да, но дело-то вот в чем: я имею серьезные причины так вас спрашивать. Очень серьезные. Профессор вам доверял. Вот мне Ланэ говорил, что вы ему привезли какое-то письмо, потом профессор вас вызвал зачем-то ночью. Это все дает мне основание относиться к вам с доверием.

— Ну, а мне, сударь? — спросил Курт.

— Что?

— Вот вы только что сказали: "Это все дает мне основание относиться к вам с доверием", — но ведь не вы мне рассказываете о себе, а, наоборот, меня спрашиваете. Так уж позвольте тогда и вас спросить: ну, а мне-то что дает основание вам доверять? И опять-таки, если вы мне доверяете, ну, тогда, пожалуйста, говорите. Я вас буду слушать.

Ганка молчал.

— Ну, вот видите, сударь, — повторил опять Курт, — о чем же нам тогда с вами говорить?

Он взял одеколон, аккуратно помочил платок и начал было примачивать левую, выбритую щеку.

— Но повторяю: я ничего не знаю, с полковником у меня никаких отношений нет. Да и, как вы сами должны понимать, не может быть. С профессором тоже никаких особенных разговоров не было. Просто я сидел около окошечка, увидел, что свет горит, ну и зашел посмотреть, что там такое. Ну, а что касается всего прочего... честное слово, не помню даже, о чем вы меня спрашивали... Да, о птичках. Любит ли полковник птиц? Любит, очень любит. У него во всех комнатах клетки. Ну вот, кажется, и все!

Он сделал еще несколько взмахов бритвой, потом аккуратно вытер ее ваткой, положил в футляр и встал. Подошел к углу комнаты, открыл ящик и вынул оттуда какое-то несложное приспособление — моток веревки, легонькие козлы, кусок сурового полотна, все это в разобранном и свернутом виде.

— Видите, какой станок, — сказал он шутливо, — совсем как дыба. Правда? Вот мы сейчас это соберем, да и...

Ганка стоял молча. И вдруг пришло ему в голову что-то такое, что относилось к одиночке, к желтому свету угольной лампочки и разговору вдвоем о дыбе и о том, кто ее перенес. И, не отдавая себе отчета зачем, он вдруг прочел строчки, пришедшие к нему неведомо как и откуда:

Вот так же будет поздно или рано
И с царством многолетнего тирана.

Он покрутил головой: "Господи, какие есть люди на свете!" И тут он увидел — руки у Курта дрогнули, и он положил полотно на пол.

— Что вы сказали? — спросил он.

— Так, — быстро ответил Ганка и махнул рукой. — Но, Курт, Курт, как все это скверно устроилось!

— Откуда вы знаете эти строчки? — повторил Курт и подошел вплотную к Ганке. — Кто вам их читал?

Он подтянулся, стал твердым, губы и подбородок у него сразу отвердели и четко оформились. Он схватил Ганку за плечо и так больно сжал, что тот вскрикнул, но Курт будто этого не заметил.

— Кто вам прочел это стихотворение? — повторил он, почти угрожающе.

— Что вы на меня кричите? — машинально обиделся Ганка и вырвал у него руку.

Курт с размаху ткнул свой ловкий снаряд, и все эти кусочки холста, бечевки, веревки, намотанные на палочки, — все полетело в сторону.

— Откуда вы?.. — начал он тем же тоном и вдруг опомнился.

Отошел, сел на табуретку и опустил руки.

— Мне эти стихи прочел товарищ по камере, — сказал Ганка. — Мы сидели вместе, и вот он прочел их мне.

Курт поднял голову.

— Как звали вашего товарища? — спросил он.

— Его звали Грубер, то есть звали Карл Войцик. Его раньше, как-то ночью, привели ночевать в мою квартиру, и вот тогда мы познакомились с ним.

— Ну, а... каким образом вы и он дошли до этих стихов? О чем вы говорили до этого?

Теперь лицо Курта было совсем иное. Правда, ничего существенного не изменилось в нем, только исчезло выражение этой насмешливо-выжидательной иронии, но стоило взглянуть на него, чтобы понять — вот был один человек — злой, недоверчивый, насмешливый, а теперь говорит, слушает, спрашивает кто-то совсем другой.

— Его теперь уже нет, — ответил Ганка этому другому человеку. — Он погиб.

— Вы точно знаете это? — спросил Курт.

— Его вывели из моей камеры, — ответил Ганка. — Мы только что говорили с ним о Кампанелле, и вот...

— Да, да, о Кампанелле, — со страшной энергией тоски тихо сказал Курт. — Но, Ганка, Ганка, расскажите мне все! Как вы встретились? Что вы говорили? Все, все мне расскажите, слышите? — Он подошел к двери и заложил ее на крючок.

— А черный дрозд как же? — все-таки не удержался Ганка.

Курт криво и зло усмехнулся.

— Черный дрозд? Черный дрозд будет, — пообещал он, намекая на что-то, чего Ганка понять еще не мог. — Черного дрозда я на последний случай берегу.

И вот тут этому незнакомому и мало симпатичному ему человеку, которому Ганка имел все причины не доверять, он рассказал все: и про свой арест, и про разговор с Гарднером, и про декларацию, и даже про то, зачем он приехал сюда и что думает делать.

Он рассказал быстро, свободно, обращаясь больше к себе самому, чем к Курту, но Курт, видимо, понимал это, потому что не перебивал его, не расспра-

шивал, а только в нужных местах кивал головой и поддакивал:

— Да, да... Ну, конечно, так... Да, да...

Ганка говорил долго, и когда он кончил, Курт встал с места.

— Да, — сказал он, отвечая каким-то своим мыслям. — Плохо. Очень, очень плохо.

— Что плохо? — спросил Ганка, следя за ним глазами.

— Ничего, — ответил Курт. — Идемте за пустырь, посмотрим мои силки.

Г л а в а ш е с т а я

Они вышли к пустырю, и тут Курт начал расставлять силки. Было тихо и пустынно. Воздух густел и становился влажным. По верхам бурьяна, по сердитым лопухам и бурым репейникам прошел ветерок, и вдруг сильно повеяло сырой землей и неясным ароматом каких-то цветов. От развалин несло влажным мхом и отсыревшим кирпичом. Над небольшой зеленой лужей в глубине развалин стоял легчайший, тонкий пар. Самозабвенно заливались — словно набухали и лопались огромные тинистые пузыри — зеленые лягушки. Крикнула один раз какая-то небольшая болотная птица. Подождала немного и еще раз крикнула.

Курт посмотрел на солнце и покачал головой.

— А уж поздно, — сказал он, — как бы не заподали. Пожалуй, и не прилетят.

Черная птица, длинная и бесшумная, как кошка, косо пронеслась мимо них, широко махая крыльями. Села на кирпичную кладку и пронзительно, отрывисто закричала. Курт посмотрел на нее и только головой качнул.

— Козодой, — сказал он. — Давно их тут не было, а в этом году парочка живет где-то в парке, только вот не могу доглядеть где.

Он наладил силок, поставил его под куст, потом возвратился к развалинам, вынул платок, расстелил, сел на него, достал из кармана трубку, выбил о кирпич — все это не торопясь, по-деловому, основательно, — закурил и заговорил.

— Вот от этой бесформенности и погиб ваш шеф! Так и не смог понять, с кем же он очутился под конец и как это так вышло, что они считали его коммунистом. Что ж, старик был мужественным человеком. Да вот только... кончил неладно. Сенека тоже умер замечательно, но смерть его не стоит и самой худшей из его плохих трагедий. Вот это-то и надо вам понять, хотя бы сейчас!

Ганка посмотрел на него усмехаясь.

— Надо ли? — спросил он.

— Надо, надо, — сказал Курт, — Очень надо... Я ведь чувствую, что вы затеяли! Так вот, не нужно. Так кончают только институтки да проигравшиеся шулера.

Он встал и пошел, не прощаясь, и вдруг, вглядываясь в его неторопливые, громоздкие, но очень устойчивые движения, Ганка вспомнил и человека совсем другого и разговор другой, не похожий на этот. В ужасе внезапного озарения он поглядел на Курта, ибо только в эту кратчайшую секунду восстановил в уме все недостающие звенья той огромной цепи причин и событий, в начале которой стоял приход садовника Курта на виллу и в конце разговор с Войциком.

— Боже мой, — сказал он болезненно. — Боже мой, так вот оно как! Курт...

Курт остановился, и тогда Ганка подбежал и схватил его за руку.

— Слушайте, — сказал он запальчиво и восторженно, — слушайте, я расскажу вам... Я сегодня же пойду...

— А вот об этом не надо говорить, — сказал Курт серьезно и строго. — Знаете: "Что задумал делать, делай скорее".

— Хорошо, — сказал Ганка и сжал губы. — Прощайте.

Он был уже на краю полянки, когда Курт окликнул его.

— Вот что, Ганка, — сказал он, подходя к нему и как будто даже смущенно дотронулся до его руки. — Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, если я что не так сказал или повел себя. Но посудите: зачем мне было знать о вас что-нибудь особое? Кто я такой? Чужой человек. Вы и любите-то меня не особенно.

— Да нет, я верю вам, — быстро ответил Ганка и схватил его за руку. — Верю, верю! Я не знаю, как это вышло, но только я понял: вот тот самый — ведь и Войчик был...

— Дорогой мой, вот что, — Курт положил ему руку на плечо, — уясните себе, про меня пока знаете вы только одно: я служу Курцеру. Я же, как его служащий, знаю про вас и другое. Дай Бог, чтоб все ваши порывы не свелись к новой истерике...

— Почему вы так думаете? — пробормотал Ганка.

— А, милый! Вы уже вторые сутки бьетесь в ней, только почему-то не замечаете этого. Помните, вы стояли в толпе и крикнули что-то солдату? И это была истерика, и очень скверная. Вы-то спрятались, а другие за вас поплатились. Потом вы пришли ко мне — и тоже это была истерика. И сейчас, наконец, когда желаете со мной поделиться вашими планами, тоже бьетесь в истерике.

Он вдруг засмеялся.

— А впрочем, желаю вам всего хорошего. Но только не думайте, пожалуйста, что все дело в том, чтобы убивать, убивать, убивать. Одним этим ничего не сделаешь. Истерик-то никто не боится.

Он хотел сказать что-то еще, но в это время за-трещали кусты.

Курт отскочил от Ганки.

Чертыхаясь и треща, по кустам кто-то шел к ним, только не со стороны дорожки, а исподволь, в обход.

— Правее, правее, — вдруг крикнул Курт, — там дорожка есть!

Появился Ланэ, за ним Кох и Гарднер.

— Ну, я же говорю, здесь они, — сказал Ланэ, — и доктор тут дрозда ловит.

— Ох, и птицеловы вы! — сказал Гарднер. — Мальчишка к вам все просился, я не пустил его. И нашли же местечко, где птиц ловить! Весь оборвался, пока шел. Курт, где ваш западок? Бросайте его к дьяволу. Больше вам он уже не понадобится. Кончились ваши птички.

Курт посмотрел на него с удивлением.

— Да, да, — сказал Гарднер, — не для кого больше их ловить. Хозяин-то ваш Богу душу отдал. Теперь уж скрывать незачем, профессор-то умер, а у господина Курцера сердце сдало. Вот какие вещи получаются, Курт.

— Ладно! — угрюмо кивнул головой Курт, нimalo не удивясь тому, что у Курцера сдало сердце. — Не хватало мне еще вони, упокой, Господи, моего хозяина, а я терпеть больше этого не желаю — в комнату не войдешь.

С минуту все помолчали.

— Сердце сдало, — покачал головой Курт. — И как не сдать, когда здесь такое творится! Профессор-то не чужой человек, а шурин. А господина Курцера этот нечистый дух Бенцинг все сбивал. Если бы не он, у меня бы клумбы чище бенгальских огней заиграли. Я ведь садовник старый, господа, опытный, меня еще старый Курцер учил.

— А кто же мешал тебе? — ворчливо спросил Кох. — Все только с воробьями треплешься. У тебя постоянно что-нибудь не так.

Курт вдруг выпрямился, лицо его одеревенело, он отвесил нижнюю губу и сказал густо и натуженно:

— У меня родители вполне благородные люди из города Профцгейма, а я их законный сынок!

— А? Кох, здорово? — повернулся к своему спутнику Гарднер.

— На эти штучки-то он мастер! Где оскалиться да и покритиканствовать, там и он, — с хмурой улыбкой похвалил Курта Кох.

— Ну ладно, Курт, этот Бенцинг больше вам не помеха, — великодушно сказал Гарднер. — Я его арестовал.

— Да он того и заслужил, — одобрил Гарднера Курт. — Как начнет ходить по дорожкам да кусты тросточкой шевелить: тут почему не так да там по какому праву не этак? — полный базар. А хозяин-то... Вот, лови ему дрозда. Попробуй поймай его! В снасти этой и воробьишка-то не запутается, не то что там дрозд! Они же высокие господа, — он робко поглядел на Гарднера. — Все они слегка...

— Ну, ну? — сказал Гарднер и быстро взглянул на Коха.

Курт немного покрутил пальцами около лба.

— Ах, негодяй, ах, критикан! — сияя, сказал Кох.

— Ладно, Курт, — сказал Гарднер, — мы с вами еще поговорим. Ганка! Завтра утром прошу вас ко мне, поедем в город разбирать дела института.

— На это Ланэ есть, — сказал Ганка, отворачиваясь.

— Вот как! — улыбнулся Гарднер. — А если мне нужно именно вас одного? Ну, так я жду вас к себе, и не завтра, а через тридцать минут, со всеми бумагами. Идемте, Ланэ!

Они ушли втроем, и Курт, склонив голову набок, слушал, как они идут по дороге.

Гарднер сидел внизу, в комнате Курцера, и дописывал рапорт. Он и всегда-то любил писать, а сейчас выписывал последние строчки рапорта прямо с наслаждением. Почерк у него был красивый, крупный. Стройные буквы стремительно и прямо ложились на бумагу. Он чувствовал себя прекрасно. Еще день, еще ночь — и все. Пусть даже это дело с профессором

и провалится, ему и на это теперь наплевать. Он свое исполнил, кого надо надоумил, кого надо предупредил, а там уж дальше не его забота. Рядом с кипой бумаг лежал раскрытый портфель, набитый документами, и лакированный ящик на замке.

— Как это говорили древние римляне: "Что не берет железо, то возьмет огонь". Честное слово, это ловко! Ему всегда нравилась римская деловитость. И он улыбнулся, вспоминая последний разговор с карликом. "Дудки! Я тебе больше не слуга!"

Гарднер был в новом, очень хорошем штатском костюме, выбритый, надушенный, и поэтому чувствовал невероятную легкость во всем, точно после хорошего душа.

Солдат ввел Ганку и остановился около прито-локи.

— А, — сказал Гарднер радушно, — все-таки пришли. Садитесь, пожалуйста. А чего вы такой зеленый? Можно идти, — обратился он к солдату. — Вы что, принесли что-нибудь?

— Да, — сказал Ганка, — смотрите, что я нашел в кабинете профессора, — он вынул из кармана длинный, плотный конверт.

Не вставая, Гарднер через стол протянул руку.

— Ага, давайте-ка сюда. Все писал, старичок!

Он посмотрел конверт на свет, понюхал и рванул его вкось.

Тогда Ганка вытащил браунинг и, не целясь, почти боясь смотреть даже, выстрелил в этот матово блистающий, высокий, шафранный лоб.

Он увидел еще раз лицо это, руку с зажатым в ней конвертом. Все это под углом и очень крупно. И вдруг все кругом пошло толчками, четко и отрывисто, словно засекая секунды на хронометре.

От выстрела у него дрогнуло плечо, и он чуть не выпронил оружие. Тогда он закусил губу, сощурился и уже четко и спокойно еще раз за разом спустил курок. Лицо Гарднера завертелось, запрыгало, запрокинулось быстро и легко, как мишень в тире. И

только ушло от Ганки это лицо, как он увидел другое — неподвижную четырехугольную голову, кожу, всю в подтеках, в ржавых пятнах.

Лицо Войцика было неподвижно, глаза опущены. На Ганку он не смотрел, как и тогда, в минуту расставания. Вдруг сзади закричали.

Ганка быстро оглянулся. Вбежал солдат, да и зас- тыл, ошалело открыв рот.

”Ну, беда тебе теперь! Недоглядел! Расстреляют зверюгу!” — подумал Ганка со злым удовольствием.

Гарднер лежал на столе подбородком вперед. Особенно ясно был виден аккуратный, сиренево лос- нящийся пробор.

Ганка прыгнул и прижался к косяку окна. Вой- цик стоял рядом с ним, локоть о локоть.

— Да, это дело, — сказал ему Ганка, смотря на солдата. — Это такое дело... — повторил он и, боясь опоздать, сунул браунинг в рот.

Выстрела он уже не услышал.

ЭПИЛОГ

На этом бы мне и кончить свои записки, но вот что случилось неделю назад.

В понедельник, после обычного недельного профессорского обхода, ко мне подошла ясно улыбающаяся, подтянутая и оживленная сестра (не помню, писал ли я, что больница, где я нахожусь, частная, довольно дорогая, и поэтому сестры здесь тоже особые), ткнула острым розовым ноготком в смятый угол подушки и, ласково наклонившись надо мной, спросила, не скачаю ли я, не хочу ли принять внеочередного посетителя.

Нужно заметить, порядок нашего отделения очень строг именно в этом пункте. В больнице допускалось многое. Так, больной, если у него водились деньги, мог перебраться в отдельную палату с балконом в сад, мог, конечно с разрешения лечащего врача, нанять даже специальную сестру. Но и такому больному, если он лежал в нашем, то есть послеоперационном, отделении, свидания разрешались только дважды в неделю.

— Невозможно, невозможно! — отвечал на все просьбы главный врач больницы. — Таковы наши правила. В этой больнице никаких привилегий ни для кого не существует.

И был так невозмутимо строг, что, кажется, и сам верил в это. Но он-то, может, и верил, а я-то ему нет, поэтому первое, что мне пришло в голову, — это какую еще новую пакость готовит мне прокуратура?

— Да кто он такой? Что ему нужно? — спросил я почти грубо. Не успела еще сестра мне ответить, как

дверь палаты как-то по-особому широко и парадно распахнулась — именно не открылась, а распахнулась, — и, сопровождаемый хирургом, вошел в белом шелковом халате, щегольски наброшенном на плечи, королевский прокурор.

Признаюсь, при виде его превосходительства я так обомлел, что даже не встал, а только откинулся на подушки, да и он, посмотрев на меня, смешался. Так с десятков секунд мы смотрели во все глаза друг на друга, не зная, с чего начать, но тут я сделал какое-то случайное движение рукой и все сразу пришло в движение и разрешилось.

— Лежите, лежите! — очень натурально всполошился он и бросился ко мне. — Лежите, пожалуйста! Ведь вам же нельзя двигаться? Что вы?!

От резкого движения халат соскользнул с его плеча, и я увидел, что под мышкой он держит квадратный черный портфель величиной с книгу среднего формата. Это мне не понравилось больше всего.

— Не вставайте, я сяду рядом, — сказал прокурор. Как из-под земли бесшумно подкатили кресло, кожаное, докторское, из кабинета главного врача. — Ну а выглядите-то вы совершенным молодцом! — продолжал он, усаживаясь. — А? Профессор?

Хирург, высокий старик с военной выправкой, похожий на бульдога, молодецки гаркнул что-то в желтые, прокуренные усы, но прокурор уже перестал его замечать.

— Температура? — спросил он меня.

Не успел я ответить, как профессор снял со спинки кровати дощечку с температурной кривой и подал прокурору. Тот посмотрел и омрачился.

— Все-таки еще тридцать семь и пять?.. И вот даже тридцать восемь? — спросил он капризно. — Что же это такое, доктор?

— Процесс еще не закончился вполне, — ласково наклонился над ним хирург. — Вот эти две вершин-

ки — та и эта — как раз и связаны с тем, что в эти дни отходили секвестры.

— Секвестры? Ах, секвестры! — обрадовался прокурор. Опять поймал халат двумя пальцами где-то на предплечье. — Вот у меня тоже весь сорок пятый год отходили секвестры. А на костылях вы еще не ходите, коллега?

Ему опять что-то ответили, я не слышал, что. Я глядел на его спокойное, замкнутое и ласковое лицо, лицо жесткого и отлично воспитанного человека, на небольшой кожаный портфельчик на коленях, в котором скрывалось для меня что-то очень неожиданное и неприятное, и старался понять: что же это такое? Министр ли юстиции подал в отставку? Верховный ли суд возвратил обратно мой обвинительный акт? Победили ли левые на муниципальных выборах? Одним словом, какой бес принес его сюда? Тут я увидел, что мой посетитель уже держит конверт и прикидывает на свет одну за другой черные рентгеновские пленки — все это очень ловко, изящно и быстро, хорошо отработанным жестом опытного игрока в покер.

И тут я наконец овладел собой и сказал:

— И при вашей загруженности, ваше превосходительство!..

И только я произнес это, как они так на меня и уставились. Потом прокурор швырнул на стол всю кипу снимков и приказал:

— Доктор, вы бы не возражали... минут на десять?..

И сразу же нас в палате осталось двое.

Тогда я скинул одеяло, сел на кровати и посмотрел на прокурора. Он поймал мой взгляд и косо улыбнулся.

— Моему коллеге так не терпится узнать, в чем дело? — спросил он ласково и недовольно.

— Очень! — сознался я.

С полминуты мы молча смотрели друг на друга, потом он резко отвел взгляд и встал.

— Тогда, к вашему сведению, как юристу, — сказал он очень холодно, снимая без церемоний халат и вешая его на спинку кресла. — Мы аккуратно получаем сведения о здоровье всех тех, кто числится за нами, но по болезни не может участвовать в судебном разбирательстве его дела. Но... — он усмехнулся. — Я, конечно, не рискнул бы к вам сунуться просто так... — Тут он опять сел и взглянул мне прямо в глаза. — Но прежде всего — газеты-то вы читаете?

Я кивнул.

— И, надо полагать, не только одни газеты, но и "Вестники министерства юстиции"?

Я опять кивнул.

— И, следовательно, знаете, что сейчас предстоит большой процесс национальной компартии? Очень хорошо! Тогда читайте.

Он бесшумно распахнул портфель и вынул два сложенных вдвое листа отличнейшего бристольского картона с золотым обрезаем. Под штампом и эмблемой стоял четкий машинописный шрифт:

"Высокий Сенат!

В дополнение и уточнение наших предыдущих ходатайств о рассмотрении совместимости деятельности коммунистической партии с конституционными началами нашей страны, ходатайствуем дополнительно о том, чтобы на тех же заседаниях были подвергнуты суждению Сената следующие частные вопросы:

а) Вопрос о судьбе посмертного труда проф. Л. Мезонье: насколько будет признано и доказано, что покойный ученый действительно работал над такой рукописью перед смертью.

б) Вопрос о том, можно ли признать таким посмертным трудом профессора книгу "Расы и расизм. Некоторые итоги сорокалетнего изучения человека", вышедшую недавно в Москве на русском языке и подписанную именем покойного ученого.

Если же названный труд будет признан действительно принадлежащим перу покойного директора Института предьистории, то и

в) вопрос о том, какими каналами, для какой цели и кем именно книга, написанная в нашей стране и нашим ученым, была переправлена за границу и вышла в стране коммунистического лагеря, а также

д) вопрос о том, может ли быть доказано документами, свидетельскими показаниями или любым иным путем, что нелегальная переправка рукописи через границу является осуществлением воли покойного и была произведена лицом, специально на то уполномоченным.

В свою очередь мы в связи с этим же желаем и обязуемся доказать Высокому Сенату, что:

1. Если книга "Расы и расизм" в своей основе действительно принадлежит перу проф. Л. Мезонье, то ряд страниц, абзацев и подглав этой книги, вышедшей в Москве, во всяком случае являются открытой коммунистической интерполяцией, ничего общего ни с наукой, ни с действительными взглядами покойного ученого не имеющей.

2. Все вышеназванные действия совершены коммунистами с явно пропагандистскими целями.

3. Они являются по своей юридической природе преступными и полностью подпадают под следующие параграфы "Закона об охране конституции" (следовали эти параграфы).

Исходя из сказанного и перечисленного, мы ходатайствуем о том, чтоб все материалы, как представленные при настоящем отношении, так и те, которые будут или могут быть найдены и представлены в дальнейшем, были рассмотрены и взвешены на тех же заседаниях Высокого Сената, на которых будет решаться вопрос о конституционности коммунистической партии нашей страны и о терпимости ее в рамках легальности — как частный аспект этого же вопроса.

При этом прилагаются:

1. Акты научной экспертизы (на 124-х листах).
2. Свидетельские показания по всем перечисленным пунктам (на 60 листах).
3. Совместный меморандум о лицах, по мнению истцов, виновных в похищении рукописи и интерполяциях.

Министр юстиции (пустое место вместо подписи)

Министр внутренних дел (то же)

Министр полиции (то же)

Начальник управления по охране конституции (то же) ”.

Я дважды, совершенно не щадя терпения прокурора (а он даже взглянул на часы), прочел эту бумагу и поэтому передаю ее содержание почти буквально.

— Но тут еще должен быть меморандум, — сказал я. — Где он?

Прокурор взял у меня из рук лист, аккуратно сложил, спрятал, замкнул портфель и ответил очень простодушно:

— Да ведь я, дорогой коллега, и эти-то бумаги не имел права вам показывать.

— Ну, это-то само собой, — ответил я и снова лег. — Конечно, не могли. Но ведь не могли, а показали! Значит, что-то имели в виду. Так вот, что именно?

Зрачки прокурора все сужались и сужались, пока не стали маленькими и пронзительными, как два черных мебельных гвоздика, он даже сделал какое-то резкое движение, чтоб встать, но только выпрямился в кресле и положил руку с дрожащими пальцами на подлокотник.

— Ну, точно в плохом агитационном романе, — сказал он с сухим смешком. — Нет, дорогой коллега, будьте совершенно спокойны. Хотя я и пришел к вам частным образом, но отлично понимаю, с кем я

имею дело. Да и обвинение, которое мы поддерживаем против вас, — он махнул рукой, — разве оно годится для шантажа? Нет, дело совсем в другом: эта бумага должна получить визу королевской прокуратуры, а для меня не все в ней ясно. Хотя должен сразу же сказать: вся эта история с исчезновением рукописи и появлением ее в Москве очень неприятна и подозрительна.

Он подождал моего ответа и, не дождавшись его, продолжал все громче и воодушевленнее:

— Да, и подозрительна и неприятна. Ну-с, просмотрел я и труд вашего батюшки. Нам его перевели. Конечно, для суждения о нем в полном объеме моего юридического образования совершенно недостаточно, но одно-то мне ясно: три министра правы! На этот раз, к сожалению, уж правы: те страницы и абзацы, которые цитирует меморандум, безусловно льют воду на коммунистическую мельницу. Это уж никак не разоблачение немецких расистов, а простой призыв к ножу. К алжирским и марокканским событиям, если вам угодно. Об этом уж никакого спора быть не может!

Он замолчал, опять ожидая моих возражений, но я лежал и слушал.

— И тут я должен согласиться с авторами меморандума, — продолжал он, раздражаясь все больше и больше. — В этой книге с профессором происходит какая-то невероятно странная трансформация, просто какое-то спиритическое раздвоение личности. Вот читаю одну страницу, вторую, третью, страница за страницей идет строгая научная проза: даты открытия, фамилии ученых, латинская номенклатура — и вдруг ни с того ни с сего — бац! — ученый влез на стол и заговорил языком партийного работника. Позвольте! Почему? Откуда? Как? Когда и где профессор говорил так? Мы ведь с вашим батюшкой тоже прожили бок о бок не один десяток лет, слышали его и на лекциях, и на торжественных актах, и в

муниципалитете, значит, достаточно знаем его голос. Это для нас никак не человек с улицы, так откуда же нашло на него такое наваждение, мы хотим это знать!

Я лежал, закрыв глаза рукой, но то, что прокурор не сводит глаз с моего лица, мучило меня, и я, кажется, сделал произвольную гримасу.

— Вот я вижу, вам неприятно меня слушать, — подхватил прокурор, — вы, конечно, держитесь совсем другого мнения.

— Да нет, говорите! Говорите! — попросил я. — Я молчу потому, что мне хочется собраться с мыслями.

— Ну, так что же, собственно, еще говорить! — солидно вздохнул прокурор. — Всякое, конечно, бывает на свете. Был Савл — стал Павел, и такой случай описан в Святом Писании, но мы-то, юристы, сухари, пошляки, смотрим на все эти метафоры совсем с другой стороны. Истина всегда проста и ясна, а здесь все и сложно и запутано. В самом деле книга — толстая, очень ученая и — что уж тут говорить! — отлично написанная книга, на которой красуется фамилия вашего батюшки, пролетела по воздуху тысячи верст и вышла в свет при обстоятельствах, исключающих всякую возможность проверки ее достоверности. Это первое, что я знаю о ней. Второе — еще более для меня темное: эта книга вышла в стране...

Тут я, кажется, по-настоящему напугал и ошеломил моего высокого посетителя — вдруг открыл глаза, сел на кровати и спокойно окончил:

— В стране, спасшей мир. — И так как он смотрел на меня баран бараном, я засмеялся и объяснил: — Ну, я говорю: книга моего отца вышла в стране, спасшей мир. Не бойтесь, это не агитация, я просто цитирую моего коллегу королевского прокурора. Это он как-то сказал: "Россия снова спасла мир своей кровью". Это же из вашей речи в сорок пятом году.

Удар пришелся в лицо. Его превосходительство даже слегка перекосился, как от полновесной пощечины. Но когда он заговорил снова, голос его был уже опять спокоен и размерен.

— Если мне только будет позволено дать вам совет на будущее, — сказал он, улыбаясь одной щекой, — я горячо рекомендую вам не подходить к пятьдесят пятому году с мерками сорок пятого. Все ваши неприятности именно отсюда и идут.

— Так же, как и все чины вашего превосходительства от прямо противоположного, — почтиительно улыбнулся я. — Что спорить? Редкий талант — забывать старое добро и не видеть новое зло — ваше ведомство довело до абсолютного совершенства.

Он вскочил так бурно, что я думал — сейчас он меня ударит. Настоящее, не наигранное негодование было написано на его холеном лице.

— Мое прошлое, дорогой коллега, раз вы уж обладаете такой прекрасной памятью, — сказал он каким-то каркающим голосом, — хорошо известно всем! Оно — лагерь уничтожения. Прошу помнить: я — "болотный солдат", но в сорок червертом году меня и там арестовали. А в зондерлагере, куда меня отправили, мне надели солдатские сапоги из синтетического каучука и двенадцать часов в сутки заставляли ходить по жидкой грязи. Еще неделя — и меня спалили бы в крематории!

Я усмехнулся. Все это — зондерлагерь, резиновые сапоги, грязь, крематорий — были полной правдой. В сорок четвертом году его превосходительство действительно в течение двух месяцев месил грязь, и его подгоняли плеткой в лагере ведомства доктора Лея. Потом прокурор выбился из сил (сопротивляться у этих господ мужества на хватает — они будут топтаться, пока не сдохнут), и его действительно без всяких слов превратили бы в кучку костяной муки да в горсть пуговиц, но тут подоспел Крыжевич со

своим отрядом (а в ту пору гитлеровцы уже трещали по всем швам), перебил охрану и увел в горы заключенных. Его превосходительство стащили туда на носилках. Вот почему в сорок пятом году у него отходили секвестры. Но я не напомнил ему обо всем этом, а только спросил:

— И поэтому вы неделю тому назад подписали ордер на арест того командира партизанского отряда, который вырвал вас уже из крематория?

Он хотел что-то сказать, но только открыл, закрыл рот и беспомощно посмотрел на меня.

— Ну, ну! — крикнул я ему. — Говорите, говорите! У вас есть что возразить?

Но он молчал.

— Нечего вам возразить! — сказал я тихо и горько, так и не дождавшись его ответа. — Все, все забыли. Забыли свое героическое прошлое, забыли преступное прошлое Гарднера! Забыли того, кто вас предал. Забыли того, кто вас спас! Ну, хорошо, это ваше дело, но от меня-то чего вы хотите, отец сенатор, ваше превосходительство? Бумаги отца? Черта с два я вам их отдам!

Тут королевский прокурор снова обрел дар речи и сказал:

— Ну, вы же понимаете, в таком тоне нам разговаривать бесполезно.

— Как будто? А зачем же вы пришли, если не за этим? — крикнул я. — Видите, как все просто у вас получается. Бумаги я спалю — вы как-то пронюхали, что в Россию пошла машинопись, а не автограф, — потом назову лиц, спасших рукопись от уничтожения, и ваш Высокий Сенат осудит этих людей за измену. Только, ради всех святых, кому измена-то? Гестаповцам? Вам? Миру, который, по вашим словам, отстояли своей кровью эти люди? Ради всех дьяволов, раз вы уже не верите в Бога, измена-то, измена-то кому?

Он что-то говорил, пожимая плечами и презрительно улыбаясь, но я уже и не слушал, да и просто

не слышал его. Меня снова захлестывало то высокое и восторженное негодование, от которого сразу все становится на свое место и делается легко дышать, и только одно чувство наполняло меня всего в эту минуту, как, оказывается, я мало понимал всю жизнь! Как позорно мало стоил! Почему, — спрашивают меня три министра, — мой отец перед смертью вдруг заговорил как коммунист? В самом деле — почему? Да на меня только два месяца как сыплются их ослиные удары, и жизни моей ровно ничего не грозит, а разве я сейчас такой, каким был до этого? Разве прежние у меня глаза, когда я смотрю на них? Прежние слова, когда говорю с ними? Прежние мысли, когда я думаю о них? Эх, прокурор, королевский прокурор, ничего вы все-таки не понимаете!

Кажется, я сказал нечто подобное, потому что он встал с кресла и взял портфель под мышку.

— Ну, хватит, — сказал он, — будем говорить в иной обстановке! Мне с вами не договориться.

Я ничего не ответил.

А он дошел до двери и вдруг повернулся ко мне.

— Ганс, перестаньте, — сказал он вдруг мирно. — Ну, что вы в самом деле? Стоит ли?

— А что, не стоит? — спросил я и махнул рукой. — В самом деле, наверное, не стоит. Вот только что будет со мной, я не особенно понимаю. Ну, да что-нибудь будет... Дайте-ка мне папиросу. Я знаю, у вас крепкие.

— Да ведь курить-то вам, наверное, нельзя, — уныло ответил прокурор, но снова подошел ко мне, сел и достал портсигар. — Что доктор-то мне скажет? Меня ведь предупредили...

После этого мы с минуту курили молча.

Потом он встал, накинул на плечи халат и протянул мне руку. Я ее пожал.

— Ну, и на прощание, — сказал он бодро, — я вам дам благой совет, не как прокурор, а как ваш

товарищ. Будьте вы помирнее! Ваше дело ни гроша не стоит, а вы так его раздуете, что сгорите, как моль.

— Да нет, ваше превосходительство, — ответил я мирно, — что уж мне тут советовать? Посоветуйте Сабо, чтобы она другой раз лучше выбирала мишень. На что я ей? На мне она карьеру не построит... А вот прийти на прием, скажем, к вашему превосходительству, закутавшись в плед... да и бахнуть вам в лоб, чтоб мозги полетели! Вот это дело!..

Его так и смело с места.

— Черт знает, что вы себе позволяете! — крикнул он и ударил кулаком по креслу. — Вы в самом деле, наверно... — он раздраженно щелкнул себя по лбу. — Да я вас под суд отдам!

И он почти выбежал в коридор.

А дня через три ко мне в больницу явился Ланэ.

Он пришел в то время, когда я после обхода задремал у открытого окна в сад. Просто я вдруг проснулся и увидел, что он стоит и трогает мое плечо. Я поглядел на него, увидел утомленное, скорбное лицо, печальный взгляд, сиреневые, медлительные веки, и хотя он, видимо, желал казаться бодрым, веселым и добродушно-ворчливым, но с первого же взгляда я понял, что пришел-то он совсем с другим, и, конечно, не ошибся.

— Вы воюете с ветряными мельницами, Ганс? — спросил он печально и ворчливо. — Валяйте, валяйте. Что сейчас не хватает нашей стране, это — Дон Кихота.

Я смолчал.

— Вот одна мельница сломала вам ногу, а вам все мало. Хотя прокурор и грозит вас привлечь еще и за клевету и этого сейчас никак не докажешь, но я имею все основания считать, что эту сумасшедшую выпустили специально для того, чтобы она произвела что-то экстраординарное, вроде вот этого выстре-

ла. То есть не то что ее специально готовили именно для выстрела в вас, но что-то подобное она должна была им выполнить. А девчонку вы знаете: избалованная, изверченная, а может быть, и в самом деле сумасшедшая дрянь, которая только ждала случая, чтобы вырваться и явить себя свету в полном блеске. Поэтому, когда ее выпустили и сказали: "Иди, спасай мир!" — она пошла, ни о чем больше не думая.

Он говорил возбужденно и горячо. Видимо, все то, что произошло, действительно задевало его за живое, и я понимал почему. Поджигатели войны — это равнодушные, солидные, а часто даже усталые люди. Они работают энергично или вяло, медленно или быстро, веруя или — это гораздо чаще — ровно ни во что не веря, но без одержимых им ровно ничего не сделать. Им надо иметь свою Шарлотту Корде или, на худой случай, хотя бы своего Ван дер Люббе — сумасшедшего, буруеваемого всеми бесами разрушения, ненависти, страха или истеричной любви, — за торгашами-то ведь никто не пойдет, — и вот они по всему миру ищут этих несчастных, ибо безумные необходимы им, как фитиль у пороховой бочки.

Я спросил:

— И она выступит свидетельницей на моем процессе?

Он пожал одним плечом:

— Возможно. Что же, в конце концов, и это возможно. Но вот вопрос: нужно ли допускать до процесса? Сейчас вас осудят почти наверняка, а через год эта история будет забыта настолько плотно, что вы сможете вернуться и даже станете героем дня. Уверю вас, надо подождать! Вот!

И тут он полез в карман и вынул билет до Парижа на самолет. Он говорил про этот билет долго, многословно, очень убедительно и под конец уже, явно сердясь на мою глупую молчаливую несговорчивость, прибавил:

— И, наконец, дело не только в вас одном. Если вас не будет здесь, мы месяца через три поднимем шум и добьемся ликвидации постановления прокуратуры. Но представьте, что будет, если вас осудят за клевету в печати и за подстрекательство к убийству. Вычислите, сколько это будет стоить нашей газете! А ведь вы ее не хотите губить, правда?

Но я еще не все уяснил себе и поэтому спросил:

— Но ведь мне не разрешено спускаться даже в сад, так как же я выйду из больницы?

Он слегка поморщился ("Что за дурная манера уточнять все до последней запятой!") и недовольно ответил:

— Не делайте из себя слишком большой птицы, Ганс. Не такой уж вы крупный государственный преступник, да, кроме того, и королевский прокурор ваш добрый приятель. Ну же?

И он твердо положил портмоне на мою подушку.

— С богом, желаю приятной поездки!

Потом вдруг выхватил часы, посмотрел на них и сказал:

— И надо торопиться. Самолет вылетает через час. Сестра вас проводит в сад, и там наш секретарь даст вам пальто и ботинки.

— Значит, королевский прокурор уже не только мой, но и ваш добрый знакомый? — спросил я, не двигаясь.

Наверное, в моем голосе пробивались какие-то особые интонации или шеф вообще привык не доверять моему настроению, но только он вдруг очень встревожился, слез с кресла и сел прямо на край моей кровати.

— Ганс, Ганс, вот я вижу, вы опять стали мудрить, — сказал он почти умоляюще. — Ради бога, не надо! Ничего хорошего вы своим осуждением не

достигнете, только погубите газету — вот и все. Хоть в этом-то мне поверьте! — Он схватил меня за руку. — Вы знаете, я не болтун и всегда точно знаю, о чем говорю. Вчера мне сообщили, что уже даны указания о подборе соответствующих судебных прецедентов для составления нового закона о печати. Что, не верите? Да тот же самый адвокат Гарднера и составляет его. Неужели не понимаете, что вы просто погубите газету, если дадите себя осудить? Вам надо уехать — вот и все!

Но я остался в больнице, хотя возможно, что шеф мой и был прав. Может быть, газету закроют после суда и моего осуждения. Ну и дьявол с ней, с этой газеткой, как и с моим шефом, как и с королевским прокурором, как и с той безумной, которая сидит сейчас в психиатрической больнице и опять лихорадочно читает газеты, подыскивая себе по ним новую жертву! Ведь она отлично знает, что ее опять скоро выпустят. Я остался еще потому, что, мне кажется, мое осуждение раскроет кому-то глаза. Я остался потому, что все происходящее в мире и в моей маленькой стране как части этого мира толкает меня на серьезнейшие размышления и вот уже мне некуда от них скрыться. Мое сегодня так похоже на мое вчера, что, познав его, я уже не сомневаюсь в том, каким будет мой завтрашний день. Я уже пережил этот завтрашний день сопливым мальчишкой и сыт им по горло. Но тогда мне было легче, потому что я ровно ничего не понимал, я не понимал, из каких корней выросла война и кто в ней виновен, не понимал, кто такой я, кто такой Ланэ, кто Гарднер, кто Крыжевич. А теперь я это знаю и хочу об этом рассказать всем. Я рассказал вам о своем отце, человеке, который любил говорить много и красиво и погиб, об участии его друзей и сына. Да минует же их участь, добрые люди, вас, ваших детей и ваших жен! Уверяю вас, добрые люди, заполняющие зал судебного заседания, что все происходя-

щее — это отнюдь не только одно осуждение невинного или сведение личных счетов правительства с неудобным ему журналистом, это даже не удушение вашей свободы, нет, это много страшнее: это новое покушение на вас самих, это тот топор, который завтра же опустится на вашу голову, револьвер, который убийцы тайком суют в руки вашего ребенка. О, если бы вы, прочитав мою книжку, подумали над тем, что происходит перед вашими глазами! О, если бы вы только хорошенько подумали над всем этим!

Алма-Ата
1943 — 1958

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ОБЕЗЬЯНЫ»
материалы к истории романа

Роман "Обезьяна приходит за своим черепом" Юрий Осипович Домбровский начал писать в Алма-Ате в 1943 г., после того, как по болезни был выброшен из колымского лагеря.

Поначалу казалось, что роману уготована счастливая участь — телеграммы, пришедшие из Москвы, говорили о том:

После длительных боев удалось отстоять ваш роман которому даны самые положительные отзывы авторитетными референтами тчк Берем его в Звезду тчк Необходимы коррективы согласно критическим замечаниям тчк В виду нашей отдаленности посылка рукописи вам может затянуть печатание роман нужно печатать скорее поэтому испрашиваю вашей санкции на проведение этой работы мною прошу довериться моему искреннему желанию со всей ответственностью и благожелательностью довести вашу талантливую вещь до благополучного выхода к читателю вашим согласии прошу немедленно телеграфировать Москву Борис Лавренев

Рукопись встретила положительную оценку вышлите срочно остальные части издательство Московский рабочий Чагин

К сожалению, действительность оказалась далекой от радужных ожиданий: в 1949 году Юрия Осиповича в очередной раз арестовали...

Мы публикуем несколько документов, иллюстрирующих судьбу романа. Они говорят сами за себя, никаких комментариев не требуя.

КАК ПИСАЛАСЬ "ОБЕЗЬЯНА"

"... Я начал писать роман осенью сорок третьего года, лежа на больничной койке, имея одну-единственную ученическую тетрадку, которую подарил мне врач, да ручку — не ручку даже, а лучинку с прикрученным к ней пером. Чернила делал из марганца — они получались бурыми и напоминали мне те, которыми писали монахи и подьячие в каком-нибудь XVI веке. Экономя бумагу, я писал таким мелким почерком, так лепил строчку к строчке и букву к букве, что сейчас свои рукописи могу читать только с помощью сильной лупы.

У меня были парализованы ноги, и писать приходилось сначала лежа, потом — сидя. И тут мне на помощь приходил картонный щит со знаками разной величины, которым в больнице врачи пользовались для проверки остроты зрения...

...Спасаясь от собственного бессилия и тоски, — я и по койке не мог передвигаться, а только ерзать, — я и писал свой роман".

*Ю. Домбровский — в разговоре
с журналистом А. Лессом*

ИСТОРИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ

Юрий Осипович в то время читал шекспировский курс в театральной студии и так завяз в богатых аналогиями перипетиях четырехсотлетней давности, что выбраться из них можно было лишь с помощью какой-нибудь невероятицы. Тогда-то и осенила его честолюбивая идея написать цикл новелл о великом сыне Альбиона — актере и драматурге, создателе театра "Глобус". Таким образом, дядя Юра спасался от Шекспира, а Шекспир... спасал его. Спасал, так как наиболее сложная — начальная — стадия работы пришлось на его физическую немощь.

Дело в том, что временами на Домбровского находила, как говорят в народе, болесь злая, то есть эпилепсия, падачая. Не один удар ее приняла на себя Любовь Ильинична Крупникова — удивительный, высочайшей пробы человек. Женщина, о которой надо бы писать особо, потому что вопреки всему и вся, сознавая в абсолюте подлость сталинско-бериевско-ждановского и иже с ними режима, она делала людям Добро, Добро, Добро. Добро конкретное, помогающее выживать. Это мог быть кусок хлеба голодному, приют в комнатке, где она жила с тремя детьми, устройство судьбы выброшенного за борт жизни изгоя и многое-многое другое. Милосердие ее было сиюминутным, каждодневным и длилось всю жизнь.

На сей раз после приступа, отнявшего у дяди Юры способность передвигаться, Любовь Ильинична забрала к себе и выхаживала в течение нескольких месяцев болезного. Впрочем, "выхаживала" — не то слово. Она притаскивала ему связки книг из великолепно укомплектованной в те поры университетской "библиотеки" (любимое слово дяди Юры с таким вот

ударением). Она принимала всех друзей Домбровского, писала под диктовку варианты глав, бегала по машинисткам и хлопотала. К Юрию Осиповичу у нее было особое отношение. Во вторую посадку он оказался в лагере с ее мужем — Георгием Тамбовцевым, очень сошелся с ним и, выйдя на волю, принес его жене и детям трагическое известие о смерти друга. После этого он, Домбровский, для Любви Ильиничны был свят. Ну нет, она, конечно, не молилась на него, а больше все пропесочивала, как малого, шкодливого ребенка. Выговаривала за небрежно расстегнутый ворот, непричесанную шевелюру, выбившиеся из ботинок шнурки, продранные — дня не поносил — брюки (одежду, я помню, Любовь Ильинична покупала ему сама). Влетало ему и за любвеобильность. Женщины к нему липли, слетались, как мухи на мед.

— Юрочка, вы же талантливы! Необыкновенно талантливы! Но вы негодяй! Ах-ах-ах, какой негодяй, — ахать она очень любила. — Вы что — Казанова? Тратите время на баб, когда еще столько не написано!

В своем беспокойстве за него Любовь Ильинична была всегда права. Дядя Юра отрицать этого не мог, да и не смог бы. Поэтому он — видеть это всегда было очень забавно — покорно выслушивал все тирады и прописные истины, смиренно кивал головой, поддакивал и... продолжал делать все по-своему. Любовь Ильиничну это не обижало. И верно — иначе Домбровский не был бы Домбровским. И другого она его и не признала бы.

Да... Что говорить! Человек она была необыкновенный. И отдавая долг ее беспредельной сердечности, Юрий Осипович посвятил ей, своему верному другу, первое послелагерное издание — роман "Обезьяна приходит за своим черепом". Часть гонорара же перевел ее детям — в компенсацию заботы и внимания, которые он получал в их семье наравне с ними.

*Людмила Елисеева (Варшавская).
Из воспоминаний.*

* * *

”... Космополиты, гастролеры, приехавшие в Алма-Ата, сумели не только отравить сознание ряда творческих работников Казахстана, но и оставили после себя свою агентуру. Долгое время пребывал в Казахстане тот самый Хазин, которого заклеил в своем докладе Жданов.

Тогда же развернул свою деятельность и ”писатель” Домбровский, едва ли не самая злобная фигура среди антипатриотов и безродных космополитов, окопавшихся в Алма-Ате.

Какие темы волнуют Домбровского? Это или ”топор каменного века” или ”смуглая леди” времен Шекспира. Но не только прошлое привлекает этого отщепенца. Последним ”трудом” Домбровского является объемистый роман ”Обезьяна приходит за своим черепом”, под которым, не задумываясь подписался бы фашиствующий писатель Сартар.¹

С циничной откровенностью Домбровский сформулировал свое отношение к нашей действительности:

— Я писатель своеобразный, я не умею писать на советские темы.

Ему не только чужда, ему враждебна советская тема. И это он доказал на деле. Получив от правления Союза писателей командировку в Илийский район и задание написать очерк о колхозниках, рыбаках, Домбровский выехал в колхоз. И действительно... написал очерк. В нем было все — и выжженная солнцем степь, и приключения автора, но не было главного — колхоза советских людей, их самоотверженного труда. Более того, Домбровский не смог

¹ Так в тексте (*прим. сост.*)

припомнить название колхоза, в котором он побывал.

Достоин удивления тот факт, что этому безродному космополиту Домбровскому, не любящему и не знающему советской жизни, был доверен художественный перевод интересного по материалу и замыслу романа С. Муканова "Сыр-Дарья". Срывы и ошибки, которые потянули "Сыр-Дарью" с той вершины, на которой могло оказаться это произведение, — результат творческой, а по существу вредительской помощи, вложенной в этот роман Домбровским..."

"Казахстанская правда", 20 марта 1949 г.

СПАСЕНИЕ РУКОПИСИ

То был предпоследний в жизни Домбровского день рождения... Юрий Осипович обежал дом творчества "Голицыно", приглашая к себе всех, к кому был расположен. Именно обежал — двигался он размашисто, как размашист был и его талант, по деревянной лесенке старого двухэтажного здания спускался бегом — прыгал через две ступеньки, наполняя весь дом грохотом.

Как хорошо, счастливо начался этот вечер, как весел и оживлен был Юрий Осипович, окруженный любящими его людьми, понимавшими истинные масштабы его таланта!

После того, как подняли первый тост — за новорожденного и второй — за непьющих, Юрий Осипович стал рассказывать забавные истории, вызывавшие дружный хохот. Тут надо сказать, что был он великий фантазер, именно фантазер, ибо в выдумки свои искренне верил. Поэтому, рассказывая не единожды какой-нибудь эпизод из своей жизни, он всякий раз, от избытка неумеренной творческой фантазии, подавал его по-новому. Так что у тех, кто будет писать воспоминания о Домбровском, рассказы эти, вероятно, будут различаться в деталях, зачастую — весьма колоритных.

Вот как Юрий Осипович рассказал в тот вечер одну из своих излюбленных историй, вошедших, по его словам, в книгу Александра Лесса "100 историй о писателях". Еще раз позволю привести услышанный мной вариант в прямой речи — так как он был записан по свежему следу.

— Жил я тогда, вскоре после освобождения, в Москве, у Колхозной. Является раз маленький пожилой еврей, до того плюгавый — Гитлер при виде тако-

го пять дней от радости потирал бы руки. Тащит с собой корзинку. Вошел в кухню и спрашивает: "Кто здесь будет Домбровский?" "Ну, я, говорю, а что?" Он не верит, требует документ. А какие тогда у меня были документы? Только справка об освобождении. Бегу в комнату за справкой, даю ему, он спокойно так, неторопливо ее изучает — печати рассматривает, подписи. Потом вынимает из корзинки пуд бумаги и подает мне. Я обалдел: да это же мой роман "Обезьяна приходит за своим черепом"! Рукопись у меня в сорок девятом году при аресте изъяли, и я был уверен, что она сгинула без следа. А тут вдруг такое... "Понимаете, — говорит гость, — приехал я в Москву, повидать своего мальчика. А рукопись эту хранил у себя. Перелистал ее — так, ничего особенного. Мне не понравилось. Но вот, думаю, поеду в Москву, повидать своего мальчика, отвезу рукопись человеку, может быть, он за ней страдает."

— А кто вы? — спрашиваю.

— Понимаете, — говорит он, — я у них архивариусом работал. Стали они жечь бумаги, так я подумал: это же целая книга, зачем ее сжигать, может быть, человек за ней переживает. Вот поеду повидать своего мальчика, отвезу человеку книгу...

Я заметался, благодарю его, как сумасшедший, кинулся по соседям занимать деньги — у меня тогда в карманах ветер гулял, сую ему их.

А он мне, поводя указательным пальцем:

— Ну, нет. Вы думаете, одной еврейской башкой будет меньше, так что с того? Но она ж у меня единственная и пока что не надоела...

Рассказывал это Юрий Осипович артистически, так имитируя речь старика, что мы валились со стульев, но одновременно и восхищаясь отвагой и честностью маленького архивариуса.

*С. Митина. "Где оскорбленному
есть чувству уголок..." Отрывок.*

* * *

Уважаемый Юрий Осипович!

Только что прочел Вашу "Обезьяну". Эта книга по-настоящему взволновала меня. Я перед этим читал "Триумф. арку" (Ремарка). Он "не дотягивает", хотя его у нас любит читатель.

У Вас настоящая страстная ненависть к фашизму во всех его современных проявлениях и влияниях...

Недавно я был на новом спектакле Назыма Хикмета. Плучек его хорошо поставил ("Дамоклов меч"). Но, хотя это и звучит активным предостережением людям, однако же это лишь внешнее и лобовое воздействие, агитационное, без глубины.

У Ремарка стоят вопросы морали, но удивительно индивидуалистично и "беспартийно". Вы же сделали через беспартийного героя (Ганса) глубоко партийный, страстный философско-этический роман, тесно связав вопросы этики с социальными вопросами, с вопросами философии истории. У Ремарка — врач, у Вас — юрист, журналист, но какая разница подачи, хотя герой тот же западный интеллигент!..

Ваша книга, как я ее ощутил, умна, талантлива и очень важна для нас и для всех других народов. Она сражается, а не декларирует. Мы чаще видим декларации...

Предатель и мещанин Ланэ, крыса Ланэ — это, увы, далеко не редкостный тип (во всех долготах и широтах). Этот тип, который, если и падает, то не в помойную яму, а в "пропасть"... Это здорово!..

Да что там — отдельные места! Книга Ваша сильна и талантлива во всей целостности, во всей совокупности художественных качеств, морально-психологической и философско-исторической глубины.

Сумчатые крысы живучи и плодовиты на удивление. И представить себе, что их разновидности с отрицанием "донкихотства" цветут и у нас!.. И, провозглашая якобы живое движение донкихотством, они всегда ссылаются на то, что у "того" Дон Кихота было перед нами еще великое преимущество в виде Росинанта и цирульницкого тазика, защищающего голову от ударов... Ох, как они "уважают" и берегут свои головы!..

Как мало, как мало мы пишем книг с человеческой глубиной и страстью! Как мало и редко касаемся вопросов морали, как робки в этих вопросах (во всяком случае — в опубликованных вариациях книг).

Степан Злобин

В СЕКРЕТАРИАТ ССП
от члена Союза СП ДОМБРОВСКОГО Ю. О.
(членск. билет № 0275)

З а я в л е н и е

Обращаюсь к секретариату с просьбой внести ясность в то совершенно непонятное положение, в котором я очутился неизвестно по каким обстоятельствам и по чьей инициативе. Дело идет о всем том, что творится вокруг переиздания моей книги "Обезьяна приходит за своим черепом". В течение трех лет, прошедших с момента выхода книги, редакция Русской прозы издательства, учитывая отзывы печати и требования книготорга, три раза ставила перед правлением издательства "Советский писатель" вопрос о переиздании книги, и Правление неизменно отказывало редакции, ссылаясь на какое-то особое мнение каких-то членов секретариата, высказанное три года тому назад. В чем это мнение состоит конкретно, мне совершенно неизвестно. Знаю только, что главным мотивом отказа было то, что книга в то время только что появилась на свет и не вызвала еще ни одного печатного отзыва. "Давайте подождем рецензий", — предложил кто-то на обсуждении плана. Тем в то время дело и кончилось. Ныне книга вышла в Польше (издание ISCRY, 1962 г. Серия "Всемирная библиотека"); в Румынии (издательство Literatura Universală, 1961 г.); в Болгарии ("Народна култура", 1961 г.); мне известно также о вышедшем немецком издании, которое, к сожалению, мне недоступно, и готовящемся чешском и венгерском. Появились и рецензии — те самые, которые так хотели прочитать в 1959 году члены Секретариата.

Привожу несколько заключительных оценок из тех статей, которые в настоящее время у меня под руками. (Кое-что я отдал в издательство при заявлении о переиздании. Их привести я не могу.)

”Лит. газета”

”Увлекательно написанный роман-памфлет Домбровского, беспощадно разоблачающий подлинное лицо распоясавшихся расистских реваншистов, вносит добрый и активный вклад в дело борьбы народов за мир”.

*(С. Павлов, ”Прошлое против будущего”,
7 апреля, 1960 г.)*

”Нева”

”Роман написан весьма увлекательно и густо насыщен психологизмом, буквально несколькими штрихами удается автору нарисовать образ несгибаемого борца Сопротивления. Эта глава напоминает страницы Достоевского... Очень удачен и второй представитель Сопротивления... Ярко раскрыта в романе и омерзительная ”философия” предательства. Роман написан против всех многообразных наследников фашизма, выпускающих из тюрьмы всевозможных гарднеров (одно из лиц романа). Он вышел весьма своевременно”.

*Михайлов, ”Обезьяна приходит
за своим черепом”, № 9, 1960 г.*

”Простор”

”Домбровский с глубокой психологической убедительностью и со всей беспощадностью, на которую только способен художник-антифашист, препарировывает фашизм во всех разрезах... Потрясающая в своем реализме беседа сломленного пытками доктора Ганки с его товарищем по гестаповской камере, который в ожидании неминуемой казни остается последовательным оптимистом, твердо уверенным в том, что... Коммунистический город Солнца будет построен.

Роман является ценным вкладом в дело мира. Он (по примеру Ю. Фучика) идет от дома к дому и будит тревогу не учебную, а боевую. Проникнутый ненавистью к фашизму, он призывает читателей: "Будьте бдительны, люди!".

С. Злобин, № 6, 1960 г.

Болгарский журнал "Читалище"

"Кто ни помнит две надписи, обязательно сопровождающие каждый хваленый роман Г. Уэллса... "Не читайте на ночь" и "Открыв книгу, не оторветесь ни на одну секунду". Как подходят обе эти надписи к роману Домбровского, и насколько же его произведение отлично от легковесной продукции этого знаменитого автора...

Надо прямо сказать: обезьяна нашла свой череп, а Домбровский? Тот нашел много больше. Он нашел настоящую жизненную правду... И очень скоро скептический читатель забудет все свои предубеждения и будет читать и перечитывать и снова читать этот роман, потому что невозможно, поистине невозможно читать и не быть потрясенным до глубины души судьбой честного ученого профессора Мезонье...

Написанное с огромным мастерством, это произведение несомненно дойдет до миллионов сердец читателей во всем мире и каждый поймет призыв, заложенный в его основе: "Не давайте обезьяне снова приходить за своим черепом, не пускайте ее снова к людям!"

*Статья Мусакова в подборке
"Обсуждаем роман", № 9, 1961 г.*

Я привел только те отзывы, которые у меня под руками. Их больше, но я думаю, что хватит и этого. Все они абсолютно положительны. Нет ни одного намека на то, что автор что-то недопонял, что-то искажил или упустил что-то важное. Из многочисленных писем, переданных мне издательством, приведу только одно, коллективное, подписанное старым партийцем, чья

фамилия постоянно фигурирует во всех заявлениях и документах, составленных старыми большевиками:

”Мы, группа читателей, ознакомились с книгой Домбровского. Она произвела на нас огромное положительное впечатление. Мы, читатели, от всего сердца благодарим автора за его труд и просим передать ему нашу благодарность...”

(Персональный пенсионер, орденосеиц Басальго)

Я знаю, что могут быть и другие мнения, более строгие по отношению к автору и, может быть, даже и более объективные, но линия всех этих высказываний вообще-то совершенно ясна: мой роман — книжка нужная. Вот мне и хочется спросить, где же и кем же изложены мнения противоположного характера? Печать обсуждает мой роман всенародно, члены Секретариата говорят на закрытом собрании: пусть же будет высказано противниками переиздания моей книги это самое отрицательное мнение, но открыто, пусть и они напишут рецензию или хотя бы связно изложат свое мнение на бумаге. Имен этих людей я не знаю до сих пор. Очень может быть, что их уже нет даже в Секретариате, а между тем их безымянное, расплывчатое, не имеющее никаких твердых очертаний мнение до сих пор тяготеет над моим романом. Оно незримо, но очень активным образом лишает читателя книги.

Очень много оно лишает и меня. Приходится зарабатывать на жизнь подсобными литературными и околосекретариатскими работами. Роман, над которым я работаю, написан едва ли на одну треть, и я не знаю, когда я сумею к нему вернуться. Может быть, и никогда. Между тем на ”Обезьяну...”, как пишет ”Литературная газета”, существует ”анекдотически большое количество заявок от читателей”. (См. статью Радова ”Разговор с книгопродавцом”). В чем же дело?

Я прошу Секретариат серьезно разобраться в существующем положении и придти мне на помощь.

1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЕЗЬЯНА ПРИХОДИТ ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ. Роман	5
ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ОБЕЗЬЯНЫ" (материалы к истории романа)	449

**Юрий Осипович
Домбровский**

Собрание сочинений
Том второй

Редактор *М. Т. Латышев*
Художественный редактор *И. Е. Сайко*
Технический редактор *З. А. Прусакова*
Корректор *А. В. Пятковская*
Набор выполнен МП "Зодиак"
Операторы набора *Н. Н. Калинина, О. А. Шеховцова*

Подписано в печать 28.09.92. Формат 84х108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 22,8.
Тираж 25 000 экз. Заказ 2234.

Ассоциация совместных предприятий, международных
объединений и организаций. Издательский центр "ТЕРРА".
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Ми-
нистерства печати и информации Российской Федерации. 143200,
Можайск, ул. Мира, 93.



издательский центр
«Терра»



издательский центр
«Терра»

2

Юрий Домбровский



Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

том второй

ОБЕЗЬЯНА ПРИХОДИТ ЗА СВОИМ ЧЕРЕПОМ

роман

ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ОБЕЗЬЯНЫ»

материалы к истории романа

3 4 5 6 *



издательский центр

«Терра»



На том стою
и не могу иначе.

Лютер